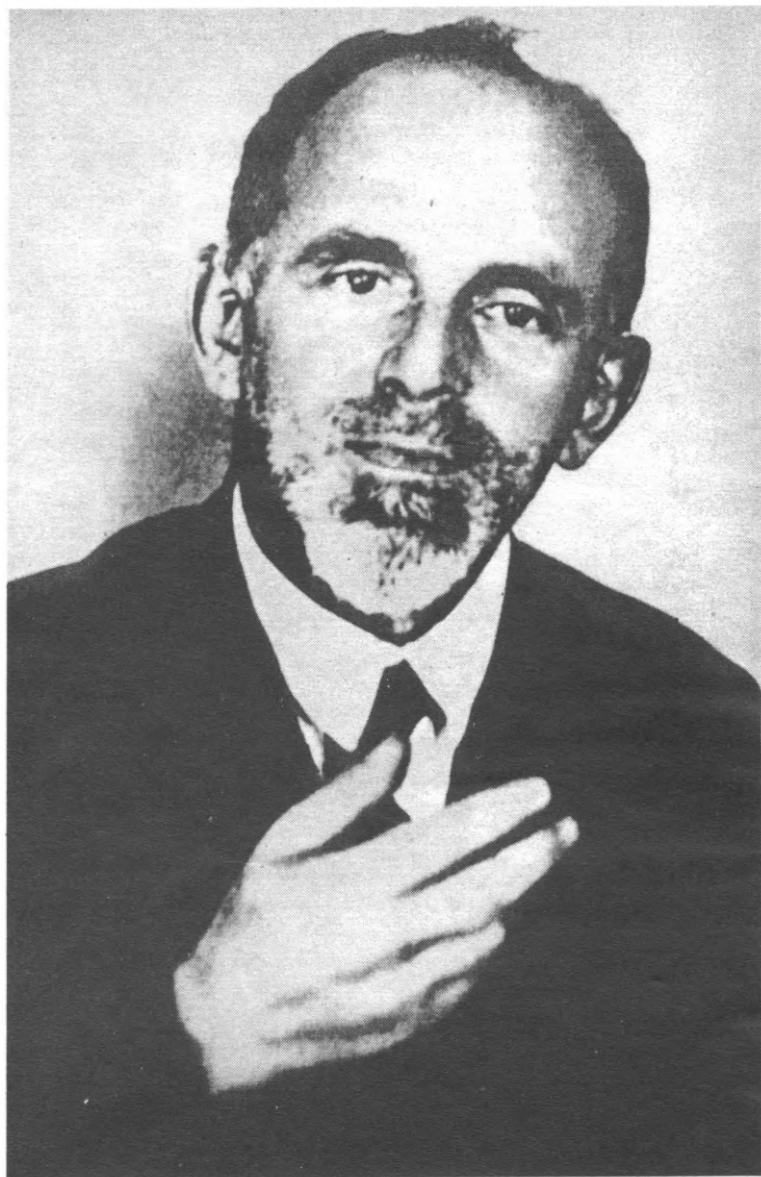


Осип Манделъштам

**ВОРОНЪЖСЬИЕ
ТЕТРАДИ**



J. Maudslayi

**Осип
Мандельштам**

**ВОРОНЕЖСКИЕ
ТЕТРАДИ**



**Издательство им. Е. А. Болховитинова
Воронеж — 1999**

ББК 84(2Рос-Рус)6-4
М 23

Осип Манделъштам. ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ.
Стихи. Воспоминания. Письма. Документы.

Вступительная статья и составление доктора филологических наук, профессора В. А. Свительского.

Серия «РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ XX ВЕКА»
выпускается с 1998 г.

Редакционный совет серии:

**В. М. Акаткин, Л. Е. Кройчик, О. Г. Ласунский (председатель),
Е. Г. Мущенко, Т. А. Никонова, В. А. Свительский.**

«Воронежские тетради» — книга стихов, написанная О. Э. Манделъштамом во время его трехлетней ссылки в Воронеж. В издании впервые так полно собраны стихи и различные материалы (воспоминания, письма, статьи, документы), характеризующие итоговый период творчества одного из самых значительных поэтов XX века и объясняющие возникновение его последней книги. Сборник адресован широкому читателю.

ISBN 5-87456-160-9

© Вступит. статья и составление
В. А. Свительского.
© Издательство им. Е. А. Болховитинова (оформление).

*Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль прогоришь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож...*
О. Мандельштам,
апрель 1935 г.

*...Воронеж был чудом, и чудо нас туда
привело.*

Н. Мандельштам,
Воспоминания.

*Поразительно, что простор, широта,
глубокое дыхание появились в сти-
хах Мандельштама именно в Воро-
неже, когда он был совсем не сво-
боден.*

А. Ахматова,
Листки из дневника

*Как поживает Осип Эмильевич?
Я слышал, что будто он в Воро-
неже?*

Н. Ключев,
Письмо из сибирской
ссылки.

ПОЭТ И ВРЕМЯ

Так случилось, что Воронеж стал местом ссылки для Осипа Эмильевича Мандельштама (1891—1938), известного к тому времени поэта, друга А. Ахматовой, Н. Гумилева, М. Цветаевой, создателя знаменитого стихотворного сборника «Камень» и автора смелого памфлета в стихах против Сталина. В ссылку по доброй воле не отправляются, обозначение «административно высланный» в те времена давалось в наказание и прежде всего за инакомыслие или «не то» происхождение. Однако подневольный приезд в наш город стал облегчением участи опального поэта. Он вместе с женой сам выбрал — почти наугад — именно Воронеж, и к лучшим дням из трехлетнего срока, проведенного здесь, действительно, подходят слова «чудо», «передышка»...

По сравнению с Чердынью на Каме, куда Мандельштам был отправлен сначала и где пытался покончить с собой, город, расположенный на склонах «молодых еще» по своему геологическому возрасту «воронежских холмов», встретил ссыльного приветливо. Помягче климат, поближе столица, культурнее обстановка... Здесь поэт нашел и почитателей, и товарищей по несчастью, таких же высланных, и собеседников, и друзей. На первых порах ему было разрешено печататься в местном журнале, работать в театре, готовить композиции на радио...

Хотя настроение Мандельштама на протяжении воронежского периода менялось, хотя подневольное состояние оставалось при нем и не переставало тяготить его, удивительным подарком любителям поэзии, творческим возмещением его нелегкой судьбы стали «Воронежские тетради» — замечательная книга стихов, утвердившая его незаурядный талант с классической силой. Есть смысл разобраться, как же возникло это поэтическое чудо. Это и памятник человеческому мужеству, достоинству личности, и выражение трепетной красоты, открывающейся только великим поэтам.

* * *

Первая встреча Мандельштама с Воронежем, однако, произошла значительно раньше, и она была заочной. В 1919 г. на страницах альманаха «Сирена», который редактировал поэт В. Нарбут, появилась статья будущего воронежского пленника «Утро акмеизма». Написана она была раньше, в 1912 г. (по другой датировке — в мае 1913 г.), когда поэты, назвавшие себя акмеистами, заявляли о своих принципах. Но тогда в журнале «Аполлон» прозвучали декларации Н. Гумилева и С. Городецкого, статья же Мандельштама осталась лежать без движения. Воронежская «Сирена» «прислала» беспризорную статью, а вернее — дала ей жизнь...

У Мандельштама, яркого прозаика и мастера литературных характеристик, эта статья не проходная: она в состоянии объяснить и его стихотворное творчество, и выводит нас к явлениям:

акмеизма и — шире — серебряного века. Акмеизм как одно из течений поэзии серебряного века объединил таких поэтов, как Н. Гумилев и А. Ахматова, С. Городецкий и М. Кузмин, В. Нарбут и М. Зенкевич. К ним принадлежал и Мандельштам. В споре с символизмом, который они считали устаревшим, акмеисты, объединившиеся в кружок «Цех поэтов», провозглашали возвращение к органическому естеству жизни, к животворящей силе природы, к предметности реального мира и ясному слову.

Принципы нового поэтического течения выпукло представила книга стихов «Камень», выпущенная первым изданием в 1913 г. В стихотворении «Notre Dame», посвященном собору Парижской богородицы, поэт писал: «...из тяжести недоброй И я когда-нибудь прекрасное создам». Даже название сборника передавало происходящее превращение «тяжести недоброй» в красоту искусства. На его страницах ожили зримые, осязаемые картины Петербурга (Петрополя), Царского Села, Рима, улицы и постройки, громады великих соборов Киева и Парижа, вполне конкретные человеческие облики, природное томление человеческого тела. Даже след человека на «стеклах вечности» у поэта вещественен. Мандельштаму доступны тончайшие оттенки и переживания, но обилие психологических штрихов удостоверяется материальным миром. В городе на берегах Невы поэт различил реальность нового века:

Летит в туман моторов вереница;
Самолубивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

И это не Евгений Онегин, но многострадальный Евгений из «Медного всадника»...

В письме 1923 г., констатируя факт, что акмеизм уже в прошлом, Мандельштам объясняет адресату-поэту: «Он хотел быть лишь «совестью поэзии». В акмеизме, по-видимому, больше, чем в других течениях и группах в то время, выразилось самосознание литературы. Не случайно от него остались такие первостепенные имена, как А. Ахматова, Н. Гумилев, О. Мандельштам. Вместе с тем пример этих поэтов доказывает относительность всех наших ярлыков и табличек.

Когда один критик употребил обозначение «эпоха Блока и Мандельштама», он по сути имел в виду эпоху серебряного века на ее исходе. После классики «золотого» XIX века свершения века серебряного уникальны. Это еще одно наше «оправдание» перед человечеством и достойный вклад в мировую культуру. Это удивительные свершения прежде всего в области поэзии, но и в философии, художественной прозе, живописи, музыке, театральном искусстве, книжном деле...

Пик серебряного века падает на десятилетие между двумя революциями — 1905 и 1917 годов. Видели ли жители этой эпохи свое богатство? Увы!.. Например, М. Горький, связанный с самыми радикальными политиками, подкармливавший их, называл предреволюционное десятилетие «позорным», считал декаданство упадком, вырождением, торжеством общественного мещанства. Лишь несколько позднее стали выясняться очертания ушедшего явления, и Мандельштам в 1923 г. отметил, что «модернизм» с присущей

этому понятию двусмысленностью и полупрезрительностью» стал наконец восприниматься «просто как русская поэзия». М. Добужинский писал о «Петербургском Возрождении», М. Гофман сравнивал: «Никогда еще, разве кроме пушкинской эпохи, так не кипела поэтическая жизнь»...

Сама духовная атмосфера поощряла рождение талантов, творческие искания, поэтические озарения. Переходные эпохи художественно продуктивны, а это, конечно, было переходное время. Многоразличие литературных школ и образных языков — свидетельство богатства. Шла бурная, насыщенная культурно-художественная жизнь: выходили журналы, многочисленные книги, на их страницах рождались новые имена, возникали небывалые театры, манили нашумевшие спектакли и выставки, были притягательны вечера, салоны, поэтические кафе... Однажды, незадолго до своей гибели, Н. Гумилев сравнил литературно-художественную жизнь Петербурга того времени с тогдашним существованием Парижа, Лондона, где он провел четыре года. По его словам, по сравнению с предвоенным Петербургом все это «чуть-чуть провинция». А Гумилев бахвальством никогда не страдал...

В это время на берегах Невы любители поэзии могли услышать А. Блока и блестала А. Ахматова. Знаменитая Башня Вяч. Иванова привлекала избранных, духовную элиту, кафе «Бродячая собака» было доступно талантливой молодежи, всем интересующимся поэзией. Кроме ивановских сред, проходили пятницы Полонского и пятницы Случевского («Сборища птичек певчих»). «Бабушкой русского декадентства» стала З. Гиппиус, под ее крылом собирались, росли и приобретали имя «мальчишки» и «девочки». Один из них был О. Мандельштам. Разворачивались литературные игры, вроде ремизовской «Обезьяньей Палаты». Находились издатели, покровители-меценаты, которые поддерживали небогатую литературную молодежь, благословляли, опекали, издавали... Журналов было много: «Остров», «Гиперборей», «Аполлон», «Гаудеамус», «Весы», «Лукоморье» и др. В Москве выходили свои журналы, существовали свои издательства, кружки, салоны...

Серебряный век состоялся, потому что в литературу и другие искусства пришли свежие, молодые силы. В многонациональной, сложной по своему социальному составу России они действительно явились из самых различных социальных групп и национальных общин. Осип Эмильевич Мандельштам, сын купца, родился в еврейской семье в г. Варшаве 2(14) января 1891 г. Семейный быт не поощрял занятий поэзией, но даже отгу — Эмилио Вениаминовичу — не были чужды духовные интересы, а мать — Флора Осиповна — была воплощением интеллигентности: она приучила сына к литературе и книгам, к музыке. Кроме того, ребенком занималась гувернантка-француженка, а учиться он стал в одном из лучших учебных заведений той поры — Тенишевском коммерческом училище. И он стал «новобранцем» яркой эпохи, ее участником и создателем, принадлежа уже к новому поколению поэтов. (Мандельштам был на десять лет младше А. Блока и почти ровесником А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака).

Духовный всплеск серебряного века, однако, нес в своем бродиле и противоречия, и уязвимые черты, что осознавалось его участниками и летописцами. «Творчество точно инстинктивно торопит-

лось проявить себя как можно полнее в предчувствии катастрофы», — подытоживал М. Добужинский. В литературном быту много было и «безвкусовой самоулыбающейся литературщины» (Н. Арсеньев). Многим литераторам субъективный «поэтический мирок» казался «целой вселенной» (М. Гофман). Уязвимой особенностью мировосприятия в это время был самодовлеющий эстетизм, отдававший иногда и бесчеловечием. Известный поэт в одном из писем радуется гибели «Титаника», в ней для него торжество природной стихии, доказательство, что океан не обуздан... Но так же можно было радоваться разгулу стихий и в революциях, в мировой и гражданской войнах. История же не стояла на месте: нерешенность многих социально-политических и экономических проблем в России была чревата страшными катаклизмами.

По более поздней характеристике Г. Адамовича, поэта и критика, начинавшего с акмеистами, в какой-то мере «этот столь теперь восхваляемый серебряный век» походил и «на пир во время чумы»: «Век был вызывающе беспечен, и беспечность свою с гордостью противопоставлял наследию столетия предыдущего»... Однако творчество таких поэтов, как Мандельштам, было исполнено и тревоги, грозных предчувствий, чувства вины. В самый разгар эпохи, в 1913 г., звучит: «От легкой жизни мы сошли с ума...» Мало известно, что с началом Первой мировой войны поэт небольшой срок был братом милосердия в армии, а это значит, что он узнал вкус начавшейся бойни. Поэзия не могла оставаться прежней, и в 1915 г. он пишет: «Уничтожает пламень Сухую жизнь мою, И ныне я не камень, А дерево пою...» Предсказание судьбы А. Ахматовой в стихотворении «Кассандре» подтверждает, что поэзия серебряного века была насыщена переживанием человеческого бытия как трагедии. Это придало ей глубину и уравнило «беззаботность» богемных бдений и эстетских изысков. Серебряный век по праву носит свое название.

Другое дело, что его участники и создатели не могли в полной мере представить, что их ждет уже вскоре, на новом развороте истории. Особенно об этом думаешь, когда разглядываешь фотографии той эпохи: молодые люди в изысканной одежде, мужчины в цилиндрах и с бабочками, женщины в кокетливых шляпках и моднейших платьях... Есть такие фотографии и у Мандельштама. Но действительность очень скоро разрушила этот мир.

* * *

И вот люди серебряного века оказались совсем в другом времени, иных условиях. С началом послеоктябрьской поры гнет несвободы, трагизм небывалых страданий они переживали вместе с народом. Но поэты все воспринимают острее. А их принадлежность к ушедшей свободной и духовно насыщенной эпохе усугубляла конфликт с бесчеловечной системой, которая все плотнее и жестче обволакивала личность.

В Мандельштаме была готовность к историческим испытаниям, сочетавшаяся с безыллюзорным пониманием логики событий, и это несмотря на физическую хрупкость и утонченность внутренней жизни. Еще в гимназии он пережил увлечение К. Марксом, но долго не задержался на нем. В ноябре 1917 г. — «Когда октябрьский нам готовил временщик Ярмо насилия и злобы» — он не

обольщается происходящими переменами и обещаниями новой власти и сознает, что наступили «сумерки свободы». Он уверен в непродуктивности «бесполой злобы», разжигания розни и ненависти.

Тем не менее, как он считает, «В ком сердце есть — тот должен слышать время...» Среди русских поэтов этой нелегкой эпохи, «Когда взревели реки Времен обманных и глухих», он принадлежит к тем, кто наиболее пристально вгляделся в характер века, ощутил его основной смысл и предъявил ему предельный счет — от лица человека страдающего и с высоты культуры. Из-под пера Мандельштама появляются стихотворения «Век», «1 января 1924», «Нет, никогда, ничей я не был современник...», «За гремучую доблесть грядущих веков...» Он пытался найти общий язык с наступающим временем:

Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать...

Но эпоха все отчетливее обнаруживала свое истинное лицо. Век оказался даже не «волкодавом», а страшным людоедом, стоявшим некоторым народам миллионов жертв. Он развязывал хищные, волчьи инстинкты в людях, поощрял палачество и доносительство, постарался стереть границу между добром и злом.

Сложнейшая ситуация в стране не допускала уравновешенного союза сердца и ума, не оставляла часто места для здравого смысла и инстинкта самосохранения. Так А. Платонов откликается на «год великого перелома» трагическими, гротескными образами «Котлована», так Н. Эрдман своим ироническим «Самобийцей», а обэриуты Д. Хармс, А. Введенский, Н. Олейников различными произведениями в прозе и стихах передают абсурдизацию жизни вокруг них. Тогда-то в хрупком российском интеллигенте, поэте серебряного века Мандельштаме неожиданно заявила о себе независимая, упрямая сила несогласия. Так родился его памфлет на всесильного вождя и его свиту, беспощадно пригвождающий самого кровавого диктатора XX века и систему, его именем освященную, — «Мы живем, под собою не чуя страны...». Это было деянием, за него поэт заплатил в конечном счете жизнью. А страшный голод 1932—1933 годов, безжалостно прошедший по Украине, — он был замолчан подцензурной печатью и официальной литературой. Мандельштам же пишет стихотворение «Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым...»

В деле 1934 г. сохранился список этого стихотворения, сделанный рукой следователя: значит, поэта заставили его продиктовать во время допроса... По свидетельству Н. Мандельштам, в пятой строке этого стихотворения вместо «рассеянной» была «расстрелянная даль». Известно, что в антисталинском стихотворении вариантом «кремлевского горца» было слово «мужикоборец». В стране, земледельческой по преимуществу, Мандельштам вступился за крестьян, официально объявленных ущербным, собственническим классом. Неслучайно его судьба совпала с судьбой Н. Клюева, певца земляной России.

Что предшествовало Воронежу в жизни поэта?

В сравнительно «мягком» 1932 г. он переезжает в Москву, и им с женой дают комнату в Доме Герцена. 23 марта за «заслуги перед русской литературой» поэту назначают пожизненную персо-

нальную пенсию в размере 200 руб. ежемесячно. В августе 1933 г. Мандельштамы получают московскую квартиру. В этом же году проходят вечера поэта в Ленинграде и Политехническом музее в Москве. По-видимому, действовало требовательное письмо Н. Мандельштам тогдашнему Председателю Совнаркома Молотову.

Однако Мандельштам был не из тех, кого можно было успокоить дарованием жизненных благ. Ощущение себя «непризнанным тельный образ: «я трамвайная вишенка страшной поры» передает самосознание поэта в эти годы. Сочинитель опасных стихов был неосторожен: антисталинское он читал многим... И «мир державный», теперь представший уже в советском обличьи, настагает поэта своим гневом: в ночь с 13 на 14 мая 1934 г., после продолжавшегося всю ночь обыска, Мандельштама, арестованного, уведат... Огласка и заступничество многих людей, в том числе — Бухарина, Пастернака — смягчили участь провинившегося. Краткая резолюция: «Изолировать, но сохранить» принадлежала главному вождю, славившемуся своей лаконичностью. Приговор был сравнительно мягким: три года ссылки в г. Чердынь на Каме. Надежде Яковлевне разрешили сопровождать мужа. Деньги на отъезд собирали А. Ахматова и Е. Булгакова. Переносил это испытание Мандельштам крайне болезненно: в тюрьме у него наступил травматический психоз, в Чердыни он выпрыгнул из окна больницы, сломал руку — перелом обнаружен был позднее, уже в Воронеже...

* * *

Самые полные сведения о воронежском периоде в жизни и творчестве поэта нам оставили его вдова Надежда Яковлевна, таковой же «административно высланный» Сергей Борисович Рудаков и коренная жительница Воронежа Наталья Евгеньевна Штемпель.

Верная подруга поэта Н. Я. Мандельштам (1899—1980) — совершенно уникальная личность. Несомненно, теперь во всех литературных энциклопедиях рядом со статьей о ее муже обязательно будет и справка о ней. Однажды, уже в наше время, она приезжала в Воронеж. На мои слова о поразительной последовательности мысли в первой, самой сильной ее книге она ответила, что Осип Эмильевич, наоборот, всегда упрекал ее в непоследовательности и нелогичности... Дело, однако, в том, что, получившая культурную «закваску» все в то же предреволюционное время, во многом воспитанная своим мужем, она, проходя через труднейшие испытания, росла как личность, приобретала те качества, которые, возможно, и не были ей присущи в молодости. «Моя цель была в оправдании жизни Мандельштама путем сохранения того, что было ее смыслом», — писала она, — ей удалось собрать и сохранить архив поэта, а еще и с необыкновенной силой рассказать о пережитом. И она дожила до триумфа поэзии Мандельштама во всем мире.

Не забудем, поддерживать близкие отношения с опальным поэтом было опасно. Тем не менее внимательным участником и свидетелем дней Мандельштама стал С. Б. Рудаков (1909—1944), литературовед, страстный знаток поэзии от Сумарокова до Гумилева, сам писавший стихи. Уже на третий день пребывания в Воронеже он нашел поэта, и с этого момента началось, может быть, беспримерное по своей насыщенности и результатам общение поэта и критика, творца и толкователя. Так как Рудаков почти каж-

дый день, а иногда и дважды за день отправлял своей жене в Ленинград письма — «отчеты» о прожитом, то благодаря этому мы имеем чрезвычайно подробную летопись года жизни автора «Воронежских тетрадей» в нашем городе. Кроме того, Мандельштам продирижовал Рудакову 20 блокнотов с объяснением своего творчества (до него такой «ключ» в русской поэзии оставил только Державин), но они, к сожалению, пока не обнаружены. Судьба Рудакова — это еще одна драма, неотрывная от времени: он не успел себя реализовать из-за преследований (дворянин, правнук адмирала) и ранней гибели на фронте. Ему было свойственно излишнее самомнение, его мучили комплексы Сальери, но в основном он все-таки оказался на уровне события встречи с великим поэтом...

И наконец — Н. Е. Штемпель (1908—1988), которую многие воронежцы еще сравнительно недавно знали в лицо... Человек исключительного обаяния и бескорыстия, молодойкой девушкой она пришла к Мандельштамам, чтобы познакомиться. Ее влюбленность в поэзию, гостеприимство ее матери, умение дружить и верность сыграли особую роль в жизни поэта. Ей посвящены замечательные стихи. Она сохранила значительную часть архива Мандельштама. Помню, еще в советские времена в один из жарких летних дней мы отправились с Натальей Евгеньевной на ст. Графскую, на прогулку... Несмотря на хромоту (последствие перенесенной в детстве болезни), Наталья Евгеньевна была энергична и стремительна. У этой поездки была еще одна цель. В одном из домиков на окраинной улице жила давняя приятельница Штемпель, а на чердаке у нее в тайне хранилась машинопись «Второй книги» Н. Мандельштам. Тогда и удалось ее прочитать — еще до того, как книга пришла к нам в печатном виде из-за кордона...

Благодаря дошедшим до нас свидетельствам, мы многое знаем о быте Мандельштамов в Воронеже, о маршрутах поэта в нашем городе и вокруг него, датируются написание разного рода произведений — от стихов до рецензий — и даже смена настроений. Мы знаем, где можно было найти Осипа Эмильевича (Рудаков пишет: «Зашел в «Коммуну», где О. всегда днем торчит... Искать в театр и на радио не пошел...»), известно, по каким улицам он ходил, где пролегал его деловые или прогулочные маршруты. Теперь мы можем определить или приблизительно, или предельно четко, в какие сроки поэт жил на той или иной квартире. Разве не важно нам знать, с какими книжками Мандельштам не расставался в Воронеже! Порой объясняются точечные реалии его стихов, например, видный тогда с балкона квартиры в «яме» семафор на железной дороге...

Вместе с тем почти все свидетельства требуют проверки и уточнения, а характеристики и оценки тем более субъективны. Утверждения, звучащие на одной странице, лучше сопоставить с другими формулировками и, может быть, у разных авторов. К примеру, «Вторая книга» Н. Мандельштам, написанная в 1970-м году и через пару лет изданная в Париже, вызвала справедливую критику за свой излишне категоричный тон. Но нам, воронежцам, важнее другое: как часто упоминается и в ней наш город и как теплы эти воспоминания!.. Рудаков не всегда справлялся с оценкой рождавшихся на его глазах произведений, мог колебаться: «ересь» это или «гениальность»... Тем более субъективны его характеристики бытового поведения Мандельштамов, особенно по мере при-

ближения его отъезда из воронежской ссылки. Мандельштам и Рудаков были совершенно разными людьми по темпераменту, привычкам, а оказались вместе в обстановке «плена» и интенсивного общения. Весьма существенным обстоятельством, которое нужно учитывать при чтении разнообразных материалов, — это неравенство, несовпадение бытового облика художника и чуда его поэзии. Тут полезно вспомнить пушкинское стихотворение «Пока не требует поэта...», объясняющее секрет преобразования человека-творца.

Вырисовывается и внешний облик поэта. А. Ахматова пишет: «К этому времени Мандельштам внешне очень изменился, отяжелел, поседел, стал плохо дышать — производил впечатление старика (ему было всего 42 года)». Сам поэт признается в письме 12 декабря 1936 г.: «Здоровье такое, что в 45 лет я узнал прелести 85-летнего возраста». Внешнее старение обусловливается и физическим состоянием, но и общественным, и культурно-историческими причинами. Б. М. Эйхенбаум, который был старше Мандельштама лишь на 5 лет, уже в 1924 г. признается, видя, в каком направлении идет жизнь в стране: «Сразу пришла старость — и я ее чувствую, несмотря на свои 38 лет»... Было еще и другое: в 30-е годы, как пишет Н. Мандельштам, и Ахматова, и Мандельштам оказались «стариками» по поколению. В Воронеж, таким образом, приехал не мальчик с длинными ресницами, которого когда-то воспела М. Цветаева. К легко возбудимой психике, разрывающейся в выборе между подъемом и упадком, добавлялись большое сердце, приступы астмы. Мандельштам не мог оставаться один, нуждался в постоянной опеке и присмотре, почти не выходил один на улицу. И в то же время, по определению А. Гатова, это был «старик-ребенок»: детскость в поведении и во взгляде на мир неотрывны от поэта и в этот период.

Однако самое главное, конечно, — в стихах, и появление их лишь отчасти объяснимо рациональными причинами. В Воронеже была преодолена наступившая в середине 20-х годов и надолго — более, чем на пять лет — задержавшаяся немота («удушье»). По приезде Мандельштам также первое время не писал стихов — это 10 месяцев до появления Рудакова, когда они оставались на целый месяц друг с другом почти один на один. Начало первой тетради было положено 17 апреля 1935 г. Слово «тетради» появилось случайно, так как хорошей бумаги не было, и стихи записывались в обычные школьные тетради. Но каждая тетрадь походит на раздел, на цикл внутри книги, имеет свое содержание и свою хронологию. Третья, по словам Н. Мандельштам, «самая светлая и жизнеутверждающая», создавалась в «последнюю передышку» — в марте — апреле 1937 г. (год сам говорит за себя!). Под каждым стихотворением стоит буква «В». Она означает: Воронеж. Поэт ставил эту букву под авторизованными списками стихов, называя ее «грифом»: «Пусть знают про Воронеж...» В самом полном составе стихи были переписаны в «Наташину книгу», оставленную Н. Штемпель перед окончательным отъездом из Воронежа.

«Воронежские тетради» — это лирический дневник поэта. О жизни его души, его сознания мы узнаем из них лучше, чем из многих свидетельств со стороны. Настроения автора, переменчивый контрапункт его мыслей и чувств, драма его переживаний не сводятся к безысходному отчаянию приговоренного, к обреченной памяти о «ссылке и гибели». Да, в стихах звучат настроения оди-

ночества и затравленности, оживают мрачные пророческие видения. Эти настроения усиливаются к концу ссыльного срока. Отъезд П. Калецкого и С. Рудакова, политическая обстановка в стране и — как отзвук-следствие — в Воронеже подстегивали тревогу. Ощущение трагического одиночества, тоску по общению передает стихотворение «Куда мне деться в этом январе?..» Сколько боли в строчках:

Читателя! Советчика! Врача!
На лестнице колючей разговора б!..

В это время, зимой 1937 г., изоляция Мандельштамов была почти полной...

Но «Воронежские тетради» поразительны тем, что «закольцованный», несвободный поэт встает в них над обстоятельствами жестокой эпохи, преодолевает их силою своего духа, оказываясь в нравственном смысле победителем:

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стою упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета —
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Это стихотворение было записано шифром, скрывалось от нежела- тельных читателей.

Мандельштаму многого не доставало в небольшом провинци- альном городе и в условиях несвободы. Однако он исходит из приятия первооснов бытия, ценностей вечной жизни. Теперь он особенно знает всему истинную цену, и его знание опирается на выстраданный жизненный и исторический опыт. Воронежский «ров- ный край» им принят и прославлен. Ему «Приятно Глядеть на чистые пласты И быть хозяином объятной Семипалатной простоты». Только поэту доступно слышать «под корой текучих древесин Ход кольцеванья волокнистый...» Самые неповторимые и прекрасные картины схвачены в воронежских стихах:

Чернопахотная ночь степных закранн
В мелкобисерных иззябла огоньках...

О «душашей силе черноземного плодородия» писал А. Платонов в «Ямской слободе». Мандельштам создает гимн чернозему, и уди- вительно появление этого стихотворения из-под пера поэта, живу- щего в мире утонченной культуры, настроенного изначально на волну самых изысканных чувств. Узнавшая эти стихи, приехав в наш город, А. Ахматова оценила их новизну и смелость и вклю- чилась в поэтическое состязание своим «Воронежем».

В воронежских стихах выстроена не идиллия и не поэтическая утопия. Они передают спор, который идет в сознании поэта, зави- сящего от многих обстоятельств, от разворота истории. Этот спор выражается чуть ли ни в каждой стихотворной ячейке и между текстами отдельных произведений:

Где я? Что со мной дурного?
Степь беззимняя гола...
Это мачеха Кольцова..
Шутишь — родина щегла!

Находясь «в размолвке с миром, с волей», он тем не менее несет в себе ту щедрость души, которая позволяет ему забыть о «размолвке». Приобщенность к радости жизни, к красоте мира искупает для него тяготы исторического существования.

И поэт радуется непритязательной красоте весеннего города:

Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо — твой Буонаротти...

А еще его спасает насыщенная культурная жизнь Воронежа: театр и музей изобразительных искусств, библиотеки, спектакли, концерты, репетиции, редакционная суета... Благодаря этому поэт живет в особом измерении, поверх всех границ и исторических привязок. Но удивительна его верность месту, приютившему его:

Где больше неба мне — там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане...

На страницах «Воронежских тетрадей» совершается новое открытие мира. Сам Мандельштам говорил, — как свидетельствует Рудаков, — что «Воронеж принес, может быть, впервые открытую новизну и прямоту» — прямоту контакта с жизнью. По словам Ю. Кублановского, в какой-то момент «словно с глаз поэта окончательно спала житейская катаракта...». У поэта есть стоический минимум, позволяющий ему сохранять достоинство и душевное равновесие («Еще не умер ты, Еще ты не один...»). Но не случайно его воронежская книга заканчивается и прославлением весенней природы, навеянными картинами старого городского парка (старожилы еще долго называли его ботаникумом), и замечательными стихами, посвященными Н. Штемпель. Последнее из них — «К пустой земле неволью припадаю...» — «самое целомудренное любовное стихотворение нашего столетия» (С. Аверинцев) — как бы примиряет человека со смертной участью, указывает выход и противовес — его духовность... Трагедия бытия разрешается в просветлении и поэтическом синтезе.

Однако страшный век с перебитым позвоночником никуда не делся, опасность мести и гибели оставалась с поэтом. И это не могло не отразиться на самочувствии поэта и в его стихах. Во второй воронежской тетради Мандельштам пишет: «Я в сердце века. Путь неясен. А время удаляет цель...» Это признание отражает сложность, двойственность отношений поэта с эпохой. Как и заявившим свое несогласие Б. Пильняку, А. Платонову, ему пришлось жить в той же стране, мириться с всемогущей, трезво оцениваемой системой. Его знаний хватило бы на целую оппозиционную партию, но партия в стране осталась только одна... У Мандельштама не было несгибаемости политического бойца, это был не М. Рютин и не М. Спиридонова. Он пытается найти приемлемые, человеческие условия, как «с веком вековать», как бы предписывает себе: «Я должен жить, дыша и большевея...», «Измеряй меня, край, перекраивай...» В письме жене из тамбовского санатория он убеждает и ее, а может, и себя, что теперь его отношения с партией большевиков строятся на новых основаниях: «Никакой обиды. Ни-

какого брюзжания. Партия не нянька и не доктор <...> всякое ее решение обязательно». Мучительно, борясь с самим собой, Мандельштам сочиняет «Оду» Сталину, в отдельных его стихах звучат панегирические и покаянные ноты. «Головой повинной тяжел», он «без пропуска» входит в Кремль в стихотворении «Средь народного шума и спеха...»

После этого легко обвинить поэта по крайней мере в непоследовательности. Кое-кто из обвиняющих злорадствует, кто-то, умный и смелый задним числом, бравирует своей холодной объективностью. Однако все выглядит иначе, если вникнуть в характер времени и его конкретику. Прежде всего поймем, что к этому моменту и оды вождю, и покаяния стали массовыми ритуальными жанрами, и Мандельштам знал им цену. Поэт, нашедший в себе смелость заклеить всесильного вождя, теперь благодарен ему за сравнительно легкое наказание. Но было и другое, его объясняет Надежда Яковлевна: «Ося цепляется за все, чтобы жить <...> но приспособляться он не умеет. Я за то, чтобы помирать...» И было еще покаяние перед самим собой и людьми своего круга. Рудakov записывает мучительное признание великого собеседника: «Я трижды наблудил: написал подхалимские стихи <...> которые бодрые, мутные и пустые. Это ода без достаточного повода к тому. «Ах! Ах!» — и только; написал рецензии — под давлением и на нелепые темы... Я гадоқ себе. Во мне поднимается все мерзкое из глубины души. Меня голодом заставили быть оппортиЮнистом. Я написал горсточку настоящих стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последнем». Уезжая из Воронежа, он велел Н. Штемпель уничтожить «Оду», но Наталья Евгеньевна, по ее признанию, не почувствовала абсолютной уверенности в его словах и сохранила этот текст. Мандельштам потом говорил Ахматовой о своих стихах, где он хвалил Сталина: «Я теперь понимаю, что это была болезнь»....

Зато в третьей воронежской тетради поэт выходит на прямой разговор о веке, не поступаясь ничем. «Стихи о неизвестном солдате» кажутся воспоминанием о Первой мировой войне, а предупреждают о Второй, уже стоящей на пороге, самой страшной, небывалой по количеству жертв:

Будут люди, холодные, хилые,
Убивать, холодать, голодать...

Злым духом-символом века «крупных оптовых смертей» выступает здесь «пасмурный, оспенный и придымленный гений могил».

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте...

И завершает эту трагическую поэму-ораторию жуткая переключка мертвых и живых, в которую поэт включил и себя:

— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.

По этому произведению особенно отчетливо видно, что поэт подобен сверхчуткому прибору, который улавливает грядущее...

В этой же тетради находим и «Рим» — стихотворение о веч-

ном городе, в котором власть захватили «коричневой крови наемники — Итальянские чернорубашечники — Мертвых цезарей злые щенки». Историческая реальность обескураживает, «над Римом диктатора-выродка Подбородок тяжелый висит»... В этих произведениях Мандельштам верен себе. Он далек от культа истории, от обязательного приятия ее мнимо величавой поступи и давно предупреждал: «Если подлинное гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры, она раздавит человека, как Ассирия и Вавилон». Утвердив человеческую меру для измерения сущего и происходящего еще в «Камне»: «Не город Рим живет среди веков, А место человека во вселенной», он сохранил ей верность и в последний год своей воронежской ссылки.

* * *

Уезжали Мандельштамы из Воронежа не успокоенными и не примиренными, хотя иллюзия свободы создавалась. В марте в столице прошел процесс над «правотроцкистским блоком», главным обвиняемым на нем был Н. Бухарин, а он еще недавно опекал поэта, печатал его в «Известиях»... Статья О. Кретовой в «Коммуне» 23 апреля 1937 г. ничего нового не содержала, только в отрицательный ряд были поставлены имена Бухарина, Пастернака, «небезызвестного Клычкова», с которым Мандельштам поддерживал дружеские отношения. Это было знаком, что грозная тревога стучалась. Поэт немедленно откликнулся на упоминание его имени в опасной статье, написав письмо В. Ставскому и обратившись с заявлением в Секретариат Союза писателей. А 13 мая состоялся отъезд с «насиленной земли»...

Воронеж, конечно, был частью страны, иногда «сидение» в нем опального поэта, как в капле воды, отражало черты и признаки господствующей системы, сталинского режима. И все же, говоря в дарственной надписи на книге жене Рудакова о «хорошем, рабочем и дружном воронежском времени», Мандельштам был искренен. «Если откажут [с пропиской в Москве — В. С.], вернемся в Воронеж...» — эти слова тоже о многом свидетельствуют. На «молодых воронежских холмах» была создана не «горсточка настоящих стихов», а целая книга, последняя книга поэта. И заключительный акт трагедии поэта разыгрался уже вне Воронежа, далеко от него: 27 декабря 1938 года в пересыльном лагере под Владивостоком скончался Осип Мандельштам. С этого момента и навечно только в стихах остался «всех живущих прижизненный друг»...

В. Свительский

ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ

ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ

1

Я живу на важных огородах.
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.
Ветер служит даром на заводах,
И далёко убегает гать.

Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных изыбля огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах.

И богато искривилась половица —
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится —
Только смерть да лавочка близка.

Апрель 1935

2

Наушнички, наушнички мои!
Попомню я воронежские ночи:
Недопитого голоса Аи
И в полночь с Красной площади гудочки...

Ну как метро?.. Молчи, в себе таи...
Не спрашивай, как набухают почки...
И вы, часов кремлевские бои, —
Язык пространства, сжатого до точки...

Апрель 1935

3

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож...

Апрель 1935

4

Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел:
Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо — твой Буонаротти...

Апрель 1935

5

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова!
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

Апрель 1935

6

ЧЕРНОЗЕМ

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор, —
Комочки влажные моей земли и воли...

В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа —
Тысячехолмие распаханной молвы:
Знать, безокружное в окружности есть что-то.

И все-таки земля — проруха и обух.
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай, —
Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним зазябливает ухо...

Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском повороте!
Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен,
глазаст...
Черноречивое молчание в работе.

Апрель 1935

7

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета —
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Май 1935

8

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:

На Красной площади всего круглей земля,
И скат ее твердеет добровольный,

На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно-раздольный.

Откидываясь вниз — до рисовых полей,
Покуда на земле последний жив невольник.

Май 1935

Как на Ка́ме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла —
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла,

Там я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.

А со мною жена — пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.

II

Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток.
Полноводная Кама неслась на буюк.

И хотелось бы гору с костром отслоить,
Да едва успеваешь леса посолить.

И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,

И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.

Апрель-май 1935

10

СТАНСЫ

I

Я не хочу среди юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу — и люди хороши.

Люблю шинель красноармейской складки —
Длину до пят, рукав простой и гладкий,
И волжской туче родственный покров,
Чтоб, на спине и на груди лопатся,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.

2

Проклятый шов, нелепая затея,
Нас разделили. А теперь — пойми:
Я должен жить, дыша и большевея,
И, перед смертью хорошея,
Еще побыть и поиграть с людьми!

3

Подумаешь, как в Чердыни-голубе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме:
Клевещущих козлов не досмотрел я драки,
Как петушок в прозрачной летней тьме, —
Харчи, да харк, да что-нибудь, да враки —
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.

4

И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата
Из дерева, стекла и молока...

5

Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла...

Я должен жить, дыша и большевая,
 Работать речь, не слушаясь, сам-друг.
 Я слышу в Арктике машин советских стук,
 Я помню все: немецких братьев шею
 И что лиловым гребнем Лорелен
 Садовник и палач наполнил свой досуг.

И не ограблен я, и не надломлен,
 Но только что всего переогромлен...
 Как «Слово о полку» струна моя туга,
 И в голосе моем после удушья
 Звучит земля — последнее оружие,
 Сухая влажность черноземных га!

Май—июль 1935

День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток
 Я, сжимаясь, гордился пространством за то,
 что росло на дрожжах.
 Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем
 сон, — слитен, чуток,
 А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах.

День стоял о пяти головах, и, чумая от пляса,
 Ехала конная, пешая шла черноверхая масса —
 Расширеньем аорты могущества в белых ночах —
 нет, в ножах —
 Глаз превращался в хвойное мясо.
 На вершок бы мне синего моря, на игольное
 только ушко,
 Чтобы двойка конвойного времени парусами
 неслась хорошо.
 Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау!
 Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?
 Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам
 дармоедов,

Грамотеет в шинелях с наганами племя
пушкинovedов —
Молодые любители белозубых стишков,
На вершок бы мне синего моря, на игольное
только ушко!

Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой —
За бревенчатым тылом, на ленте простынной
Утонуть и вскочить на коня своего.

Апрель — 1 июня 1935

12

От сырой простыни говорящая —
Знать, нашелся на рыб звукопас —
Надвигалась картина звучащая
На меня, и на всех, и на вас...

Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах,
Офицеры последней выточки —
На равнины зияющий пах...

Было слышно жужжание низкое
Самолетов, сгоревших дотла,
Лошадиная бритва английская
Адмиральские щеки скребла...

Измеряй меня, край, перекраивай —
Чуден жар прикрепленной земли!
Захлебнулась винтовка Чапаева —
Помоги, развяжи, раздели!..

Июнь 1935

13

Еще мы жизнью полны в высшей мере,
Еще гуляют в городах Союза
Из мотыльковых лапчатых материй
Китайчатые платица и блузы.

Еще машинка номер первый едко
Каштановые собирает взятки,
И падают на чистую салфетку
Разумные густеющие прядки.

Еще стрижей довольно и касаток,
Еще комета нас не очумила,
И пишут звездоносно и хвостато
Толковые лиловые чернила.

25 мая 1935

14

Римских ночей полновесные слитки,
Юношу Гете манившее лоно —
Пусть я в ответе, но не в убытке:
Есть многодонная жизнь вне закона.

Июнь 1935

15

Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчуждении и в силе —
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле...

И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели.

И прадеда скрипкой гордился твой род,
От шейки ее хорошея,
И ты раскрывала свой аленький рот,
Смеясь, итальянсья, русея...

Я тяжкую память твою берегу,
Дичок, медвежонок, Миньона,
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.

3 июня 1935

16

На мертвых ресницах Исаакий замерз,
И барские улицы сини —
Шарманщика смерть и медведицы ворс,
И чужие поленья в камине...

Уже выгоняет выжлятник пожар —
Линеек раскидистых стайку,
Несется земля — мебелированный шар,
И зеркало корчит всезнайку.

Площадками лестниц — разлад и туман,
Дыханье, дыханье и пенье,
И Шуберта в шубе замерз талисман —
Движенье, движенье, движенье...

3 июня 1935

17

За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой —
Кто с чохом — чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской чемчурой.

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей —
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.

Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом, нет, постой —
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой —

Вертлявой, в дирижерских фракках,
В дунайских фейерверках, скачках,
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.

Играй же на разрыв аорты,
С кошачьей головой во рту!
Три черта было, ты — четвертый,
Последний, чудный черт в цвету!

5 апреля — 18 июня 1935

18

Бежит волна — волной волне хребет ломая,
Кидаясь на луну в невольничьей тоске,
И янычарская пучина молодая,
Неусыпленная столица волновая,
Кривеет, мечется и роет ров в песке.

А через воздух сумрачно-хлопчатый
Неначатой стены мерещатся зубцы,
А с пенных лестниц падают солдаты
Султанов мнительных — разбрызганы, разъяты,
И яд разносят хладные скопцы.

27 июня 1935

19

Исполню дымчатый обряд:
В опале предо мной лежат
Морского лета земляники —
Двуискренние сердолики
И муравьиный брат — агат,

Но мне милей простой солдат
Морской пучины — серый, дикий,
Которому никто не рад.

Июль 1935

20

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну —
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну:

Позвоночное, обугленное тело,
Сознающее свою длину.

Возгласы темно-зеленой хвои,
С глубиной колодезной венки
Тянут жизнь и время дорогое,
Опершись на смертные станки, —
Обручи краснознаменной хвои,
Азбучные, крупные венки!

Шли товарищи последнего призыва
По работе в жестких небесах,
Пронесла пехота молчаливо
Восклицанья ружей на плечах.

И зенитных тысячи орудий —
Карих то зрачков иль голубых —
Шли нестройно — люди, люди, люди, —
Кто же будет продолжать за них?

21 июля 1935 — 30 мая 1936

ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ

21

Из-за домов, из-за лесов,
Длинней товарных поездов —
Гуди за власть ночных трудов,
Садко заводов и садов.

Гуди, старик, дыши сладко,
Как новгородский гость Садко
Под синим морем глубоко, —
Гуди протяжно в глубь веков,
Гудок советских городов.

6—9 декабря 1936

РОЖДЕНИЕ УЛЫБКИ

Когда заулыбается дитя
С развилкой и горечи, и сласти,
Концы его улыбки не шутя
Уходят в океанское безвластье.

Ему непобедимо хорошо:
Углами губ оно играет в славе —
И радужный уже строчится шов
Для бесконечного познания яви.

На лапы из воды поднялся материк —
Улитки рта наплыв и приближенье —
И бьет в глаза один атлантов миг
Под легкий наигрыш хвалы и удивленья.

8 декабря 1936 — 17 января 1937

23

Подивлюсь на свет еще немного,
На детей и на снега,
Но улыбка неподдельна, как дорога,
Непослушна, не слуга.

Декабрь 1936 — 1938 (?)

24

Мой щегол, я голову закину —
Поглядим на мир вдвоем:
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоём?

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?

Что за воздух у него в надлобьи —
Черн и красен, желт и бел!
В обе стороны он в оба смотрит — в обе! —
Не посмотрит — улетел!

9—27 декабря 1936

25

Нынче день какой-то желторотый —
Не могу его понять,
И глядят приморские ворота
В якорях, в туманах на меня...

Тихий, тихий по воде линиялой
Ход военных кораблей,
И каналов узкие пеналы
Подо льдом еще черней...

9—28 декабря 1936

26

Не у меня, не у тебя — у них
Вся сила окончаний родовых:
Их воздухом поющ тростник и скважист,
И с благодарностью улитки губ людских
Потянут на себя их дышащую тяжесть.
Нет имени у них. Войди в их хрящ,
И будешь ты наследником их княжеств, —

И для людей, для их сердец живых,
Блуждая в их извилинах, развивах,
Изобразишь и наслажденья их,
И то, что мучит их — в приливах и отливах.

9—27 декабря 1936

27

Внутри горы бездействует кумир
В покоях бережных, безбрежных и счастливых,
А с шеи каплет ожерелый жир,
Оберегая сна приливы и отливы.

Когда он мальчик был и с ним играл павлин,
Его индийской радугой кормили,
Давали молока из розоватых глин
И не жалели кошенили.

Кость усыпленная завязана узлом,
Очеловечены колени, руки, плечи.
Он улыбается своим тишайшим ртом,
Он мыслит костию и чувствует челом
И вспомнить силится свой облик человеческий...

10—26 декабря 1936

28

Я в сердце века. Путь неясен,
А время удаляет цель —
И посоха усталый ясень,
И меди нищенскую цвель.

14 декабря 1936

29

А мастер пушечного цеха,
Кузнечных памятников швец,
Мне скажет: ничего, отец, —
Уж мы сошьем тебе такое...

Декабрь 1936 (?)

30

Сосновой рощицы закон:
Виол и арф семейный звон.
Стволы извилисты и голы,
Но всё же арфы и виолы
Растут, как будто каждый ствол
На арфу начал гнуть Эол
И бросил, о корнях жалея,
Жалея ствол, жалея сил;
Виолу с арфой пробудил
Звучать в коре, коричневая.

16—18 декабря 1936

Пластинкой тоненькой жиллета
 Легко щетину спячки снять —
 Полуукраинское лето
 Давай с тобою вспоминать.

Вы, именитые вершины,
 Дерев косматых именины —
 Честь Рюйсдалевых картин,
 И на почин — лишь куст один
 В янтарь и мясо красных глин.

Земля бежит наверх. Приятно
 Глядеть на чистые пласты
 И быть хозяином объятной
 Семипалатной простоты.

Его холмы к далекой цели
 Стогами легкими летели,
 Его дорог степной бульвар
 Как цепь шатров в тенистый жар!
 И на пожар рванулась ива,
 А тополь встал самолюбиво...
 Над желтым лагерем жнивья
 Морозных дымов колея.

А Дон еще, как полукровка,
 Сребрясь и мелко, и неловко,
 Воды набравши с полковша,
 Терялся, что моя душа.

Когда на жесткие постели
 Ложилось бремя вечеров
 И, выходя из берегов,
 Деревья-бражники шумели...

15—27 декабря 1936

Эта область в темноводье —
 Хляби хлеба, гроз ведро —
 Не дворянское уголье —
 Океанское ядро.

Я люблю ее рисунок —
Он на Африку похож.
Дайте свет — прозрачных лунок
На фанере не сочтешь.
— Анна, Россошь и Гремяче. —
Я твержу их имена,
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна.

Я кружил в полях совхозных —
Полон воздуха был рот,
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот.
Въехал ночью в рукавичный,
Снегом пышущий Тамбов,
Видел Цны — реки обычной —
Белый-белый бел покров.
Трудодень земли знакомой
Я запомнил навсегда,
Воробьевского райкома
Не забуду никогда.

Где я? Что со мной дурного?
Степь беззимняя гола.
Это мачеха Кольцова,
Шутишь: родина щегла!
Только города немного
В гололедицу обзор,
Только чайника ночного
Сам с собою разговор...
В гуще воздуха степного
Перекличка поездов
Да украинская мова
Их растянутых гудков.

23—27 декабря 1936

33

Ночь. Дорога. Сон первичный
Соблазнительен и нов...
Что мне снится? Рукавичный
Снегом пышущий Тамбов

Или Цны — реки обычной —
Белый, белый бел-покров?
Или я в полях совхозных —
Воздух в рот и жизнь берет
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот?

Кроме хлеба, кроме дома,
Снится мне глубокий сон:
Трудодень, подъятый дремой,
Превратился в синий Дон...

Анна, Россошь и Гремячье —
Процветут их имена. —

Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна!..

23—27 декабря 1936

34

Вехи дальние обоза
Сквозь стекло особняка,
От тепла и от мороза
Близкой кажется река.
И какой там лес — еловый?
Не еловый, а лиловый, —
И какая там береза,
Не скажу наверняка —
Лишь чернил воздушных проза
Неразборчива, легка...

26 декабря 1936

35

Шло цепочкой в темноводье
Протяженных гроз ведро
Из дворянского угодья
В океанское ядро.

Шло, само себя колыша,
Осторожно, грозно шло...

Смотришь: небо стало выше —
Новоселье, дом и крыша —
И на улице светло!

26 декабря 1936

36

Когда щегол в воздушной сдобе
Вдруг затрясется, сердцевит,
Ученый плащик перчит злоба,
А чепчик черным красовит.

Клевещет жердочка и планка,
Клевещет клетка сотней спиц —
И все на свете наизнанку,
И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц.

Декабрь 1936

37

Как подарок запоздалый
Ощутима мной зима —
Я люблю ее сначала
Неуверенный размах.

Хороша она испугом,
Как начало грозных дел, —
Перед всем безлесным кругом
Даже ворон оробел.

Но сильнее всего непрочно —
Выпуклых голубизна —
Полукруглый лед височный
Речек, бающих без сна...

29—30 декабря 1936

Оттого все неудачи,
 Что я вижу пред собой
 Ростовщичий глаз кошачий —
 Внук он зелени стоячей
 И купец воды морской.

Там, где огненными щами
 Угощается Кашей,
 С говорящими камнями
 Он на счастье ждет гостей —
 Камни трогает клещами,
 Щиплет золото гвоздей.

У него в покоях спящих
 Кот живет не для игры —
 У того в зрачках горящих
 Клад зажмуренной горы,
 И в зрачках тех леденящих,
 Умоляющих, просящих —
 Шароватых искр пиры...

29—30 декабря 1936

Твой зрачок в небесной корке,
 Обращенный вдаль и ниц,
 Защищают оговорки
 Слабых, чующих ресниц.

Будет он, обожествленный,
 Долго жить в родной стране,
 Омут ока удивленный, —
 Кинь его вдогонку мне!

Он глядит уже охотно
 В мимолетные века —
 Светлый, радужный, бесплотный,
 Умоляющий пока.

2 января 1937

Улыбнись, ягненок гневный с Рафаэлева холста, —
 На холсте уста вселенной, но она уже не та...
 В легком воздухе свирели раствори жемчужин боль —
 В синий, синий цвет синели океана вьелась соль...

Цвет воздушного разбоя и пещерной густоты,
 Складки бурного покоя на коленях разлиты.
 На скале черствее хлеба — молодых тростинки рощ,
 И плывет углами неба восхитительная мощь.

9 января 1937

41

Когда в ветвях понурых
 Заводит чародей
 Гнедых или каурых
 Шушуканье мастей, —

Не хочет петь линючий,
 Ленивый богатырь —
 И малый, и могучий
 Зимующий снегирь, —

Под неба нависанье,
 Под свод его бровей
 В сиреневые сани
 Усядусь поскорей...

9 января 1937

42

Я около Кольцова
 Как сокол закольцован —
 И нет ко мне гонца,
 И дом мой без крыльца.

К ноге моей привязан
 Сосновый синий бор,
 Как вестник, без указа,
 Распахнут кругозор.

В степи кочуют кочки —
И всё идут, идут
Ночлеги, ночи, ночки —
Как бы слепых везут...

9 января (?) 1937

43

Дрожжи мира дорогие:
Звуки, слезы и труды —
Ударенья дождевые
Закипающей беды,
И потери звуковые
Из какой вернуть руды?

В нищей памяти впервые
Чуешь вмятины слепые,
Медной полные воды, —
И идешь за ними следом,
Сам себе немил, неведом —
И слепой, и поводырь...

12—18 января 1937

44

Влез бесенок в мокрой шерстке —
Ну, куды ему, куды? —
В подкопытные наперстки,
В торопливые следы —
По копейкам воздух версткий
Обирает с слободы...

Брызжет в зеркальцах дорога —
Утомленные следы
Постоят еще немного
Без покрова, без слюды...
Колесо брызжит отлого:
Улеглось — и полбеды!

Скучно мне: мое прямое
Дело тараторит вкось —
По нему прошлось другое,
Надсмеялось, сбило ось...

12—18 января 1937

45

Еще не умер ты. Еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен —
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И жалок тот, кто сам полуживой,
У тени милостыни просит.

15—16 января 1937

46

В лицо морозу я гляжу один:
Он — никуда, я — ниоткуда,
И все утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете —
Его прищур спокоен и утешен.
Десятизначные леса — почти что те...
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен.

16 января 1937

О, этот медленный, одышливый простор!
 Я им пресыщен до отказа, —
 И отдышавшийся распахнут кругозор —
 Повязку бы на оба глаза!

Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав
 На берегах зубчатых Камы:
 Я б удержал ее застенчивый рукав,
 Ее круги, края и ямы.

Я б с ней сработался — на век, на миг один —
 Стремнин осадистых завистник,
 Я б слушал под корою текучих древесин
 Ход кольцеванья волокнистый...

16 января 1937

Что делать нам с убитостью равнин,
 С протяжным голодом их чуда?
 Ведь то, что мы открытостью в них мним,
 Мы сами видим, засыпая, зрим —
 И все растет вопрос: куда они, откуда,
 И не ползет ли медленно по ним
 Тот, о котором мы во сне кричим, —
 Пространств несозданных Иуда?

16 января 1937

Как женственное серебро горит,
 Что с окисью и примесью боролось,
 И тихая работа серебрит
 Железный плуг и песнотворца голос.

Январь 1937 (?)

Я нынче в паутине световой —
 Черноволосой, светло-русой, —
 Народу нужен свет и воздух голубой,
 И нужен хлеб и снег Эльбруса.

И не с кем посоветоваться мне,
 А сам найду его едва ли:
 Таких прозрачных, плачущих камней
 Нет ни в Крыму, ни на Урале.

Народу нужен стих таинственно-родной,
 Чтоб от него он вечно просыпался
 И льянукудрю, каштановой волной —
 Его звучаньем — умывался...

20 января 1937

Как землю где-нибудь небесный камень будит,
 Упал опальный стих, не знающий отца:
 Неумолимое — находка для творца,
 Не может быть другим, никто его не судит.

20 января 1937

Слышу, слышу ранний лед,
 Шелестящий под мостами,
 Вспоминаю, как плывет
 Светлый хмель над головами.

С черствых лестниц, с площадей
 С угловатыми дворцами
 Круг Флоренции своей
 Алигьери пел мощней
 Утомленными губами.

Так гранит зернистый тот
 Тень моя грызет очами,
 Видит ночью ряд колод,
 Днем казавшихся домами,

Или тень баклуши бьет
И позевывает с вами,
Иль шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,
И несладким кормит хлебом
Неотвязных лебедей...

22 января 1937

53

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок...
От замкнутых я, что ли, пьян дверей? —
И хочется мычать от всех замков и скрепок...

И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы —
И прячутся поспешно в уголки,
И выбегают из углов угланы...

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке, —

А я за ними ахаю, крича —
В какой-то мерзлый деревянный короб:
Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!

1 февраля 1937

54

Люблю морозное дыханье
И пара зимнего признание:
Я — это я; явь — это явь...

И мальчик, красный, как фонарик,
Своих салазок государик
И заправила, мчится вплавь.

И я — в размолвке с миром, с волей —
Заразе саночек мирволю —
В серебристых скобках, в бахромах —

И век бы падал векши легче
И легче векши к мягкой речке —
Полнеба в валенках, в ногах...

24 января 1937

55

Средь народного шума и спеха,
На вокзалах и пристанях,
Смотрит века могучая вежа
И бровей начинается взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала,
А потом куда хочешь влеки —
В говорливые дебри вокзала,
В ожиданья у мощной реки.

Далеко теперь та стоянка,
Тот с водой кипяченой бак,
На цепочке кружка-жестянка
И глаза застилавший мрак.

Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба,
И ласкала меня и сверлила
Со стены этих глаз журьба.

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах...

Не припомнить того, что было:
Губы жарки, слова черствы —
Занавеску белую било,
Несся шум железной листвы...

А на деле-то было тихо,
Только шел пароход по реке,

Да за кедром цвела гречиха,
Рыба шла на речном говорке...

И к нему — в его сердцевину —
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел...

Январь 1937

56

Где связанный и пригвожденный стон?
Где Прометей — скалы подспорье и пособие?
А коршун где — и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?

Тому не быть — трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы —
Но эти губы вводят прямо в суть
Эхила-грузчика, Софокла-лесоруба.

Он эхо и привет, он вежа, — нет, лемех...
Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех —
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.

19 января — 4 февраля 1937

57

Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время,
И резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозой спят.

Простишь ли ты меня, великолепный брат,
И мастер, и отец черно-зеленой теми, —
Но око соколиного пера
И жаркие ларцы у полночи в гареме
Смущают не к добру, смущают без добра
Мехами сумрака взволнованное племя.

4 февраля 1937

Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева,
 И парус медленный, что облаком продолжен, —
 Я с вами разлучен, вас оценив едва:
 Длинней органных фуг — горька морей трава,
 Ложноволосая, — и пахнет долгой ложью,
 Железной нежностью хмелеет голова,
 И ржавчина чуть-чуть отлогий берег гложет...
 Что ж мне под голову другой песок подложен?
 Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье
 Иль этот ровный край — вот все мои права,
 И полной грудью их вдыхать еще я должен.

4 февраля 1937

Пою, когда гортань сыра, душа — суха,
 И в меру влажен взор, и не хитрит сознание:
 Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
 Здорово ли в крови Колхиды колыханье?
 И грудь стесняется, без языка — тиха:
 Уже не я пою — поет мое дыханье,
 И в горных ножнах слух, и голова глуха...

Песнь бескорыстная — сама себе хвала:
 Утеха для друзей и для врагов — смола.

Песнь одноглазая, растущая из мха, —
 Одноголосый дар охотничьего быта,
 Которую поют верхом и на верхах,
 Держа дыханье вольно и открыто,
 Заботясь лишь о том, чтоб честно и сердито
 На свадьбу молодых доставить без греха...

8 февраля 1937

Вооруженный зреньем узких ос,
 Сосущих ось земную, ось земную,
 Я чую всё, с чем свидеться пришлось,
 И вспоминаю наизусть и все...

И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черногосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить, сон и смерть минуя,
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную...

8 февраля 1937

61

Были очи острее точимой косы —
По зегзице в зенице и по капле росы, —

И едва научились они во весь рост
Различать одинокое множество звезд.

9 февраля 1937

62

Еще он помнит башмаков износ —
Моих подметок стертые величье,
А я — его: как он разногос,
Черноволок, с Давид-горой граница.

Подновлены мелком или белком
Фисташковые улицы-пролазы:
Балкон — наклон — подкова — конь — балкон,
Дубки, чинары, медленные вязы...

И букв кудрявых женственная цепь
Хмельна для глаза в оболочке света, —
А город так горазд и так уходит в крепь
И в молодежавое, стареющее лето.

7—11 февраля 1937

Обороняет сон мою донскую сонь,
И разворачиваются черепах маневры —
Их быстроходная, взволнованная бронь,
И любопытные ковры людского говора...

И в бой меня ведут понятные слова —
За оборону жизни, оборону
Страны-земли, где смерть уснет, как днем сова...
Стекло Москвы горит меж ребрами гранеными.

Необоримые кремлевские слова —
В них оборона обороны;
И брони боевой и бровь, и голова
Вместе с глазами любововно собраны.

И слушает земля — другие страны — бой,
Из хорового падающий короба:
— Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой, —
И хор поет с часами рука об руку.

3—11 февраля 1937

Как дерево и медь Фаворского полет —
В дощатом воздухе мы с временем соседи,
И вместе нас ведет слоистый флот
Распиленных дубов и яворовой меди.

И в кольцах сердится еще смола, сочась,
Но разве сердце лишь испуганное мясо?
Я сердцем виноват и сердцевины часть
До бесконечности расширенного часа.

Час, насыщающий бесчисленных друзей,
Час грозных площадей с счастливыми глазами...
Я обведу еще глазами площадь всей,
Всей этой площади с ее знамен лесами.

11 февраля 1937

Я в львиный ров и крепость погружен
 И опускаюсь ниже, ниже, ниже
 Под этих звуков ливень дрожжевой —
 Сильнее льва, мощнее Пятикнижья.

Как близко, близко твой подходит зов —
 До заповедей рода, и в первины —
 Океанийских низка жемчугов
 И таитянок кроткие корзины...

Карающего пеня материк,
 Густого голоса низинами надвинься!
 Богатых дочерей дикарско-сладкий лик
 Не стоит твоего — праматери — мизинца.

Не ограничена еще моя пора:
 И я сопровождал восторг вселенский,
 Как вполголосная органная игра
 Сопровождает голос женский.

12 февраля 1937

ТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ

66

СТИХИ О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ

1

Этот воздух пусть будет свидетелем,
 Дальнобойное сердце его,
 И в землянках, всеядный и деятельный,
 Океан без окна — вещество.

До чего эти звезды изветливы!
 Все им нужно глядеть — для чего? —
 В осужденье судьбы и свидетеля,
 В океан без окна, вещество...

Помнит дождь, неприветливый сеятель,
Безымянная манна его,
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.

Будут люди, холодные, хилые,
Убивать, холодать, голодать —
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла совладать.

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как горбатого учит могила
И воздушная яма влечет.

2

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий жиры...

3

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей,
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте —
Доброй ночи, всего им хорошего
От лица земляных крепостей.

Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оптовых смертей —

За тобой, от тебя, целокупное,
Я губами несусь в темноте —

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил, —
Развороченных — пасмурный, оспенный
И придымленный гений могил.

4

Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьём Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружит с человеком калека —
Им обоим найдется работа,
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка —
Эй, товарищество, — шар земной!

5

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска,
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится —
Чаша чаш и отчизна отчизне —
Звездным рубчиком шитый чепец —
Чепчик счастья — Шекспира отец...

6

Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Как бы обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный —
Эта слава другим не в пример.

И сознание свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево.
Свою голову ем под огнем?

Для чего ж заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Если белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчатся в свой дом?

Чуешь, мачеха звездного табора,
Ночь, — что будет сейчас и потом?

7

Напрягаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом...
— Я рожден в девяносто втором...
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья, с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.

2 марта 1937—1938

67

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости,

Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых...

В легком декабре твой воздух стриженный
Индевет — денежный, обиженный...

Но фиалка и в тюрьме — с ума сойти
в безбрежности! —
Свищет песенка — насмешница, небрежница,

Где бурлила, королей смывая,
Улица июльская кривая...

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли —

В океанском котелке с растерянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницей...

Там, где с розой на груди в двухбашенной испарине
Паутины каменеет шаль,
Жаль, что карусель воздушно-благодарная
Оборачивается, городом дыша, —

Наклони свою шею, безбожница
С золотыми глазами козы,
И кривыми картавыми ножницами
Купы скаредных роз раздразни.

3 марта 1937

68

Я видел озеро, стоявшее отвесно.
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный.
Лиса и лев боролись в челноке.

Глазели внутрь трех лающих порталов
Недуги — недруги других невоскрытых дуг.
Фиалковый пролет газель перебежала,
И башнями скала вздохнула вдруг, —

И, влагой напоен, восстал песчаник честный,
И среди ремесленного города-сверчка
Мальчишка-океан встает из речки пресной
И чашками воды швыряет в облака.

4 марта 1937

На доске малиновой, червонной,
 На кону горы крутопоклонной —
 Втридорога снегом напоенный
 Высоко занесся санный, сонный
 Полугород, полуберег конный,
 В сбрую красных углей запряженный,
 Желтою мастикой утепленный
 И перегоревший в сахар жженный.
 Не ищи в нем зимних масел рая,
 Конькобежного фламандского уклона,
 Не раскаркается здесь веселая, кривая
 Карличья в ушастых шапках стая, —
 И, меня сравнением не смущая,
 Срежь рисунок мой, в дорогу крепкую
 влюбленный,
 Как сухую, но живую лапу клена
 Дым уносит, на ходулях убегая...

6 марта 1937

Я скажу это начерно, шепотом —
 Потому что еще не пора:
 Достигается потом и опытом
 Безотчетного неба игра...

И под временным небом чистилища
 Забываем мы часто о том,
 Что счастливое небохранилище —
 Раздвижной и прижизненный дом.

9 марта 1937

Небо вечера в стену влюбилось —
 Всё изрублено светом рубцов, —
 Провалилось в нее, осветилось,
 Превратилось в тринадцать голов.

Вот оно — мое небо ночное,
Пред которым как мальчик стою:
Холодеет спина, очи ноют,
Стенобитную твердь я ловлю —

И под каждым ударом тарана
Осыпаются звезды без глав:
Той же росписи новые раны —
Неоконченной вечности мгла...

9 марта 1937

72

Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко, — ответь...
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.

Не разнять меня с жизнью — ей снится
Убивать — и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская была тоска.

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое расколите
Вы на синего звона куски...

И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире и выше
Отзвук неба во всю мою грудь!

9 (?) марта 1937

73

Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко, — ответь! —
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть,
Задыхаться, чернеть, голубеть...

Если я не вчерашний, не зряшный —
Ты, который стоишь надо мной, —
Если ты виночерпий и чашник,
Дай мне силу без пены пустой
Выпить здравье кружащейся башни
Рукопашной лазури шальной...

Голубятни, черноты, скворешни,
Самых синих теней образцы —
Лед весенний, лед высший, лед вешний,
Облака — обаянья борцы, —
Тише: тучу ведут под уздцы!

9—19 марта 1937

74

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя —
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия...

Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распуская на ребра, их сызнава
Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом,
Только здесь — на земле, а не на небе,
Как в наполненный музыкой дом, —
Только их не спугнуть, не изранить бы —
Хорошо, если мы доживем...

То, что я говорю, мне прости...
Тихо, тихо его мне прочти...

15 марта 1937

Не сравнивай: живущий несравним.
 С каким-то ласковым испугом
 Я согласился с равенством равнин,
 И неба круг мне был недугом.

Я обращался к воздуху-слуге,
 Ждал от него услуги или вести,
 И собирался в путь, и плывал по дуге
 Неначинающихся путешествий...

Где больше неба мне — там я бродить готов,
 И ясная тоска меня не отпускает
 От молодых еще воронежских холмов
 К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

16 марта 1937

РИМ

Где лягушки фонтанов, расквакавшись
 И разбрызгавшись, больше не спят
 И, однажды проснувшись, расплакавшись,
 Во всю мочь своих глоток и раковин
 Город, любящий сильным поддакивать,
 Земноводной водою кропят, —

Древность легкая, летняя, наглая,
 С жадным взглядом и плоской ступней,
 Словно мост ненарушенный Ангела
 В плоскоступьи над желтой водой, —

Голубой, онелепленный, пепельный,
 В барабанном наросте домов,
 Город, ласточкой купола лепленный
 Из проулков и из сквозняков, —
 Превратили в убийства питомник
 Вы — коричневой крови наемники —
 Итальяские чернорубашечники —
 Мертвых цезарей злые щенки...

Все твои, Микель-Анджело, сироты,
Облеченные в камень и стыд:
Ночь, сырая от слез, и невинный,
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит, —
Мощь свободная и мера львиная
В усыпленьи и в рабстве молчит.

И морщинистых лестниц уступки
В площадь льющих лестничных рек, —
Чтоб звучали шаги как поступки,
Поднял медленный Рим-человек,
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.

Ямы Форума заново вырыты,
И открыты ворота для Ирода —
И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.

16 марта 1937

77

Чтоб, приятель и ветра и капель,
Сохранил их песчаник внутри,
Нацарапали множество цапель
И бутылок в бутылках цари.

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.

То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец,
Еще слышен твой скрежет зубовой,
Беззаботного праха истец.

Размотавший на два завещанья
Слабовольных имуществ клубок
И в прощаньи отдав, в верещаньи
Мир, который как череп глубок, —

Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на пауцьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.

Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть —
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть...

18 марта 1937

78

Гончарами велик остров синий —
Крит зеленый. Запекся их дар
В землю звонкую. Слышишь подземных
Плавников могучий удар?

Это море легко на помине
В осчастливленной обжигом глине,
И сосуда студеная власть
Раскололась на море и глаз.

Ты отдай мне мое, остров синий,
Крит летучий, отдай мне мой труд
И сосцами текучей богини
Воскорми обожженный сосуд...

Это было и пелось, синяя,
Много задолго до Одиссея,
До того, как еду и питье
Называли «моя» и «мое».

Выздоровливай же, излучайся,
Волоокого неба звезда,
И летучая рыба — случайность,
И вода, говорящая «да».

Март 1937

Длинной жажды должник виноватый,
 Мудрый сводник вина и воды:
 На боках твоих пляшут козлята
 И под музыку зреют плоды.

Флейты свищут, клянутся и злятся,
 Что беда на твоём ободу
 Черно-красном — и некому взяться
 За тебя, чтоб поправить беду.

21 марта 1937

О, как же я хочу,
 Нечуемый никем,
 Лететь вослед лучу,
 Где нет меня совсем.

А ты в кругу лучись —
 Другого счастья нет —
 И у звезды учись
 Тому, что значит свет.

А я тебе хочу
 Сказать, что я шепчу,
 Что шепотом лучу
 Тебя, дитя, вручу.

27 марта 1937

Нереиды мои, нереиды!
 Вам рыданья — еда и питье,
 Дочерям средиземной обиды
 Состраданье обидно мое.

Март 1937

Флейты греческой тэта и йота —
 Словно ей не хватало молвы, —
 Неизваянная, без отчета,
 Зрела, маялась, шла через рвы...

И ее невозможно покинуть,
 Стиснув зубы, ее не унять,
 И в слова языком не продвинуть,
 И губами ее не разнять...

А флейтист не узнает покоя:
 Ему кажется, что он один,
 Что когда-то он море родное
 Из сиреневых вылепил глин...

Звонким шепотом честолюбивых,
 Вспоминающих шепотом губ
 Он торопится быть бережливым,
 Емлет звуки — опрятен и скуп...

Вслед за ним мы его не повторим,
 Комья глины в ладонях моря,
 И когда я наполнился морем —
 Мором стала мне мера моя...

И свои-то мне губы не любви —
 И убийство на том же корню —
 И невольню на убыль, на убыль
 Равнодействие флейты клоню...

7 апреля 1937

Как по улицам Киева-Вия
 Ищет мужа не знаю чья жинка,
 И на щеки ее восковые
 Ни одна не скатилась слезинка:

Не гадают цыганочки кралям,
 Не играют в Купеческом скрипки,

На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.

Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
«Мы вернемся еще — разумеете...»

Апрель 1937

84

Я к губам подношу эту зелень —
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков.

Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?

А квакушки, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочною выдумкой пар.

30 апреля 1937

85

Клейкой клятвой липнут почки,
Вот звезда скатилась —
Это мать сказала дочке,
Чтоб не торопилась.

— Подожди, — шепнула внятно
Неба половина,
И ответил шелест скатный:
— Мне бы только сына...

Стану я совсем другою
Жизнью величаться.
Будет зыбка под ногою
Легкою качаться.

Будет муж, прямой и дикий,
Кротким и послушным,
Без него, как в черной книге,
Страшно в мире душном...

Подмигнув, на полуслове
Запнулась зарница.
Старший брат нахмурил брови.
Жалится сестрица:

Ветер бархатный, крыластый
Дует в дудку тоже, —
Чтобы мальчик был лобастый,
На двоих похожий.

Спросит гром своих знакомых:
— Вы, громà, видали,
Чтобы липу до черемух
Замуж выдавали?

Да из свежих одиночеств
Леса — крики пташьи:
Свахи-птицы свищут почесть
Льстивую Наташе.

И к губам такие липнут
Клятвы, что, по чести,
В конском топоте погибнуть
Мчатся очи вместе.

Все ее торопят часто:
— Ясная Наташа,
Выходи, за наше счастье,
За здоровье наше!

2 мая 1937

86

На меня нацелилась груша да черемуха —
Силою рассыпчатой бьет в меня без промаха.

Кисти вместе с звездами, звезды вместе
с кистями, —
Что за двоевластье там? В чьем соцветьи истина?

С цвету ли, с размаха ли — бьет воздушно-целыми
В воздух, убиваемый кистенями белыми.

И двойного запаха сладость неуживчива:
Борется и тянется — смешана, обрывчива.

4 мая 1937

87—88

I

К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет — чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И, может статься, ясная догадка
В ее походке хочет задержаться —
О том, что эта вешняя погода
Для нас — праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.

II

Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их — гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их призванье.
И ласки требовать у них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня — ангел, завтра — червь могильный,
А послезавтра — только очертанье...
Что было — поступь — станет недоступно...
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И все, что будет, — только обещанье.

4 мая 1937

А. АХМАТОВА

ВОРОНЕЖ

И город весь стоит оледенелый,
Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталам я прохожу несмело.
Узорных санок так неверен бег.
А над Петром воронежским — вороны,
Да тополя, и свод светло-зеленый,
Размытый, мутный, в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны
Могучей, победительной земли.
И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами сразу зазвенят сильнее,
Как будто пьют за ликование наше
На брачном пире тысячи гостей.

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

4 марта 1936

А. АХМАТОВА

О. Мандельштаму

Я над ними склонюсь, как над чашей,
В них заветных заметок не счесть —
Окровавленной юности нашей
Эта черная нежная весть.

Тем же воздухом, так же над бездной
Я дышала когда-то в ночи,
В той ночи, и пустой и железной,
Где напрасно зови и кричи.

О, как пряно дыханье гвоздики,
Мне когда-то приснившейся там,
Это кружатся Эвридики,
Бык Европу везет по волнам.

Это наши проносятся тени
Над Невой, над Невой, над Невой,
Это плещет Нева о ступени,
Это пропуск в бессмертие твой.

Это ключики от квартиры,
О которой теперь ни гу-гу...
Это голос таинственной лиры
На загробном гостящем лугу.

1957

А. АХМАТОВА

ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА

...и смерть Лозинского каким-то таинственным образом оборвала нить моих воспоминаний. Я больше не смею вспоминать что-то, что он уже не может подтвердить (о Цехе поэтов, акмеизме, журнале «Гиперборей» и т. д.). Последние годы из-за его болезни мы очень редко встречались, и я не успела договорить с ним чего-то очень важного и прочесть ему мои стихи тридцатых годов (т. е. «Реквием»). От этого он в какой-то мере продолжал считать меня такой, какой он знал меня когда-то в Царском. Это я выяснила, когда в 1940 г. мы смотрели вместе корректуру сборника «Из шести книг».

.....

Что-то в этом роде было и с Мандельштамом (который, конечно, все мои стихи знал), но по-другому. Он вспоминать не умел, вернее, это был у него какой-то иной процесс, названья которому сейчас не подберу, но который, несомненно, близок к творчеству. (Пример — Петербург в «Шуме времени», увиденный сияющими глазами 5-летнего ребенка.)

Мандельштам был одним из самых блестящих собеседников: он слушал не самого себя и отвечал не самому себе, как сейчас делают почти все. В беседе был учтив, находчив и бесконечно разнообразен. Я никогда не слышала, чтобы он повторялся или пускал заигранные пластинки. С необычайной легкостью О. Э. выучивал языки. «Божественную комедию» читал наизусть страницами по-итальянски. Незадолго до смерти просил Надю выучить его английскому языку, который совсем не знал. О стихах говорил ослепительно пристрастно и

иногда бывал чудовищно несправедлив, например, к Блоку. О Пастернаке говорил: «Я так много думал о нем, что даже устал» и «Я уверен, что он не прочел ни одной моей строчки»¹. О Марине: «Я антицветаец».

В музыке О. был дома, и это крайне редкое свойство. Больше всего на свете боялся собственной немоты, называя ее удушьем. Когда она настигала его, он метался в ужасе и придумывал какие-то нелепые причины для объяснения этого бедствия. Вторым и частым его огорчением были читатели. Ему постоянно казалось, что его любят не те, кто падо. Он хорошо знал и помнил чужие стихи, часто влюблялся в отдельные строчки. Например, «На грязь горячую от топота коней // Ложится белая одежда брата-снега»... (Я помню это только с его голоса. Чье это?) Легко запоминал прочитанное ему. Любил говорить про что-то, что называл своим «истуканством». Иногда, желая меня потешить, рассказывал какие-то милые пустяки. Например, стих Маллармэ: «La jeune mère allaitant son enfant» он будто в ранней юности перевел так: «И молодая мать, кормящая со сна». Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на «Тучке» и хохотали до обморочного состояния, как кондитерские девушки в «Улиссе» Джойса.

Я познакомилась с Мандельштамом на «Башне» Вячеслава Иванова весной 1911 года. Тогда он был художавым мальчиком с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с ресницами в полщеки. Второй раз я видела его у Толстых на Староневском, он не узнал меня, и А. Н. стал его расспрашивать, какая жена у Гумилева, и он показал руками, какая на мне была большая шляпа. Я испугалась, что произойдет что-то непоравимое, и назвала себя.

Это был мой первый Мандельштам, автор зеленого «Камня» (изд. «Акмэ») с такой надписью: «Анне Ахматовой — вспышки сознания в беспамятстве дней. Почтительно — Автор».

Со свойственной ему прелестной самоиронией Осип любил рассказывать, как старый еврей, хозяин типографии, где печатался «Камень», поздравляя его с вы-

¹ Будущее показало, что он был прав (см. Автобиографию Пастернака, где он пишет, что в свое время не оценил четырех поэтов: Гумилева, Хлебникова, Багрицкого и Мандельштама).

ходом книги, пожал ему руку и сказал: «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше».

Я вижу его как бы сквозь резкий дым — туман Васильевского острова и в ресторане бывш. «Кинши»¹, где когда-то, по легенде, Ломоносов пропил казенные часы, и куда мы (Гумилев и я) иногда ходили завтракать с «Тучки»².

Этот Мандельштам — щедрый сотрудник, если не соавтор «Антологии античной глупости», которую члены Цеха поэтов сочиняли (почти все, кроме меня) за ужином. («Лесбия, где ты была», «Сын Леонида был скуп», «Странник! откуда идешь? — Я был в гостях у Шилея»:

Дивно живет человек, за обедом кушает гуся,
Кнопки ль коснется рукой, сам зажигается свет.
Если такие живут на Четвертой Рождественской люди —
Странник! Ответствуй, молю, кто же живет на Восьмой?)

Помнится, — это работа Осипа. Зенкевич того же мнения³. Эпиграмма на Осипа:

— «Пепел на левом плече и молчи —
Ужас друзей: — Златозуб».

(Это — «Ужас морей — однозуб».)

Это, может быть, даже Гумилев. Куря, Осип всегда стряхивал пепел как бы за плечо, однако на плече обычно нарастала горка пепла.

Может быть, стоит сохранить обрывки сочиненной «Цехом» пародии на знаменитый сонет Пушкина («Суворый Дант не презирал сонета»):

Valère Brussoff не презирал сонета,
Венки из них Иванов заплетал,
Размеры их любил супруг Анеты,
Не плоше ль их Волошин лопотал.
И многие пленялись им поэты,
Кузмин его извощиком избрал,
Когда, забыв воланы и ракеты,
Скакал за Блоком, да не доскакал!

¹ Угол 2-ой линии и Большого проспекта. Теперь там парикмахерская.

² Никаких собраний на «Тучке» не бывало и быть не могло. Это просто студенческая комната Николая Степановича, где и сидеть-то было не на чем. Описание фэйф-о-клока на «Тучке» (Георгий Иванов: «Поэты») выдуманы до последнего слова. Н. В. Н<едоброво> не переступал порога «Тучки».

³ См. «Воздушные пути», № 3.

Владимир Нарбут, <этот> волк заправский
В метафизический сюртук <его?> облек,
И для него Зенкевич пренебрег
Алмазными росинками Моравской.

Вот стихи (триолеты) об этих пятницах (кажется,
В. В. Гиппиуса).

1.

По пятницам в Гиперборее
Расцвет литературных роз
.....

Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
Рукой лаская исполинской
Свое журнальное дитя.

2.

У Николая Гумилева
Высоко задрана нога,
Для романтического сева
Разбрасывая жемчуга.
Пусть в Царском громко плачет Лева,
У Николая Гумилева
Высоко задрана нога.

3.

Печальным взором и манящим
Глядит Ахматова на всех,
Был выхухолем настоящим
Ее благоуханный мех,
Глядит в глаза гостей молчащих
.....
.....

4.

...Мандельштам Иосиф
В акмеистическое ландо сев...

Недавно найдены письма О. Э. к Вячеславу Иванову (1909). Это письма участника Проакадемии (по Башне). Это Мандельштам-символист. Следов того, что Вяч. Иванов ему отвечал, пока нет. Их писал мальчик 18-ти лет, но можно поклясться, что автору их, этих писем, — 40 лет. Там же множество стихов. Они хороши, но в них нет того, что мы называем — Мандельштамом.

Воспоминания сестры Аделаиды Герцык утверждают, что Вяч. Иванов не признавал нас всех. В 1911 никакого пиетета к Вяч. Иванову в Мандельштаме не было.

Когда в 1915] году Вяч. Иванов приехал в Петербург, он был у Сологубов на Разъезжей. Необычайно парадный вечер и великолепный ужин. В гостиной подошел ко мне Мандельштам и сказал: «Мне кажется, что один мэтр — зрелище величественное, а два — немного смешное».

Цех бойкотировал «Академию Стиха». См., например:

Вячеслав, Чеслав Иванов
Телом крепкий, как орех,
Академию диванов
Колесом пустил на цех...

В десятилетие мы, естественно, всюду встречались: в редакциях, у знакомых, на пятницах в Гиперборее, т. е. у Лозинского, в «Бродячей собаке», где он, между прочим, представил мне Маяковского¹, о чем очень потешно рассказывал Харджиеву в 30-х годах, в «Академии Стиха» (Общество ревнителей художественного слова, где царил Вячеслав Иванов) и на враждебных этой академии собраниях Цеха поэтов, где Мандельштам очень скоро стал первой скрипкой. Тогда же он написал таинственное (и не очень удачное) стихотворение про черного ангела на снегу. Надя утверждает, что оно относится ко мне.

С этим «Черным Ангелом» дело обстоит, мне думается, довольно сложно. Стихотворение для тогдашнего Мандельштама слабое и невнятное. Оно, кажется, никогда не было напечатано. По-видимому, это результат бесед с Вл. К. Шилейко, который тогда нечто подобное говорил обо мне. Но Осип тогда еще «не умел» (его выражение) писать стихи «женщине и о женщине». «Черный Ангел», вероятно, первая проба, и этим объясняется его близость к моим строчкам:

Черных ангелов крылья остры,
Скоро будет последний суд,
И малиновые костры
Словно розы в снегу растут.

(«Четки»)

¹ Как-то раз в «Собаке», когда все ужинали и гремели посудой, Маяковский вздумал читать стихи. О. Э. подошел к нему и сказал: «Маяковский, перестаньте читать стихи. Вы не румынский оркестр». Это было при мне, остроумный Маяковский не нашелся, что ответить.

Мне эти стихи Мандельштам никогда не читал. Известно, что беседы с Шилейко вдохновили его на стихотворение «Египтянин».

Гумилев рано и хорошо оценил Мандельштама. Они познакомились в Париже (см. конец стихотворения Осипа о Гумилеве. Там говорилось, что Н. Ст. был напудрен и в цилиндре).

Но в Петербурге акменст мне ближе,
Чем романтический Пьеро в Париже.

Символисты никогда его не приняли. Приезжал О. Э. в Царское. Когда он влюблялся, что происходило довольно часто, я несколько раз была его confidentкой. Первой на моей памяти была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, красавица-художница. Она написала его на синем фоне с закинутой головой (1914, на Алексеевской улице). Анне Михайловне он стихов не писал, на что сам горько жаловался — еще не умел писать любовные стихи. Второй была Цветаева, к которой были обращены крымские и московские стихи, третьей — Саломея Андроникова (Андреева, теперь Гальперн, которую Мандельштам обессмертил в книге «Tristia» —

Когда соломинка...¹).

В Варшаву О. Э. действительно ездил, и его там поразило гетто (это помнит и М. А. Зенкевич), но о попытке самоубийства его, о котором сообщает Георгий Иванов, даже Надя не слыхивала, как и о дочке Липочке, которую она якобы родила.

В начале революции (1920), в то время, когда я жила в полном уединении и даже с ним не встречалась, он был одно время влюблен в актрису Александринского театра Ольгу Арбенину, ставшую женой Ю. Юркуна, и писал ей стихи («За то, что я руки твои...»). Рукописи якобы пропали во время блокады, однако я недавно видела их у Х.

Замечательные стихи обращены к Ольге Ваксель и к ее тени: «В холодной стокгольмской могиле...» (ей же — «Хочешь, валенки сниму»).

¹ Там был стих: «Что знает женщина одна о смертном часе...» Сравнить мое — «Не смертного ль часа жду». Я помню эту великолепную спальню Саломеи на Васильевском острове.

Всех этих дореволюционных дам (боюсь, что между прочим и меня) он через много лет назвал — «нежными европейками»:

И от красавиц тогдашних, от тех европейок нежных,
Сколько я принял смущенья, насады и горя!

В 1933—34 гг. Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых. Ей посвящено, вернее, к ней обращено стихотворение «Турчанка» (заглавие мое), лучшее, на мой взгляд, любовное стихотворение 20 века («Мастерица виноватых взоров...»). Мария Сергеевна говорит, что было еще одно совершенно волшебное стихотворение о белом цвете. Рукопись, по-видимому, пропала. Несколько строк М. С. знает на память.

Дама, которая «через плечо поглядела», — это так называемая «Бяка»¹, тогда подруга жизни С. Ю. Судейкина, а ныне супруга Игоря Стравинского.

В Воронеже Осип дружил с Наташей Штемпель. Легенда о его увлечении Анной Радловой ни на чем не основана.

«Архистратиг вошел в иконостас...
В ночной тиши запахло валерьяном².
Архистратиг мне задает вопросы,
К чему тебе... косы
И плеч твоих сияющий атлас...»,

— т. е. пародию на стихи Анны Радловой, он сочинил из веселого зловредства, а не *rag dépit*³ и с притворным ужасом где-то в гостях шепнул мне: «Архистратиг дошел!», т. е. Радловой кто-то сообщил об этом стихотворении.

Десятые годы — время очень важное в творческом пути Мандельштама, и об этом еще будут много думать и писать. (Вийон, Чаадаев, католичество...). О его контакте с группой «Гилея» см. воспоминания Зенкевича.

Как воспоминание о пребывании Осипа в Петербурге в 1920 году, кроме изумительных стихов к Арбениной в «Tristia», остались еще живые, выцветшие, как наполеоновские знамена, афиши того времени — о вечерах поэзии, где имя Мандельштама стоит рядом с Гумилевым и Блоком.

¹ Вера Артуровна.

² Намек на Валерьяна Адольфовича Чудовского — верного рыцаря Радловой.

³ С досады (фр.).

Все старые петербургские вывески были еще на своих местах, но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей пустоты, ничего не было. Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди. В Гостином дворе можно было собрать большой букет полевых цветов. Догнивали знаменитые петербургские торцы. Из подвальных окон «Крафта» (угол Садовой и Итальянской) еще пахло шоколадом. Все кладбища были разгромлены. Город не просто изменился, а решительно превратился в свою противоположность. Но стихи любили (главным образом, молодежь). Почти так же, как сейчас, т. е. в 1964 г.

В Царском, тогда Детское имени тов. Урицкого, почти у всех были козы, и их почему-то звали — Тамара.

Мандельштам довольно усердно посещал собрания «Цеха», но в зиму 13—14 (после разгрома акмеизма) мы стали тяготиться «Цехом» и даже дали Городецкому и Гумилеву составленное Осипом и мной Прощение о закрытии «Цеха». С. Городецкий наложил резолюцию: «Всех повесить, а Ахматову заточить. — (Малая, 63)». Было это в редакции «Северных записок».

Цех поэтов 1911—1914

ГУМИЛЕВ	} синдики
ГОРОДЕЦКИЙ	
ДМ. КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ — стряпчий	
О. МАНДЕЛЬШТАМ	
ВЛ. НАРБУТ	
М. ЗЕНКЕВИЧ	
Н. БРУНИ	
ГЕОРГИЙ ИВАНОВ	
<Г. В.> АДАМОВИЧ	
ВАС. ВАС. ГИППИУС	
М. МОРАВСКАЯ	
ЕЛ. КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА	
<В. С.> ЧЕРНЯВСКИЙ	
М. ЛОЗИНСКИЙ	
П. РАДИМОВ	
<В. А.> ЮНГЕР	
Н. БУРЛЮК	
ВЕЛ. ХЛЕБНИКОВ	
Гр. ВАС. АЛ. КОМАРОВСКИЙ	

(Первое собрание — у Городецких на Фонтанке, был Блок, французы... Второе — у Лизы на Манежной площади, потом у Бруни — в Ак. Художеств. Акмеизм был решен у нас — Ц. С., Малая, 63.)

Революцию Мандельштам встретил вполне сложившимся и уже, хотя и в узком кругу, известным поэтом. Мандельштам одним из первых стал писать стихи на гражданские темы. Революция была для него огромным событием, и слово народ не случайно фигурирует в его стихах.

Особенно часто я встречалась с Мандельштамом в 1917—18 гг., когда жила на Выборгской у Срезневских (Боткинская, 9), не в сумасшедшем доме, а в квартире старшего врача Вяч. Вяч. Срезневского, мужа моей подруги Валерии Сергеевны.

Мандельштам часто заходил за мной, и мы ехали на извозчике по невероятным ухабам революционной зимы среди знаменитых костров, которые горели чуть ли не до мая, слушая неизвестно откуда несущуюся ружейную трескотню. Так мы ездили на выступления в Академию Художеств, где происходили вечера в пользу раненых и где мы оба несколько раз выступали. Был со мной О. Э. и на концерте Бутомо-Названовой в консерватории, где она пела Шуберта (см. «Нам пели Шуберта...»). К этому времени относятся все обращенные ко мне стихи: «Я не искал в цветущие мгновенья»¹ (декабрь 1917 г.), «Твое чудесное произношенье»; ко мне относится странное, отчасти сбывшееся предсказание:

«Когда-нибудь в столице шалой
На диком празднике у берега Невы
Под звуки омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы...»

А следующее — «Что поют часы-кузнечик (это мы вместе топили печку; у меня жар — я мерю температуру), // Лихорадка шелестит, // И шуршит сухая печка, // Это красный шелк горит...»

После некоторых колебаний решаюсь вспомнить в этих записках, что мне пришлось объяснить Осипу, что нам не следует так часто встречаться, что это может дать людям материал для превратного толкования наших отношений.

После этого, примерно в марте, Мандельштам исчез. Тогда все исчезали, и никто этому не удивлялся.

¹ Кроме того, ко мне в разное время обращены четыре четверостишия: 1) «Вы хотите быть игрушечной» (1911), 2) «Черты лица искажены» (10-е годы), 3) «Привыкают к пчеловоду пчелы» (30-е годы), 4) «Знакомства нашего на склоне» (30-е годы).

В Москве Мандельштам становится постоянным сотрудником «Знамени труда». Таинственное стихотворение «Телефон», возможно, относится к этому времени.

ТЕЛЕФОН

На этом диком страшном свете
Ты, друг полночных похорон,
В высоком строгом кабинете
Самоубийцы — телефон!

Асфальта черные озера
Изрыты яростью копыт,
И скоро будет солнце: скоро
Безумный петел прокричит.

И там дубовая Валгалла
И старый пиршественный сон;
Судьба велела, ночь решала,
Когда проснулся телефон.

Весь воздух выпили тяжелые портьеры.
На театральной площади темно.
Звонок — и закружили сферы:
Самоубийство решено.

Куда бежать от жизни гулкой,
От этой каменной уйти?
Молчи, проклятая шкатулка!
На дне морском цветет: прости!

И только голос, голос-птица
Летит на пиршественный сон.
Ты — избавленье и зарница
Самоубийства — телефон!

Снова и совершенно мельком я видела Мандельштама в Москве осенью 1918 года. В 1920 году он раз или два приходил ко мне на Сергиевскую (в Петербурге), когда я работала в библиотеке Агрономического института и там жила. Тогда я узнала, что в Крыму он был арестован белыми; в Тифлисе — меньшевиками. Тогда же он сообщил мне, что в декабре 19 года умер Н. В. Н <едоброво>.

Летом 1924 года О. Э. привел ко мне (Фонтанка, 2) свою молодую жену. Надюша была та, что французы называют *laide mais charmante*¹. С этого дня началась моя дружба с Надюшей, и продолжается она по сей день.

Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно.

¹ Некрасива, но очаровательна (фр.).

Когда ей резали аппендикс в Киеве, он не выходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах. Вообще я ничего подобного в своей жизни не видела. Сохранившиеся письма Мандельштама к жене полностью подтверждают это мое впечатление.

В 1925 году я жила с Мандельштамом в одном коридоре в пансионе Зайцева в Царском Селе. И Надя, и я были тяжело больны, лежали, мерили температуру, которая была неизменно повышенной, и, кажется, так и не гуляли ни разу в парке, который был рядом. О. Э. каждый день уезжал в Ленинград, пытаюсь наладить работу, получить за что-то деньги. Там он прочел мне совершенно по секрету стихи к О. Ваксель, которые я запомнила и также по секрету записала («Хочешь, валенки сниму»). Там он диктовал П. Н. Л. <укницкому> свои воспоминания о Гумилеве.

Одну зиму Мандельштамы (из-за Надиного здоровья) жили в Царском Селе, в лицее. Я была у них несколько раз — приезжала кататься на лыжах. Жить они хотели в полуциркуле Большого дворца, но там дымили печки или текли крыши. Таким образом возник Лицей. Жить там Осипу не нравилось. Он люто ненавидел так называемый царскосельский сюсюк Голлербаха и Рождественского и спекуляцию на имени Пушкина. К Пушкину у Мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное отношение — в нем мне чудится какой-то венец сверхчеловеческого целомудрия. Всякий пушкинизм ему был противен. О том, что: **«Вчерашнее солнце на черных носилках несут»** — Пушкин, — ни я, ни даже Надя не знали, и это выяснилось только теперь из черновиков (50-е годы).

Мою «Последнюю сказку» (статью о «Золотом петушке») он сам взял у меня на столе, прочел и сказал: «Прямо — шахматная партия».

Сияло солнце Александра
Сто лет тому назад, сияло всем
(декабрь 1917) —

конечно, тоже Пушкин (так он передает мои слова).
Была я у Мандельштамов и летом в Китайской де-

ревне, где они жили с Лившицами. В комнатах абсолютно не было никакой мебели и зияли дыры прогнивших полов. Для О. Э. нисколько не было интересно, что там когда-то жили и Жуковский, и Карамзин. Уверена, что он нарочно, приглашая меня вместе с ними идти покупать папиросы или сахар, говорил: «Пойдем в европейскую часть города», будто это Бахчисарай или что-то столь же экзотическое. То же подчеркнутое невнимание в строке — «Там улыбаются уланы». В Царском сроду уланов не было, а были гусары, желтые кирасиры и конвой.

В 1928 году Мандельштамы были в Крыму. Вот письмо Осипа от 25-го августа: день смерти Н. С. <Гумилева>.

Дорогая Анна Андреевна,

Пишем Вам с П. Н. Лукницким из Ялты, где все трое ведем суровую трудовую жизнь.

Хочется домой, хочется видеть вас. Знаете, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми — с Николаем Степановичем и с вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется.

В Петербург мы вернемся ненадолго в октябре. Зимовать там Наде не велено.

Мы уговорили П. Н. остаться в Ялте из эгоистических соображений. Напишите нам.

Ваш О. Мандельштам.

Юг и море были ему так же необходимы, как Надя.

(На вершок бы мне синего моря,
На вершок бы мне синего моря,

Попытки устроиться в Ленинграде были неудачными. Надя не любила все, связанное с этим городом, и тянулась в Москву, где жил ее любимый брат Евгений Яковлевич Хазин. Осипу казалось, что его кто-то знает, кто-то ценит в Москве, а было как раз наоборот.

Я довольно долго не видела Осипа и Надю. В 1993 г. Мандельштамы приехали в Ленинград по чьему-то приглашению. Они остановились в Европейской гостинице. У Осипа было два вечера. Он только что выучил итальянский язык и бредил Дантом. «Божественную

комедию» читал наизусть страницами. Мы стали говорить о «Чистилище», и я прочла кусок из XXX песни (явление Беатриче):

Sopra candido vel cinta d'oliva
Donna m'apparve, sotto verde manto,
Vestita di color di fiamma viva.
.....
..... «Men che dramma
Di sangue m'e rimasto non tremi;
Conosco i segni dell' antica fiamma»¹.

Осип заплакал. Я испугалась — «Что такое?» — «Нет, ничего, только эти слова и вашим голосом».

Не моя очередь вспоминать об этом. Если Надя хочет, пусть вспоминает.

Осип читал мне на память отрывки из стихотворения Н. Клюева «Хулители искусства» — причину гибели несчастного Николая Алексеевича. Я своими глазами видела у Варвары Клычковой заявление Клюева (из лагеря о помиловании): «Я, осужденный за мое стихотворение «Хулители искусства» и за безумные строки моих черновиков». Оттуда я взяла два стиха, как эпиграф — «Решку», а когда я что-то неодобрительное говорила о Есенине — возражал, что может простить Есенину что угодно за строку: «Не расстреливал несчастных по темницам».

В этой биографии поражает меня одна частности: в то время как (в 1933 г.) О. встречали в Ленинграде как великого поэта, *persona grata* и т. п. — к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь тогдашний литературный Ленинград (Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский²), и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет и вспоминают еще и сейчас (1962), — в Москве никто не хотел его знать, и, кроме двух-трех молодых и неизвестных ученых-естественников, О. Е. ни с кем не дружил. (Знакомство

¹ В венке олив, под белым покрывалом,
Предстала женщина, облачена.
В зеленый плащ, и в платье огне-алом.
.....
..... «Всю кровь мою
Пронизывает трепет несказанный:
Следы огня былого узнаю!»

(Перевод М. Лозинского).

² Григорий Александрович Гуковский бывал у Мандельштамов и в Москве.

с Белым было коктебельского происхождения.) Пастернак как-то мялся, уклонялся, любил только грузин и их «красавиц-жен». Союзное начальство вело себя подозрительно сдержанно.

Из ленинградских литературоведов всегда хранили верность Мандельштаму — Лидия Яковлевна Гинзбург и Борис Яковлевич Бухштаб — великие знатоки поэзии Мандельштама. Следует в этой связи не забывать и Цезаря Вольпе, который, несмотря на запрещение цензуры, напечатал в «Звезде» конец «Путешествия в Армению» (подражание древнеармянскому).

Из писателей-современников Мандельштам высоко ценил Бабеля и Зощенко. Михаил М<ихайлович> знал это и очень этим гордился. Больше всего почему-то М. ненавидел Леонова.

Кто-то сказал, что Н. Ч<уковск>ий написал роман. Осип отнесся к этому недоверчиво. Он сказал, что для романа нужна по крайней мере каторга Достоевского и десятины Льва Толстого.

Осенью 1933 года Мандельштам, наконец, получил (воспетую им) квартиру¹ в Нашокинском переулке («Квартира бела, как бумага...»), и бродячая жизнь как будто кончилась. Там впервые у Осипа завелись книги, главным образом старинные издания итальянских поэтов (Данте, Петрарка). На самом деле ничего не кончилось. Все время надо было куда-то звонить, чего-то ждать, на что-то надеяться. И никогда из всего этого ничего не выходило. О. Э. был врагом стихотворных переводов. Он при мне на Нашокинском говорил Пастернаку: «Ваше полное собрание сочинений будет состоять из двенадцати томов переводов и одного тома ваших собственных стихов». Мандельштам знал, что в переводах утекает творческая энергия, и заставить его переводить было почти невозможно. Кругом завелось много людей, часто довольно мутных и почти всегда ненужных. Несмотря на то, что время было сравнительно вегетарианское, тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме. Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 года), о чем говорили, не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: «Я к смерти готов». Вот уже 28 лет я вспоминаю эту минуту,

¹ Две комнаты, пятый этаж — без лифта (газовой плиты и ванны еще не было).

когда проезжаю мимо этого места. Жить, в общем, было не на что — какие-то полупереводы, полурецензии, полуобещания. Пенсии едва хватало, чтобы заплатить за квартиру и выкупить паек.

К этому времени Мандельштам внешне очень изменился, отяжелел, поседел, стал плохо дышать — производил впечатление старика (ему было всего 42 года), но глаза по-прежнему сверкали. Стихи становились все лучше, проза тоже. Эта проза, так и не услышанная, забытая, только сейчас начинает доходить до читателя, но зато я постоянно слышу, главным образом от молодежи, которая от нее с ума сходит, что во всем 20 веке не было такой прозы. Это — так называемая «Четвертая проза».

Я очень запомнила один из наших тогдашних разговоров о поэзии. О. Э., который очень болезненно переносил то, что сейчас называется культом личности, сказал мне: «Стихи сейчас должны быть гражданскими» и прочел: «Под собой мы не чуем...» Примерно тогда же возникла его теория знакомства слов. Много позже он утверждал, что стихи пишутся только как результат сильных потрясений, как радостных, так и трагических. О своих стихах, где он хвалит Сталина¹, он сказал мне: «Я теперь понимаю, что это была болезнь».

Когда я прочла Осипу мое стихотворение «Уводили тебя на рассвете» (1935), он сказал: «Благодарю вас». Стихи эти в «Реквиеме» и относятся к аресту Н. Н. П<унина> в 1935 году. На свой счет М. принял (справедливо) и последний стих в стихотворении «Немного географии» («Не столицей европейской»): «Он, воспетый первым поэтом, // Нами грешными и тобой».

13 мая 1934 года его арестовали. В этот самый день я после града телеграмм и телефонных звонков приехала к Мандельштамам из Ленинграда (где незадолго до этого произошло его столкновение с Толстым). Мы все были тогда такими бедными, что для того, чтобы купить билет обратно, я взяла с собой мой орденский знак Обезьяньей Палаты — последний, данный Ремизовым² в России, и статуэтку (работы Данько, мой портрет 1924 г.) для продажи. (Их купила С. Толстая для музея Союза писателей.) Ордер на арест был под-

¹ «Мне хочется сказать не Сталин — Джугашвили» (1935).

² Мне принесли его уже после бегства Ремизова (1921).

писан самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной у Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел «Волка» и показал О. Э. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в семь утра. Было совсем светло. Надя пошла к брату и к Чулковым на Смоленский бульвар, и мы условились где-то встретиться. Вернувшись домой вместе, убрали квартиру, сели завтракать. Опять стук, опять они, опять обыск. Евг. Я. Хазин сказал: «Если они придут еще раз, то уведут вас с собой». Пастернак, у которого я была в тот же день, пошел просить за Мандельштама в «Известия» к Бухарину, я — в Кремль к Енукидзе. (Тогда проникнуть в Кремль было почти чудом. Это устроил актер Русланов, через секретаря Енукидзе.) Енукидзе был довольно вежлив, но сразу спросил: «А может быть, какие-нибудь стихи?». Этим мы ускорили и, вероятно, смягчили развязку. Приговор — три года Чердыни, где Осип выбросился из окна больницы, потому что ему показалось, что за ним пришли, — см. «Стансы», строфа 4, — и сломал себе руку. Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело и позволил выбрать другое место, потом позвонил Пастернаку¹. Остальное слишком известно.

Вместе с Пастернаком я была у Усиевич, где мы застали и союзное начальство и много тогдашней марк-

¹ Все связанное с этим звонком требует особого рассмотрения. Об этом пишут обе вдовы — и Надя, и Зина, и существует бесконечный фольклор. Какая-то Триолешка даже осмелилась написать (конечно, в Пастернаковские дни), что Борис погубил Осипа. Мы с Надей считаем, что Пастернак вел себя на крепкую четверку.

Еще более поразительными сведениями о М. обладает Х. в книге о Пастернаке: там чудовищно описана внешность М. и история с телефонным звонком Сталина. Все это припахивает информацией Зинаиды Николаевны Пастернак, которая люто ненавидела Мандельштамов и считала, что они компрометируют ее «лояльного мужа».

Надя никогда не ходила к Бор<ису> Леон<идовичу> и ни о чем его не просила, как пишет Роберт Пейн. Эти сведения идут от Зины, которая знаменита бессмертной фразой: мои мальчики (сыновья) больше всего любят Сталина — потом маму. Женщин приходило много. Мне запомнилось, что они были красивые и очень нарядные, в свежих весенних платьях: еще не тронутая бедствиями Сима Нарбут, красавица «пленная турчанка» (как мы ее прозвали) — жена Зенкевича, ясноокая, стройная и необыкновенно спокойная Нина Ольшевская.

систской молодежи. Были и у Пильняка, где видели Балтрушайтиса, Шпета и С. Прокофьева. Навестить Надю из мужчин пришел один Перец Маркиш. (А в это время бывший синдик «Цеха поэтов», бывший Сергей Городецкий, выступая где-то, произнес следующую бессмертную фразу: «Это строки той Ахматовой, которая ушла в контрреволюцию», так что даже в «Лит. газете», которая напечатала отчет об этом собрании, подлинные слова были смягчены — см. «Лит. газету» 34 г., май).

Б<ухари>н в конце своего письма к С<талин>у написал: «И П<астерна>к тоже волнуется». Сталин сообщил, что отдано распоряжение, что с Мандельштамом будет все в порядке. Он спросил Пастернака, почему тот не хлопотал. «Если б мой друг попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти». Пастернак ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин бы не узнал об этом деле». — «Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации?» — «Писательские организации не занимаются этим с 1927 года». — «Но ведь он ваш друг?» Пастернак замялся, и С<тали>н после недолгой паузы продолжил вопрос: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Это не имеет значения»... (Б. Л. думал, что С<тали>н его проверяет, знает ли он про стихи, этим он объяснял свои шаткие ответы.)

...«Почему мы все говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так давно хотел с вами поговорить». — «О чем?» — «О жизни и смерти», — Сталин повесил трубку.

Мы с Надей сидели в мятых вязанках, желтые и одеревеневшие. С нами была Эмма Герштейн и брат Нади.

Через пятнадцать дней Наде позвонили и предложили, если она хочет ехать с мужем, быть на Казанском вокзале. Все было кончено. Нина Ольшевская пошла собирать деньги на отъезд. Давали много. Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку все содержимое сумочки.

На вокзал мы приехали с Надей вдвоем. Заехали на Лубянку за документами. День был ясный и светлый. Из каждого окна на нас глядели тараканьи усища «виновника торжества». Осипа очень долго не

вели. Он был в таком состоянии, что даже они не могли посадить его в тюремную карету. Мой поезд (с Ленинградского вокзала) уходил, и я не дождалась. Братья, т. е. Евгений Яковлевич Хазин и Александр Эмилевич Мандельштам, проводили меня, вернулись на Казанский вокзал, и только тогда привезли Осипа, с которым уже не было разрешено общаться. Очень плохо, что я его не дождалась и он меня не видел, потому что от этого ему в Чердыни стало казаться, что я непременно погибла. (Ехали они под конвоем читавших Пушкина «славных ребят из железных ворот ГПУ».)

В это время шла подготовка к 1-му съезду писателей (1934), мне тоже прислали анкету для заполнения. Арест Осипа произвел на меня такое впечатление, что у меня рука не поднялась, чтобы заполнить анкету. На этом съезде Бухарин объявил первым поэтом Пастернака (к ужасу Д. Бедного), обругал меня и, вероятно, не сказал ни слова об Осипе.

В феврале 1936 года я была у Мандельштамов в Воронеже и узнала все подробности его «дела». Он рассказал мне, как в припадке умоисступления бегал по Чердыни и разыскивал мой расстрелянный труп, о чем громко говорил кому попало, а арки в честь челюскинцев считал поставленными в честь своего приезда.

Пастернак и я ходили к очередному верховному прокурору просить за Мандельштама, но тогда уже начался террор, и все было напрасно.

Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен.

И в голосе моем после удушья
Звучит земля — последнее оружие...

Вернувшись от Мандельштама, я написала стихотворение «Воронеж». Вот его конец:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и муза в свой черед,
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

О себе в Воронеже Осип говорил: «Я по природе — оживающий, оттого мне здесь еще труднее».

В начале двадцатых годов (1922) Мандельштам дважды очень резко нападал на мои стихи в печати

(*Русское искусство*, № 1, 2). Этого мы с ним никогда не обсуждали. Но о своем славословии моих стихов он тоже не говорил, и я прочла его только теперь (рецензия на «Альманах Муз» и «Письмо о русской поэзии», 1922, Харьков).

Там (в Воронеже) его не с очень чистыми побуждениями заставили прочесть доклад об акмеизме. Не должно быть забыто, что он сказал в 1937 году: «Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых». На вопрос, что такое акмеизм, Мандельштам ответил: «Тоска по мировой культуре».

В Воронеже при Мандельштаме был Сергей Борисович Рудаков, который, к сожалению, оказался совсем не таким уж хорошим, как мы думали. Он, очевидно, страдал какой-то разновидностью мании величия, если ему казалось, что стихи пишет не Осип, а он, Рудаков. Рудаков убит на войне, и не хочется подробно описывать его поведение в Воронеже. Однако все идущее от него надо принимать с великой осторожностью.

Все, что пишет о Мандельштаме в своих бульварных мемуарах «Петербургские зимы» Георгий Иванов, который уехал из России в самом начале двадцатых годов и зрелого Мандельштама вовсе не знал, мелко, пусто и несущественно. Сочинение таких мемуаров дело немудреное. Не надо ни памяти, ни внимания, ни любви, ни чувства эпохи¹. Все годится, и все приемлется с благодарностью невзыскательными потребителями. Хуже, конечно, что это иногда попадает в серьезные литературоведческие труды. Вот что сделал Леонид Шацкий (Страховский) с Мандельштамом: у автора под рукой две-три книги достаточно «пикантных» мемуаров («Петербургские зимы» Г. Иванова, «Полутораглазый стрелец» Бен. Лившица, «Портреты русских поэтов» Эренбурга, 1922). Эти книги использованы полностью. Материальная часть черпается из очень раннего справочника Козьмина «Писатели современной эпохи», М., 1928. Затем из сборника Мандельштама «Стихотворения» (1928) извлекается стихотворение «Музыка на вокзале» — даже не последнее по времени в этой книге. Оно

¹ Там фигурируют «саратовская деревня» Блока, рыжий Комаровский и я, собирающая подаяние.

объявляется вообще последним произведением поэта. Дата смерти устанавливается произвольно — 1945 (на семь лет позже действительной смерти — 27 декабря 1938 года). То, что в ряде журналов и газет печатались стихи Мандельштама — хотя бы великолепный цикл «Армения» в «Новом мире» в 1930 г., Шацкого нисколько не интересует. Он очень развязно объявляет, что на стихотворении «Музыка на вокзале» Мандельштам кончился, перестал быть поэтом, сделался жалким переводчиком, бродил по кабакам и т. д. Это уже, вероятно, устная информация какого-нибудь парижского Георгия Иванова.

И вместо трагической фигуры редкостного поэта, который и в годы воронежской ссылки продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи, — мы имеем «городского сумасшедшего», проходимца, опустившееся существо. И все это в книге, вышедшей под эгидой лучшего, старейшего и т. п. университета Америки (Гарвардского), с чем и поздравляем лучший, старейший университет Америки.

Чудак? Конечно, чудак! Он, например, выгнал молодого поэта, который пришел жаловаться, что его не печатают. Смущенный юноша спускался по лестнице, а Осип стоял на верхней площадке и кричал вслед: «А Андрея Шенье печатали? А Сафо печатали? А Иисуса Христа печатали?»

С. Липкин и А. Тарковский и посейчас охотно повествуют, как Мандельштам ругал их юные стихи.

Артур Сергеевич Лурье, который близко знал Мандельштама и который очень достойно написал об отношении О. М. к музыке, рассказывал мне (10-е годы), что как-то шел с Мандельштамом по Невскому и они встретили невероятно великолепную даму. Осип находчиво предложил своему спутнику: «Отнимем у нее все это и отдадим Анне Андреевне» (точность можно еще проверить у Лурье).

Очень ему не нравилось, когда молодые женщины любили «Четки». Рассказывают, что он был как-то у Катаевых и приятно беседовал с красивой женой хозяина дома. Под конец ему захотелось проверить вкус дамы и он спросил ее: «Вы любите Ахматову?». На что та, естественно, ответила: «Я ее не читала», после чего

гость пришел в ярость, нагрубил и в бешенстве убежал. Мне он этого не рассказывал.

Зимой 1933—34 гг., когда я гостила у Мандельштамов на Нащокинском в феврале 1934 г., меня пригласили на вечер Булгаковы. Осип волновался: «Вас хотят сводить с московской литературой!». Чтобы его успокоить, я неудачно сказала: «Нет, Булгаков сам изгой. Вероятно, там будет кто-нибудь из МХАТа». Осип совсем рассердился. Он бегал по комнате и кричал: «Как оторвать Ахматову от МХАТа?»

Однажды Надя привезла Осипа встречать меня на вокзал. Он встал рано, был не в духе. Когда я вышла из вагона, сказал мне: «Вы приехали со скоростью Анны Карениной».

Комнатку (будущую кухню), где я у них жила, Осип прозвал — Капище. Свою назвал Запьястье (потому что в первой комнате жил Пяст). А Надю называл Мама-нас (наша мама).

Почему мемуаристы известного склада (Щацкий-Страховский, Миндлин, С. Маковский, Г. Иванов, Бен. Лившиц) так бережно и любовно собирают и хранят любые сплетни, вздор, главным образом обывательскую точку зрения на поэта, а не склоняют головы перед таким огромным и ни с чем не сравнимым событием, как явление поэта, первые же стихи которого поражают совершенством и ниоткуда не идут?

У Мандельштама нет учителя. Вот о чем стоило бы подумать. Я не знаю в мировой поэзии подобного факта, мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама.

В мае 1937 года Мандельштамы вернулись в Москву к «себе» в Нащокинский. Я в это время гостила у Ардовых в том же доме. Осип был уже больным, много лежал. Прочел мне свои новые стихи, но переписывать не давал никому. Много говорил о Наташе (Штемпель), с которой дружил в Воронеже. (К ней обращены два стихотворения — «Клейкой клятвой пахнут почки» и «К пустой земле невольной припадая».)

Уже год, как, все нарастая, вокруг бушевал террор. Одна из двух комнат Мандельштамов была занята че-

ловеком, который писал на них ложные доносы, и скоро им стало нельзя показываться в этой квартире. Разрешения остаться в столице Осип не получил. Х. сказал ему: «Вы слишком нервный». Работы не было. Они приезжали из Калинина и сидели на бульваре. Это, вероятно, тогда Осип говорил Наде: «Надо уметь менять профессию. Теперь мы — нищие» и «Нищим летом всегда легче».

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и вьюгой.

Последнее стихотворение, которое я слышала от Осипа, — «Как по улицам Киева-Вия» (1937). Это было так. Мандельштамам было негде ночевать. Я оставила их у себя (в Фонтанном доме). Постелила Осипу на диване. Зачем-то вышла, а когда вернулась, он уже засыпал, но очнулся и прочел мне стихи. Я повторила их. Он сказал: «Благодарю вас» и заснул. В это время в Шереметевском доме был так называемый «Дом занимательной науки». Проходить к нам надо было через это сомнительное заведение. Осип озабоченно спросил меня: «А может быть, есть другой занимательный выход?»

В то же время мы с ним одновременно читали «Улисса» Джойса. Он — в хорошем немецком переводе, я в подлиннике. Несколько раз мы принимались говорить об «Улиссе», но было уже не до книг.

Так они прожили год. Осип был уже тяжело болен, но он с непонятным упорством требовал, чтобы в Союзе писателей устроили его вечер. Вечер был даже назначен, но, по-видимому, «забыли» послать повестки, и никто не пришел. О. Э. по телефону пригласил Асева. Тот ответил: «Я иду на «Снегурочку», а Сельвинский, когда Мандельштам попросил у него, встретившись на бульваре, денег, дал три рубля.

В последний раз я видела Мандельштама осенью 1937 года. Они — он и Надя — приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалиптическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню, куда. Все было как в страшном сне. Кто-то пришедший

после меня сказал, что у отца Осипа Эмильевича (у «деда») нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу. Мой сын говорит, что ему во время следствия читали показания О. Э. о нем и обо мне и что они были безукоризненны. Многие ли наши современники, увы, могут сказать это о себе.

Второй раз его арестовали 2 мая 1938 года в нервном санатории около станции Черустье (в разгаре террора). В это время мой сын сидел на Шпалерной уже два месяца (с 10 марта). О пытках все говорили громко. Надя приехала в Ленинград. У нее были страшные глаза. Она сказала: «Я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер».

В начале 1939 года я получила короткое письмо от московской приятельницы (Эммы Григорьевны Герштейн): «У подружки Лены (Осмеркиной) родилась девочка, а подружка Надюша овдовела», — писала она.

От Осипа было только одно письмо (брату Александру) из того места, где он умер. Письмо у Нади. Она показала мне его. «Где моя Надинька?» — писал Осип и просил теплые вещи. Посылку послали. Она вернулась, не застав его в живых.

Настоящим другом Нади все эти очень для нее трудные годы была Василиса Георгиевна Шкловская и ее дочь Варя.

Сейчас Осип Мандельштам — великий поэт, признанный всем миром. О нем пишут книги — защищают диссертации. Быть его другом — честь, врагом — позор¹.

Для меня он не только великий поэт, но и человек, который, узнав (вероятно, от Нади), как мне плохо в Фонтанном доме, сказал мне, прощаясь, — это было на Московском вокзале в Ленинграде: «Аннушка (он никогда в жизни не называл меня так), всегда помните, что мой дом — ваш». Это могло быть только перед самой гибелью, т. е. в 1938 году.

8 июля 1963 — Комарово

¹ Готовят академическое издание его произведений. Находка одного его письма — событие.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

О ПРИРОДЕ ЧУДА

Винавер, которому часто приходилось ходить на Лубянку, первый узнал, что вокруг дела О. М.* что-то происходит: «Какая-то особая атмосфера — суэта, перешептывания»... Оказалось: дело внезапно пересмотрено, новый приговор — «минус двенадцать». Все это в неслыханных темпах — пересмотр занял не то день, не то несколько часов. Сами темпы свидетельствовали о чуде: когда наверху нажималась кнопка, бюрократическая машина проявляла удивительную гибкость.

Чем сильнее централизация, тем эффективнее чудо. Мы радовались чудесам и принимали их с чистосердечием восточной, а, может, даже ассирийской черни. Они стали частью нашего быта. Кто только не писал писем в высшие инстанции на самые металлические имена? А ведь такое письмо является, так сказать, прошением о производстве чуда. Грандиозные груды писем, если они сохраняются — настоящий клад для историка: в них запечатлелась жизнь нашей эпохи в гораздо большей степени, чем во всех других видах письменности, потому что они говорят об обидах, оскорблениях, ударах, ямах и капканах. Но чтобы их разобрать и выловить из-под словесного сора мелкие крупинки реальности, все же понадобится сизифов труд. Ведь и в этих письмах мы

* Здесь и далее в «Воспоминаниях» так обозначается поэт Осип Эмильевич Мандельштам, муж Надежды Яковлевны. Ссылка в Воронеж, сравниваемой автором «Воспоминаний» с «чудом», предшествовала ссылке в г. Чердынь на Каме, которую поэт переносил очень тяжело.

соблюдали особый стиль и утонченную советскую вежливость и говорили о своих несчастьях на языке газетных передовиц. А если только взглянуть на эти кипы писем «наверх», можно безошибочно констатировать, что в чудесах ощущалась насущная потребность, иначе говоря, жить без чудес было невозможно. Надо только иметь в виду, что писавших, даже если чудо совершалось, подстерегало горькое разочарование. К этому просители не были подготовлены, хотя народная мудрость издавна утверждает, что чудо лишь мгновенная вспышка, не дающая никаких результатов. Что оставалось в руках после осуществления трех желаний? Во что превращалось утром золото, полученное ночью от хромоногого? Глиняная лепешка, горсточка пыли... Хороша только та жизнь, в которой нет потребности в чудесах.

История с О. М. открыла целую серию передававшихся из уст в уста историй о чудесах, грянувших сверху как гром и благодетельная гроза, если только гроза бывает благодетельной... А все-таки нас чудо спасло и подарило нам три года воронежской жизни. Как обойтись без чудес? Нельзя...

Е. Х. сообщил нам телеграммой о замене приговора. Мы показали ее коменданту. Он пожал плечами: «Улита едет... Пока до нас доползет, снег выпадет»... И он напомнил, что пора выбираться из больницы и добывать себе зимнее жилье: «Смотрите, чтобы из щелей не дуло. Здесь зима знатная».

Официальная телеграмма пришла на следующий день. Комендант, может, и не сразу бы оповестил нас о ней, но еще до его прихода на работу нам рассказали о ней две девушки — телеграфистка и регистраторша, с которыми О. М. уже научился болтать и шутить. Мы пошли в комендантскую и долго ждали «хозяина». Он при нас прочел телеграмму и не поверил своим глазам: «А может это ваши родственники бахнули?.. Я почему знаю!» Два-три дня он не выпускал О. М. — и это стоило нам не мало волнений — пока, наконец, не дождался подтверждения из Москвы, что телеграмма действительно правительственная, а не сфабрикована ловкими родственниками ссыльного, сданного ему под расписку. Тут он вызвал нас и предложил выбирать город. Решать пришлось сразу — на этом комендант настаивал: ведь в телеграмме не было сказано, чтобы он дал

нам подумать. «Безотлагательно!» — сказал он, и мы выбрали город под его взором. Провинции мы не знали, знакомых у нас не было нигде, кроме двенадцати запрещенных городов, да еще окраин, которые тоже находились под запретом. Вдруг О. М. вспомнил, что биолог Леонов из Ташкентского университета хвалил Воронеж, откуда был родом. Отец Леонова работал там тюремным врачом. «Кто знает, может еще понадобится тюремный врач», — сказал О. М., и мы остановились на Воронеже. Комендант выписал бумаги. Он так был потрясен всем оборотом событий, то есть быстротой, с которой было пересмотрено дело, что проявил неслыханную любезность — дал казенную подводку, чтобы перевести вещи на пристань. Частных лошадей мы бы не достали, их уже смыла недавно проведенная коллективизация. В последнюю минуту комендант пожелал нам всяческой удачи — вероятно, он даже считал нас чем-то вроде «своих», потому что оказался одним из первых свидетелей чуда, которое грянуло «сверху»...

Зато с кастеляншей все вышло наоборот — она потеряла к нам всякое доверие. Кем должен быть человек, чтобы с ним так поступили? — прочла я немой укор в ее глазах. Она, конечно, не усомнилась, что у О. М. должны быть какие-то страшные заслуги, иначе «они» не выпустили бы его из своих лап, как не выпускают никого, кто однажды попался. Опыт у кастелянши был глубже, чем у нас, а в нашей стране у людей развился странный, но вполне понятный эгоцентризм — они соглашались доверять только собственному опыту. Ссылный О. М. был для нее «свой» — через три года она уже узнала, что далеко не всякий ссылный может быть зачислен в категорию «своих» и что при ссылных тоже надо держать язык за зубами; неожиданно помилованный — для чердынца ссылка в Воронеж кажется раем — он стал для нее чужим и подозрительным. Думаю, чердынские ссылные после нашего отъезда долго припоминали, не наговорили ли они чего опасного при нас, и обсуждали, не были ли мы специально посланы, чтобы разведать их мысли и тайны. Сердиться на кастеляншу не приходится — я бы так же чувствовала себя на ее месте. Потеря взаимного доверия — первый признак разъединения общества при диктатурах нашего типа, и именно этого добивались наши руководители.

И для меня кастелянша была «чужой», и я не понимала многого, что она говорит. У нас такие исковерканные правовые представления, мы так одичали и такими полубезумными глазами смотрим на мир, что между «познавшим» и «еще не познавшим» в сущности не может быть никакого контакта. В тот памятный год я уже кое-что понимала, но еще недостаточно. Кастелянша утверждала, что их всех совершенно незаконно держат в ссылке. Вот она, например, к моменту ареста уже отошла от работы в своей партии и, когда ее забрали, являлась частным лицом: «И они это знали!» А я, дикарка или одичавшая от всего, что мне вливали в уши, не понимала ее доводов: если она сама признает, что принадлежала к разбитой партии, почему ж она обижается, что ее держат в ссылке? По нашим нормам так и полагается... Так я тогда думала. «Наши нормы», как я полагала, ужасны, жестоки, но такова реальность и сильная власть не может терпеть явных, хотя бы не действующих, но все же потенциально активных противников. Государственной пропаганде я поддавалась очень туго, но все же и мне успели внушить дикарские правовые идеи. А Нарбут, например, оказался еще более восприимчивым учеником нового права. С его точки зрения нельзя было не сослать О. М.: «Должно же государство защищаться? Что ж будет иначе — ты пойми»... Я не возражала. Стоило ли спорить и объяснять, что не напечатанные и не прочитанные на собрании стихи равносильны мысли, а за мысли ссылать нельзя. Только собственное несчастье раскрывало нам глаза и делало нас чуточку похожими на людей, да и то не сразу.

Мы некогда испугались хаоса и вдруг все сразу взмолились о сильной власти, о мощной руке, чтобы она загнала в русло все взбаломученные людские потоки. Этот страх самое, пожалуй, стойкое из наших чувств — мы не оправились от него и поныне и он передается по наследству. Каждому — и старым, видевшим революцию, и молодым, которые еще ничего не знают, кажется, что именно он станет первой жертвой разбушевавшейся толпы. Услыхав вечно повторяющееся: «нас первых повесят на столбе», я вспоминаю слова Герцена про интеллигенцию, которая так боится народа, что готова ходить связанной, лишь бы с него не сняли пут.

Выровнять ход истории, уничтожить ухабы на пути, чтобы не было никаких неожиданностей, а все текло гладко и планомерно, — вот чего мы хотели. И эта мечта психологически подготовила появление мудрецов, определяющих наши пути. А раз они есть, мы уже больше не решались действовать без руководства и ждали прямых указаний и точных рецептов. Ведь лучшего рецептурного списка ни я, ни ты, ни он составить не можем, значит нужно благодарить за тот, что нам предложен сверху. Отважиться мы можем только на совет в каком-нибудь частном случае: нельзя ли, например, разрешить различные стили при выполнении социального заказа в искусстве? Очень хотелось бы... Слепцы, мы сами боролись за единомыслие, потому что в каждом разногласии, каждом особом мнении нам снова чудилась анархия и неодолимый хаос. И мы сами помогали — молчанием или одобрением — сильной власти набирать силу и защищаться от хулителей — какой-нибудь каселянши, поэта или болтуна.

Так мы жили, культивируя свою неполноценность, пока на собственной шкуре не убеждались в непрочности своего благополучия. Только на собственной шкуре, потому что чужому опыту мы не верим. Мы действительно стали неполноценными и ответственности не подлежим. А спасают нас только чудеса.

К МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ

Нам выправили документы со штампом самого влиятельного в Союзе учреждения, и мы получили право получать билеты в воинской кассе по литерам. Неслыханное по тому времени преимущество, так как все пристани и вокзалы были забиты черной и мрачной толпой, по неделям дежурившей у билетных касс. Дикая толпа, как во время переселения народов или эвакуации... Пристань в Перми. На мешках, на тряпье, около деревянных сундуков с грубым лакированным рисунком расположились целыми семьями, а то и родами, изнеможенные, оборванные люди с почерневшими лицами. На берегу в вырытых в песке ямках тлели угли: здесь варили детям похлебку. Взрослые жевали корки. Их везли меш-

ками про запас — хлеб еще выдавался по карточкам. Это раскулачиванье столкнуло с места огромные толпы, и они метались по стране в поисках где лучше, и еще вздыхали по своим заколоченным избам.

Раскулаченных в полном смысле слова здесь почти не было. Те давно уже были высланы и доставлены по месту назначения. А эти — периферийные волны — снялись с места в момент испуга и заколобродили по всей стране — куда угодно, только прочь из родной деревни... Мы пережили много насильственных и несколько добровольных переселений народов: гражданская война, голод в Поволжье и на Украине, раскулачивание, эвакуация. Вплоть до войны вокзалы были еще забиты снявшимися с места крестьянами. После войны опять потянулись люди, но уже не в таких количествах, в поисках хлеба и работы. Всякая семья, где сохранился мужчина, рвалась туда, где, по слухам, был хлеб и спрос на рабочие руки. Иногда переселялись организованно, то есть предварительно завербовавшись. Узнав на опыте, что хрен редьки не слаще, бросались обратно или искали нового прибежища. Всякое насильственное переселение — классов и национальностей — вызывало волны добровольных беженцев. Дети и старики мерли, как мухи.

Насильственные переселения — это нечто абсолютно новое, принесенное нам двадцатым веком. А может, египетскими или ассирийскими завоевателями? Я видела поезда с бородачами с Украины и с Кубани, а потом запертые теплушки «зэков», отправляемых на Дальний Восток. А потом поезда с немцами Поволжья, татарами, поляками, эстонцами... И снова теплушки с зэками. Они шли всегда — иногда гуще, иногда реже... Как-то иначе уезжали дворяне из Ленинграда. Это было второе по счету массовое переселение, следующее после раскулачивания. В 35 году мы поехали с Анной Андреевной на Павелецкий вокзал проводить тщедушную женщину с тремя крошечными мальчиками, направлявшимися на постоянное жительство в Саратов. Прописали их, конечно, не в городе — такие беспомощные и в районе проживут... На вокзале нас встретила обычная картина — ступить некуда, все забито до отказа, но люди сидели не на мешках, а на довольно приличных чемоданах и сундучках, еще пестревших старыми загра-

ничными наклейками. Пока мы пробивались на платформу, нас все время останавливали какие-то знакомые старухи — внучки декабристов, бывшие дамы, просто женщины. «Я не знала, что у меня столько знакомых дворян», — сказала Анна Андреевна... — «Почему подняли крик? Зачем им загромождать Ленинград?» — сказала, поджимая губы, Таня Григорьева, беспартийная большевичка, жена Евгения Эмильевича, младшего брата О. М.

Я читала, что в истории каждого народа есть пора, когда люди «блуждают и телом и духом». Это — молодость народа, творческий период его истории, отрывающийся на много столетий идвигающий его культуру. И мы тоже «все как будто странники» и не только «как будто», а на самом деле. Принесут ли наши блуждания те плоды, которые нам обещал мыслитель? Нам было слишком тяжело, чтобы сохранить веру в эти плоды. И все же я не могу сказать — нет. Всем народом, сверху донизу, мы чему-то научились, хотя успели при этом уничтожить свою культуру и попросту одичать. Но то, чему мы научились, кажется, очень существенно.

Из Чердыни в Казань мы ехали двумя пароходами, и пересадка в Перми далась нам не легко. Ждать парохода пришлось почти целые сутки. В гостиницу нас не пустили, потому что у О. М. не было паспорта: его отняли при аресте. Паспорт — это привилегия горожанина; деревня у нас беспаспортная, так что чуйкам в гостиницу не попасть, так же, как и потерпевшим катастрофу горожанам. Впрочем, в гостиницах никогда нет мест и для обыкновенных граждан.

Присесть на пристани не удалось из-за толпы добровольных переселенцев. Мы бродили весь день до полного изнеможения по городу. Сидели на скамейках в чахлом городском саду и удивлялись бледности благополучных городских детей. Вспомнили, как нас по временам поражала желтизна кожи московских малышей — ею знаменовалась каждая очередная массовая голодовка. Последний раз это случилось в тридцатом году, когда мы вернулись из Армении в Москву сразу после повышения цен и незадолго до введения карточек и распределителей. Это Москва расплачивалась за раскулачивание. К нашему отъезду она уже оправилась, но Пермь еще пугала своим видом. Обедали мы

в ресторане, но посидеть там не могли, потому что возле каждого столика выстраивалась очередь: продуктов в городе не было, а рестораны все же давали какую-то суррогатную еду.

Пропорционально усталости у О. М. нарастало возбуждение, и я ждала рецидива. Два путешествия — с конвоем и без — затягивали и обостряли травматическую болезнь. Ночью он рвался к окошечку МГБ в городе — мы еще бродили по улицам — «поговорить о деле»... Дежурный отгонял его: «Уходи прочь... Целыми днями к нам такие лезут»... О. М. вдруг опомнился: «Как магнит это проклятое окошко», — сказал он, и мы пошли на пристань. Время это Анна Андреевна называет еще сравнительно вегетарианским, но «магнит» действительно уже притягивал все умы. Был ли человек, которому не мерещились допросы, следствия, «дела» и расстрелы?.. Среди очень молодых, пожалуй, такие счастливицы были...

Пароход пришел среди ночи. Получив билеты в воинской кассе, мы, чувствуя себя не ссыльными, а, по крайней мере, любимыми детищами грозного учреждения, пробрались через рокошующие толпы и почти первыми взошли на сходни. Толпа провожала нас завистливыми и недружелюбными взглядами: народ не любит привилегий, а ведь толпа на пермской пристани не знала, как нам досталась эта приятная возможность купить билет не в общей очереди. В нашу эпоху ненависть к привилегированным особенно обострилась, потому что даже кусок хлеба часто бывал привилегией. По крайней мере десять лет из первых сорока мы пользовались карточками, и даже на хлеб не было никакой уравниловки — одни не получали ничего, другие мало, а третьи с излишком. «У нас голод, — объяснил нам в тридцатом году, когда мы вернулись из Армении, Евгений Яковлевич. — Но сейчас все по-новому. Всех разделили по категориям, и каждый голодает или ест по своему рангу. Ему выдается ровно столько, сколько он заслуживает»... А один молодой физик — это было после войны — поразил свою тещу: он ел бифштекс, полученный в распределителе теста и похваливал: «Вкусно и особенно приятно, потому что у других этого нет»... Люди гордились литерами своих пайков, прав и привилегий и скрывали полочки от низших категорий.

По иронии судьбы нам полагалось на этот раз получить билеты в самой «чистой» из всех привилегированных касс, и это вызывало всеобщую зависть. А вид у нас к тому же был далеко не начальственный, и это усугубляло раздражение. «Начальничек», то есть тот, кто при случае может и в рыло заехать, всегда импонирует нашей толпе — ничего с этим не поделаешь... Зато парходная челядь всю дорогу отлично нас обслуживала — эти знали наизусть, что первыми на сходни попадают только достойные люди: такие «главные», что даже на чай не дают...

Мы заняли двухместную каюту, гуляли по палубе, принимали ванну — ехали, как настоящие туристы. Именно в эти парходные дни произошел подлинный перелом в болезни О. М. Я даже удивилась, как мало ему нужно, чтобы очнуться — трое суток тишины и покоя. Он сразу затих, хорошо спал, читал Пушкина, разговаривал и к тому же совершенно спокойно. Между прочим, он ослепил меня целым фейерверком сопоставлений «чудотворных строителей» и доказывал, что принятые у нас суждения по аналогии не выдерживают критики. Впервые за последние недели он говорил на эту тему, позабыв о себе и о том, что его могут растоптать. Когда дошло до этого, я поняла, что болезнь побеждена. Недаром Эмма Герштейн называла О. М. фениксом, который, сгорев, возрождается из кучки пепла. Слуховые галлюцинации, припадки страха, возбуждение и эгоцентрическое восприятие действительности больше почти не возвращались; во всяком случае он научился сам справляться с легкими рецидивами болезни. Но она еще не исчерпалась — на пароходе был только решающий перелом. До поздней осени оставалась повышенная чувствительность, утомляемость — он всегда легко уставал, так как сердце было у него непропорционально маленьким, а в то лето оно резко ослабело. Кроме того, я заметила несвойственную ему ранимость, и уж совершенно чуждую интеллектуальную вялость. Читать он начал почти сразу, но активных занятий избегал, даже в книги Данте почти не заглядывал. Быть может, возвращение к полной жизни замедлилось, потому что в Воронеже его ждала новая неприятность — заболела я, сначала сыпным тифом, подхваченным на какой-нибудь пристани или вокзале. Народные бедствия всегда со-

провожаются сыпняком, и у нас он не переводился до самого последнего времени. В больницах, обманывая статистику, название болезни заменяли цифрой — люди болели не сыпняком, а формой номер пять или шесть, точной цифры я не помню... Из этого тоже делали государственную тайну, чтобы враги социализма не догадались, чем мы болеем. После сыпняка я съездила в Москву и схватила там дизентерию. Она тоже была законспирирована и числилась под каким-то номером. Я попала вторично в инфекционные бараки, и лечили меня по старинке. Бактериофаг в бараки еще не проник, его придерживали для высших категорий больных. Одновременно со мной болел Вишневский, и только поэтому я узнала, что существуют новые лекарства, которые могли значительно ускорить мое выздоровление. Но и лекарства распределяются у нас по табели о рангах. Однажды я пожаловалась на это при одном отставном сановнике: всем, мол, такие вещи нужны... «Как так всем! — воскликнул сановник. — Вы хотите, чтобы меня лечили, как всякую уборщицу?» Сановник был человек добрый и вполне порядочный, но у кого не скovyрнут-ся набекрень мозги от борьбы с уравниловкой?..

Хоть нам с О. М. полагалось лечиться по самому низшему разряду, мы оба выжили и начали свою трех-летнюю воронежскую «передышку».

РОДИНА ЩЕГЛА

Паспорт отобрали при аресте. Когда мы приехали в Воронеж, единственным документом О. М. оказалась сопроводительная бумажка чердынского ГПУ, по которой нам выдавали билеты в воинских кассах. Ее О. М. сдал в специальное окошко зашарканной пропускной ГПУ и получил новое удостоверение — по нему допускалась только временная прописка на несколько недель. Он разгуливал с этим удостоверением, пока выяснилось, следует ли оставить ссыльного в областном центре или можно сплавить в район. Кроме того, наши опекуны не знали, какому виду высылки он подлежит. В этом деле есть множество градаций; мне известны две основные разновидности: с прикреплением и без. В случае прикрепления надо регулярно ходить отме-

чаться в какое-то окошко этой самой приемной. В Чердыни О. М. полагалось являться на регистрацию каждые три дня. При отсутствии прикрепления существуют варианты, при которых разрешаются или запрещаются поездки по области. К осени О. М. вызвали в органы и разрешили получить воронежский паспорт. Вид высылки оказался самым легким — с паспортом! Тут-то мы узнали, что обладание паспортом тоже высокая привилегия — не всякий заслуживает ее.

Получение паспорта — огромное событие в жизни ссыльного, оно дает иллюзию гражданских прав. Первый год жизни в Воронеже ознаменовался непрерывными хождениями в милицию для получения бумажки, называвшейся «временным паспортом». Семь или восемь месяцев подряд выдавался документ или бумажка, действительная на один месяц. За неделю до истечения срока О. М. начинал собирать справки, необходимые для обмена: из домоуправления о том, что О. М. не бродяга, а прописан честь честью в таком-то доме, из ГПУ и, наконец, с места работы. С ГПУ отношения были вполне ясны, а вот последняя справка оказалась камнем преткновения: где ее взять? Первое время приходилось выклянчивать ее в местном отделении Союза Писателей. Эта процедура никогда не проходила без осложнений. Деятели Союза охотно настучали бы какую угодно справку, но делать этого они не смели, а некоторые из них, может, действительно с трепетом относились к своему праву ставить печать Союза на листок бумаги: вдруг поставишь печать плохому писателю! И хозяева местного отделения куда-то обращались, чтобы получить санкцию на выдачу бумажки о том, что О. М. действительно занимается литературой. Начиналось все с шушуканья, мрачных взглядов, беготни... Получив санкцию, воронежские писатели улыбались: им тоже было приятно, что все сошло благополучно... Время было еще невинное, вегетарианское...

За каждой справкой, как минимум, приходилось ходить по два раза: сначала попросить, а потом получить. Часто выдача справки откладывалась: «еще не готова»... Справки сдавались начальнику паспортного стола в милиции. К нему всегда стояла большая очередь. Через два-три дня О. М. опять бежал в ту же очередь, к тому же начальнику для получения временного паспор-

та, а на следующий день он шел прописывать новый документ и становился в очередь к окошку у прописывающей милицейской барышни. Оказалось, что у милицейской барышни есть душа: она почему-то взяла О. М. под свое покровительство и, не обращая внимания на ропот домоуправленских работников, томившихся в очереди с толстыми домовыми книгами под мышкой — в них вносятся все прибывающие и уезжающие — она подзывала О. М. к окошку и забирала у него паспорт, чтобы на следующее утро, опять избавив его от стояния в очереди, вручить ему эту драгоценную бумажку, но уже со штампом о прописке.

К лету 1935 года нас благодетельствовали, выдав О. М. трехмесячный паспорт и разрешив трехмесячную прописку. Это очень облегчило жизнь, тем более, что очереди после чистки Ленинграда резко увеличились: счастливы, попавшие в Воронеж, проходили через все трудоемкие паспортные процедуры. Во время общего обмена паспортов О. М. вдруг удостоился настоящей трехлетней паспортной книжки.

Беспаспортные народы никогда не догадываются, сколько развлечений можно извлечь из этой волшебной книжки! В дни, когда паспорт О. М. был еще драгоценной новинкой, даром милостивой судьбы, в Воронеж приехал на гастроли Яхонтов. Это именно с ним О. М. в Москве упражнялся в чтении пайковой книжки из отличного писательского распределителя: «пайковые книжки читаю, пеньковые речи ловлю»... Теперь они перешли на паспортную и, надо сказать, она зазвучала мрачнее. В пайковой — хором и поодиночке — они прочитывали талоны: молоко, молоко, молоко... сыр, мясо... У Яхонтова, когда он читал паспортную, появлялись многозначительные и угрожающие интонации: основание, по которому... выдан... кем выдан... особые отметки... прописка, прописка, прописка... От пайковой книжки протянулась ниточка к той литературе, которую нам тоже выдавали в журналах и госиздатах, и, открывая «Новый Мир» или «Красную Новь», О. М. говорил: «сегодня выдается Гладков, Зенкевич или Фадеев»... В этом двойном значении она и попала в стихи. И паспортной нашлось место в стихах: «И в кулак зажимая истертый год рождения с гурьбой и гуртом, я шепчу обескровленным ртом: я рожден в ночь со второго на третье января в

девятью одним ненадежным году и столетью окружают меня огнем»...

Вторая забава — тоже по типу «кукиш в кармане» — происходила на подмостках. Яхонтов выступал с монтажом: «Поэты путешествуют» и читал кусочки из «Путешествия в Арзрум» и Маяковского, из которых явствовало, что поэты могут ездить за границу только при Советской власти. Аудитория оставалась вполне равнодушной: никто тогда даже не подозревал, что люди могут ездить за границу: «зажрались» — лениво говорили слушатели, расходясь с непонятного вечера. И Яхонтову, чтобы взбодрить себя, приходилось прибегать к трюкам и забавам. Он вставлял в свой монтаж отрывок из «Советского паспорта» и, вытащив свой из кармана, потрясал им, глядя прямо на О. М. А тот вытаскивал — любимый и новый — и они обменивались понимающими взглядами... Начальство не одобрило бы подобных шуточек, но оно у нас прямолинейное, а в инструкциях ничего подобного предусмотрено не было.

Кроме того, по паспорту можно гадать. Поскольку всякий общий обмен паспортов являлся также и чистой, проводившейся под сурдинку, я не решалась поехать для обмена в Москву и произвела эту операцию в Воронеже. Этим самым я лишилась гражданства в великом городе и снова обрела его лишь через двадцать восемь лет. Но в сущности шансов на получение московского паспорта у меня не было: где бы я раздобыла справку о работе? Как бы я объяснила, где хозяин площади, на которой я живу? А в каких отношениях я с ним состою и кто за кого отвечает? Получив два свеженьких воронежских паспорта, мы заметили, что у нас одинаковые серии, то есть буквы перед номером. Считалось, что эти буквы — тайный полицейский шифр, определяющий категорию, к которой принадлежит владелец — свободный, высланный, имеющий судимость... «Вот теперь ты окончательно попалась» — сказал О. М., разглядывая номера и серии. Оптимистически настроенные друзья утешали нас, что не я попалась, а милиция забыла, что О. М. ссыльный и не поставила ему соответствующие пометки. У нас была такая твердая уверенность, что все граждане перенумерованы и проштемпелеваны согласно своим категориям, что никому даже в голову не пришла мысль усомниться в значении

этих букв и цифр. Только через несколько лет после смерти О. М. окончательно выяснилось, что серии не означают ничего, кроме порядковых номеров да еще того, что мои напуганные сограждане превосходят в своем воображении даже ГПУ и милицию. <...>

...А получение настоящего паспорта было действительно большим облегчением. Паспортная канитель не только отнимала массу времени, пока О. М. жил по «временным удостоверениям», но еще и сопровождалась непрерывной тревогой и гаданием на кофейной гуще: выдадут — не выдадут... И в приемной ГПУ и в милиции только и слышались одни и те же разговоры: одни жаловались человеку в окошечке, что им отказали в прописке, другие просили, чтобы им разрешили... Окошечный человек не разговаривал, а только протягивал руку за заявлением и сообщал об отказе. Получившие отказ направлялись в район, где заработать было невозможно, а условия жизни непереносимы. И вместе со всей толпой, бегая за справками по канцеляриям и милициям, мы дрожали, что на этот раз не пройдет, и нам снова придется отправляться неизвестно куда и зачем. «И в кулак зажимая истертый год рожденья с гурьбой и гуртом»... Читая эти стихи Михоэлсу, О. М. выхватил паспорт и зажал его в кулак...

ВРАЧИ И БОЛЕЗНИ

Мы приехали в Воронеж, и нас почему-то пустили в гостиницу. Те, кто бдят над нами, разрешили, очевидно, на конечных пунктах беспаспортным останавливаться в гостиницах. Номера нам не дали, но отвели койки в мужской и женской комнате. Жили мы на разных этажах, и я все бегала по лестнице, потому что беспокоилась, как чувствует себя О. М. Но с каждым днем становилось все труднее подниматься по лестнице. Через несколько дней у меня подскочила температура, и я сообразила, что заболеваю сыпным тифом, подхваченным где-то в пути. Начало сыпного тифа, по-моему, нельзя спутать ни с чем — ни с каким гриппом во всяком случае... Но это означало многонедельное лежание в больнице, в бараках, а передо мной все маячила сцена, как О. М. бросается из окна. Скрыв от него свою

температуру, а она у меня изрядно поднялась и все время лезла вверх, я умоляла его пойти к психиатру. «Если тебе так хочется», — сказал он, и мы пошли. О. М. сам подробно описал все течение своей болезни, и мне не пришлось ничего прибавлять. Он был в эти дни уже совершенно объективен и точен. Врачу он пожаловался, что в минуты усталости у него бывают галлюцинации. Чаще всего это случается в момент засыпания. Сейчас, сказал О. М., он понимает природу «голосов» и научился останавливать их усилием воли, но в гостиничной жизни есть много раздражающих моментов, которые мешают борьбе с болезнью: шум, днем нельзя отдохнуть... А самое неприятное — это запирающиеся двери, хотя он прекрасно знает, что двери запираются не снаружи, а изнутри...

Тюрьма прочно жила в нашем сознании. Василиса Шкловская терпеть не может закрытых дверей — не потому ли, что в молодости ей пришлось основательно посидеть, и она на собственном опыте узнала, что такое быть запертой. Да и люди, не испытавшие тюремных камер, тоже не могли избавиться от тюремных ассоциаций. Когда года через полтора в той же гостинице остановился Яхонтов, он сразу заметил, как там лязгают ключи в замках. «Ого! — сказал он, когда, выйдя из его номера, мы запирали дверь. — «Звук не тот», — успокоил его О. М. Они отлично поняли друг друга. Вот почему в стихах О. М. так горячо утверждается право «дышать и открывать двери», которого О. М. боялся лишиться.

Психиатр разговаривал с ним осторожно — ведь в каждом человеке все мы подозревали стукачей, а среди потерпевших их было множество, потому что люди, пережившие психическую травму, часто теряли сопротивляемость. Но, выслушав рассказ О. М., он все же сказал, что среди «психостенических субъектов», побывавших в тюрьме, очень часто наблюдаются подобные «комплексы»...

Я рассказала врачу про свою болезнь — тут и О. М. понял, в чем дело, и страшно испугался, — и спросила, не следует ли на время моей болезни устроить О. М. в клинику. Врач решительно заявил, что можно совершенно спокойно оставить О. М. на воле — следов травматического психоза уже не видно. Среди людей, со-

сланных на поселение в Воронеж, сказал врач, ему часто приходилось наблюдать состояния, подобные тому, что описал О. М. Это случается после нескольких недель, а иногда даже дней ареста. Заболевания всегда кончаются благополучно и не оставляют никаких следов.

На этот раз не я, а О. М. спросил, почему сейчас заболевают после нескольких дней внутренней тюрьмы, хотя раньше просиживали по многу лет в крепости и выходили здоровыми. Врач только развел руками.

А действительно ли выходили здоровыми? Быть может, всякая тюрьма вызывает психические болезни, не говоря уж о травмах? Или это специфика только наших тюрем? А может наша психика расшатана еще до ареста — предчувствиями, страхами и размышлениями на «тюремные темы»? У нас в стране этим никто не интересуется, а за рубежом этого всего не знают, потому что мы умеем хранить свои маленькие секретчики от внешнего мира. <...>

...О. М. еще раз ходил к психиатру уже после того, как я вышла из больницы, на этот раз к крупному специалисту, приехавшему из Москвы обследовать сумасшедший дом. О. М. пошел к нему по собственной инициативе, чтобы рассказать историю своей болезни и спросить, не является ли она следствием каких-нибудь органических дефектов. Он сказал, что и раньше замечал у себя навязчивые идеи, например, в периоды конфликтов с писательскими организациями он ни о чем другом и думать не мог. К тому же — и это истинная правда — он слишком чувствителен ко всяким травмам... Эти свойства, кстати, я наблюдала у обоих братьев О. М., людей совершенно другого склада, чем он, но также подверженных травмам и превращающих в навязчивые идеи каждое тяжелое для них биографическое событие...

Московский психиатр сделал неожиданную вещь: он пригласил О. М. пройтись с ним по палатам. Вернувшись после обхода, он спросил, находит ли О. М. что-нибудь общее между собой и клиентами клиники. Под какую рубрику он отнес бы себя: старческое слабоумие, шизофрения, циркулярный психоз, истерия?.. Врач и пациент расстались друзьями.

На следующий день я все же потихоньку от О. М. еще раз забежала к психиатру: я боялась, что страшное

зрелище, которое нам накануне показали, может сказаться новой травмой. Врач успокоил меня. Он сказал, что сознательно продемонстрировал О. М. своих пациентов — знание дела только поможет ему избавиться от тяжелых воспоминаний о травматической болезни. Что же касается до нервной возбудимости и неумения сопротивляться травмам, психиатр никакой особой патологии в этом не увидел: травмы были достаточно серьезны и можно только пожелать, чтобы их было меньше в нашей жизни... «А субъект он легковозбудимый и чрезмерно чувствительный»... Так оно и было.

Меня поражало, с какой легкостью О. М. подсмеивается над своей болезнью и как быстро он сумел отрезать кусок жизни с бредом и галлюцинациями. «Наденька, — сказал он мне месяца через два с половиной после приезда в Воронеж, обидевшись на халтурный обед, — я не могу есть такую дрянь — ведь я теперь не сумасшедший»... А в стихах («Стансы») он назвал болезнь «семивершковой кутерьмой», а попытку к самоубийству — прыжком («прыжок, и я в уме»).

Единственное, что мне казалось остатком болезни, это возникновение у О. М. время от времени желания примириться с действительностью и найти ей оправдание. Это происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием, словно в такие минуты он находился под гипнозом. Тогда он говорил, что хочет быть со всеми и боится остаться вне революции, пропустить по близорукости то грандиозное, что совершается на наших глазах... Надо сказать, что это чувство пережили многие из моих современников и среди них весьма достойные люди, вроде Пастернака. Мой брат Евгений Яковлевич говорил, что решающую роль в обуздании интеллигенции сыграл не страх и не подкуп, хотя и того и другого было достаточно, а слово «революция», от которого ни за что не хочется отказаться. Словом покоряли не только города, но и многомиллионные народы. Это слово обладало такой грандиозной силой, что, в сущности, непонятно, зачем властителям понадобились еще тюрьмы и казни.

К счастью, припадки того, что сейчас у нас называется патриотизмом, происходили с О. М. не часто. Очнувшись, он сам называл их безумием. Но все же интересно, что у людей, работавших в искусстве, полное от-

рицание существующего приводило к молчанию; полное признание губительно отзывалось на работе, делало ее ничтожной, и плодотворны были только сомнения, которые, к сожалению, преследовались властями.

К примирению с действительностью толкало и самое обыкновенное жизнелюбие. К мученичеству у О. М. не было никакого влечения, но за право на жизнь приходилось платить слишком большой ценой. Когда О. М. решился сделать первый взнос, оказалось, что уже слишком поздно.

Что же касается до меня, то я попала в сыпнотифозный барак. Главврач, остановившись у моей койки, сказал какому-то инспектору, что я тяжелая больная и «числюсь за органами». Я думала, что этот разговор мне померещился в бреду, но тот же главврач, оказавшийся добрым знакомым, братом агронома Феди, подтвердил мне после моего выздоровления, что эти слова действительно были произнесены и что я «числюсь за органами». Впоследствии, во время моих скитаний по Союзу, мне неоднократно сообщали, как явные, так и тайные работники органов, то есть отделы кадров и стукачи, что я «числюсь за Москвой». Что это значит, я не знаю. Чтобы понять, надо изучить структуру органов, за которыми я почему-то «числюсь». Мне кажется, гораздо приятнее не числиться ни за кем, но ума не приложу, как это сделать. Любопытно, все мы «числились», или только избранные?

Палатный врач, добрая женщина, рассказала мне, что ее муж, агроном, досиживает свой лагерный срок. Он «уехал» с многими другими сельскими интеллигентами по обвинению в отравлении колодцев. Это не выдумка, не досужее воображение, а факт. Выздоровев, я начала ездить в Москву, и она давала мне посылки, чтобы я отправляла их в лагерь. В те годы продуктовые посылки принимались только в Москве, а сейчас их посылают только из районных городов. Эмма Григорьевна Герштейн много лет ездила в какие-то фантастические городишки, таская тяжелые посылки, которые Анна Андреевна собирала для Левы.

Когда «отравитель колодцев» вернулся, отсидев свой срок, нас пригласили на вечеринку. Мы пили сладкое вино в его честь, а он пел мягким баритоном романсы и ликовал. В 37 году он стал «повторником»...

Со мной много возилась сиделка Нюра. Ее муж работал на мельнице. Однажды он вынес горсть муки для голодной семьи. Его осудили по декрету на пять лет. Сиделки жадно поедали остатки с тарелок сыпнотифозных и дизентерийных больных. Они рассказывали про свои беды и нищету.

Я вышла из больницы бритая, и О. М. прозвал меня каторжанкой.

ОБИЖЕННЫЙ ХОЗЯИН

Из сыпнотифозного барака О. М. перевез меня не в гостиницу, а в «свою» комнату. Он успел снять нам временное помещение — застекленную терраску в разваливающемся особняке лучшего повара в городе. Дом сохранили в частном владении за заслуги хозяина, который служил шефом в столовой самого что ни на есть закрытого типа. По этому поводу О. М. сказал мне, что наконец-то мы сможем разузнать, что этот таинственный «закрытый тип»... Дело в том, что летом 33 года мы ездили в Крым. И в Севастополе, и в Феодосии нас не пускали ни в одну столовую, говоря, что она «закрытого типа». В Старом Крыму оказалась даже парикмахерская «закрытого типа», и О. М. шутил, что это новый «Канниферштанд». От повара мы ничего не узнали о «закрытом Канниферштанде» — ему было не до шуток. Этот больной, усталый старик, лишенный всякого аппетита, ютился в одной из комнат своего особняка, а в остальных комнатах расселились жильцы, уже давно платившие по ставке. Как собственник, повар должен был производить ремонт за свой счет, и на лето он сдавал терраску, чтобы хоть как-нибудь свести концы с концами. Он только и мечтал, чтобы дом снесли или объявили жактом, но от подобных развалин всякий разумный Совет откажется с ходу. Последний домовладелец тосковал и разорялся, но все еще надеялся стать жактовским жильцом домишки, который пойдет на снос.

Воронеж тридцать четвертого года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались невысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Они торчали у коммерческих хлебных мага-

зинов и протягивали руку. Эти, очевидно, уже успели съесть все сухие корки, захваченные в мешках из родной деревни. В доме повара жил одичавший от голода старик Митрофан. Старик мечтал устроиться хотя бы в ночные сторожа, но его никуда не брали. Все неудачи он приписывал своему имени: «Раз я Митрофаний, думают, что я церковник, и гонят в шею». В центре города стоял полуразрушенный собор святого Митрофания, и старик, вероятно, был прав. Когда мы переехали в зимнюю комнату, Митрофаний повесился. С нашим отъездом у него кончился последний заработок: он помогал нам искать комнату и приводил старух, занимавшихся своеобразным сводничеством — они знакомили владельцев углов, коек и комнат с потенциальными жильцами. Искать приходилось в покосившихся домишках, оставшихся в частном владении, и у тех, кто сдавал жактовскую площадь. Дело это было незаконное — спекуляция жилплощадью. Хозяева и жильцы заранее ненавидели друг друга. Жильцам хотелось поскорее рассориться с хозяевами и перестать платить в двадцатикратном по сравнению с жактовскими ценами размере. А хозяева, залатав на полученные деньги крышу или сменив венцы, вдруг соображали, за какую чечевичную похлебку они продали свое первородство, и пугались, что жильцы навеки останутся на их шее, то есть завладеют площадью. Этим обычно сдача комнат и кончалась: прописавшись и прожив положенные несколько месяцев, жилец сговаривался с домоуправлением — здесь обычно не обходилось без «смазки» — и получал собственную «жировку», то есть право на площадь. Так происходило в жактовских домах, а в частных он просто отказывался выехать, и выселить его судом не удавалось, только платить он переставал. Именно таким образом большинство людей получило оседлость и площадь. Это было, так сказать, естественное перераспределение жилья. Шло оно гораздо интенсивнее, чем изъятие излишков и выдача ордеров, и сопровождалось драмами, скандалами и грудями доносов, с помощью которых и жильцы, и хозяева стремились избавиться друг от друга. Сейчас отношения упорядочились и конфликтам положен конец, потому что комнаты сдаются без прописки: жилец, находящийся на птичьем беспрописочном положении ни на что претендовать не может. Единст-

венная лазейка для склоки — соседский донос о непрописанном жильце, но начальство стало смотреть на это сквозь пальцы — время переменялось.

В Воронеже хозяева охотно пускали на свою площадь ссыльных. Над ссыльными всегда висела угроза, что их вышлют в более глухое место, и, в случае конфликта, хозяин мог приложить к этому руку. Вот почему мы получали множество предложений, и О. М. целыми днями бегал смотреть комнаты по всяким трущобам, но нам долго не удавалось вселиться, потому что всюду требовали за год вперед. На летней терраске уже замерзала вода, когда я съездила в Москву и получила перевод. Он достался мне удивительно легко: Луппол слышал про «чудо» и был уверен, что без особого риска может обеспечить О. М. работой. Сделал он это с большой охотой. Полученный за перевод аванс мы отдали хозяину домика на окраине города, который удовлетворился оплатой за полгода вперед. Каждая поездка в город, а ездить приходилось много — справки, обмен паспорта, поиски работы для О. М., — была настоящим мучением — бесконечные ожидания на трамвайных остановках, толпы, гроздьями висящие на площадках вагонов, давка... До войны городской транспорт всюду, даже в Москве был в чудовищном состоянии. В ту зиму мы познали всю ярость степных ветров — люди, перенесшие крушение, особенно чувствительны к холоду. Мы убедились в этом в периоды очередных бесхлебиц и голода, а они регулярно повторяются через каждые несколько лет, войн и ссылок.

Вскоре выяснилось, что агроном, хозяин дома, где мы поселились, пустил нас, чтобы завести интересные знакомства: «Думал, придут к вам писатели — Кретьова, Задонский — румбу вместе танцевать будем», — жаловался обиженный хозяин в русских сапогах. Разочаровавшись, он «принял свои меры» — врывался, когда к нам приходили приятели, тоже ссыльные и тоже беспаспортные, Калецкий и Рудаков, и требовал для проверки паспорта: «У вас тут собрания, а я, как хозяин, отвечаю»... Мы выставляли хозяина из комнаты, и он печально вздыхал и, поймав меня одну, жаловался: «Хоть бы кто попримличнее к вам зашел»... Данные вперед деньги вернуть он не мог, и нам пришлось их отживать. О. М. посмеивался: ссыльные всегда страдали от

своих хозяев — такова традиция. Раньше они бегали в полицию, теперь в ГПУ, а наш агроном только грозит-ся и как будто «не пишет» и «не ходит» никуда. А это надо ценить...

Следующая комната — мы занимали ее с апреля 35 года по февраль 36 года — находилась в центре, в бывшей мебелирашке, где ютился всякий сброд. Несколько раз в доме бывали ночные облавы — искали самогонщиков. Молоденькая соседка, проститутка, обожала О. М. за то, что он кланялся ей на улице, и вечно прибежала к нам с ведром — вымыть пол, но денег ни за что не брала: «Я вам по дружбе»... Заходила пожаловаться на жизнь старуха еврейка, растившая трех маленьких внуков. Наш хозяин взялся сжить ее со свету и писал, куда следует, доносы, обвиняя ее в проституции. Старуха оправдывалась возрастом — кому она такая нужна? — и размером комнаты, где внуки спали вповалку.

Наше счастье, что доносчики писали, что попало, несколько не заботясь о правдоподобии, а вплоть до 37 года оно все-таки требовалось, пока в прессе не появились статьи, рекомендующие сообщать властям о разговорах, которые ведут соседи. Донос больше всего, в сущности, отражает уровень доносчика, иллюстрируя, на какие взлеты способен его воображение. Второй воронежский хозяин занимал низшую ступень на этой лестнице. Однажды нас вызвали в приемную МГБ и показали один из его доносов на нас, предложив написать объяснение. Там было сказано, что ночью нас посетил какой-то подозрительный тип и из нашей комнаты слышалась стрельба. Первая часть доноса еще могла бы сойти, но вторая все погубила. Ночной посетитель, Яхонтов, афиши о выступлении которого были развешаны по всему городу, подтвердил, что просидел у нас до утра. На этом дело и кончилось.

Самый факт вызова по поводу доноса показывал, что его не собираются использовать. Такое случилось со мной и после 37 года, правда, когда Ежова уже сняли и террор пошел на убыль. Однажды меня вызвали в отделение ГПУ при милиции в Москве, где после смерти О. М. я добилась временной прописки в своей квартире, и потребовали объяснений. На этот раз донос оказался довольно квалифицированным: в моей комна-

те происходят собрания, на которых ведутся контрреволюционные разговоры. Единственным человеком, посетившим меня, был Пастернак. Он прибежал ко мне, узнав о смерти О. М. Кроме него никто не решался зайти, что я и объяснила уполномоченному. Дело кончилось ничем, то есть мне просто предложили выехать из Москвы до окончания срока временной прописки. На этот раз квартирной хозяйкой была я, а выживал меня временный жилец, вселенный к нам Союзом Писателей под поручительство Ставского. Он называл себя писателем, а иногда сообщал, что по чинам равен генералу. Фамилия его Костырев. Когда после Двадцатого съезда мне собирались дать в Москве жилплощадь, меня вызвали в Союз Писателей и спросили, каким образом я потеряла квартиру. Я рассказала про Костырева. Работник Союза Ильин долго искал это имя в писательских списках, но так и не нашел. Но кем бы ни был Костырев, писателем или генералом, роли это не играет: добывая себе квартиру он действовал по трафарету, а «писали» у нас в самых различных слоях общества. Думаю, что Костырев пытался спланировать из органов в литературу, но это ему не удалось. Время, когда он вселился к нам, представляло собой переходный момент двойной службы и двойных заданий.

Воронежский квартирный хозяин, которому по ночам мерещилась стрельба, свою письменную деятельность зазорной не считал. Вероятно, он чувствовал себя полезным членом общества, охранителем порядка. В чем заключалась его служба, понять было не легко. О ней он молчал, и мы предпочитали не спрашивать. Называл он себя «агентом» и постоянно выезжал в район «по делам коллективизации». Во всяком случае, он был мельчайшей сошкой, но и такие подбирались достаточно тщательно.

Жена «агента», молоденькая, почти девочка, которую он «взял за себя», чтобы избавить от тяжелой участи раскулаченной семьи, сдала комнату без его ведома во время одной из его длительных отлучек «по делам коллективизации». Сама она переехала в проходную кухню, а деньги отправила родителям. Муж получил на свою шею жильцов и никакой выгоды. Жена, хоть и «спасенная» этим рыцарем, крепко держала его в руках. Судя по их разговорам, она кое-что про него знала,

что даже в те жестокие времена не сошло бы с рук. В глаза и за глаза она называла его традиционным именем — Ирод, а когда она осыпала его отборной бранью, он робко поджимал хвост. Но с жильцами он все же примириться не мог и старался напакостить, как умел. Он заходил к нам в комнату, держа за хвост живую мышь — дом просто кишел всякой нечистью. Вежливый, по военному подтянутый, он приветствовал нас с порога, а затем говорил: «Разрешите поджарить» — и шел прямо к электрической плитке с открытой спиралью. Плитку он презирал, считая ее интеллигентской прихотью, одной из буржуазных замашек, с которыми честный советский гражданин должен бороться, как с кулачем. Рудаков или Калецкий, вечно у нас торчавшие, вступались за мышь, и хозяин, изрядный трус, встретив сопротивление, позорно отступал. Из соседней комнаты доносились его шуточки об интеллигентских нервах: а я их еще не так припугну — кота зажарю... Замечательно, что он не пил и все свои трюки выполнял абсолютно в трезвом виде. Мышь была его коронным номером.

Когда О. М. уезжал в Тамбов в санаторий, агент выбросил наши вещи из комнаты — их подобрала и сохранила проститутка... Вернувшись, О. М. не знал, куда деваться, и отсиживался в редакции газеты, находившейся в соседнем доме. Оттуда позвонили в неизвестное учреждение, где служил наш хозяин, он же мышоборец и агент. К вечеру он неожиданно явился в редакцию и сказал: «Возвращайтесь, мне велели не скандалить», и мы поняли, как хорошо жить у сотрудников учреждений с военной дисциплиной. С тех пор агент был тише воды, ниже травы... Когда мы нашли новую комнату и выезжали, он сам погрузил наши вещи на извозчика и чуть не крестился от радости: кому бы пришло в голову, что победивший жилец не останется навеки?

Говорят, что от следующего жильца он избавился в 37 году, но долго пользоваться жилплощадью ему не удалось — его перевели на «внутреннюю работу» в лагерь.

Всего за три года в Воронеже мы сменили пять комнат, считая терраску. После агента мы переехали в роскошный новый дом ИТР к вдовушке, сдавшей сразу две комнаты — нам и молодому журналисту Дунаевскому.

Добрый малый устроил нам этот чудесный переезд, но хозяйка тоже оказалась неудачной: журналист и не думал на ней жениться, а она нас пустила только, чтобы «устроить свою судьбу». Ей захотелось снова попытаться счастья, и нам пришлось съезжать, чтобы уступить место потенциальному жениху. Последняя комната в крошечном, вросшем в землю домишке у театральной портнихи оказалась раем, сном из безвозвратно ушедшего прошлого, наградой за все мытарства. Хотя О. М. спокойно относился ко всем неурядицам с хозяевами, у портнихи он все же ожил.

Портниха была самой обыкновенной женщиной, приветливой и добродушной. Она жила с матерью, которую называла бабушкой и сыном Вадиком — мальчишкой, как все мальчишки. Муж, сапожник, умер несколько лет назад, и актеры, чинившие у него обувь, пристроили жену в театр, чтобы она могла прокормить семью. На сына ей выхлопотали пенсию — сапожник был коммунистом. Жили они, как полагается, на картошке, да еще бабушка держала в сарае с десяток кур. Двести рублей за комнату составляли в их доходе статью огромной важности. Обычно у нее жили актеры, и она среди них прославилась своим добродушием. Вот почему они нас к ней пристроили, и нам у нее дышалось легко.

Когда-то было много добрых людей. Мало того, даже злые притворялись добрыми, потому что так полагалось. Отсюда и лицемерие и фальшь — великие пороки прошлого, разоблаченные критическим реализмом в конце девятнадцатого века. Результат этих разоблачений оказался неожиданным: добряки вывелись. Ведь доброта не только врожденное качество — ее нужно культивировать, а это делают, когда на нее есть спрос. Для нас доброта была старомодным, исчезнувшим качеством, а добряк чем-то вроде мамонта. Все, чему нас учила эпоха, — раскулачиванию, классово́й борьбе, разоблачениям, срыванию покровов и поискам подоплеки под каждым поступком, — все это воспитывало какие угодно качества, только не доброту.

Доброту, как и добродушие приходилось искать в захолустных местах, глухих к зову времени. Только пассивные люди сохраняли эти качества, завещанные предками. Вывернутый наизнанку гуманизм сказывался на всех и каждом.

У портнихи мы жили тихо, спокойно, по-человечески и совсем забыли, что у нас нет жилплощади. <...>

...Один раз мне удалось добиться жилплощади. Это было в 33 году, когда под натиском Бухарина нам дали голубятню на пятом этаже писательской надстройки. Через полгода О. М. забрали, но квартиру сохранили за нами. Под нажимом писателей наш комендант Матэ Залка даже ездил в МГБ просить разрешения выбросить с площади ссыльного старуху — мою мать — и использовать квартиру для настоящего советского писателя. Но чудо продолжалось, и ему отказали, попросив передать писателям, жаждущим площади, что не надо быть большими роялистами, чем сам король. Сохранение квартиры внушало нам надежду, что О. М. собираются вернуть в Москву, но когда понадобилось, ее отобрали, выкинув, кстати, и меня, хотя я не числилась ссыльной. Останься я в московской квартире рядом с писателем-генералом, мои кости давно бы сгнили в общей лагерной яме. После второго ареста О. М., когда я слонялась без жилья и прописки, за мной пришли в нашу последнюю калининскую комнату, но меня там уже не было. Ведь не могла же я сохранить за собой эту комнату — она была в частном доме и стоила слишком дорого... Западни для меня не нашлось, и меня, бездомную, забыли, поэтому я выжила и сохранила стихи О. М.

А что если бы у доброй воронежской портнихи нашелся после нас, то есть летом 37 года, жилец, который перестал бы ей платить и получил отдельную жиловку на занимаемую им комнату? Неужели и она догадалась бы поступить, как все и пойти с доносом в органы: у моего жильца, мол, происходят незаконные собрания и ведутся контрреволюционные разговоры... я, как хозяйка, считаю своим долгом... Или она смиренно отказалась бы от приварка для матери и сына? Но про нее известно только одно — домик без крыльца разрушен войной, и на его месте выросло что-то совсем другое...

ДЕНЬГИ

Первое время в Воронеже материально нам жилось легче, чем когда-либо: пораженный чудом Гослитиздат дал переводную работу. Женья даже сказал, что Москва украсилась от пожара. Я спешно перевела какой-то гнусный роман и тут же получила второй договор. Но зимой 34/35 года работодателям, видно, влетело за их доброту — меня вызвали в Москву «ознакомиться с методами перевода». Редактором тогда был Старцев. Он похвалил «методы», а завотдел выманил у меня книжку — ему вдруг понадобилось посмотреть, не требует ли мой роман сокращений... Больше я этой книги не видела, и вскоре она вышла в другом переводе («Гнездо простых людей»). Нам оплатили еще несколько листов перевода Мопассана по старому договору и на этом приток денег из Москвы кончился.

Добываясь работы, О. М. писал бесконечные заявления и ходил в местный Союз Писателей. Вопрос о предоставлении работы «стоял принципиально», как у нас тогда выражались. Это значило, что ждали указаний сверху, а запросил о них Союз, то есть ведомство, за которым числился О. М. Ни мне, ни О. М., никогда нельзя было получить никакой работы без предварительного шебуршения и ожидания. Даже в 55 году я поступила на работу в Чебоксарах только после того, как Сурков куда-то съездил, получил санкцию и позвонил при мне о результате своих переговоров министру просвещения. А в 34 году ни одно учреждение не предоставило бы ссыльному работу без распоряжения сверху. Этим руководители учреждений пытались застраховаться от ответственности за наличие в штате неполноценного гражданина, но если наступал период «бдительности», никакие ссылки на прежние санкции и распоряжения сверху не помогали, тем более, что эти санкции никогда не давались в письменном виде — кто-то кивнул головой, кто-то пробурчал по телефону: «ну что ж», кто-то в лучшем случае сказал: «решайте сами — мы не возражаем»... В деле никаких следов этого бурчания и кивка не оставалось и начальники зачастую жестоко расплачивались за «засорение аппарата чуждым элементом». Мы столько лет были «чуждым элементом», что изучили этот механизм, как свои пять пальцев. Он пре-

терпевал с течением времени некоторую эволюцию, и власть государства над человеком принимала все более четкие формы, а за последние восемь лет, прошедшие с Двдцатого съезда, положение резко изменилось — наступила новая эпоха. Но я говорю о сталинском времени, и этапы, через которые прошел О. М., иллюстрируют процесс закрепощения литературы; то же самое происходило и в других областях, несколько иначе, конечно, но суть оставалась та же.

В 22 году, когда мы вернулись из Грузии, все журналы поместили имя О. М. в списке сотрудников, но напечатать стихи становилось все труднее. Показателен был Воронский — он отвергал все. «Что я с ним сделаю? — жаловался секретарь редакции Сергей Антонович Клычков, — он говорит: не актуально»... В 23 году О. М. сняли сразу со всех списков сотрудников. Это не могло быть случайностью, иначе не было бы такой согласованности во всей периодике. Вероятно, летом провели какое-то идеологическое совещание и в литературе началось расслоение на своих и чужих. Зимой 23/24 года Бухарин, редактировавший журнал «Прожектор», сказал О. М.: «Я не могу печатать ваших стихов. Давайте переводы»... Скорее всего, первоначальное ограничение касалось только периодики, и купленная в 22 году книга стихов («Вторая книга») успела выйти в 23, но через два года Нарбут, заведовавший издательством «ЗИФ», повторил то же, что сказал Бухарин: «Тебя печатать не могу, а переводов дам сколько угодно». К этому времени все, кому не лень, писали, что Мандельштам бросил поэзию и перешел на переводы. За нашей прессой это повторило и «Накануне», и О. М. очень огорчился. Да и вообще тогда уже стало достаточно трудно: «Они допускают меня только к переводам», — жаловался О. М. Но и с переводами дело обстояло не так просто. Существовала, конечно, естественная конкуренция, но кроме того О. М. никогда не попадал в число людей, которых приказывали «обеспечить». Со второй половины двадцатых годов переводческая работа доставалась все труднее, очевидно, оспаривалось само право О. М. на заработок. Не вышло ничего и с детскими книжками. Маршак сильно испортил «Шары» и «Трамвай»; единственной отдушиной были нищие частные издательства, пока они еще существо-

вали. Кое-какие статьи О. М. тиснул в провинции (Киев) и в театральных журнальчиках. Все же полного запрещения еще не существовало, а только ограничения и «рекомендации» заботиться об «актуальности»... Новый этап — это борьба за «чистоту линии», открывшаяся статьей Сталина в «Большевике», в которой он приказал совсем не печатать неподходящих вещей (1930). Я работала тогда в ЗКП, и по разговорам в редакции поняла, что с партизанщиной кончили и объявили планомерное наступление. И все же в печать прорвалось еще несколько стихотворений, но за «Путешествие в Армению» («Звезда») сняли редактора отдела — Цезаря Вольпе, который, впрочем, знал на что он идет. Кольцо суживалось постепенно. Мандельштам и Ахматова первыми почувствовали на себе, что значит сталинская эпоха, но постепенно это узнали все. Многим зажим литературы был наруку. Они и сейчас рады бы вернуть старое и борются за свои позиции и за сохранение старых запретов.

В период ссылки ни о каком печатании уже речи быть не могло, переводы тоже отобрали и самое имя О. М. больше не упоминалось. Оно промелькнуло за все эти годы только несколько раз в ругательных статьях. Сейчас с имени запрет снят, но по инерции его не приносят, а в кочетовских кругах оно еще вызывает ярость. Ведь Эренбурга клеймили главным образом за несколько слов о Мандельштаме и Цветаевой. Зимой 36/37 года прекратились все заработки. Мне удалось получить первую работу лишь в 39 году, когда было объявлено, что жены заключенных продолжают пользоваться правом на труд, но в периоды бдительности меня всегда выгоняли. Так как вся работа находится в руках государства, единственное, что остается, это «под кремлевскими стенами выть». Ведь частные способы существования у нас были следующие (сейчас их нет): огород на участке, где стоит собственный дом, корова там же, но сеном распоряжается начальство; тайная портниха, пока она не попалась фининспектору; то же относится к машинистке, но пишущие машинки стоили до войны очень дорого; наконец, нищенство, но оно у нас не приносит дохода, потому что деньги есть только у верных слуг государства, а они не станут компрометировать себя связью с отверженными. Из всех этих способов мы

прибегали, пока было возможно, к «вою», то есть доби-
вались «принципиального решения вопроса». О. М. за-
нимался этим в Воронеже, а я ездила в Москву и разго-
варивала, пока меня пускали, с деятелями Союза —
Марченко, Щербаковым и другими... Они хранили не-
проницаемый вид и не отвечали ни на один мой вопрос,
но все же кого-то «наверху» запрашивали.

В первую же зиму после ссылки у О. М. отобрали
персональную пенсию. Я добивалась, чтобы ее восста-
новили, и убеждала Щербакова, что «заслуг в русской
литературе» отнять нельзя, следовательно пенсии отби-
рать не следовало. Мое остроумие не произвело на вель-
можу никакого впечатления: «Какие же могут быть за-
слуги в русской литературе, если Мандельштам сослан
за свои произведения?» — парировал он. Мы все, в том
числе и я, совершенно потеряли представление о право-
вых нормах, и мне самой любопытно, можно ли навсег-
да лишиться пенсии, старческой, трудовой, персональной
или академической, человека, осужденного на какой-то
срок без поражения в правах.

Щербакова я не случайно назвала вельможей. Са-
мый физический тип деятеля у нас менялся. До середи-
ны двадцатых годов мы всюду сталкивались с бывши-
ми подпольщиками, окруженными соответствующей мо-
лодежью. Резкие, уверенные в своей непререкаемой пра-
воте, они охотно пускались в споры, агитировали, часто
бывали грубы. От них припахивало семинаристом и Пи-
саревым. Постепенно их сменяли круглоголовые блонди-
ны в вышитых украинских рубашках, эдакие рубахи-
парни с развязно-веселой и вполне искусственной мане-
рой, шуточками и нарочитой грубоватостью. На их ме-
сто пришли молчаливые дипломаты — каждое слово на
вес золота, ничего лишнего не сказать, никаких обеща-
ний не дать, но произвести впечатление человека с ве-
сом и влиянием. Одним из первых сановников этого ти-
па был Щербаков. Когда я в первый раз к нему пришла,
мы оба несколько минут молчали. Я хотела, чтобы за-
говорил он; из этого ничего не вышло, потому что санов-
ник предоставлял просительнице возможность изложить
свою просьбу... Я поставила перед ним вопрос о печа-
тании, хотя заранее знала, что все эти попытки обрече-
ны на полную неудачу. Он объяснил мне, что единствен-
ным критерием для печатания литературных произведе-

ний является их качество: стихи Мандельштама, очевидно, не выдерживают этой пробы, раз их не печатают. То же самое, но с менее выработанными интонациями повторил Марченко. Один раз Щербаков оживился. Он спросил меня, о чём пишет О. М. Я ответила: «о Каме...» Он недослышал. «О партизане?» — спросил он, почти улыбнувшись, но улыбка тотчас исчезла, когда он услышал, что речь идет о реке. «Почему о реке?» — спросил он. Ему это показалось диким. Секундное оживление Щербакова навело нас на мысль, что от О. М., вероятно, ждали в те дни славословий и гимнов и удивлялись, что он их не пишет. На этот шаг он решился только в 37 году, но тогда уже ничего во внимание не принималось.

Все-таки мы с О. М. пробили стену, и наши совместные усилия увенчались сравнительным успехом: его направили на работу в местный театр. Числился он заведующим литературной частью, но не имел ни малейшего понятия о том, что нужно делать. В сущности, он просто болтал с актерами, и они его любили. Кроме того, открыли для приработков местное радиовещание. Такой вид безымянной работы считался у нас допустимым даже для ссыльных, правда, только в спокойные периоды, когда в печати не мелькало слово «бдительность». На радио мы вдвоем сделали несколько передач: Молодость Гете, «Гулливера» для детей... О. М. часто писал вступительное слово к концертам, в частности, к «Орфею и Эвридике» Глюка. Его обрадовало, что, когда он шел по улице, из всех рупоров несся его рассказ про голубку-Эвридику... Там же он вольно перевел неаполитанские песенки для ссыльной певицы с низким голосом.

В этот благополучный для нас воронежский период жить все же было трудно. Театр платил 300 рублей. Этого хватало на комнату (мы платили от 200 до 300 за наши конуры) и разве что на папиросы. Радио тоже давало 200—300 рублей, а я иногда получала внутренние рецензии в газете и ответы на «самотек». Все вместе обеспечивало скромную еду: яичницу на обед, чай, масло. Коробка рыбных консервов считалась «пиром». Варили щи, а иногда, не выдержав, разорялись на бутылочку грузинского вина. Нам еще удавалось кормить Сергея Борисовича Рудакова, которому жена при-

сылала 50 рублей — оплата одной только койки. В тот год — мы жили у «агента» — мы редко оставались одни: забегали актеры, приезжали на гастроли музыканты. Воронеж был одним из немногих провинциальных городов с собственным симфоническим оркестром, и все гастролеры проезжали через него.

О. М. ходил не только на концерты, но и на репетиции: его занимало, как дирижеры разно работают с оркестром. Тогда он задумал прозу о дирижерах, но она так и не осуществилась — не хватило времени. Когда с концертами приезжали Лев Гинзбург со своим однофамильцем Григорием, они проводили у нас много времени и пиры разнообразились излюбленными ими консервированными компотами. Марья Веняминовна Юдина специально добилась концертов в Воронеже, чтобы повидаться с О. М. и много ему играла. В наше отсутствие — мы были в районе — нас отыскал певец Мигай, и мы очень жалели, что он не застал нас. Все это были большие события в нашей жизни. О. М., человек общительный, не мог жить без людей...

Наше благополучие кончилось осенью 36 года, когда мы вернулись из Задонска. Радиокомитет упразднили, централизовав все передачи, театр отсох и газетная работа тоже. Рухнуло все сразу. Тут, перебрав все частные способы жить, О. М. сказал: «Корова!» — и мы стали мечтать о корове и только потом узнали, что она нуждается в сене.

Как ни тяжело жилось даже в дни так называемого благополучия, воронежская передышка была неслыханным счастьем. Сам город очень нравился О. М. Он любил все, что хоть сколько-нибудь напоминало о рубеже, о границе, и его радовало, что Воронеж — петровская окраина, где царь строил азовскую флотилию. Он чуял здесь вольный дух передовых окраин и вслушивался в южно-русский, еще не украинский говор. Вот почему паровозные гудки заговорили у него по-украински. Граница говоров проходила чуть южнее Воронежа, и бабы, тыча пальцем в сушеные фрукты, спрашивали: «Ще шо за вышенки?»... В селе Никольском О. М. записал названия улиц, уже переименованных, но хранившихся в памяти жителей. Люди этого села гордились происхождением от ссыльных преступников и беглых, времен петровских, и улицы назывались по их преступлениям:

проезды душегубов, казнокрадов, фальшивомонетчиков... Записные книжки с дневниковыми записями О. М. погибли при втором аресте, а я забыла старорусские слова, которые с такой легкостью произносили жители Никольского. Были они прыгунами и сочиняли духовные стихи про свои неудачные полеты на небо. Незадолго до нашего приезда в селе разыгралась драма: они назначили день полета и, твердо поверив, что наутро их уже не будет на этой земле, роздали все свое имущество соседям, лишенным крыльев. Очнувшись после падения, они бросились отнимать свои вчерашние дары, и разгорелся страшный бой. Самые свежие стихи, раздобытые нами, повествовали о том, как прыгун прощается со своим любимым ульем прежде, чем подарить его. О. М. запомнил эти стихи с голоса и не раз читал наизусть: не хотелось прыгуну улетать на небо, нравилось ему на земле, где ульи, дом, жена и дети...

Зимой Воронеж представлял собой сплошное ледяное поле, вечную скользоту, ахматовские хрустали, по которым «я прохожу несмело»... Ведь даже в режимных городах не всюду сохранились дворники с лопатами и песком. О. М. не боялся ни льдов, ни ветра. Временами он обольщался городом, но чаще проклинал его и рвался бежать. В сущности он просто тяготился прикреплением, как запертыми дверями. «Я по природе ожидальщик, — говорил О. М., — а меня еще сунули в Воронеж, чтобы я все время чего-то ждал»... Действительно, жизнь складывалась так, что мы все время чего-то ждали: денег, ответа на письмо или заявления, милостивого кивка или спасения... А на самом деле я никогда не видела человека, который так жадно жил бы настоящим, как О. М. Он почти физически ощущал протяженность времени, каждую минуту этой жизни. В этом смысле он прямо противоположен Бердяеву, который говорит, что никогда не мог примириться со временем и что всякая тоска есть тоска по вечности. Мне кажется, что для любого художника вечность уже ощутима в каждом продолжающемся и текущем мгновении, которое он рад бы даже остановить, чтобы сделать еще более ощутимым. Тоска художника — не томление по вечности, а временная потеря чувства, что каждая секунда объемна, изобильна, насыщена и сама по себе равносильна любой вечности. В тоске же естественно зарождалось чувство

будущего и О. М. становился «ожидальщиком». В Воронеже оба эти свойства О. М. развернулись вовсю и в минуты тоски он рвался бежать, куда глаза глядят, но не мог, потому что был накрепко привязан к месту. А может он просто был птицей, которая не переносит клетки, и поэтому все время собирал какие-то справки, чтобы его пустили хоть на несколько дней в Москву вырезать что-то вроде гланд — он в жизни не болел ангиной — полечиться или для устройства своих «литературных дел», совершенно забывая при этом, что никаких литературных дел у него и в помине не было и быть не могло. Разрешения на поездку он, разумеется, не добился. Под влиянием его стонов А. А. Ахматова и Борис Леонидович даже ходили к Катаньяну просить о переводе в какой-нибудь другой город. На это тоже последовал отказ. Кабинет Катаньяна, открытый любому посетителю, существовал для сбора заявлений, на которые отвечали отказами. Так О. М. и просидел в Воронеже все три года и лишь один раз выехал за границы разрешенной области — в тамбовский санаторий, откуда он почти сразу удрал. А по области он ездил несколько раз с газетными командировками и в Задонск на дачу. Нам удалось поехать в Задонск, потому что Анна Андреевна раздобыла 500 рублей у Пастернака и прибавила 500 своих. Мы почувствовали себя богачами и провели в Задонске целых шесть недель.

Метания прекратились летом 36 года, когда в Задонске мы услышали, как радио оповещает нас о грядущих процессах и о наступлении нового этапа в нашей жизни. Приближался 37 год. К этому времени О. М. был уже тяжело болен. Врачи не хотели или не умели распознать его болезнь. Припадки походили на грудную жабу. Он плохо дышал, но продолжал работать. В сущности он сжигал себя и хорошо делал. Будь он физически здоровым человеком, сколько лишних мучений пришлось бы ему перенести.

Впереди расстилался страшный путь, и теперь мы уже знаем, что единственным избавлением была смерть. Людям поколения О. М. и даже моего ни до чего дожить уже не придется. Но даже до относительного благополучия послесталинского периода, которое Анна Андреевна и я считаем настоящим счастьем, ему бы не дотянуть. Я это остро поняла в конце сороковых и начале

пятидесятих годов, когда большинство вернувшихся из лагерей после окончания своего срока — а среди них многие побывали на войне — снова отправились в лагерь.

«О. М. правильно сделал, что сразу умер», — сказал мне Казарновский, встретившийся с О. М. в пересыльном лагере, а потом проведенный с десяток лет на Колыме. Разве нам снилось такое в Воронеже? Ведь и мы, вероятно, верили, что самое худшее позади... Вернее, мы старались не заглядывать в будущее, как и другие обреченные. Мы исподволь готовились к смерти, растягивая и удлиняя каждую минуту, чтобы вкус ее остался у нас на губах, потому что Воронеж был чудом и чудо нас туда привело.

ИСТОКИ ЧУДА

В письме к Сталину Бухарин сделал приписку, что у него был Пастернак, взволнованный арестом Мандельштама. Ясно, зачем эта приписка понадобилась Николаю Ивановичу: ею он сообщал о так называемом резонансе или общественном мнении. Согласно нашим обычаям его нужно было персонифицировать. Можно сказать, что кто-то один волнуется, но нельзя обмолвиться о настроении или недовольстве целой группы, интеллигенции, скажем, или литературных кругов... Никакая группа у нас не имеет права на собственное отношение к событию. В таких вещах существуют тончайшие градации, понятные только тем, кто побывал в нашей шкуре. Бухарин сумел соблюсти все приличия, чтобы обеспечить делу успех. А вот приписка объясняет, почему Сталин для своего телефонного звонка выбрал не кого иного, как Пастернака.

Разговор состоялся в конце июня, когда дело уже было пересмотрено. Пастернак широко о нем рассказывал. В тот же день он был у Эренбурга, находившегося в Москве... Но никому из заинтересованных лиц, то есть ни мне, ни Евгению Яковлевичу, ни Анне Андреевне, он почему-то не обмолвился о нем ни словом. Правда, он в тот же день позвонил по телефону Евгению Яковлевичу, уже знавшему о пересмотре дела, и заверил его,

что все будет хорошо, но этим заверением и ограничился. Женя счел эти слова просто за оптимистический прогноз и никакого значения им не придал. Сама я узнала о сталинском звонке только через несколько месяцев, когда, уже переболев тифом и дизентерией, вторично приехала из Воронежа в Москву. В случайном разговоре Шенгели спросил у меня, дошли ли до нас слухи о звонке Сталина Пастернаку и соответствуют ли эти слухи действительности... Шенгели не усомнился, что все это вымысел досужего воображения, раз Пастернак ничего мне не сообщил. Но я все же решила съездить на Волхонку: ведь дыма-то, да еще такого, без огня не бывает... Рассказ Шенгели подтвердился до малейшей детали — Пастернак, передавая мне разговор, употреблял прямую речь, то есть цитировал и себя и своего собеседника. Точно так рассказывал мне и Шенгели: очевидно, всем Пастернак передавал это в одинаковом виде, и по Москве он распространился в точном варианте. Я передаю его рассказ текстуально.

Пастернака вызвали к телефону, предупредив, кто его вызывает. С первых же слов Пастернак начал жаловаться, что плохо слышно, потому что он говорит из коммунальной квартиры, а в коридоре шумят дети. В те годы такая жалоба еще не означала просьбы о немедленном, в порядке чуда, устройстве жилищных условий. Просто Борис Леонидович в тот период каждый разговор начинал с этих жалоб. Мы с Анной Андреевной тихонько друг друга спрашивали, когда он нам звонил: «Про коммунальную кончил?» Со Сталиным он разговаривал, как со всеми нами.

Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек: почему Пастернак не обратился в писательские организации или «ко мне» и не хлопотал о Мандельштаме. «Если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь...»

Ответ Пастернака: «Писательские организации этим не занимаются с 27 года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы не узнали...» Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова «друг», желая уточнить характер отношений с О. М., которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались. Эта ремарка была очень в

стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела. Сталин прервал его вопросом: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Да дело же не в этом...» «А в чем же?» — спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. «О чем?» «О жизни и смерти», — ответил Пастернак. Сталин повесил трубку. Пастернак попробовал снова с ним соединиться, но попал на секретаря. Сталин к телефону больше не подошел. Пастернак спросил секретаря, может ли он рассказывать об этом разговоре или следует о нем молчать. Его неожиданно поощрили на болтовню — никаких секретов из этого разговора делать не надо... Собеседник, очевидно, желал самого широкого резонанса. Чудо ведь не чудо, если им не восхищаются.

Подобно тому, как я не назвала имени единственного человека, записавшего стихи, потому что считаю его непричастным к доносу и аресту, я не привожу единственной реплики Пастернака, которая, если его не знать, могла бы быть обращена против него. Между тем реплика эта вполне невинна, но в ней проскальзывает некоторая самопоглощенность и эгоцентризм Пастернака. Для нас, хорошо его знавших, эта реплика кажется просто смешноватой.

Теперь уже всем ясно, чего стоило сталинское чудо, а Пастернаку выпала честь не только распространять весть о нем по Москве, но еще и выслушивать поучения. Цель чуда была достигнута — внимание перенеслось с жертвы на милостивца, с ссыльного на чудотворца. Удивительная черта времени — ни один человек, обсуждавший чудо, не задался вопросом, почему Сталин делает такое исключение для поэтов, что считает нужным лезть на стены, чтобы выручить друга-поэта из беды, в то время как своих друзей и товарищей он совершенно спокойно отправляет на гибель. Об этом не задумался даже Пастернак, и его слегка передернуло, когда я ему это сказала. Мои современники совершенно серьезно восприняли сталинское поучение о дружбе поэтов и восхищались властителем, проявившим такую горячность и темперамент. А у нас с О. М. в глазах стоял Ломинадзе, отозванный для казни из Тифлиса, когда О. М. вел с ним переговоры о том, чтобы остаться на архивной работе в Тифлисе. И кроме Ломинадзе, все те, чьи го-

ловы слетели к этому времени. Их было немало, но у нас упорно продолжают вести счет с 37 года, в котором Сталин вдруг переродился и начал всех уничтожать.

Сам Борис Леонидович остался недоволен своим разговором со Сталиным и многим жаловался, что не сумел его использовать, чтобы добиться встречи. Жаловался он и мне... Об О. М. он не беспокоился, так как безоговорочно поверил словам своего собеседника, что с ним будет все в порядке. Тем острее воспринималась собственная неудача: Борис Леонидович, подобно многим людям нашей страны, болезненно интересовался кремлевским затворником. Я считаю, что Борису Леонидовичу повезло, что эта вожденная встреча не состоялась, но к моменту, когда все это происходило, мы многого еще не понимали. Нам еще кое-что предстояло познать. И вот вторая удивительная черта эпохи: почему неограниченные владыки, обещавшие организовать, чего бы это ни стоило, настоящий рай на земле, так ослепляли своих современников? Сейчас никто не усомнится в том, что в столкновении двух поэтов с властителем, и моральный авторитет, и чувство истории, и внутренняя правота были у поэтов. Между тем, Борис Леонидович тяжело переживал свою неудачу и сам мне говорил, что после этого долго не мог даже писать стихов. Было бы еще понятно, если бы Пастернак захотел собственно-ручно пощупать язвы эпохи. Как известно, он впоследствии это сделал, но никаких встреч с властителями ему для этого не понадобилось. А тогда, как мне кажется, Пастернак верил, что в его собеседнике воплощается время, история и будущее, и ему просто хотелось вблизи посмотреть на такое живое и дышащее чудо.

Сейчас распространяют слухи, что Пастернак так трусил во время разговора со Сталиным, что отрекся от О. М. Незадолго до его болезни мы встретились с ним на улице, и он мне об этом рассказал. Я предложила вместе записать разговор, но он этого не захотел. А, может, события развернулись именно так, что ему было не до прошлого.

Что можно инкриминировать Пастернаку, особенно если учесть, что Сталин сразу сообщил о пересмотре дела и о своей милости? В нынешних версиях говорится, будто Сталин требовал, чтобы Пастернак поручился за О. М., а он отказался от поручительства. Ничего подоб-

ного не было, ни о каком поручительстве речь даже не заходила.

О. М., выслушав подробный отчет, остался вполне доволен Пастернаком, особенно его фразой о писательских организациях, которые «этим не занимаются с 27 года...» «Дал точную справку», — смеялся он. Он был недоволен самим фактом разговора: «Зачем запутали Пастернака? Я сам должен выпутываться — он здесь ни при чем...» И еще: «Он совершенно прав, что дело не в мастерстве... Почему Сталин так боится «мастерства»? Это у него вроде суеверия. Думает, что мы можем нашаманить...» И, наконец: «А стишки, верно, произвели впечатление, если он так раструбил про пересмотр...»

Кстати, неизвестно, чем бы кончилось, если б Пастернак запел соловьем о мастерстве и мастерах — может, прикончили бы О. М., как Михоэлса, и уж во всяком случае приняли бы более жестокие меры, чтобы уничтожить рукописи. Я уверена, что они уцелели только благодаря постоянной брани лефовских и символистических современников: бывший поэт, бывший эстет, бывшие стихи... Считая, что О. М. уже уничтожен и растоптан, что он, как говорится, уже «вчерашний день», начальство не стало искать рукописи и затапывать следы. Они просто сожгли то, что им попало в руки, и вполне этим удовольствовались. Будь они более высокого мнения о поэтическом наследстве Мандельштама, ни меня, ни стихов не осталось бы. Когда-то это называлось «развезть прах по ветру».

Заграничная версия разговора со Сталиным совершенно нелепа — там пишут, будто О. М. прочел стихи в гостях у Пастернака при посторонних, а бедного хозяина «таскали в Кремль и мучили»... Каждое слово показывает полное незнание нашей жизни. Впрочем, у кого хватит воображения, чтобы реально представить себе, как мы были скованы? Слова о Сталине никто не смел сказать, не то что прочесть «в гостях» такие стихи... Прийти в дом и при гостях прочесть стихи против Сталина мог только провокатор, да и то он бы не решился. А в Кремль «для допросов» никого не вызывали — это было место для парадных приемов и награждения орденами. Для допросов существовала Лубянка, куда Пастернака по поводу Мандельштама не вы-

зывали. Жалеть его по поводу разговора со Сталиным совершенно не стоит — это ему ничуть не повредило. Кроме того жизнь сложилась так, что у Пастернака мы не бывали, изредка он приходил к нам. Это нас вполне устраивало.

ТРУД

Я впервые поняла в тридцатом году, как возникают стихи. До этого я только знала, что совершилось чудо: чего-то не было и что-то появилось. Вначале — с 19 по 26 год — я даже не догадывалась, что О. М. работает, и все удивлялась, почему он стал таким напряженным, сосредоточенным, отмахивается от болтовни и убегает на улицу, на двор, на бульвар... Потом сообразила, в чем дело, но еще ни во что не вникала. Когда кончился период молчания, то есть с тридцатого года, я стала невольной свидетельницей его труда.

Особенно ясно все мне представилось в Воронеже. Жизнь в наемной комнате, то есть в конуре, берлоге или спальном мешке — как это назвать? — с глазу на глаз, без посторонних свидетелей, безнадежно беспочвенная и упрощенная, привела к тому, что я всмотрелась во все детали «сладкогласного труда». Сочиняя стихи, О. М. никогда не прятался от людей. Он говорил, что если работа уже на ходу, ничто больше помешать не может. Василиса Георгиевна Шкловская, с которой он очень дружил, рассказывает, что в 21 году, когда они жили рядом в Доме искусств на Мойке, О. М. часто забредал к ней погреться у железной печурки. Иногда он ложился на диван и закрывал ухо подушкой, чтобы не слышать разговоров в перенаселенной комнате. Это он сочинял стихи и, стосковавшись у себя, забирался к Василисе... А стихи об ангеле-Мэри появились в Зоологическом музее, куда мы зашли к хранителю Кузину, чтобы распить с ним и его друзьями грузинскую бутылочку, тайком принесенную вместе с закуской в чьем-то ученом портфеле. Мы сидели за столом, а О. М., нарушая обряд винопития, бегал по огромному кабинету. Стихи, как всегда, сочинялись в голове. В музее же я их записала под его диктовку. Вообще, женившись, он ужасно разленился и все норовил не записывать самому, а диктовать.

А в Воронеже открытость его труда дошла до предела. Ведь ни в одной из комнат, которые мы снимали, не было ни коридора, ни кухни, куда он мог бы выйти, если б захотел остаться один. И в Москве мы не Бог знает как жили, вернее, Бог знает как, но там все же было, куда мне забежать на часок, чтобы оставить его одного. А тут уйти было некуда — только на улицу мерзнуть, а зимы, как на зло, стояли суровые. И вот, когда стихи доходили до восковой зрелости, я, жалая бедного загнанного в клетку зверя, делала, что могла: прикорнув на кровати, притворялась спящей. Заметив это, О. М. уговаривал меня иногда «поспать» или хоть лечь к нему спиной.

В последний год в Воронеже, в домике «без крыльца», изоляция дошла до предела. Жизнь наша протекала между нашей берлогой и телефонной станцией в двух шагах от дома, откуда мы звонили моему брату. Два человека — Вишневский и Шкловский — передавали ему в ту зиму по сто рублей в месяц, и он посылал их нам. Сами они посылать боялись. В нашей жизни все было страшно. Эти деньги шли на оплату комнаты — она стоила ровно двести в месяц. Заработки прекратились — ни в Москве, ни в Воронеже нас обоих ни к какой работе не допускали — бдительность. Знакомые на улице отворачивались или глядели на нас, не узнавая. Это тоже обычное у нас проявление бдительности. Одни только актеры позволяли себе отступление от общих правил — они улыбались и подходили к нам даже на главной улице. Это объясняется, пожалуй, тем, что театры подвергались у нас меньшему разгрому, чем другие учреждения. Домой к нам заходили только Наташа Штемпель и Федя, но оба работали и с трудом выкраивали минутку. Наташа рассказывает: мать предупредила ее — знаешь, что может быть от этих встреч?.. Наташа стала скрывать свои посещения, но мать сказала: зачем скрываешь? Я знаю, куда ты ходишь. Мое дело предупредить, а твое решать. Зови их к нам... С тех пор мы часто заходили к Наташе, и мать старалась выставить на стол все, что у нее было. С мужем своим, предводителем дворянства, она давно развелась и учительствовала сначала в городском училище, а потом в начальной школе, чтобы прокормить двоих детей. Скромница, умница, веселая и легкая Марья Иванов-

на — единственный человек в Воронеже, открывший нам свой дом. Все остальные двери были плотно закрыты, заперты на двойные замки: мы были париями, неприкасаемыми социалистического общества.

Все предвещало близкий конец, и О. М. старался использовать последние дни. Им владело одно чувство: надо торопиться, не то оборвут и не дадут чего-то до-сказать. Иногда я умоляла его отдохнуть, выйти погу-лять, поспать, но он только отмахивался: нельзя, вре-мени в обрез, надо торопиться...

Стихи шли сплошной массой, одно за другим. В ра-боте одновременно находилось по несколько вещей. Он часто просил меня записать — и это была первая за-пись по два-три стихотворения сразу, которые он в уме довел до конца. Остановить его я не могла: «Пойми, иначе я не успею»...

Конечно, это было трезвое ощущение приближа-ющейся гибели, но мне она еще не представлялась с та-кой ясностью, как ему. Прямо он мне ничего не гово-рил, но в письмах в Москву, куда я в эту зиму раза два ездила добывать деньги, он иногда как будто затраги-вал вопрос о том, что нас ждет, но тут же сам себя об-рывал и делал вид, будто речь идет об очередных труд-ностях. Может, он действительно гнал от себя эти мыс-ли, но скорее всего щадил меня и старался не омрачать последних дней совместной жизни.

И весь этот год он спешил. Торопился, очень торо-пился. Одышка от этой спешки становилась все мучи-тельнее: прерывистое дыхание, перебои пульса, поси-невшие губы. Припадки чаще всего происходили на ули-це. В последний воронежский год он уже не мог выхо-дить один. И дома бывал спокоен только при мне. Так мы сидели друг против друга: я молча смотрела на шевелящиеся губы, а он наворачивал потерянное вре-мя и спешил сказать свои последние слова.

Записав очередные стихи, О. М. подсчитывал строч-ки и сообщал, сколько он получит по высшей ставке — на меньшее он не соглашался. Лишь изредка, когда стихи уж очень ему не нравились, он предлагал пустить их по «второму сорту», то есть подешевле, как делал Сологуб, у которого стихи были разложены по сортам с соответственно различными ценами. Подсчитав дохо-ды за день, мы шли раздобывать у актеров, наборщи-

ков, а изредка у профессоров — один из них был приятелем Наташи — другой литературоведом, на пачку чая, кусок запрещенного хлеба и яичницу на обед. С нашими давальщиками мы обычно сговаривались о встрече на боковой безлюдной улице, где, соблюдая полную конспирацию, неторопливо проходили друг мимо друга, успев на ходу взять конверт с подаванием. К наборщикам мы забегали в типографию, когда накануне ни с кем не удавалось сговориться о встрече. С ними О. М. познакомился летом 35 года, когда мы жили у мышкетера в доме рядом с типографией и редакцией газеты. Он забегал к ним в поисках слушателей своих свежесочиненных стихов, особенно если стихотворение заканчивалось ночью, когда только они и бодрствовали. Наборщики встречали его радостно, но иногда молодые огорашивали оценками прямо по «Литературной газете», зато старшие на них шикали. В период бедствий старики молча выслушивали стихи, задерживали О. М. на несколько минут разговором о том, о сем, пока кто-нибудь из них не сбегает в магазин, а затем совали ему в руку пакетик с едой. Получали они гроши и наверное сами еле сводили концы с концами, но считали, что «нельзя оставлять товарища в беде... такое время»...

По дороге мы заходили на почту и отправляли стихи в редакции московских журналов. Ответ пришел только один раз — на «Неизвестного солдата». Редакция «Знамени» сообщала, что войны бывают справедливые и несправедливые и что пацифизм сам по себе недостойн одобрения. Но жизнь была такова, что даже этот казенный ответ показался нам благой вестью: все же кто-то откликнулся и разговаривает!

Стихи о тени, которая бродит среди людей, «греясь их вином и небом», пошли в виде исключения не в Москву, а в Ленинград, вероятно, в «Звезду». Среди нынешних бродячих списков я нахожу иногда потерянные стихи и варианты, восходящие к этим посылкам в редакции. Сотрудники выкрадывали листочки с запретными стихами, и они распространялись среди читателей.

Журналист Казарновский, находившийся с О. М. в пересыльном лагере, говорил, что О. М. обвиняли в распространении стихов по редакциям журналов. Стихи при этом назывались каким-то громоподобным словом. Не все ли равно, в чем его обвиняли? Дело об уничтоже-

нии О. М. занимает два листочка — я видела эту папку в прокуратуре, когда мне объявили о реабилитации по второму, так называемому «повторному» делу, и мне хотелось бы прочесть, что там написано, а еще больше опубликовать все без всяких изменений и комментариев.

ТОПОТ И ШЕПОТ

Это было в 32 году. Я переулками возвращалась домой из ЗКП, то есть из редакции журнала «За коммунистическое просвещение», находившейся на Никитской улице. Жили мы тогда на Тверском бульваре. Внезапно я увидела О. М. Он сидел на крыльце какого-то замызганного особняка и так повернул голову, что подбородком почти касался плеча. Правой рукой он вертел палку, а левой для устойчивости упирался о каменную ступеньку. Он сразу заметил меня, вскопчил и мы пошли вместе.

Сочиняя стихи, О. М. всегда испытывал потребность в движении. Он ходил по комнате — к сожалению, мы всегда жили в таких конурах, что разгуляться было негде; постоянно выбегал во двор, в сад, на бульвар, бродил по улицам. В день, когда я увидела его на крыльце, он, устав бродить, присел попросту отдохнуть. Работал он тогда над второй частью «Стихов о русской поэзии».

Стихи и движение, стихи и ходьба для О. М. взаимосвязаны. В «Разговоре о Данте» он спрашивает, сколько подошв износил Алигьери, когда писал свою «Комедию». Представление о поэзии-ходьбе повторилось в стихах о Тифлисе, который запомнил «стертое величье» подметок пришлого поэта. Это не только тема нищеты — подметки, конечно, всегда были стертые — но и поэзии.

Только дважды в жизни я видела, как О. М. сочиняет стихи, не двигаясь. В Киеве у моих родителей, где мы гостили на Рождество 23 года, он несколько дней неподвижно просидел у железной печки, изредка подзывая то меня, то мою сестру Аню, чтобы записать строчки «1-го января 1924». И еще в Воронеже он прилег днем отдохнуть — в тот период он был ужас как утомлен работой. Но в голове шумели стихи и отвязаться от них не удалось. Так появились стихи о певице с низким

голосом в конце «Второй воронежской тетради». Незадолго до этого он слушал по радио Мариан Андерсон, а накануне посетил другую певицу — высланную из Ленинграда. Для нее О. М. вольно перевел неаполитанские песенки, чтобы она выступала с ними по радио, где они оба тогда прикармливались. Мы побежали к ней, узнав, что ее мужа, недавно отсидевшего пять лет в лагере и отпущенного с каким-то минусом в Воронеж, снова арестовали. Мы еще не сталкивались с повторными арестами и не знали, что они сулят. Певица лежала в постели. Потрясенные люди всегда лежат. Моя мать, мобилизованная как врач во время одного из дореволюционных голодов в Поволжье для помощи деревне, рассказывала, что во всех избах лежали, не двигаясь, даже там, где еще был хлеб и не замечалось тяжелого голодного истощения. Эмма, преподавательница Читинского пединститута, ездила на работу со студентами в колхоз. Вернувшись, она мне с удивлением рассказала, что все колхозники почему-то лежат. Лежали и лежат студенты в своих общежитиях, лежат служащие, вернувшись с работы. Все мы лежим. И я пролежала всю мою жизнь...

Певица лихорадочно строила планы на будущее — как овладевает нами эта лихорадка в роковые минуты смертей, арестов, вызовов в органы и прочих катастроф. Не этот ли лихорадочный бред помогает нам пережить вещи, непостижимые для человека, вроде смерти близкого или увода его в тюрьмы двадцатого столетия? Вот что говорила нам певица: не может быть, чтобы ее мужа отправили в лагерь — ведь он только что оттуда вернулся. Значит, его вышлют куда-нибудь, ну и пускай... не все ли равно куда... И она поедет за ним и будет петь... Не все ли равно где петь — в Ленинграде, Ишиме, Воронеже или Иргизе... Всюду можно петь — в любой сибирской деревне... Она будет петь, и ей дадут муку, и она испечет хлеб... И они вместе его съедят...

Муж не вернулся, ведь вышел какой-то приказ о повторных арестах тех, кто уже удостоился этой чести. Тогда или в пятидесятых годах, не знаю, был еще один приказ о том, чтобы навечно сослать всех, кто успел побывать в лагерях... Сама певица тоже исчезла — ее отправили куда-то петь или валить лес — мы так и не узнали куда...

О. М. говорил, что в стихах о певице с низким голо-

сом слились два образа — этой ленинградки и Мариан Андерсон. В день, когда он сочинял эти стихи, я не догадалась, что он работает, потому что он лежал тихо, как мышь. Движение — первый признак, по которому я распознавала работу; второй признак — шевелящиеся губы. В стихах сказано, что их нельзя отнять и что они будут шевелиться и под землей. Так и случилось.

Губы — орудие производства поэта: ведь он работает голосом. Рабочий топот губ — это то, что соединяет работу флейтиста и поэта. Если бы О. М. не испытал, как шевелятся губы, он не мог бы написать стихов про флейтиста: «громким шепотом честолюбивым, вспоминающим шепот губ, он торопится быть бережливым, емлет звуки, опрятен и скуп...» И про флейту — «и ее невозможно покинуть, стиснув зубы, ее не унять, и в слова языком не продвинуть, и губами ее не размять...» Мне кажется, что эти слова про то, что флейту невозможно продвинуть в слова, знакомы поэту. Здесь говорится про тот момент, когда в ушах уже стоит звук, губы только шевельнулись и мучительно ищут **первые слова...**

И флейтист тоже был наш знакомый. Его звали Шваб. Он был немец и страшно боялся за свою единственную флейту, присланную из Германии каким-то старым товарищем по консерватории. Мы не раз заходили к нему, и он вынимал из футляра свою пленницу и утешал О. М. Бахом, Шубертом и прочей классикой. Все гастролеры любили его. Шваб — настоящий музыкант, — говорили оба Гинзбурга. Однажды после работы — это произошло до «начала грозных дел», О. М. еще служил в театре — мы забежали в один из ярусов послушать симфонический концерт. Сверху весь оркестр был виден, как на ладони, и вдруг я обнаружила, что вместо Шваба сидит другой флейтист. Я наклонилась к О. М.: «Посмотри!» Соседи шикали, но мы продолжали шептаться. «Неужели его забрали?» — сказал О. М. и в антракте побежал за кулисы. Предположение подтвердилось. В нашей жизни такие предположения почему-то всегда подтверждались. Мы стали суеверными и боялись их высказывать — ну его! еще накличешь!.. Шваба, как мы узнали потом, обвинили в шпионаже и загнали на пять лет в уголовный лагерь под Воронежем. Там он и кончил жизнь, — ведь это был старик, да еще старик

с флейтой... О. М. все думал, взял ли Шваб с собой в лагерь флейту или побоялся, что воришки, с которыми он жил в бараке, ограбят его. А если взял, то чтобы играть по вечерам другим каторжанам... Так появились стихи «Флейты греческой мята и йота» — из звуков флейты, горькой участи старого флейтиста и первого испуга перед «началом грозных дел».

О. М. в этих стихах говорит про топот «вспоминающих» губ. Только ли у флейтиста губы заранее знают, что они должны сказать? В процессе писания стихов есть нечто похожее на припоминание того, что еще никогда не было сказано. Что такое поиски «потерянного слова» — «я слово позабыл, что я хотел сказать, слепая ласточка в чертог теней вернется» — как не попытка припоминания еще неосуществленного? Здесь есть та сосредоточенность, с которой мы ищем забытое, и оно внезапно вспыхивает в сознании. На первом этапе губы шевелятся беззвучно, затем появляется шепот и «вдруг дуговая растяжка звучит в бормотаньях моих». Внутренняя музыка выявилась в смысловых единицах. Воспоминание проявилось, как фотографическая пластинка с изначальным световым отпечатком.

О. М. не случайно ненавидел дуализм, то есть разговоры о форме и содержании, столь модные у нас и столь удобные для заказчика: для официального содержания всегда требовалась красивая форма... Именно из-за этого разделения формы и содержания О. М. сразу оттолкнул от себя армянских писателей; в одну из первых встреч он обрушился на лозунг «национальная по форме, социалистическая по содержанию» культура, литература и тому подобное, не зная, впрочем, кому принадлежат эти слова... Так мы даже в Армении остались в одиночестве. Сознание абсолютной неразделимости формы и содержания вытекало, по-видимому, из самого процесса работы над стихами. Стихи зарождались благодаря единому импульсу, и погудка, звучащая в ушах, уже заключала то, что мы называем содержанием. В «Разговоре о Данте» О. М. сравнил «форму» с губкой, из которой выжимается «содержание». Если губка сухая и ничего не содержит, то из нее ничего и не выжмешь. Противоположный путь: для данного заранее содержания подбирается соответствующая форма. Этот путь О. М. проклял в том же «Разговоре о Данте»,

а людей, идущих этим путем, назвал «переводчиками готового смысла».

Илья Григорьевич Эренбург при мне объяснил Слуцкому, что О. М. портил свои стихи, внося в них многочисленные «фонетические исправления». Ничего подобного я никогда не замечала. Варианты стихов и «исправления» — качественно различные вещи. О. М., говоривший «мы — смысловики», знал, что слово всегда содержит информацию, то есть является смыслоносителем. Мне кажется, что исправления характерны для переводчиков, когда они пробуют, как бы получше выразить готовую мысль, фонетические же исправления предназначены для украшения. Вариант — это либо снятое лишнее, либо «отдельное», уводящее к новому единству. Поэт пробивается к целостному клочку гармонии, спрятанному в тайниках его сознания, отбрасывая лишнее и ложное, скрывающему то, что я называю уже существующим целым.

Стихписание — тяжелый изнурительный труд, требующий огромного внутреннего напряжения и сосредоточенности. Когда идет работа, ничто не может мешать внутреннему голосу, звучащему, вероятно, с огромной властью. Вот почему я не верю Маяковскому, когда он говорит, что наступил на горло собственной песне. Как он это сделал? Мой странный опыт — опыт свидетеля поэтического труда — говорит: эту шутку не обуздаешь, на горло ей не наступишь, намордника на нее не наденешь. Это одно из самых высоких проявлений человека, носителя мировых гармоний, и ничем другим не может быть.

Выявление это носит общественный характер и говорит о делах людей, потому что носитель гармонии — человек и живет среди людей, разделяя их судьбу. Он говорит не «за них», а с ними, не отделяя себя от них, — и в этом его правда.

Первоначальный импульс гармонического самовыявления — с людьми и среди людей — всегда поражал меня своей категоричностью. Ни симулировать, ни стимулировать его нельзя. К несчастью, конечно, того, кто называется поэтом. И мне понятны жалобы Шевченко — еще О. М. оценил их и показал мне — на неотвязность стихов, приносящих ему одни беды и мешавших ему заниматься живописным ремеслом, доставлявшим толь-

ко радости. Этот импульс перестает действовать, когда иссякает материал, то есть ослабевает связь поэта с миром и людьми, когда он перестает слышать их и жить с ними. Не в этой ли связи с людьми черпает поэт чувство правоты, без которого нет стихов? Импульс перестает действовать, когда поэт умирает, хотя губы продолжают шевелиться, потому что они остались в стихах. Какие дураки, кстати, говорят, что поэты плохо читают свои стихи, портят их? Что они понимают в стихах? Стихи живут подлинной жизнью только в голосе поэта, и голос поэта продолжает жить в них навеки.

Мне пришлось жить и с Анной Андреевной, но у нее работа протекала далеко не так открыто, как у О. М., и я не всегда распознавала, что она в работе. Во всех своих проявлениях она всегда была гораздо замкнутее и сдержаннее О. М. Ее совершенно особое женское мужество, почти аскетизм, всегда поражало меня. Даже губам своим она не позволяла шевелиться с такой откровенностью, как это делал О. М. Мне кажется, что когда она сочиняла стихи, губы у нее сжимались и рот становился еще более горьким. О. М. говорил, когда я еще ее не знала, и часто повторял потом, что, взглянув на эти губы, можно услышать ее голос, а стихи ее сделаны из голоса, составляют с ним одно неразрывное целое, что современники, слышавшие этот голос, богаче будущих поколений, которые его не услышат. Этот голос с теми же интонациями, что звучали в нем в молодые и зрелые годы, и с той же глубиной, поражавшей О. М., удивительно запечатлелся на пленке у Ники, записанной совсем недавно. Если пленка сохранится, мои слова получат объективное подтверждение.

О. М. подметил несколько движений Анны Андреевны и всегда спрашивал меня после встречи с ней, видела ли я, как она вдруг вытянула шею, мотнула головой и губы у нее напряглись, будто она сказала «нет». Он повторял это движение и удивлялся, что я его не так точно запомнила, как он. В вариантах «Волка» я обнаружила рот, говорящий «нет», но там это уже не женский рот, а тот, который повторял движение Анны. Длившаяся всю жизнь дружба этих несчастнейших людей была, пожалуй, единственной наградой за весь горький труд и горький путь, который каждый из них прошел. К старости в жизни Анны Андреевны появился

просвет, и она умеет пользоваться им. Но стихи ее не напечатаны, прошлое вычеркнуть нельзя, и если бы не способность жить настоящим, свойственная как будто поэтам, во всяком случае этим двум, она вряд ли смогла бы так радоваться жизни, как она радуется сейчас.

КНИГА И ТЕТРАДЬ

«Из вас лезет книга», — сказал Чаренц, слушая стихи об Армении. Это было в Тифлисе — в Эривани он бы не решился заходить к нам. О. М. обрадовался словам Чаренца: «Кто его знает, может в самом деле книга»... Через несколько лет я, по просьбе О. М., занесла Пастернаку кучку стихов, написанных в Воронеже, и он вдруг заговорил о «чуде становления книги»... В его жизни, сказал он, это было один раз, когда он писал «Сестру мою жизнь»... Я рассказала об этом разговоре О. М. «Значит, книга это не просто стихи», — спросила я. О. М. только рассмеялся.

Движение отдельных возникающих вещей так же строго закономерно, как порядок строк в одном стихотворении, но внешние признаки этой закономерности не достаточно отчетливы. Если бы речь шла о внешне единой форме, вроде поэмы, это было бы ясно каждому, а внутренняя последовательность лирических стихотворений не так бросается в глаза. Между тем слова о стереометрическом чутье поэта («Разговор о Данте») относятся и к лирическим стихам в их совокупности, называемой «книгой».

Вероятно, не у всех поэтов процесс становления книги протекает одинаково. У одних взаимосвязанные вещи возникают в хронологической последовательности, другие группируют стихи, как Анненский свои трилистники или Пастернак, делавший внутренние разделы в книгах, куда входили стихи, написанные в разное время, хотя и в один период. О. М. принадлежал к первому типу: стихи шли группами или потоком, пока не исчерпается порыв. Восстановив хронологию, он находил общую композицию книги. «Тристии» составлялись без него, и потому общий принцип нарушен.

Восстановление хронологии — трудная задача, и не только теперь, когда многие даты потеряны. Трудности

существовали и при жизни Мандельштама, когда все даты были налицо. Дело в том, что сами даты таят в себе неточность, потому что означают момент записи, а не начало и конец работы. Мне кажется, что начало вообще определимо только при холодном версификационном процессе: разве О. М. мог знать, что ему предстоит написать и вообще, что выйдет из его бормотаний, когда начинал прислушиваться к жужжанию пчелы? Вторая трудность: как определить, какой момент для каждого стихотворения решающий — начало или конец? Это тем более важно, что в работе часто находится не одно стихотворение, а несколько.

Общий порядок при жизни О. М. в ряде случаев был еще не совсем уточнен: О. М. колебался, как расположить «волчий цикл» и стихи в середине второй воронежской тетради. Этого доделать он не успел. Зато основная работа по подготовке к печати сделана при его жизни — это деление на «тетради». Мне часто задавали вопрос, откуда взялись эти «тетради». Происхождение этого названия чисто домашнее. Стихи с 30 по 37 год записывались в Воронеже — ведь рукописи 30—34 года были при обысках отобраны и не возвращены. Чтобы записать стихи мы раздобыли, да и то не без труда, — приличной бумаги у нас никогда нельзя было достать — обыкновенные школьные тетради. Начало положило то, что сейчас составляет «Первую Воронежскую Тетрадь». Затем пришлось вспомнить и записать стихи 30—34 года, то есть «Новые стихи». О. М. сам определил начало и конец двух тетрадок, составляющих «Новые Стихи». «Тетрадь» — это, очевидно, раздел книги.

Осенью 36 года, когда поднакопились стихи, О. М. сам попросил меня завести еще одну тетрадку, хотя в старых еще было место. Это — «Вторая Воронежская Тетрадь». Между «Второй» и «Третьей» почти нет никакого промежутка во времени, но «Третья» показывает, что началось нечто новое. Стихи «Третьей» не продолжение прежнего порыва, который себя исчерпал. Если бы существовали точные методы стихового анализа, можно было бы доказать, что с каждой тетрадью исчерпывается определенный материал и кончается единый порыв. Впрочем, это видно и простым глазом.

Слово «книга» связано в нашем понимании с пе-

чатку: книга предполагает какой-то объем и подходящее для печати количество строк. Для «тетради» никаких правил не существует, арифметические мерки к ней не приложимы. Начало и конец «тетради» регулируются только единством стихотворного порыва, породившего внутренне связанные между собой стихи. «Тетрадь» — это, в сущности, «книга» в понимании Чаренца, Пастернака и Мандельштама, не стесненная удобствами книгоиздательства, требующего некоторой объемности и композиции, иногда даже искусственной. Но само слово «тетрадь» совершенно случайное — оно подсказано нашей вечной нуждой в бумаге. У этого названия есть с одной стороны неприятная конкретность, с другой навязчивая ассоциация: «Нотная тетрадь» Шумана. За него только домашняя и рукописная традиция, а она приобретает громадное значение в наш догутенбергский век.

В юности О. М. употреблял слово «книга» в значении «этап». В 19-м году он думал, что будет автором только одной книги, потом заметил, что существует деление на «Камень» и то, что потом стало называться «Тристии». Кстати, название это дал Кузмин в отсутствие Мандельштама. Сами «Тристии» имеют случайный состав — в них вошла кучка беспорядочных рукописей, вывезенная издателем без ведома автора за границу. «Вторая Книга» искажена цензурой, а название она получила именно потому, что О. М. понял свою ошибку насчет одной книги, которую ему суждено написать. Он не сразу заметил, как кончился дореволюционный «Камень» и началась книга войны, предчувствия и осуществления революции. «Новые стихи» — это книга осознанного отщепенства, а «Воронежские Тетради» — ссылки и гибели. Под каждым переписанным мной в Воронеже стишком О. М. ставил дату и букву «В». «Зачем?» — спрашивала я. «Так... Пусть...» — отвечал О. М. Он как бы клеймил все эти листочки, но их сохранилось очень мало, потому что впереди был 37 год.

ЦИКЛ

Этап — понятие мировоззренческое. Это рост самого человека, а с ростом изменяется отношение к миру и к поэзии. «Тристии» пришли в ожидании и первичном по-

знании революции, а «Новые Стихи» после разрыва молчания «Четвертой Прозой». Внутри каждого этапа могут быть различные книги. Мне кажется, что «Новые Стихи» и «Воронежские Тетради» — две книги, разделенные арестом и ссылкой, представляют один этап. В одной из них два, в другой три раздела, называемых «тетрадами». Иначе говоря, для О. М. книга — это биографический период, а «тетрадь» — стиховой раздел, определяемый единством материала и порыва.

Цикл — более мелкая единица. В «Первой Тетради» «Новых Стихов» выделяется, например, «волчий» или каторжный цикл, а также армянский. Но сама «Армения» в сущности не цикл, а подборка. Таких подборок у О. М. две: «Армения» и «Восьмистишия». Только в них он нарушал хронологию, а следовательно, характер лирического дневника, столь свойственный воронежским, например, тетрадам, но скрытый в ранние периоды, когда О. М. производил жестокую селекцию и массами уничтожал незрелые стихи.

Во «Второй Воронежской Тетради» один цикл начинается «Гудком», другой стихотворением «Дрожжи мира». В каждом из этих циклов есть стихотворение, от которого пошли остальные. Оно не первое и в работе находилось дольше других. Были циклы, где одно стихотворение следовало за другим, как звенья цепочки, и другие, где стихи переплетались в клубок и все выходило из одного стихотворения — матки.

Легко показать, что «Волк» был маткой всего каторжного цикла, потому что сохранились волчьи черновики. Стихи, имеющие общее происхождение, иногда так расходятся, что на первый взгляд между ними совершенно не видно никакой связи: в процессе работы исчезли общие слова и строки, перекликающиеся друг с другом. Вообще работа над запутавшимся в клубок циклом носит характер дифференцирующий — один организм как бы отделяется от другого и каждому из них отдаются все принадлежащие ему признаки. Эта операция напоминает движения садовника, когда он отделяет веточки с жизненосными черенками.

В волчьем цикле последней пришла строка «и меня только равный убьет», хотя в ней смысловой ключ всего цикла. Источник этого цикла — русские каторжные песни. Среди народных песен только их и любил О. М.

Сама песня названа в «Бушлатнике»: «так вот бушлатник шершавую песнь поет», и в вариантах «Волка»: «и один кто-то властный поет» и «там в пожарище время поет», и «но услышав тот голос, пойду в топоры, да и сам за него доскажу...» Ссылка на песнь у О. М. редкость. В последний период она встречается, кроме черновиков «Волка» и «Бушлатника», только в «Абхазской песенке»: «Пою, когда гортань сыра, душа суха и в меру влажен взор и не хитрит сознание...» В. первых двух случаях песнь и стихи не отождествляются — этого О. М. терпеть не мог. Открывая очередной номер «Звезды», О. М. всегда удивлялся, почему советские поэты, особенно ленинградские, всегда сообщают, что они молоды и поют песни. Он даже подсчитывал как-то, сколько раз в номере встречаются эти атрибуты советского поэта. Число получилось внушительное.

По черновикам «Волка» можно проследить, как появлялись стихи этого цикла. Варианты — «и неправдой искривлен мой рот» и «а не то уведи, да прошу поскорей, к шестипалой неправде в избу» выделились в отдельное стихотворение «Неправда» — «Я с дымящей лучиной вхожу к шестипалой неправде в избу...» «И услышав тот голос, пойду в топоры» привели к топору в стихах «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма». Мысль о «речи», которую надо вопреки всему сохранить, соединилась с топорищем для петровской казни... В «Волке» мелькнула «черешня московских торцов», а рядом с ней записана «трамвайная вишенка страшной поры».

«Александр Герцович» и «Астры» составляют как бы периферию цикла. Внешний признак связи — слово «шуба». В «Астрах» это барская шуба, за которую его корили, и в «Александре Герцовиче» — «а там вороньей шубою на вешалке висеть». Обе они связаны с «жаркой шубой сибирских степей»... Шуба — один из повторяющихся образов О. М. Он появился еще в «Камне»: дворники в тяжелых шубах, женщина в меховой шубке, а потом ангел в золотой овчине... Первая проза О. М., потерянная в Харькове в издательстве сестры Яковского, называлась «Шуба». И, наконец, «В не почину барственной шубе» из «Шума Времени» и «литературная шуба» из «Четвертой Прозы», которую О. М. срывает с себя и топчет ногами. Шуба — это устойчи-

вость быта, шуба — русский мороз, шуба — социальное положение, на которое не смеет претендовать разночинец.

Шуба из «Астр» связана с забавным инцидентом. В конце двадцатых годов одна вельможная, а потом погибшая дама, жаловалась Эмме Герштейн, что Мандельштам всегда казался ей совершенно чуждым человеком — она, мол, не может забыть, в какой шикарной шубе он разгуливал по Москве в начале НЭП'а... Мы только ахнули. Шубу эту с плеч какого-то нищего дьячка мы купили на базаре в Харькове — рыжий, вылезший енот, запахивающийся наподобие рясы... Старик дьячок продавал ее, чтобы купить хлеба, О. М. купил эту роскошь, когда мы ехали с Кавказа в Москву, чтобы не замерзнуть на севере. Эта первая «литературная» и «не по чину барственная шуба» была предоставлена Пришвину; ночевавшему в общежитии на Тверском бульваре, вместо тюфяка. Он накрыл ею взорвавшийся малокалиберный примус. Последние волоски рыжего енота обуглились, и О. М. даже не успел сорвать эту шубу со своих плеч и растоптать, а следовало бы... Зачем носить шубу с чужого плеча? Носить шубу ему было не по чину...

С шубами всегда бывали какие-то осложнения. Раз мы добыли денег и пошли покупать обыкновенную советскую шубу в универмаг, но выяснилось, что в продаже только шубы из собачьего меха. На такое предательство по отношению к благородному собачьему роду О. М. не отважился и предпочел мерзнуть. Так он доходил в пальтишке до последнего года жизни, когда нам постоянно приходилось ездить в холодных вагонах в стоверстную зону. Не выдержал Шкловский: «У вас такой вид, будто вы приехали на буферах, — сказал он. — Надо придумать шубу...» Василиса вспомнила, что у Андроникова валяется старая шуба Шкловского. Он носил ее, когда пробивался в люди, но сейчас ему уже полагалось нечто более барственное. Вызвали Андроникова вместе с шубой, и с великими церемониями вырядили в нее О. М. Она славно послужила в калининскую зиму. Арестовали О. М. весной, и он не захватил ее с собой: побоялся лишней тяжести. Шуба осталась в Москве, а он замерзал в желтом кожаном пальтишке, тоже подаренном кем-то в последний подмосков-

ный, на сто пятой версте, год своей неприкаянной жизни.

В волчьем цикле подготовка к ссылке — сибирские леса, нары, срубы... Материал этого цикла — дерево: плаха, бадья, сосна, сосновый гроб, лучина, топорщице, городки, вишневая косточка... Эпитеты, в частности, — шершавый, в этом цикле принадлежат к тому же ряду.

Этот цикл начался до «Волка» в кандалах дверных цепочек, в петербургских пожарах и морозах, в остром ноже и каравае хлеба, в ощущении: «в Петербурге жить словно спать в гробу» и в потребности поскорее бежать на вокзал, «где бы нас никто не отыскал»... Смысл этого цикла — отщепенство, непризнанный брат. Я прочла потом у Бодуена, что «брат» первоначально не термин родства, а «принятый в племя»... В племя советской литературы О. М. принят не был и даже дьячковая шуба на его плечах свидетельствовала о буржуазной идеологии... И еще этот цикл про того, кто говорит «нет», и про тех, кто, идет с «самопишущим черным народом». Отголоски 17 года в грузовике, стучавшем у ворот, и в черном народе, который идет на «дворцы и морцы»...

Из деревянного волчьего сруба все эти темы распрстраняются на всю тетрадь. Попытка найти вторую родину — Армению — не удалась. Насильно возвращенный в Москву — «я возвратился, нет, читай: насильно был возвращен в буддийскую Москву», — О. М. определил свое место в ней. Определение оказалось достаточно точным.

В стихах «после удушья» заметны два приступа: первый это удивление при виде новой земли — черноземной, а потом, оправившись от удивления, О. М. начал припоминать, как он сюда попал, и это вызвало стихи о чердынском периоде нашей жизни.

В обоих циклах этой тетради каждое новое стихотворение развивалось из какой-нибудь плодоносной веточки на предыдущих. Почки в «Наушниках» — «не спрашивай, как набухают почки» — впервые появились как рифма к «комочки» в «Черноземе» — в какой-то момент «комочки» рванулись в конец строки, чтобы сочетаться с «почки», а потом ушли на свое место. А Воронеж — проворонишь, на одном корню с проворотом. Инструментальная и смысловая работа так переплелись, что их невозможно расщепить. Случайно ли по-

явилось упоминание о «земле и воле» в «Черноземе» или несколько рифм — кутерьма, тьма — к произнесенному слову «тюрьма» в «Стансах»? А почему ассоциации к казни проскальзывают в самых неожиданных местах, как например, в «Стрижке детей» — «еще мы жизнью полны в высшей мере»...

Эти ассоциации прочно вошли в наш быт, и у О. М. и в стихах, и в прозе неоднократно упоминается тюрьма. Сочетание слов «его взяли», «он сидит», «его выпустили», «его посадили» получили в русском языке новое значение и это показывает, как сильно пропиталась наша жизнь тюремными размышлениями. Это и есть диффузия, взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира, которое необходимо правителям для устрашения тех, кем они управляют.

Это тюремное рассуждение я хочу заключить бытовой сценкой тридцать седьмого года. В центре Москвы стоит дом, где на одних площадках жили писатели и чекисты. Бог его знает, как туда попали чекисты, может, их вселили на место арестованных из какого-то другого ведомства, разделявших этот дом с писателями. Но они там жили, и соседям приходилось сталкиваться с ними по разным поводам. Однажды, например, пьяный чекист, которого жена выставила из квартиры, бушевал на лестничной площадке: он вспоминал в пьяном бреду, как допрашивал и избивал во время допроса своего товарища, и лил слезы позднего раскаяния. Я дозвонилась в квартиру к его жене и заставила ее впустить мужа, объяснив, что за такой пьяный бред ему тоже не поздоровится... И вот во двор этого дома пришли бродячие певцы. Они чувствовали потребность момента и пели лучшие, классические каторжные песни — сибирские, байкальские, воровские... На все балконы тотчас высыпал народ, не писательский, разумеется. Певцам подпевали, певцам бросали деньги... Это длилось с полчаса, пока кто-то из идеологически устойчивых жильцов не скатился вниз, чтобы прогнать певцов. Но им успели крикнуть сверху — смывайтесь! — и они смылись. Мы стояли с О. М. на одном из балконов и тоже бросили монетку или бумажку — ее заворачивают в клочок газеты и, чтобы она падала вниз, кладут груз — коктейбельский камушек. Мы отдали дань русскому фольклору. Младший Ося — как называют теперь Иосифа Брод-

ского, сосланного за тунеядство, вернее, за стихи, потому что жизнь повторяется, хотя и в разных формах, недавно сказал Ахматовой, что у Пастернака совсем нет фольклора. Может ли это быть? Мне кажется, что один из вопросов при исследовании поэтического творчества, это вопрос о связи с фольклором. Каторжный фольклор у О. М. замечен сразу — его подсказала жизнь и он лежит на поверхности. Это не единственная связь О. М. с фольклорным европейским и русским богатством. От фольклора не уйти никуда, весь вопрос в том, как его переварить в индивидуальной современной поэзии.

ДВОЙНЫЕ ПОБЕГИ

Стихотворение «Эта область в темноводье» работалось медленно и трудно, много дней подряд. О. М. жаловался, что «нечто», почти осязаемое и очень важное, никак не хочет прийти. Это созревала последняя строфа — она и пришла последней, что случается далеко не всегда.

О. М. стоял у стола, спиной ко мне, и что-то записывал. «Иди сюда, посмотри, что у меня...» Я обрадовалась, что темноводье кончилось и мы пойдем гулять. Оно мне надоело, как фанерная карта воронежской области на телефонной станции, на которой вспыхивали лампочки, показывая, с какими пунктами есть связь. Но меня ожидало разочарование — на протянутой мне бумажке я прочла «Вехи дальнего обоза». «Погоди, это еще не все», — сказал О. М. и записал: «Как подарок запоздалый ощутима мной зима...» «Ты сошел с ума! — возмутилась я. — Мы так никогда не выйдем. Идем на базар или я пойду одна...»

На базар мы пошли вместе — он находился в двух шагах от дома — что-то продали и что-то купили. Кажется, в тот день мы продавали серый пиджак из торгсиновской материи. «В таких садятся в тюрьму», — сказал покупатель, умный и хитрый городской мужик. «Верно, — ответил О. М., — но он уже там побывал; теперь безопасно...» Мужик ухмыльнулся и дал нашу цену. Мы тут же устроили пир, то есть прихватили лишний кусок мяса или колбасы, если она тогда существовала. Трудно припомнить, чем нас кормили в разные

периоды, но всегда существовало какое-то «дежурное блюдо» и все его ели. Сейчас для Москвы это вареная колбаса. В тот период нас, кажется, угощали синеватыми курами, а консервы в банках считались роскошью. Был период замороженных фазанов и голубей, но это быстро кончилось. Треска держалась значительно дольше. В провинцию, правда, почти ничего «из дежурных блюд» не попадало, но зато там умели ценить насыщенный хлеб.

Строфа с ночным чайником появилась чуть ли не в тот же день, а два маленьких стихотворения, вылупившиеся из «темноводья» лишь слегка дорабатывались. В «Вехах дальнего обоза» запечатлелся пейзаж из окна тамбовского санатория — вот откуда слово «особняк». Мы жили не в особняках, а где попало, преимущественно в лачугах. Мне ясно, каким образом стихи «Как подарок запоздалый ощутима мной зима» помогли найти последнюю строфу «темноводья»: они дали строчку — «степь беззимняя гола». Вдруг с этим стихотворением выявилась особенность времени года — все застыло в ожидании запоздавшей зимы. Природа ждала зимы, а люди в декабре 36 года уже знали, что им несет грядущий тридцать седьмой. Для этого не требовалось никакого исторического чутья — нас успели предупредить еще летом в радиопередаче о будущих процессах. В этой строфе О. М. сказал про воронежскую землю: «Где я? что со мной дурного! степь беззимняя гола... Это мачеха Кольцова... Шутишь — родина щегла...» Здесь синтез его настроения тех дней — чувство беды не могло перебить вечной и дикой радости жизни, совершенно необъяснимого веселья запертого в клетку стихотворца. И дальше опять точные подробности его жизни: к ночи, устав от работы, он выходил побродить по пустому городу, где всегда была гололедица. Наши провинциальные города после исчезновения дворников стали областью «вечной скользоты»... Об этом и в воронежских стихах Ахматовой, совершенно не умевшей ходить по гладкому льду: «по хрусталям, я прохожу несмело...» А чайник был электрический — неслыханная роскошь по тому времени, но мы ее себе позволяли, потому что во время ночной работы О. М. всегда пил много чая. Только от двух вещей он не мог отказаться — от чая и папирос. Остальное, мы считали, приложится.

В Воронеже дважды появлялись «тройчатки», то есть три стихотворения одного происхождения. Первая «тройчатка» — «Темноводье», «Как подарок запоздалый» — мы называли этот стишок «вороном» — и «Вехи дальнего обоза». Другая тройчатка: «Десятизначные леса», «Что делать нам с убитостью равнин» и реминисценция Камы — «О, этот медленный, одышливый простор». В первой «тройчатке» все переплелось, как в цикле, запутанном в клубок. Во втором все три стихотворения развивались самостоятельно из общего корня. Строки «что делать нам с убитостью равнин, с протяжным голодом их чуда» и «равнины дышащее чудо» объединяют первые два стихотворения. Третье связано с темой дыхания, одышки, которая есть и в двух других. «Одышливый простор» третьего стихотворения перекликается с «дышащим чудом». В стихах, где назван Иуда, сам ритм организован, как одышка: «и все растет вопрос — куда они, откуда...» Одышка, мучившая О. М., сказалась в ту зиму на ритме многих стихов. «Я это я, явь это явь» тому пример.

В первой тройчатке есть еще одно формальное сходство — это рифмы «совхозных» и «грозных» основного стихотворения и разгул звука «з» в двух других, например, в рифмах: мороза-обоза-береза-проза...

В любом стихотворении О. М. выделяется строка, которая пришла первой, но ища ее, надо помнить, что она очень редко начинает первую строфу. Выделив ее — если она, конечно, не исчезла, выпав из окончательного текста, что тоже бывает, — можно восстановить почти весь ход работы. Вытеснение первой пришедшей в голову строки из окончательного текста — дело закономерное. О. М. любил по этому поводу вспоминать слова Гумилева: — это хорошие стихи, Осип, но когда ты их кончишь, у тебя не останется ни одной строчки, из тех, что сейчас... — В таких случаях история текста, разумеется, невозможна: ведь большая часть работы производится в уме и губами, а на бумаге не фиксируется.

Первая побудительная строка и последнее найденное слово — это тоже ключи стихотворной композиции — в них импульс начала и конца. Эпитеты «совестный деготь труда», «десятизначные леса», «ленивый богатырь» — вот примеры последних найденных слов.

«Тройчатки» для О. М. редкий случай. Гораздо чаще встречаются «двойчатки», двойные побеги на одном корню. Среди напечатанных стихов — «Я не знаю, с каких пор эта песенка началась» и «Я по лесенке приставной лез на скошенный сеновал», а также «1 января 1924» и «Нет, никогда ничей я не был современник» — характерные образцы «двойчаток». В воронежский период их тоже было немало: два стихотворения о Каме: «Как на Каме-реке глазу темно, когда на дубовых коленях стоят города» и «Я глядел, удаляясь на хвойный восток» — представляют обычную «двойчатку». Третье — с окончанием: «и речная верста поднялась в высоту — это редкий случай удачной сознательной замены для цензуры. В стихотворениях «Дрожжи мира» и «Бесенок» сохранился первый вариант, в котором они оба еще переплетены. Два стихотворения «Заблудился я в небе» тоже представляют «двойчатку» с одинаковым началом и разным развитием. Такая «парная структура» очень характерна для О. М.: «двойчаток», кроме перечисленных, у него еще очень много.

О. М. собирался сохранить оба побега «Заблудился я в небе» и напечатать их рядом: композиторы ведь всегда так делают, и художники тоже... Если я доживу до свободного издания О. М., я обязательно выполню его волю. Но сейчас, если даже напечатают книгу, которая гниет в «Библиотеке поэта», ни мне, ни Харджиеву этого не дадут сделать: мы ведь люди бесправные. Какой-нибудь умный редактор совершенно ясно мне объяснит, что из двух вариантов надо выбирать лучший, что сами поэты, их друзья и родственники в этом деле не судьи; что наследство поэта принадлежит не тем, кому в течение пятнадцати лет полагается получать половину гонорара, а ученым знатокам и судьям, которые на этом собаку съели и твердо знают, что хорошо и что плохо... Кроме правильной идеологии, современный советский редактор превыше всего ценит ясность, аккуратность, гладкую фактуру и пышную композицию, где, как на блюде, разложены сравнения, метафоры и прочие фигуры речи. О. М. не дожил до этого расцвета культуры, но уже не раз удивлялся, как наши знатоки не любят стихов. И Анна Андреевна, узнав, что одного бедного мальчишку провозгласили «будущим Пушкиным», сказала: «Это потому, что они так не любят стихов»...

Мальчишка писал гладкие стихи, в которых они узнавали все от века знакомое. Больше всего им милы переводы с их блеском готовых изделий. Всюду есть такие знатоки и судьи, но в сталинское время они распустились полным цветом и сейчас находятся у власти и в живописи, и в архитектуре, и в кино, и в литературе. Ну и черт с ними... Им ведь приказали делать ренессанс, а вышло что-то вроде кафе «Ренессанс», но дело с ними иметь не просто.

В юности О. М. вытравлял следы общего происхождения у стихов или уничтожал одно из родственных стихотворений. Он долго не записывал «Современника» и «Я не знаю, с каких пор», не признавая за ними права на самостоятельную жизнь. В зрелый период его отношение резко переменялось: видимо, он решил узаконить самый принцип двойных побегов и не считал их больше вариантами: «Одинаковое начало? Ну и что? Стихи ведь разные»... Или: «Тем лучше, что видно... А что тут скрывать?» — говорил он. Если в молодости О. М. был скрытен и показывал читателю только отдельные вещи, то в зрелом и завершающем своем периоде он открывал весь поток и видел ценность в самом поэтическом порыве, а не в отдельных его проявлениях. В этом сказалась обретенная им внутренняя свобода. Она и стала камнем преткновения для многих его старых ценителей. Они видят в этих стихах О. М. незавершенность и недоделанность. «Он ведь не готовил книгу к печати. Надо бы почистить», — твердили мне два брата Бернштейна — языковед Сергей Игнатьевич и Ивич. «Сколько тут повторений — ведь это просто варианты», — говорил Орлов. Слуцкий, как и Орлов, жалуется, что напечатанный Мандельштам понятен, а ненапечатанный чересчур труден. Хорошо, что появился новый читатель, который совсем иначе подходит к стихам и к поэзии.

Поэт с резко выраженными этапами осужден на то, что читатели, освоившись с одним периодом, не примут другого. Многие постоянные слушатели О. М. в штыки принимали каждое новое стихотворение и новый поэтический ход, потому что не узнавали в нем старого. Эмма Герштейн долго и упорно твердила, что после «волчьего цикла» О. М. вообще ничего не должен был писать. Так встречал новые стихи и Кузин — почти как личную обиду. Но оба они привыкали к стихам и становились

их друзьями. А Шенгели так и не примирился с поздними стихами, сохранив верность старому. В зрелых стихах его особенно отвращал словарь — слова непоэтического словаря. Зато сейчас появилось множество читателей, знающих стихи по бродячим спискам и еще не заглянувшие в книги. Неизвестно, понравится ли им ранний этап. Но право читателя на выбор так же неоспоримо, как право поэта на печатный станок и на отстаивание своей поэтической позиции. «Какая есть, желаю вам другую», — сказала Ахматова... Поэтому я совершенно иначе отношусь к читателям с их вкусами и даже капризами, чем к редакторам, обладающим правом запрета и любящим задерживать рукописи. Что же касается до «незавершенности» О. М. последнего периода, то есть до его желания раскрыть свою лабораторию, то она-то и есть закон для посмертных изданий, поскольку прижизненных, несмотря на желание автора, не было. Ведь умел же он обособлять стихи друг от друга, когда считал это нужным.

Вероятно, двойные побегии не представляют индивидуальной особенности О. М... Точно такие пары есть и у Ахматовой: «Данте» («Он и после смерти не вернулся в нежную Флоренцию свою») и «Зачем вы отравили воду и с грязью мой смешали хлеб» — несомненные двойчатки. Во многих случаях эти пары служат друг другу комментарием: «Нет, без палача и плахи поэту на земле не быть, нам покаянные рубахи, нам за свечой идти и выть» — общий импульс двух стихотворений.

Собирая книгу, О. М. сохранил все двойчатки, но во время работы у него и в последний период было много колебаний. Так он хотел отказаться от «Я около Кольцова, как сокол, закольцован», потому что помнил, как это стихотворение послужило импульсом к другому — «Когда в ветвях понурых заводит чародей гнедых или каурых шушуканье мастей». Эти двойчатки совершенно лишены внешнего сходства, и тем не менее О. М. не хотелось оставлять первое, как чересчур прямое и в лоб. Самооценка поэта, вернее его отношение к своим стихам в период работы, всегда пристрастна и обусловлена множеством сложных причин. Отказ от какого-нибудь стихотворения, может быть, вызван просто тем, что оно заслоняет новое, которое уже брезжит и не может пробиться. Иногда в старом содержится плодонос-

ная почка какого-нибудь нового ростка, и когда этот росток появится, автору кажется, что первое было только заготовкой, прелюдией рабочего процесса. Это ощущение особенно сильно при появлении парных ростков и быстром расхождении обоих побегов. Так происходило с «Улыбкой» и «Щеглом». В готовых текстах между ними нет ничего общего, между тем, «Щегол» вылупился из «Улыбки». Случайно уцелел черновик, в котором обнаруживается взаимосвязь этих стихотворений. Там есть строфа, где детский рот, мякина и щегол... Именно мякина привела щегла, а сама сохранила одно свойство — колючесть — и обернулась колючим морозом этой не холодами страшной зимы. А О. М. вначале считал «Щегла» незаконным детищем.

А два стихотворения об Ариосто появились совершенно иначе. Первое было написано летом 33 года, когда мы гостили с выпущенным из тюрьмы Кузиным в Старом Крыму, у вдовы Грина. Рукописи и черновики отобрали при обыске, в мае 34 года. В Воронеже О. М. попытался вспомнить текст, но память изменила, и вышел второй «Ариост». Вскоре, съездив в Москву, я нашла Ариоста 33 года в одном из своих тайников. Вот и оказалось два стихотворения на одну тему и с одним материалом. Новелла эта в духе времени, и я дарю ее будущим комментаторам.

ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА В ВОРОНЕЖЕ

Летом 36 года нам удалось съездить на дачу. У Анны Андреевны появились деньги. Я уже говорила, что она взяла что-то еще у Пастернака, потом прибавил Евгений Яковлевич, и у нас образовалась сумма на несколько недель дачной жизни. А это было очень важно, потому что припадки все усиливались. Мы выбрали Задонск, городок на Дону, некогда прославленный благодаря своему монастырю и старцу Тихону Задонскому. Так мы прожили около шести недель на верховьях Дона, радуясь и ни о чем не думая. Но тут радио оповестило нас о начале террора. Убийцы Кирова, сказал диктор, найдены, готовятся процессы... Выслушав сообщение, мы молча вышли на монастырскую дорогу. Говорить было не о чем — все стало ясно. В тот день

О. М., ткнув палкой, показал мне следы лошадиных копыт, в которых застоялась вода — накануне шел дождь. «Как память», — сказал он. Эти следы стали потом «подкопытными наперстками», когда звучащий в памяти могучий голос прославленного диктора побудил О. М. принять меры для собственного спасения.

Мы вернулись в Воронеж, и оказалось, что все двери закрыты. Никто с нами не разговаривал, никто не принимал, никто не узнавал, во всяком случае, в публичных местах. Но потихоньку еще старались помочь. Так театральный администратор устроил нам комнату у театральной портнихи. Дом стоял на горе над рекой — вросшая в землю лачуга. С площадки около дома мы видели противоположный берег с полоской леса. Мальчишки слетали на саночках прямо к реке. Этот пейзаж все время стоял перед глазами, и О. М. то упоминал его, то проклинал в стихах, и все им любовался.

Мальчишки спрашивали: «Дяденька, ты поп или генерал?» О. М. неизменно отвечал: «И то, и другое понемножку»... Они заподозрили в нем генерала, как скоро выяснилось, потому что он очень прямо держался и «задира нос», то есть закидывал голову. Через Вадика, сына хозяйки, О. М. участвовал в птичьем торге. Птицы доставались Вадику. «У мальчиков особое отношение к птицам, — говорил О. М. — Видела ли ты когда-нибудь девочку с голубями или на торге?» Птицы попали в стихи. О. М. обидел только московку и ничего про нее не сказал. Впрочем, он уверял меня, что московка просто синичка, а им он уже отдал дань, правда, в детских стихах.

Мы знали, что эта бедственная зима — наша последняя передышка, и взяли от нее все, что она могла дать. Как в стихах у Клычкова, которые любил О. М.: «Впереди одна тревога, и тревога позади. Посиди со мной немного, ради Бога, посиди»... Вот почему самая светлая и жизнеутверждающая тетрадь появилась именно в этот период.

Человек для всякой интеллектуальной работы нуждается, как инструмент, в настройке. Вероятно, существуют разные человеческие инструменты — одни действуют бесперебойно, настраиваясь на ходу, другие, перестав звучать, должны заново настроить свою клавиатуру. Поэты с явно выраженными этапами принадлежат

ко второму типу, и ключевые стихи, служащие как бы камертоном, приходят в начале нового этапа. В начале «Второй Тетради» оказался «Гудок». «Почему гудок?» — спросила я. «А, может, это я», — ответил О. М.

Как мог этот загнанный, живущий в полной изоляции человек, в той пустоте и мраке, в котором мы очутились, почувствовать себя «гудком советских городов»? Ведь из полного небытия О. М. сообщал, что он — тот голос, который разносится по советским городам. Вероятно, это и есть чувство правоты, без которого нельзя писать стихи. Борьба за социальное достоинство поэта, за его право на голос и свою позицию — основная, пожалуй, тенденция, определявшая жизнь и работу О. М. Об этом упомянуто и в «Разговоре о Данте», и я еще упрекала его, что он сводит личные счеты, но он только отвечал: «Так и нужно»...

И во «Второй Тетради», сразу с «Гудка», возникла тема самоутверждения поэта в поэзии. Разумом дойти до такой темы в год величайшего зажима было бы невозможно. Тема пришла сама — ведь это всегда явление, а не рациональный замысел. Вначале она звучала скрытно, пряталась за реалиями, вроде гудка, или была недосказана, как в «не у тебя, не у меня — у них вся сила окончаний родовых»... «Кто это они? — спросила я, — народ?» «Ну нет, — ответил О. М. — Это было бы чересчур просто...» Значит, «они» — это нечто, существующее вне поэта, те голоса, та гармония, которую он пытается уловить внутренним слухом для людей, «для их сердец живых...»

В стихах о щегле тоже намечается тема поэта, но отголоски ее можно заметить только в варианте, где О. М. приказывает щеглу, своему подобью, жить. В одной из статей О. М. рассказывает о юноше-поэте, который бегаёт по редакциям и всюду предлагает свой совершенно никому не нужный литературный товар. Этот юноша, как и щегол, назван щеголем. О. М. никогда не забывал своих прежних ассоциаций и мыслей или, как это называют, образов. Говоря о щегле и щеголе, он не мог не вспомнить, что и его литературный товар больше никому не нужен, и, может, именно поэтому он так настойчиво приказал себе жить.

Щегла запрятали в клетку, не выпустили в лесную саламанку... «А меня нельзя удержать на месте, —

сказал О. М. — Вот я побывал контрабандой в Крыму». Это он говорил про «Разрывы круглых бухт». В этих стихах резко замедленный темп — «и парус медленный, что облаком продолжен». Нас всегда угнетало, что время несло в каком-то неслыханном темпе, и у О. М. было ощущение, что настоящее по-прежнему ощущимо на юге и только на юге.

«Ты и в Тифлис съездил», — сказала я, вспомнив стихи о Тифлисе. «Вынужденное путешествие, — ответил О. М. — Туда меня затащила нечистая сила». К стихам о Тифлисе его привела попытка написать оду Сталину.

Амнистировав опальные стихи «Не сравнивай, живущий несравним», О. М. заявил: «Теперь я по крайней мере знаю, почему мне нельзя поехать в Италию». Оказывается, его туда не пускала «ясная тоска» — «и ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане»... Италия по-прежнему жила у нас в доме итальянскими поэтами, архитектурными ансамблями. О. М. звал меня погулять под флорентийской крещальней, и эта прогулка радовала его не меньше, чем выход на площадку перед домом... Менялись времена года. О. М. говорил: «Это тоже путешествие, и его нельзя отнять...» Этот бесконечно жизнелюбивый человек черпал силы из всего, что других, в частности меня, могло только привести в отчаяние, как, например, осенняя слякоть или холод. И у него было ощущение, что раньше ему принадлежало все — юг, путешествия, поезда и пароходы — и поэтому он употреблял для своего ссыльного прикрепления к воронежской земле только одно слово: «отняли»...

Когда пришли стихи о звездах, О. М. огорчился. По его примете, звезды приходят в стихи, когда порыв кончается или «у портного исчерпан весь материал». Гумилев говорил, что у каждого поэта свое отношение к звездам, вспоминал О. М., а по его мнению, звезды — это уход от земли и потеря ориентации.

Еще большее огорчение принесла «Киевлянка», второе в ту зиму стихотворение о женщине, которая будет искать мужа. Первое — «омут ока удивленный, кинь его вдогонку мне...» «Это неспроста», — повторял он, — его всегда преследовал страх разлуки. И он часто боялся того, что проявлялось в стихах, а больше всего пе-

«сенки о женщине, чьим ногам ходить «по стеклу босиком да кровавым песком...» Прочел он мне только несколько строк — я запомнила про утюги и веревки — и никогда больше про эти стихи не упоминал. «Не спрашивай, — просил он, — а то в самом деле случится».

А у нас была примета, что вещи, попадающие в стихи, должны пропасть. О. М. самым нелепым образом потерял белорукую трость, упомянутую в «Патриархе» — «то усмехнусь, то робко приосанюсь и с белорукой тростью выхожу»; плед, которым я должна была его укрыть, — «ты меня им покроешь, как флагом военным, когда я умру», — расползся почти сразу, от него осталась только тряпочка, и я все вожу ее с собой... И квартиру, за которую я столько боролась, О. М. загубил, и щегла съела кошка, и сама потом пропала. Хорошо еще, что я не ослепла. Этого я всегда боялась, но один мудрый художник еще в сталинское время утешил меня: мы раньше умрем, чем ослепнем, да нам еще помогут...

ОДА

Понимание действительности приходит к поэту вместе со стихами, потому что в них заключен элемент предвосхищения будущего. Глаз хищной птицы плохо разбирает ближние предметы, но способен обозреть огромный охотничий участок, а жители ада, как известно, слепы к настоящему, но видят будущее. «Все они такие», — равнодушно сказала Анна Андреевна, когда я ей показала какой-то стишок О. М. с явным предвидением будущего. «Их» она изучила и ничему не удивлялась...

Во «Второй Воронежской Тетради» есть цикл, маткой которого была насильственная «Ода», но она не выполнила своего назначения и не спасла О. М. Из «Оды» вышло множество стихов, совершенно на нее непохожих, противоположных ей, как будто здесь действовал закон об отдаче пружины.

Щеглиный цикл развивался на обостренной жажде жизни, на ее утверждении, но предчувствие беды пробивалось в нем с первых минут. Оно в предчувствии приближающейся смерти: «в сиреневые сани усядусь

поскорей» — О. М. вспомнил «в санях сидючи»; в предвидении нашей разлуки и ужасов, нас подстерегающих. Мы переживали только «начало грозных дел», а будущее приближалось «осторожно», «грозно» и неотвратно, как туча в стихах о «темноводьи». Наконец О. М. написал стихи про равнины, и как по ним ползет тот, «о котором мы во сне кричим — народов будущих Иуда», и увидел все с такой ясностью, что перед ним стала дилемма: пассивно дожидаться гибели или сделать попытку спастись. 12 января 1937 года — переломный момент — и конец шеглиных стихов, и начало нового цикла, выросшего вокруг «Оды».

Человек, которому написана «Ода», так занимал наше воображение, что замаскированные высказывания о нем можно обнаружить в самых неожиданных местах. Ассоциативные ходы всегда выдают О. М. — у него прочные и постоянные ассоциации. Откуда, например, появился «кумир», живущий «внутри горы» — здесь может быть внешнее сходство: Кремль-ремень-камень... Кумир этот когда-то был человеком — приезжавшая с Яхонтовым жена Лиля, сталинистка умильного типа, рассказывала О. М., каким дивным юношей — революционером, смельчаком, живчиком — был Сталин... И тут же в этом стихотворении возникло опасное слово «жир», напоминавшее о жирных пальцах... Живя в Ассирии, нельзя не думать об ассирийце, и О. М. начал готовиться к «Оде».

У окна в портнихиной комнате стоял квадратный обеденный стол, служивший нам для всего на свете. О. М. завладел столом и разложил на нем карандаши и бумагу. Ничего подобного он никогда не делал: бумага и карандаши ведь требовались только в конце работы. Но ради «Оды» он решил изменить свои привычки, и нам пришлось отныне обедать на краюшке стола, а то и на подоконнике. Каждое утро О. М. садился к столу и брал в руки карандаш: писатель, как писатель. Просто Федин какой-то... Я еще ждала, что он скажет: «каждый день хоть одну строчку», но этого, слава Богу, не случилось... Посидев с полчаса в писательской позе, О. М. вдруг вскакивал и начинал проклинать себя за отсутствие мастерства: «Вот Асеев — мастер. Он бы не задумался и сразу написал»... Потом, внезапно успокоившись, О. М. ложился на кровать, просил чаю,

поднимался, кормил сахаром через форточку соседского пса — чтобы добраться до форточки, надо было влезть на стол с аккуратно разложенной бумагой, — снова расхаживал по комнате и, прояснившись, начинал бормотать. Это значило, что он не сумел задушить собственные стихи, и они, вырвавшись, победили рогатую нечисть. Попытка насилия над собой упорно не удавалась. Искусственно задуманное стихотворение, в которое О. М. решил вложить весь бушующий в нем материал, стало маткой целого цикла противоположно направленных, враждебных ему стихов. Этот цикл открывается стихотворением «Дрожжи мира» и идет до конца «Второй Тетради».

Формальный признак родства «Оды» и стихов этого цикла — повторяющиеся и здесь и там слова и звуковой состав ряда рифм. В «Оде» стержневое слово — «ось» в «мира ось», «сходства ось»... Оно встретится и в «Бесенке» и в «Осах»: «вооруженный зреньем узких ос, сосущих ось земную, ось земную»... По всем стихам цикла и «Оды» разбросаны рифмы и ассонансы со звуком «с»: окись-примесь, косит-просит, голос-боролись, Эльбрус-светлорус, мясо-часа, износ-разноголос... Но существенней формальных примет смысловая противопоставленность «Оды» и свободных стихов этого цикла.

В «Оде» художник в слезах рисует портрет вождя, а в «Осах» О. М. неожиданно сообщает, что не умеет рисовать: «и не рисую я, и не пою»... О. М. сам удивился этому неожиданному признанию: «Смотри, в чем мои недостатки: оказывается, я не рисую»...

Эсхил и Прометей из «Оды» привели в вольных стихах к теме трагедии и мученичества, а губы — орудие работы поэта — наступают и вводят «прямо в суть» трагедии. Тема мученичества повторилась в «Рембрандте», где О. М. прямо говорит о себе — «резкость моего горящего ребра» — и о своей Голгофе, лишенной всякого великолепия. Рембрандтовская маленькая Голгофа, как и греческая керамика черно-красного периода — остаток богатств Дерптского университета — находились тогда в воронежском музее, куда мы постоянно ходили.

Кавказ, упоминаемый в «Оде», как место рождения воспеваемого лица, запомнил не властелина, а стихотворца со стертymi подошвами. Эльбрус становится мерой потребности народа, который нуждается и в его сне-

гах, и в хлебе, а в такой же мере и в «таинственно-родном» стихе. А самой первой реакцией на «Оду» была жалоба, что «мое прямое дело тараторит вкось», потому что «по нему прошлось другое, надсмеялось, сбило ось»...

Поэзия — это «дрожжи мира», «сладкогласный труд» — безгрешен. О. М. заявил в этом цикле, что он поет, когда «не хитрит сознание» и восхвалил «бескорыстную песнь»: «песнь бескорыстная сама себе хвала, утеха для друзей, а для врагов — смола». Враг, вселенный в нашу квартиру, так называемый писатель-генерал, самолично переписывал на собственной машинке — тогда почти ни у кого не было такой роскоши — все стихи О. М. Это называлось «любезностью», но отказать ему в текстах было невозможно — он бы раздобыл их из-под моей подушки. Для острастки он подчеркнул красным карандашом строчки о бескорыстной песне. Когда откроются архивы, стоит поискать доноса об этом стихотворении.

В стихах этого цикла О. М. прославил человека: «Не сравнивай — живущий несравним» и отдал последнюю дань жизнелюбию. И он оплакал погасшие очи, которые были «острее точимой косы» и не успели взглянуться «в одинокое множество звезд». Там же он подвел итоги жизни: «и я сопровождал восторг вселенский, как вполголосая органная игра сопровождает голос женский». Говоря о себе, он употребил «неумолимое прошедшее», как сказано в «Разговоре о Данте». Прошло еще несколько месяцев, и он сказал Анне Андреевне: «я к смерти готов...» Эти слова вошли в ее поэму, а на посвящении стоит дата смерти О. М. — 27 декабря 1938.

Но вершиной цикла были гордые слова обреченного на смерть, но еще боровшегося за жизнь человека: «несчастлив тот, кого, как тень, его пугает лай и ветер косит, и беден тот, кто сам полуживой у тени милостыни просит».

Тот, у кого все просили милости, назван тенью, и действительно, он оказался тенью. Бородатый, задыхающийся, всем напуганный и ничего не боящийся человек, растоптанный и обреченный, в последние свои дни еще раз бросил вызов диктатору, облеченному такой полнотой власти, какой не знал мир.

Люди, обладавшие голосом, подвергались самой гнус-

ной из всех попыток: у них вырывали язык, а обрубком приказывали славить властелина. Инстинкт жизни необорим, и он толкал людей на эту форму самоуничтожения, лишь бы продлить физическое существование. Уцелевшие оказались такими же мертвецами, как и погибшие. Перечислять их имена не стоит, но из действовавших в те годы поколений не сохранилось даже свидетелей и очевидцев. Запутавшиеся, они все равно не распутаются и ничего не скажут обрубками своих языков. А среди них было много таких, что в иных условиях нашли бы свой путь и свои слова.

«Ода» все же была написана, но своего назначения не выполнила и О. М. не спасла. В последний момент О. М. все же сделал то, что от него требовали — сочинил славословие. Быть может, именно поэтому меня не уничтожили, хотя сгоряча пробовали. Обычно вдовам все же зачитывалось, если муж выполнял «заказ», даже если этот заказ не принимался. И О. М. это знал. А я спасла стихи, иначе они сохранились бы только в диких бродячих списках 37 года.

Чтобы понять до конца моление о чаше, надо знать, до чего невыносимо медленное и постепенное приближение гибели. Ждать «свинцовой горошины» гораздо труднее, чем упасть скошенным на землю. Мы ждали конца весь последний воронежский год, а потом еще один год скитаний в Подмоскowie.

Чтобы написать такую «Оду», надо настроиться, как инструмент, сознательно поддаться общему гипнозу и заморозить себя словами литургии, которая заглушала в наши дни все человеческие голоса. Поэт иначе ничего не сочинит — готового умения у него нет. Начало 37 года прошло у О. М. в диком эксперименте над самим собой. Взвинчивая и настраивая себя для «Оды», он сам разрушал свою психику. «Теперь я понимаю, — сказал он Анне Андреевне, — это была болезнь».

«Почему, когда я думаю о нем, передо мной все головы — бугры голов? Что он делает с этими головами?» — говорил мне О. М.

Уезжая из Воронежа, О. М. просил Наташу уничтожить «Оду». Многие советуют мне скрыть ее, будто ничего подобного никогда не было. Но я этого не делаю, потому что правда была бы неполной: двойное бытие — абсолютный факт нашей эпохи, и никто его не избежал.

Только другие сочиняли эти оды в своих квартирах и дачах и получали за них награды: Только О. М. сделал это с веревкой на шее... Ахматова — когда веревку стягивали на шее у ее сына. Кто осудит их за эти стихи?!...

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА

В начале января 1937 года, когда О. М. только что записал «Улыбнись, ягненок гневный», к нам пришел мальчишка, совершенный сопляк, и усевшись, сказал, что «писатели должны сотрудничать с читателями». Песенка была знакомая: он добивался, чтобы О. М. выдал для переписки новые стихи. За этим его и прислали, но забыли проинструктировать — он путался, врал, нес ахинею и не сумел даже толком объяснить, что ему нужно.

Все мы народ терпеливый, и у нас есть золотое правило: если на тебя наседают, ни в коем случае не упрямясь — голосуй, подписывайся под любым воззванием, покупай облигации и отвечай стукачам на все вопросы, чтобы они могли отчитаться перед своим начальством, иначе «затаскают», как говорят в народе, и своего все равно добьются. Главное в этих ситуациях — поскорее отвязаться от наседающих. О. М. тоже придерживался этого правила, но тут почему-то разозлился или, как это называла Анна Андреевна, «вышел из берегов». На фоне общего безлюдия такие визитеры, как этот мальчишка, были, по-видимому, совершенно непеносимы. Сгоряча О. М. выгнал непрошенного гостя, а потом сам над собой смеялся: экая блажь пришла в голову — требую, чтобы ко мне присылали квалифицированных сексотов! Но когда на смену изгнанному явился второй, постарше, но той же квалификации, О. М. уже не смеялся, а просто «забился в падучей» — я опять прибегаю к терминологии Ахматовой.

Разоблачать агентов не полагалось — стоящее за ними учреждение не терпело, чтобы компрометировали его работу, и рано или поздно обрушивалось на разоблачителя. Даже и сейчас многие из побывавших в тюрьмах и лагерях предпочитают помалкивать о своих «крестных отцах» — не стоит связываться, потом не развя-

жешься... А в те годы молчали все. Редкие исключения только подтверждают правило. Таким исключением, например, считалась Мариэтта Шагинян. Все знали, что она к себе не подпускает никаких шпигов — если кто из них осмелится приблизиться, она поднимает крик, чтобы изобличить его при всем честном народе. В 34 году она проделала такую штуку при мне, и я, кажется, разгадала ее хитрость. Мы вместе вышли из Гослитиздата, и она расспрашивала меня о нашей воронежской жизни — в те дни никто не избегал и не боялся нас, потому что уже широко разнесся слух о разговоре Сталина с Пастернаком. Вслед за нами выскочил и побежал вдогонку за мной поэт Б. — ему тоже хотелось узнать про О. М. Б.-то и попался под горячую руку Мариэтте. «Меня принимают в ЦК, — кричала она. — Я не позволю, чтобы за мной гонялись шпики...» Я пыталась остановить Мариэтту, объясняя, что Б. мой хороший знакомый. Она и слышать ничего не хотела, и у меня появилось подозрение, что выбор объекта для скандала произведен вполне сознательно. Мариэтта набрасывалась на вполне порядочных людей, надеясь отпугнуть этим настоящих стукачей, с которыми, она, конечно, не посмела бы себя так вести. Но даже Мариэтта, повторяю, была исключением, и осведомители, не встречая ни малейшего сопротивления, становились все распушеннее и наглее.

Воронежский стукач, сменивший изгнанного сопляка, приходил, когда ему вздумается, в самое неурочное время: утром, вечером, днем — да к тому же без стука — дверь в «домике без крыльца» обычно не запиралась, потому что Вадим, горячий участник птичьего торга и знаток снегирей и щеглов, непрерывно гонял на улицу. Новый стукач так неожиданно возникал на пороге, что мы только ахали и не успевали убрать со стола рукописи. Не раздеваясь, он присаживался к столу и начинал перебирать бумаги, сопровождая это занятие своими комментариями: «Сколько здесь куплетов? Ничего не разберешь — что за почерк! Вот у нее — то есть у меня — хороший...» О. М. вырывал у него рукописи и в бешенстве рвал их на куски. Потом приходилось восстанавливать записи по памяти, и это еще больше разжигало наше бешенство.

«Почему вы приходите в рабочие часы?» — спрашивал О. М.: стукач выдавал себя за рабочего, фрезеров-

щика или слесаря... тот отвечал, что отпросился, или что у него теперь ночная смена. «И вас отпускают с завода, когда вам захочется?» — спрашивали мы, но ему все было нипочем, и он говорил первое, что ему придет на ум, нисколько не заботясь о правдоподобии. Выпроводив его, О. М. всякий раз говорил: «Теперь кончено, он больше не придет»... Ему казалось, что у парня не хватит совести снова прийти в дом, где его разоблачили... Напрасная надежда: дня через два или три все повторялось сначала. Какой дурак признается начальству в своей неудаче, а ведь разоблаченному агенту — полцены...

В работе уже была «Нищенка» — «несчастлив тот, кого как тень его пугает лай и ветер косит», когда О. М. позвонил в ГПУ и потребовал приема у начальника. Он этого добился вопреки всем обычаям; нормально было бы, если б ему предложили написать заявление и опустить его в специальный ящик в комендантской. Общение со всяким начальством ведется у нас такими заявлениями, которые опускаются в ящики. Я узнала об этой затее, когда прием уже был назначен, и пошла в «большой дом» вместе с О. М. После припадка стенокардии летом 36 года О. М. избегал выходить один. Он даже не пошел бы звонить по телефону без меня, если б телефонная станция с ближайшим автоматом не находилась в двух шагах. Кстати, Наташа вспомнила, что однажды они вышли вместе погулять, и О. М. потащил ее к автомату, позвонил в ГПУ и справился, назначен ли уже прием. От меня он попросил это скрыть — знал, что я буду против: все равно ничего не выйдет, а напоминать о себе не следует...

В комендантской после недолгих переговоров нам выдали пропуск на двоих — в Воронеже знали, что О. М. болен и один не выходит. Нас принял заместитель начальника, человек общекрасноармейского типа. Этот типаж часто встречается среди высших начальников карательных учреждений. О. М. уверял, что таких специально держат для внешних сношений, чтобы по их широким, открытым лицам нельзя было бы прочесть того, что делается «внутри». Тот, который принимал нас, вскоре перешел в кинематографию, и Шкловский уверял, что с ним можно иметь дело — широкий человек... Вероятно, симпатией кинематографистов пользовался и Фурманов-младший, проделавший тот же путь. Впрочем, в

кинематографии людей с такой анкетой хоть пруд пруди. Их полно и в других местах, особенно в научных институтах и вузах, где они занимаются научной работой на кафедрах литературы, философии и экономики. Принимают их всюду с большой охотой — это называется «укреплять кадры». У меня создалось впечатление, что через «органы» сознательно пропускали массы молодежи — они как бы проходили там стаж и получали воспитание. Потом их выпускали в широкую жизнь, но свою альма-матер не забывали никогда. Среди них попадались славные малые, которые по пьяной лавочке умели рассказать много забавных историй: как им жилось и служилось и как они вырвались на волю. В чувашском пединституте я знавала одного такого доброго малого. Он писал диссертацию о материальной базе колхозов Чувашии и жаловался, что в этом вопросе сам черт ногу сломит. Он мне рассказывал, как в поисках «романтики» пошел после школы в органы, и ему пришлось в мороз и жару выстаивать часами перед домом, где жил какой-то старик, и отмечать всех, кто к нему заходит. А к тому, как на зло, не заходил никто, а сам он, «гнилой старикашка», носа на улицу не высунет, только иногда отодвинет занавеску и выглянет. Диссертанту даже казалось иногда, что старику просто поручено следить, выстаивает ли юный чекист все положенные часы или сбегает в пивную... «А то с чего бы он на меня поглядывал? Какой ему интерес?» — недоумевал мой сослуживец, один из тех, кого мы с Анной Андреевной называли «Васями». Но тем, что дежурили у дома Ахматовой все же было веселее — к ней нет-нет да зайдет кто-нибудь, одну ее все-таки не оставляли. «Гнилой старикашка», кстати, был бывшим меньшевиком, как предупредили дежурного Васю.

К людям, пришедшим в учреждения из органов, товарищи относились неплохо. Среди них, говорят, никогда не вербовали осведомителей, и это вполне естественно: какой-нибудь даме или юноше из известной интеллигентской или дворянской семьи легче втереться в доверие и вызвать знакомых на откровенность, чем бывшему чекисту. К тому же такие люди, «укрепившие «кадры», не боялись сокращений и потому меньше участвовали в учрежденческих склоках, направленных на уничтожение конкурентов.

Воронежский начальник принял нас в огромном кабинете с такими же дверями или шкафами, как у московского следователя. Он спросил у О. М., какое у него дело, и поглядывал на нас с явным любопытством — не потому ли он нарушил обычай и принял нас, что ему захотелось посмотреть, какая птица сидит у него в клетке? Ведь у начальников тоже бывают человеческие слабости. Но думаю, что советскому генералу О. М. импонировать не мог. Не так должен был представляться писатель людям этого учреждения. Изможденный с ввалившимися щеками и белыми губами, Мандельштам казался «полуживым», как он назвал себя в «Нищенке», рядом с плечистым, начинающим толстеть, но еще подтянутым начальником, бритым и бело-розовым.

О. М. сказал, что пришел по двум вопросам. Первый — как заработать денег на жизнь. Ссылного не принимают на работу ни в какое учреждение, иначе принявшего выгонят вместе с принятым, обвинив в «отсутствии бдительности». Биржи труда — нет. Как осуществить право на труд? Сейчас перед О. М. все двери закрыты, но пока его пускали, он неоднократно обращался в советские и партийные организации с этим вопросом. В последний раз, летом 36. года, ему удалось пробиться в обком, где он говорил о своем трудоустройстве. Ему там сказали: «Вам надо начинать сначала — поступайте хоть сторожем или гардеробщиком и покажите себя на работе»... Но это лицемерие — сторожем его тоже не возьмут по причине той же бдительности, и, кроме того, если интеллигент пойдет на такую должность, это будет истолковано, как политическая демонстрация. Все организации, начиная с Союза писателей, утверждают, что О. М. к ним никакого отношения не имеет, и поэтому заниматься его трудоустройством они не должны и не будут. Очевидно, О. М. «имеет отношение только к вашему учреждению». Поскольку лагерников обеспечивают работой, О. М. спрашивает, не распространяется ли это на ссыльных...

Начальник ответил, что трудоустройством ссыльных органы не занимаются — это была бы «слишком большая нагрузка», в которой нет нужды, потому что ссыльные вольны заниматься чем угодно, а безработицы у нас, как известно, нет.

— А чем вы сейчас занимаетесь? — прибавил он.

О. М. ответил, что, не имея никакой оплачиваемой работы, он занимается испанским языком и литературой, в частности одним поэтом, евреем по национальности, который много лет просидел в подвалах инквизиции и каждый день сочинял по сонету. Выпущенный на волю, он записал свои сонеты, но вскоре его снова забрали и посадили на цепь. Неизвестно, продолжал ли он и тогда свою поэтическую деятельность... Может, в клубе МГБ можно организовать кружок испанского языка и поручить О. М. руководство?

Я не могу сказать наверняка, но, кажется, ко времени приема до нас уже дошли слухи об аресте ленинградских испанистов, и О. М. поэтому из всех своих занятий выбрал это, чтобы сообщить начальнику.

Начальник очень удивился, услышав про испанские проекты О. М. Он ответил, что «наши молодцы» вряд ли заинтересуются испанским языком. Мне кажется, он даже не оценил рассказа про инквизицию и только недоумевал, что за чудак сидит перед ним...

— А почему вам не помогают родные или друзья? — внезапно спросил он. О. М. ответил, что родных нет, а друзья при встречах отворачиваются, а на письма не отвечают: «вы сами понимаете почему...»

— Мы никому не запрещаем встречаться с ссыльными, — добродушно рассмеялся начальник и предложил перейти ко второму вопросу.

Оказалось, что речь идет о стихах: О. М. предложил начальнику отправлять ему все новые стихи по почте. «Чтобы вам не приходилось ради этого отрывать от дела своих работников», — пояснил он. Ему хотелось, как он мне потом сказал, повторить за начальником слово «молодцы»: «Зачем вашим молодцам таскаться ко мне за стихами?» Но от этой сугубо патриархальной терминологии он, к счастью, воздержался.

Начальник становился все добродушнее. Он заверил О. М., что его учреждение никакими стихами не интересуется — только контрреволюцией! «Зачем нам ваши стихи — пишите, что хотите!», но тут же он неожиданно прибавил: «А почему вы написали те стихи, из-за которых все вышло? Испугались коллективизации?» В партийных кругах было принято говорить о раскулачивании, как о прошлом, изящно признаваясь, что это дело, необходимое и полезное, проводилось так решительно —

«перегибы», конечно, имели место, не скроешь» — что подействовало на нервы кое-каким неустойчивым гражданам. Ответ О. М. прозвучал неопределенно: вроде и так, да не совсем... а может, не только...

Во время нашего разговора начальнику позвонили по телефону, и мы запомнили его реплики: «Да, да... это клевета... пришлите, оформим»... Мы поняли, что решается чья-то участь и оформляется ордер на арест по доносу: некто что-то сказал... Этого было достаточно, чтобы исчезнуть из жизни. Что бы мы ни сказали — обыкновенного, такого, как говорят повсюду, кроме нашей страны — нам можно было бы предъявить это в качестве обвинения. Расходясь после разговора с друзьями, мы часто подытоживали: «Сегодня мы наговорили на десять лет»...

Расстались мы с начальником вполне дружелюбно. Я спросила у О. М.: «Зачем тебе понадобилась эта петрушка?» Он ответил: «Пусть знает», а я с обычной женской логикой завопила, что «они и так все знают»... Однако, настроения О. М. мне испортить не удалось, и несколько дней он ходил веселый, вспоминая детали разговора. Кое-чего он все же добился: стукачей словно смыло, и ни один из них больше не появлялся до самого конца воронежской жизни. А зачем они собственно были нужны? Ведь стихи все равно попадали куда следует, правда, в Москве, а не в Воронеже, через бдительного Костырева и редакции журналов.

Остается вопрос: почему начальник убрал от нас своих стукачей вместо того, чтобы обвинить О. М. в клевете и выписать на него ордер? Быть может, еще действовал приказ «изолировать, но сохранить» или же О. М. числился «за Москвой», а Воронеж присылал своих стукачей просто из служебного запала: и мы не лыком шиты! А возможно, что начальник просто позволил себе некоторый либерализм. Это иногда случалось: ведь начальники тоже люди и, может, некоторым из них надоедало убивать. Странно только, что всё это делали люди, самые обыкновенные люди: «такие же люди, как вы, с глазами вдолбленными в череп, такие же судьи, как вы»... Как это объяснить? Как это понять? И еще один вопрос: зачем?

МОЯ СВЯТАЯ

Срок трехлетней ссылки кончался в середине мая 1937 года, но кто интересовался сроками? Мы не формалисты; срок — это вопрос удачи, а не права: могут скоотить, а могут и прибавить — кому как повезет. Опытные ссыльные, вроде чердынских, радовались, если им с ходу прибавляли несколько лет. Ведь законное оформление «прибавки» означало бы новый арест, новые допросы и обвинения, а потом ссылку в новое, еще необжитое место, а лагерники и ссыльные знают, как важно продержаться как можно дольше на одном месте. В этом, в сущности, закон спасения — люди обзаводятся друзьями, которые помогают друг другу переносить каторжные условия, обрастают жалким скарбом, пускают, так сказать, корни и тратят меньше сил на борьбу за существование. Да что говорить о ссыльных! Для любого человека переезд в наших условиях — непосильная встряска; ведь недаром же люди так держатся за свою жилплощадь. Только неисправимый бродяга О. М., для которого была невыносима сама мысль о прикреплении, мог тяготиться Воронежем и мечтать о перемене местожительства. Ничего, кроме беды, никакая перемена не приносит.

В апреле я ездила в Москву и, убедившись, что передо мной гладкая стена, которую нельзя прошибить, писала для утешения в Воронеж, что близится срок и мы скоро куда-нибудь переедем. О. М. никак не реагировал на эти утешения. Попалась на удочку моя мать, которая приехала в Воронеж пожить с О. М., чтобы дать мне возможность съездить в Москву за новыми надеждами.

Зачем на пороге новой эры, в самом начале братоубийственного двадцатого века, меня называли Надеждой? Я ведь только и слышала от друзей и знакомых: «Не надейся, что кто-нибудь поможет — все привыкли, что вы погибаете... на частную помощь не надейся, на работу не надейся... Никто не прочтет твоего письма — не надейся... Никто не пожмет руку — не надейся... Никто не поклонится при встрече — не надейся... Ишь чего вздумала!..» А на что было надеяться? Ведь без надежды жить нельзя, и приходилось идти от одной обманувшей надежды к другой. В Воронеже мы могли жить только на частную помощь, как нам посоветовал велико-

душный начальник МГБ, но мы убедились, что надеяться на нее не следует, поэтому у нас не оставалось ничего, кроме надежды на переезд.

16 мая 1937 года мы пошли в комендантскую МГБ к тому самому окошку, куда три года назад О. М. сдал сопроводительную бумажку из Чердыни, и через которое ему надлежало вести все переговоры с государством о своей судьбе. Сюда приходили регистрироваться «прикрепленные»: кто — раз в месяц, а кто — каждые три дня. Нас было много — человеческой мелюзги, взятой на мушку государством, и поэтому у окошка всегда топталась большая очередь, но мы даже не подозревали, что эти толпы — признак устойчивости и благополучия, потому что продолжается эпоха, которую Ахматова назвала «сравнительно вегетарианской». Все постигается сравнением. Вскоре мы прочли в газетах, что каторжники при Ягоде жили в лагерях, как на курортах. Все газеты хором обвиняли Ягоду в попустительстве лагерному и ссыльному сброду. «Оказывается, — сказали мы друг другу, — мы были в лапах у гуманистов. Кто бы мог подумать!»

В середине мая 37 года очередь к окошку стояла крохотная — с десяток или полтора мрачных, ободраных интеллигентов. «Разъехались из Воронежа», — шепнул мне О. М. Несмотря на изоляцию, мы тотчас поняли, в чем дело: большинство прикрепленных уже сидело повторно, а новых не присылали. С «вегетарианством» покончили — никаких «минусов» и «прикреплений» больше не давали. Из тюрьмы открывались только две дороги: в лагерь или на тот свет. Кое-кто устался и тюремного заключения. Даже жен и детей почти перестали высылать на поселение, их тоже предпочитали интернировать в специальные лагеря. Для детей, даже маленьких, завели особые детские дома. В них видели будущих мстителей за отцов. «У Гумилева, наверное, есть какое-нибудь дело, — сказал мне в 56 году Сурков. — Такого отца расстреляли! Он, должно быть, хотел за него отомстить...» Любопытно, что Сурков сказал это мне: проникнувшись кавказской психологией, он считал, что кровная месть дело мужчин, а не женщин... А до 1937 года потенциальные мстители еще высылались и заполняли очереди у окошек провинциальных комендантских. Приехав в Воронеж, мы застали там юно-

шу Столетова, одинокого и полубезумного. Он бродил по улицам и жаловался на своего отца, который оказался «вредителем». В 37 году сын расстрелянного попал бы не в Воронеж, а прямо за колючую проволоку. Не помогли бы ему жалобы на отца, которым, кстати, никто, включая меня и О. М., не верил. Но бывали сыновья, которые искренно проклинали погибших родителей. После смерти О. М. я очутилась в пригороде Калинина (Твери), где жило несколько жен, получивших случайно не лагерь, а высылку. Там поселили мальчика лет четырнадцати, родственника или свойственника Сталина. О нем пеклась жившая неподалеку тетка, тоже высланная, и бывшая гувернантка. Родители исчезли, как в воду канули. Мальчик целыми днями проклинал отца и мать — изменников, предателей рабочего класса, врагов народа... Он нашел формулировку, подсказанную тщательным воспитанием: «Сталин мой отец, другого мне не надо», и вспоминал героя советских хрестоматий — Павлика Морозова, сумевшего вовремя донести на своих родителей. А этого мучила мысль, что он вовремя не сумел обнаружить преступную деятельность своего отца и матери и не попал из-за этого в хрестоматийные герои. Тетке и гувернантке оставалось только молчать. Они знали, что сделает их питомец, если они скажут хоть слово. Вот этот-то мальчик остался и в 37 году на вольном поселении, но исключение только подтверждает правило, и в Воронеж больше ссыльных пополнений не посылали.

Без всякой веры и надежды мы простояли с полчаса в жидкой очереди: «Какой-то нас ждет сюрприз?» — шепнул мне О. М., подходя к окошку. Там он назвал свою фамилию и спросил, нет ли для него чего-нибудь, поскольку срок его высылки окончился. Ему протянули бумажку. В первую минуту он не мог разобрать, что там написано, потом ахнул и вернулся к дежурному в окошке. «Значит, я могу ехать куда хочу?» — спросил он. Дежурный рявкнул — они всегда рявкали, это был их способ разговаривать с посетителями — и мы поняли, что О. М. вернули свободу. По всей очереди, уныло топтавшейся за нами, словно пробежала искра. Люди зашевелились и начали шептаться. Наш случай, видно, пробудил в них угасшую надежду: если отпустили одного, могут отпустить и другого...

Несколько дней ушло на ликвидацию воронежской оседлости. Несмотря на нищету у нас скопилась какая-то утварь. Мы завели ведра, бак для воды, сковородку, утюг — О. М. написал Бенедикту Лившицу, что я отлично глажу мужские рубашки, — плитку, лампу, керосинку, тюфяк и сеник, банки, тарелки, две или три кастрюли. Все это покупалось на базаре и стоило очень дорого — каждое приобретение было событием. Но еще дороже обошлось бы, если бы мы вздумали тащить с собой всю эту жуть: извозчики и носильщики нас бы разорили, хотя слово «разорить» неуместно в нашем положении. Часть вещей мы продали, но большинство роздали. К чему, например, ведра в Москве — ведь там водопровод... Мы ничуть не сомневались, что возвращаемся в Москву: если в такое тяжелое время О. М. не надбавили сроку, значит, его решено вернуть. И тут мы почему-то вспомнили, что нам почему-то сохраняют квартиру целых три года... Сколько раз писатели, тяготившиеся своей однокомнатностью, просили, чтобы у нас отобрали наши хоромы, и ходили к моей матери, чтобы посмотреть, что там пустоует. Она не пускала их в дом и отчитывала тут же на пороге, рассказывая, как по старой интеллигентской этике должен вести себя писатель по отношению к ссыльному коллеге. О Костыреве мы не подумали, продолжая верить в элементарную порядочность представителей общественных организаций — ведь за него поручился сам Ставский! Значит, он освободит комнату, как только она понадобится хозяину... Еще мы вспомнили фразу Сталина в разговоре с Пастернаком: «С Мандельштамом все будет хорошо». Но почему-то совершенно забыли то, о чем нас предупреждал Винавер, и еще мы забыли, где мы живем.

Через несколько дней мы сидели на груде вещей на воронежском вокзале. Денег, привезенных нами из Москвы, хватило на три билета — с нами была моя мать. Никто нас не провожал: Федя находился на службе, а Наташа давала уроки. Ведь Наташа была педагогом, и О. М., всегда сочинявший ей шуточные стишки, придумал: «Если бы проведаль Бог, что Наташа педагог, Он сказал бы: ради Бога, уберите педагога»... Накануне мы распили бутылку вина, и О. М. все не отпускал Наташу, хотя она жаловалась, что мать будет беспокоиться... И на этот случай есть стишок: «Пришла Наташа. Где была?»

Небось не ела, не пила... И чует мать, черна, как ночь, — вином и луком пахнет дочь»...

Мы уезжали веселые и полные самых радужных надежд, и мы совершенно забыли, как обманчива и призрачна та, в честь которой меня назвали...

АРХИВ И ГОЛОС

«Мироощущение для художника — орудие и средство, как молоток в руках каменщика, и единственное реальное — это само произведение» («Утро акмеизма»).

Кое-что из стихов и прозы О. М. пропало, но большая часть сохранилась. Это — история моей борьбы со стихией, с тем, что пробовало слизнуть и меня, и бедные клочки, которые я берегла.

В молодости люди не берегут своих бумаг. Разве может мальчишка представить себе, что те листки, которые он замарал, когда-нибудь понадобятся? А, может, и хорошо, что пропадают молодые стихи — это своеобразный отбор, и его необходимо делать всякому художнику. В Киев О. М. приехал с ручной корзинкой. В ней его мать держала нитки и шитье, и он таскал ее с собой, как единственную вещь, уцелевшую от матери. На корзинке висел большой замок. О. М. сказал мне, что в ней письма матери и кое-какие бумаги. Он сам не знал, что он туда сунул. Из Киева О. М. попал со своим братом в Крым. Шура играл в карты с солдатами, проигрывая одну за другой рубашки брата. Солдаты в отсутствие О. М. добрались до корзинки, стащили замок, а потом раскурили бумаги. О. М. дорожил письмами матери и сердился на брата. О своих бумагах он не думал — все было в памяти.

В первые годы нашей совместной жизни у О. М. не было ни клочка исписанной бумаги. «Вторую книгу» он собирал по памяти: вспоминал стихотворение, диктовал или записывал, смотрел, некоторые сохранял, другие выбрасывал. До этого он отдал кучку черновиков в «Петрополис», их увезли за границу и напечатали «Тристии». Нам не приходило еще в голову, что человек может умереть, а с ним вместе его память. Кроме того, отдавая стихи в редакции, О. М. верил, что им обеспечено веч-

ное хранение. Он не представлял себе всей халтурности и распушенности наших редакций.

Мать подарила мне очень милые чемоданы и сундучок с наклейками европейских отелей. Чемоданы ушли к сапожникам, которые шили нам сапоги из жесткой чемоданной кожи. По тем временам это было роскошью, и мы одно время щеголяли в светло-желтых чемоданных обувках. А сундук, небольшой и изящный, ни для чего не пригодился: откуда взять вещи, чтобы положить в него? И я начала кидать в него разные бумажки, даже не зная, что это называется писательским архивом.

Заболел отец О. М., и нам пришлось ехать в Ленинград. Из больницы старик не мог вернуться в свою чудовищно запущенную комнату. Мы перевезли его к младшему брату О. М. — Евгению Эмильевичу. Собирая вещи, я наткнулась на такой же сундук, как мой, только чуть побольше, и тоже с наклейками и ярлыками. Оказалось, что О. М. купил его где-то в Мюнхене, когда ему захотелось выглядеть эlegantным туристом. Эти сундучки были в моде до первой войны. В этот сундук дед свалил свои грессбухи вперемежку с обесцененными царскими деньгами и керенками. На дне я обнаружила кучку рукописей: клочки ранних стихов и листочки скрябинского доклада... Мы увезли рукописи вместе с сундучком в Москву. Так начался архив. В сундук летели ненужные бумажки: черновики стихов, письма, статьи. О. М. не возражал, и груда росла. В сундук не попадала черная повседневная работа: переводы стихов и прозы, журнальные статьи, рецензии для издательств на получаемые книги и рукописи — преимущественно иностранные. Рецензии все погибли в Ленгизе — О. М. верил, что они там сохранятся. Две или три случайно сохранились в сундуке, по недосмотру, так сказать. Журнальные и газетные статьи понадобились, когда О. М. собирал книгу статей. Тогда я и брат мой Женя переписали их в библиотеке, вероятно, с цензурными искажениями. Почему-то не удостоился архива и «Шум времени». Должно быть, сундук появился позже.

Перелом в отношении к бумагам произошел после «Четвертой прозы», вернее, это был первый сигнал, напомнимший о необходимости что-то делать с бумагами. Второй сигнал — арест 34 года.

Мы уезжали в Армению, и мне не захотелось везти

с собой единственный экземпляр «Четвертой». Время хоть и было нежнейшим, но за эту прозу О. М. бы по головке не погладили. Пришлось искать верного человека, чтобы ее оставить. Это была наша первая проба хранения не дома. Впрочем, не совсем первая. В Крыму в девятнадцатом году О. М. написал два стихотворения, которые не захотел хранить, и они погибли у его друга Лени Л. Этого человека я один раз видела в Москве, и он сказал, что стихи целы. Случилось это году в двадцать втором. А потом и стихи и Леня пропали. Я помню только строчку или две из этих стихов. Но, видно, они никогда не выплывут. Вот это и научило меня присматривать за всеми местами, где лежат рукописи, и хранить их в множестве копий. «Четвертую прозу» мы никогда не держали дома, а в нескольких местах — и я переписывала ее от руки столько раз, что запомнила наизусть.

Мы вернулись из Армении, стихи пошли густо, и О. М. сразу ощутил свое изгойское положение. Мне запомнился разговор в Ленинграде. На Невском, в конторе «Известий», представитель этой газеты, человек, как будто дружественный, прочел: «Я вернулся в мой город» и сказал О. М.: «А знаете, что бывает после таких стихов? Трое приходят... В форме...» Мы это знали, но терпеливая советская власть пока не спешила... Стихи распространялись с невероятной быстротой в довольно узком, правда, кругу. О. М. считал, что это и есть способ хранения: «Люди сохраняют». Меня это не удовлетворяло, и время показало, что я была права. Уже тогда я начала делать списки и прятать их. В основном я их рассовывала у себя во всякие щели, но несколько экземпляров всегда отдавала на хранение. Во время обыска 34 года мы увидели, где ищут, а стихи уже были зашиты в подушку, упрятаны в кастрюлю и в ботинки. Туда не заглянули. К несчастью, во всех этих местах были копии и притом не полные: не расшивать же подушку ради каждого нового стихотворения... Из подушки, приехав из Воронежа, я вынула стихи об Ариосто.

Воронеж — это новый этап жизни и новое отношение к хранению. Эра идилических подушек кончилась, а я ведь еще помнила, как летел пух из еврейских подушек во время деникинских погромов в Киеве... Память О. М. с возрастом ослабела, и мы уже знали, что она погибает

вместе с человеком, а цена жизни на нашей таинственной бирже падала с каждым днем. Надо было искать людей, готовых хранить рукописи, но их становилось все меньше. У меня появилась профессия: все воронежские три года я переписывала стихи и раздавала их, но серьезного места хранения у меня не было, кроме моего брата Жени, да и то он их дома не держал. Вот тут-то и подвернулся Рудаков.

Сергей Борисович Рудаков, генеральский сын, был выслан из Ленинграда с дворянами. В начале революции у него расстреляли отца и старших братьев. Вырастили его сестры, и он провел обычное советско-пионерское детство, был передовиком школы, кончил даже вуз и готовился к вполне пристойной деятельности, когда на него свалилась высылка. Подобно многим детям, оставшимся без родителей, он очень хотел ужиться с временем, и у него даже была своеобразная литературная теория: надо писать только то, что печатают. Сам он писал модные по тому времени изысканные стихи не без влияния Марины и выбрал Воронеж, чтобы быть поближе к О. М. Он появился без меня, когда я торчала в Москве, добывая перевод, и около месяца пробыл без меня с О. М. Когда мы ехали с вокзала с О. М., он мне сказал, что появился новый приятель, не Борис Сергеевич, а Сергей Борисович, который собирается писать книгу о поэзии и вообще славный мальчик. После болезни О. М., вероятно, не верил в свои силы и нуждался в дружественном слушателе вновь появившихся стихов. Впрочем, он никогда не мог работать в полной пустоте, и я не думаю, что кто-нибудь способен на это.

В Воронеже Сергей Борисович даже не пытался устроиться — он не терял надежду, что жена вытащит его через кого-то из крупных генералов, впоследствии в 37 году погибших. Он снял койку в одной комнате со славным рабочим парнем Трошей, а ел и пил у нас. Для нас это был сравнительно благополучный период с переводом, театром и радио, и нам ничего не стоило прокормить бедного мальчишку. Без меня Рудаков тщательно собирал все варианты писавшегося при нем «Чернозема». Когда я приехала, мы с О. М. начали восстанавливать пропавшие во время обыска стихи, а Рудаков все списывал себе в тетрадку. На утро он приносил стишки, написанные смешным каллиграфическим по-

черком с завитушками на кусочке псевдоватмана. Он презирал мой куриный почерк и полное отсутствие эстетики рукописи. Писать чернилами, например, Рудаков считал зазорным — только тушью... Он еще рисовал тушью силуэты, не хуже пропойц, промышлявших этим на бульварах, и с гордостью демонстрировал нам свои шедевры. А мне, показывая красиво выполненную рукопись стихотворения О. М., говорил: «Вот это будут хранить в архивах, а не ваши с О. Э. каракули...» Мы только посмеивались и мальчишку не обижали.

Нередко мы предупреждали Рудакова, что ему может повредить знакомство с нами, но он отвечал таким набором благородных фраз, что мы только ахали и, может, именно из-за этого относились мягче, чем следовало, к некоторым неприятным его чертам. Уж слишком, например, он был высокомерен и вечно хамил с вторым нашим постоянным посетителем — Калецким, тоже ленинградцем и учеником всех наших знакомых — Эйхенбаума, Тынянова и других... Скромный, застенчивый юнец, Калецкий говорил иногда вещи, которые другие тогда не решались произнести. Однажды он с ужасом сказал О. М.: «все учреждения, которые мы знаем, никуда не годятся, они не способны выдержать ни малейшего испытания — мертвый, разлагающийся советский бюрократизм... А что если армия тоже такая, как и все остальное? И вдруг война...» Рудаков вспомнил, чему его учили в школе, и заявил: «Я верю в партию». Калецкий смутился и покраснел. «Я верю в народ», — тихо сказал он. Он выглядел совсем невзрачно рядом с рослым и красивым Рудаковым, но внутренняя сила была на его стороне, а Рудаков, издеваясь, называл его «квантом» и пояснял: «Это самая маленькая сила, способная выполнять работу»...

Вторая тяжелая черта Рудакова — вечное нытье. В России, по его мнению, среда «всегда заедала талантливых людей», и он, Рудаков, не выполнит своего назначения, не напишет книги о поэзии, не раскроет людям глаза... О. М. таких разговоров не терпел: «а почему вы сейчас не пишете? Если человеку есть, что сказать, он всегда скажет...» На этом всегда вспыхивали споры, Рудаков жаловался на условия — комната, деньги, настроение — сердился и уходил, хлопнув дверью... Через часок-другой он все же являлся как ни в чем не бывало...

У Рудакова оказался резко выраженный учительский темперамент. Он учил всех и всему: меня — переписывать рукописи, О. М. — писать стихи, Калецкого — думать. Всякое новое стихотворение он встречал буйной теорией из своей ненаписанной книги, в которой звучало: «почему вы меня раньше не спросили?» Я видела, что он часто мешает О. М., и мне часто хотелось его выставить. О. М. не позволял: «А что он будет есть?» — спрашивал он, и все продолжалось дальше. И все-таки и Рудаков и Калецкий были большим утешением. Если б не они, мы бы почувствовали изоляцию гораздо раньше. Оба вернулись в Ленинград в начале 36 года, и мы остались одни. Тогда-то и пришла к нам Наташа. В Воронеже, когда мы жили у агента, жарившего мышей, Рудаков заболел скарлатиной и в больнице познакомился с «барышнями», которых отчаянно от нас скрывал. С Наташи, одной из этих «барышень», он даже, уезжая, взял слово, что она к нам не придет, но она слова не сдержала и хорошо сделала... Словом, мальчишка был чудак, но в наше время знакомства с чудаками кончаются плохо. Это ему я отдала на хранение все самое ценное из автографов, а Ахматова свезла на саночках архив Гумилева.

Рудаков после первого ранения стал в Москве воинским начальником. К нему явился кто-то из его родственников, сказал, что он по убеждениям толстовец и не может воевать. Рудаков своей властью освободил его от повинности, был разоблачен и послан в штрафной батальон, где тут же погиб. Рукописи остались у вдовы, и она их не вернула. В 53 году, встретив Анну Андреевну на концерте, она сказала, что все цело, а через полгода объявила Эмме Герштейн, что ее под занавес арестовали и все забрали. Потом версия изменилась — ее забрали, а «мама все сожгла»... Как все произошло на самом деле установить нельзя. Мы знаем только, что кое-какие рукописи Гумилева она продавала, но не сама, а через подставных лиц.

Анна Андреевна рвет и мечет, но ничего поделывать нельзя. Однажды мы зазвали вдовушку — Рудакову-Финкельштейн — к Ахматовой под предлогом статьи Рудакова: нельзя ли ее, мол, напечатать, но добиться от нее толку было невозможно. Больше всего повезло Харджиеву — он проник к ней, она дала ему письма Руда-

кова и разрешила переписывать все, что ему нужно. Харджиев ведь великий обольститель, Цирцея, красивый и очаровательный, когда захочет, человек. Но в письмах Рудакова, которые он писал ежедневно, как дневник, и тщательно нумеровал для потомства, ничего существенного для нас не оказалось. Несчастный мальчишка был, очевидно, тяжелым психопатом. Письма полны безумных речей вроде: в комнате О. М. сошлась вся поэзия — не помню мировая или русская — он, О. М. и книжка Вагинова — тоже великого поэта... Он учит О. М. писать стихи, объясняет ему все, и в ужасе, что все похвалы достанутся не ему, а Мандельштаму... Сам Мандельштам ведет себя по-державински: он то кричит, что он царь, то жалуется, что он червь... В одном из писем Рудаков объявляет себя наследником Мандельштама: будто О. М. ему сказал: «Вы мой наследник и делайте с моими стихами все, что сочтете нужным...» Я цитирую эти письма по памяти, копии находятся у Харджиева. Прочтя их, мы поняли, что украденные архивы — не случайность — так было задумано Рудаковым, и вдова только выполняет его волю. То, что мы принимали за чистую коммерцию — выгодно продавать автографы — оказалось результатом бредовых идей самого Рудакова. Трудно сказать, что бы случилось, если б я умерла. Возможно, что Рудаков восстановил бы справедливость и выдал стихи за свои. Но ему пришлось бы нелегко, потому что большинство стихотворений все же ходило в списках. Такая попытка начисто сорвалась у Севы Багрицкого и кончилась скандалом, когда мать опубликовала «Щегла», как стихотворение Севы. Хуже было бы, если б я послушалась в свое время Рудакова — он действовал на меня через Эмму Герштейн, с которой подружился — и отдала ему все без исключения бумаги О. М. Он мотивировал это тем, что все бумаги должны быть в одном месте, но мы с Харджиевым рассудили, что лучше не концентрировать их — одно место провалится, сохранятся списки в другом... У Рудакова погибло несколько стихотворений, почти все воронежские черновики и множество автографов «Тристий». О. М., видно, предчувствовал, какая судьба ждет его архив, когда писал в «Разговоре» о Данте: «Итак, сохранность черновиков — закон энергетики произведения. Для того, чтобы прийти к цели, нужно принять и учесть ветер, дующий в иную сторону...»

В истории с Рудаковым я виню не глупого мальчишку, каковы бы ни были его цели. Виноваты те, кто создал нам такую «счастливую жизнь». Если б мы жили как люди, а не как загнанные звери, Рудаков был бы одним из многих бывающих у нас в доме, и вряд ли ему пришлось бы в голову похищать архив Мандельштама и объявлять себя его наследником, а вдове — торговать гумилевскими письмами к Ахматовой.

Рудаков — один из важнейших моментов хранения архива, но, кроме него, было еще много и удач и бед. Мелькнули эпизоды, годные для сценария: Наташа, уносившая письма О. М. ко мне в жестяной коробочке из-под чаю, когда наступали немцы и уже горел Воронеж. Нина, уничтожившая список стихов О. М. в дни, когда она ждала вторичного ареста своей свекрови, и ее друг Эдик, хваставшийся, что сохранил те листочки, которые я ему дала, хотя хвастаться было нечем, потому что он жил у своего тестя — ташкентского самоубийцы... А я раздавала списки и гадала, который из них сохранится. Мой единственный помощник в этом деле был мой брат, и мы всё ходили и перекладывали с места на место основной фонд... Я таскала за собой в чемодане кучку черновиков прозы, перекладывая ее грудями языковедческих записок к диссертации, чтобы неграмотные стукачи, если они залезут без меня, не поняли, что к чему, и стащили не то, что требуется. Изредка у меня пропадали бумаги, и это продолжается и сейчас, но, вероятно, по какой-то другой причине. Запомнить всех бумаг я не могу, но мне бросилось в глаза, что у меня недавно исчезла целая папка с наклейкой «материалы к биографии». Они сохранились в копии, но куда девались подлинники, понять нельзя. В книге, купленной мной за двести рублей, было четыре автографа, а осталось два: это издание «Камня» с вписанными Каблуковым вариантами и вложенными автографами. Еще исчезло письмо ко мне Пастернака, где он писал, что в современной литературе — дело было сразу после войны — он интересуется только Симоновым и Твардовским, потому что ему хочется понять механизм славы. Мне сдается, что это письмо и автографы просто стащены любителями и не пропадут. Во всяком случае, после этих пропажя перестала держать дома — а дома-то у меня нет! — что

бы то ни было, и опять меня мучит мысль: где уцелеет, а где пропадет...

Так или иначе, я дошла бы до финиша с небольшими потерями, но финиша все еще не видно. Только от одного способа хранения мне пришлось отказаться просто по возрасту: до 56 года я все помнила наизусть — и прозу, и стихи... Для того, чтобы не забывать, надо твердить каждый день какие-нибудь куски, и я это делала, пока верила в свою жизнеспособность. Теперь поздно... И в заключение я расскажу новеллу уже не про себя.

Женщина, про которую я рассказываю, жива, и поэтому я не называю ее имени. В 37 году в газетах каждый день появлялись статьи против ее мужа, видного сановника. Он ждал ареста и сидел у себя дома, не смея выйти, потому что дом был окружен шпиками. По ночам он сочинял послание в ЦК, и ночью жена заучивала его кусками наизусть. Его расстреляли, а она добрых два десятка лет скиталась по лагерям и тюрьмам. Вернувшись, она записала послание мужа и отнесла его туда, куда оно было адресовано, и там оно кануло, надеюсь, не в вечность... Сколько нас таких — твердивших по ночам слова погибших мужей?

И еще о голосе... Фонотеку Сергея Игнатьевича Бернштейна уничтожили, а его выгнали из Зубовского института за формализм. Там были записи Гумилева и Мандельштама. Это было в период, когда рассеивали по ветру прах погибших. Фотографии — их очень мало — я хранила наравне и теми же методами, что и рукописи, а записи голоса были не в моем распоряжении. Я хорошо помню чтение О. М. и его голос, но он неповторим и только звучит у меня в ушах. Если бы его услышать, стало бы ясно, что он называл «понимающим исполнением» или «дирижированьем». Фонетическим письмом и тонированием можно передать лишь самую грубую схему пауз, повышений и понижений голоса. За бортом остается долгота гласных, обертона и тембр. Но какая память сохранит все движения голоса, отзвучавшего четверть века назад!

Впрочем, голос сохранился в самом строении стихов, и сейчас, когда немота и безгласие кончается, тысячи мальчишек уловили звучание стихов, услышали их тональность и невольно повторяют авторские интонации. Ничего развеять по ветру нельзя. <...>

ИЗ «ВТОРОЙ КНИГИ»

СКРЫТЫЕ АВТОПРИЗНАНИЯ

В толпе хвастунов Мандельштам был белой вороной и очень следил, чтобы и я не распускала хвост. Он так открыто и при посторонних издевался надо мной, если случалось хвостануть, что я при нем придерживала язык — чтобы не осрамил. К посторонним хвастунам он относился снисходительно: «А тебе что? Пусть, если ему это помогает жить»... Сам он хвастаться не мог, потому что жил с твердой уверенностью, что все лучше его, и искренно хотел быть как все: у всех все гладко, а у него — нет, все умеют промолчать, а он — нет... И наконец: «Посмотри, как он ловко рубит дрова, приятно смотреть»... Если я случайно говорила ему что-нибудь лестное (у нас это не было принято), он искренно удивлялся и я часто слышала от него фразу: «По-моему, я хуже всех»...

Признание это было совершенно искренним, сомнений нет никаких, но меня забавляло, что несмотря на такое самоощущение, он совершенно не хотел меняться и самоусовершенствованием не занимался. Он знал, что он хуже всех, но его это ничуть не смущало: такой, как есть, ничего не поделаешь... Один единственный раз в жизни он обещал мне «исправиться», но это случилось в самую последнюю ночь нашей жизни — за полчаса, может, перед тем, как за ним пришли — в минуту нашего примирения. Мне больно, что в эту ночь я его грызла за какой-то пустяк, абсолютную чушь, в сущности — за неосторожность. Как будто осторожность могла спасти...

Единственное мое оправдание, что я грызла его

очень редко. Я-то не считала, что он хуже других, и миролюбиво относилась к его курению, деспотизму — он вечно вырывал у меня изо рта папиросы, — озорству, любви к «пирам», состоящим из баночки консервов, и волшебной способности радоваться жизни, когда я погибала от страха. С годами у него усиливалась страсть к наслаждению, а наслаждался он всем, чего люди и не замечают: струей холодной воды из-под крана, чистой простыней, книгой, шершавым полотенцем. Смерть стояла у порога, а он в Савелове (37 г.) тащил меня в чайную «Эхо инвалидов» — выпить чаю, посмотреть на людей, почитать газету и поболтать с буфетчиком. У него была редкая способность видеть мир перед глазами и, полный любопытства, он на все смотрел и все замечал.

Ирина Семенко заметила, что в переводах из Петrarки у него своеобразный сдвиг против подлинника: он перенес внимание с переживания субъекта на объект. Для него такой сдвиг очень характерен: даже в повседневной жизни он редко говорил о себе или о своих чувствах и ощущениях. Он предпочитал говорить о том, что вызвало эти чувства. В его восприятии текущего момента главную роль играл не личный момент, а события и предметы внешнего мира. Это отражалось даже на том, как он говорил о мелкобытовых вещах: не спина болит, оттого что плохой матрац, а «кажется лопнула пружина, надо бы починить»...

В быту, в повседневной жизни и в книгах он всегда говорил о себе с большой осторожностью, прикрывая признание какой-нибудь внешне-объективной оболочкой. Я вижу здесь своеобразное противоречие: с одной стороны — это невероятно прямой и открытый человек, incapable ни на какую маскировку, с другой — внутренняя стыдливость запрещает ему прямые автовысказывания. Записывая под диктовку «Разговор о Данте», я часто замечала, что он вкладывает в статью много личного и говорила: «Это ты уже свои счета сводишь». Он отвечал: «Так и надо. Не мешай»... Свои автопризнания он запрятывал в самые неожиданные места, так что рассеянный взгляд равнодушного читателя их не обнаружит. Автопризнания рассеяны главным образом в прозе. Самораскрытие в стихах не является признанием в точном смысле слова. Стихи раскрывают поэта в его глубинных пластах, а автопризнания касаются жизнен-

ных установок, взглядов, вкусов, тяготений. Они служат биографическим ключом, а не исповеданием веры, как стихи.

В Воронеже мы вместе делали радиопередачу об юности Гете, положив в основу автобиографическую повесть Гете. Нейтральные куски и скрепы, которые делала я, выброшены, и в напечатанном только текст Мандельштама. Я заметила, что он подбирает эпизоды из жизни Гете, которые считает характерными для становления каждого поэта, поскольку и сам он пережил нечто подобное. Гете, например, попал в компанию жуликов и еле выбрался — да и то по совету девушки. «А ты, что ли, тоже?» — спросила я. «А Георгий Иванов», — ответил Мандельштам и прибавил, что в своем роде и Волошин: душемутитель, болтун, соблазнитель, проповедующий хитроумную чушь... Гете пережил юношескую неврастению, преодолевая которую ходил в анатомический театр и поднимался на колокольню Кельнского собора. (Этот кусок, кажется, пропал.) Мандельштам испытал юношескую тоску и неврастению в те два года, что учился в Париже и в Гейдельберге, а особенно — в Италии, где он был даже не на положении студента, а туриста. Больше в Италии ему не пришлось побывать, и он жалел, что в свою единственную поездку он успел так мало повидать. (До этого он из Швейцарии на день или на два ездил, кажется, в Турин.) У Гете рассказано про встречу с Клопфштоком. Молодые люди, пришедшие навестить мэтра, были и почтительны, и насмешливы. Так относились к старшим и Ахматова с Мандельштамом. Только Белый вызывал у Мандельштама иное отношение. Он был так трагичен, что вызывал только сочувствие и уважение. Впрочем, ко времени встречи с Белым Мандельштам и сам не был молод.

В той же передаче есть место, не имеющее никаких соответствий в текстах Гете, и хотя Мандельштам говорит о Гете, оно явно относится к нему самому: «...Нужно только помнить, что его дружба с женщинами при всей глубине и страстности чувства, была твердыми мостами, по которым он переходил из одного периода в другой»... Работа над «Юностью Гете» продолжалась больше двух месяцев — с конца апреля, когда мы переехали в центр города от «обиженного хозяина» в русских сапогах, до конца июня. Мы взяли в университетской

библиотеке несколько немецких биографий Гете. Рассматривая портреты женщин, Мандельштам вдруг заметил, что все они чем-то похожи на Ольгу Ваксель, хоть в ней, как будто, была литовская, а не немецкая кровь. Это, вероятно, и послужило толчком к стихам о мертвой женщине. Недаром в этой группе стихов есть прямое упоминание о Гете: «Юношу Гете пленившее лоно» и реминисценции: «Мельниц колеса», рожок почтальона, Шуберт (связь с Гете через «Лесного царя»). Я недавно вспомнила: «Пускай там итальяночка, куда снег хрустит, на узеньких на саночках за Шубертом летит». Здесь это певица, Бозио, какая-то черненькая девочка, певшая в его молодости (до встречи со мной) Шуберта. Я думаю, что через нее и Миньону в стихах об Ольге Ваксель появилась тема Италии («смеясь, итальянсья, русея») и Шуберта («И Шуберта в шубе застыл талисман»). Мать Ольги была пианистка, но сама Ольга пела и играла, как десятилетняя школьница. Музыка была в ней самой, как ни трудно мне в этом признаться. Но не в ее мемуарах.

В конце мая в Воронеж приехал наш приятель, антрополог Рогинский. Его только что вызволили с Лубянки — антропологов всех уничтожали под корень, подозревая в самой профессии идеологическую связь с фашизмом. В Москве в конце учебного года он никакой работы не нашел и ухватился за предложение Воронежского университета прочесть коротенький курс и провести несколько семинаров. (В Воронеже на биологическом факультете был очень хороший человек, кажется, Коза-Полянский, который старался пристроить там порядочных людей. Я его не знала, но слышала про это от многих биологов.) Я использовала приезд Рогинского, чтобы съездить в Москву. С ним, я знала, Мандельштам не будет чувствовать себя одиноко. Одного Рудакова для этого было недостаточно. Мальчишка — на него положиться я не могла. Во время моего короткого отсутствия Мандельштам написал стихи в память Ваксель. Он уже не мог писать стихи другой женщине при мне, как в 1925 году (стихи Петровых написаны в несколько дней, когда я лежала на исследовании в больнице: не свинство ли?)... У него было острое чувство измены, и он мучался, когда появлялось «изменническое», как он говорил, стихотворение. (Даже стихи Наташе Штемпель

он относил к этой категории.) Он хотел уничтожить к моему приезду стихи к Ольге, но я уже знала о них от вернувшегося в Москву Рогинского. Вместе с Рудаковым я уговорила Мандельштама надиктовать стихотворение — тем более, что мы нашли в помойном ведре разорванный листок. Лучшего места, чтобы утаить стихи, он не нашел.

Печатать «изменнические» стихи при жизни он не хотел: «Мы не трубадуры»... В 31 году, когда предполагалось издать двухтомник, я, зная, что есть еще одно стихотворение Ольге Ваксель («Как поила чаем сына»), уговаривала Мандельштама закончить ими раздел после «Тристий». Он наотрез отказался. Увидела я их только в Воронеже, хотя знала об их существовании с самого начала, когда он «под великой тайной» надиктовал Ахматовой и отдал на хранение Лившицу. По-моему, самый факт измены значил для него гораздо меньше, чем «изменнические стихи». И вместе с тем он отстаивал свое право на них: «У меня есть только стихи. Оставь их. Забудь про них». Мне больно, что они есть, но уважая право Мандельштама на собственный, закрытый от меня мир, я сохранила их наравне с другими. Я предпочла бы, чтобы он хранил их сам, но для этого надо ему было остаться в живых.

Не менее острое чувство измены он переживал, читая не русских поэтов. «И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб, получишь уксусную губку ты для изменнических губ»... Гордыня — смертный грех для анти-индивидуалистического сознания Мандельштама, и ее-то он видит в наслаждении чужой речью, которой передается «звуколюб», пробуя на язык «звуков стакнутых прелестные двойчатки». Чтение Ариосто и Тассо, а также немецких романтиков («К немецкой речи») было для него изменой, но это чувство не пробуждалось, когда он читал Данте. Читая «великого европейца» (сходное понимание Данте я нашла у Элиота), он не звуками наслаждался, не «прелестными двойчатками», но входил в самую суть европейской культуры и поэзии. Ведь всю европейскую поэзию он считал лишь «вольнотпущенницей Данте», и в чтении «Комедии» было поклонение и приобщение, а не изменническая сладость чужих звуков. Отсюда бунт против Тассо и Ариосто, прорвавшийся в стихи: «Что если Ариост и Тассо, обворожа-

ющие нас, чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз» (морской климат Италии порождает русалочьего поэта!), и запись о печальной судьбе Батюшкова, который «погиб оттого, что вкусил от тассовых чар, не имея к ним дантовой прививки». Пушкин, сказано в тех же записях, единственный русский поэт, который «стоял на пороге подлинного зрелого понимания Данте, потому что ему всегда было мало одной только вокальной физиологической прелести стиха и он боялся быть поработанным ею, чтобы не навлечь на себя печальной участи Тасса».

Мандельштам говорит о поэзии, словно о любви, и отделяет оголенно-чувственную сторону от чего-то другого, заключенного и в поэзии и в любви. Это «иное» не поддается определению, и, как мне кажется, было понято или почувствовано Владимиром Соловьевым. В суждении Мандельштама о поэзии нет скрытого автопризнания, открывающего его отношение к любви. Оно скорее является ключом к пониманию и поэзии, и любви в их двусторонней природе, одна из которых непосредственно связана с полом, с чистой физиологией, а другая коренится в тех свойствах человека, которые выделяют его из животного мира. В замечательной опере Шенберга Моисей и Арон противопоставлены друг другу, как два полюса чувственного и надчувственного сознания. (Как жаль, что Мандельштам не знал Шенберга — мы были отрезаны от всего мира.) Мандельштам предостерегает (самого себя, я думаю) от только физиологического наслаждения. Эти строки не вошли в основной текст «Разговора о Данте», но остались в черновых записях, потому что Мандельштам чурался открывать свои потаенные мысли. <...>

МУЖИКИ

...Однажды в Киеве в одну ночь провели обыск во всем городе, чтобы «изъять излишки», и я отчетливо увидела разницу между крикунами и обыкновенными людьми. Ночью к нам ворвалась группа людей во главе с чекистом. Среди них был крикливый управдом — он знал расположение комнат и мечтал разыскать тайники, — и еще — несколько солдат, сумрачных, исполнительных, готовых по первому приказу разнести весь

дом, и двое рабочих на ролях экспертов. Они-то и решали, что является излишками и подлежит изъятию. У матери в спальне стоял большой гардероб. Туда записывали меня в детстве братья, чтобы я визжала, как поросенок, требуя освобождения... Управдом рванул дверцу, но рабочий остановил его: зачем ломать, когда ключ торчит в замке... В шкафу висели обычные для того времени платья, сшитые портными с большим воображением. Управдома прельстила шитая стеклярусом кофта. Она блестела, и показалась ему пределом буржуазного счастья. Рабочий отнял кофту, повесил на место и запер шкаф. Из всей семьи я одна была в спальне, остальные сидели в столовой и пили ночной чай, делая вид, что ничего не происходит, а за ними приглядывал солдат. «Нашим женам не нужны ваши тряпки», — сказал мне рабочий и предложил обыскивающим «сворачиваться». Рабочие были «мобилизованы» для массового предприятия, и оно вызывало у них не меньшее отвращение, чем у нас. Чекист «работал» — и он и солдаты уже стали орудиями уничтожения и действовали по инструкции. Наслаждался один управдом. Так это выглядело на заре наших дней — в случаях не экстренных и в общем безобидных, то есть в повседневности.

Крикуны и своевольцы продержались до начала тридцатых годов. Их использовали для проведения коллективизации, но власть, централизуясь, все меньше нуждалась в них. Ей требовались «на местах» точные и механизированные исполнители приказов, а не мелкие своевольцы. Их час пробил. Частное и мелкое своеволие поглощалось единым и великим, перед лицом которого все люди рабы. Централизация и средоточие власти в руках немногих или одного — неизбежный результат своеволия в действии, потому что сильный не может не закрепить слабого и, только маневрируя, заключает союзы, временные, разумеется, то с одним, то с другим, чтобы потом уничтожить своих бывших союзников. Прежде всего заткнули глотки мелким своевольцам, типа управдомов. В городах их не стало к середине двадцатых годов. Разве что у себя в кабинете какой-нибудь начальник похорохорится перед своим подчиненным или робким просителем. В деревне шел тот же процесс, только медленнее.

Летом 35 года Мандельштаму удалось поехать по Воронежской области: газета отправила его в командировку и получила разрешение на выезд в органы. Мы провели около двух недель в Воробьевском районе, переезжая из деревни в деревню на попутных машинах. Под конец чуть ли не в один день нам довелось встретиться с человеком недавнего прошлого, мелким своевольцем, отеческой рукой управлявшим колхозом, и с одним из граждан нового стиля — директором совхоза, настоящим роботом, равнодушным исполнителем повелений, которые сыпались на него в бесчисленном количестве в виде инструкций на папиросной бумаге. Они, наверное, все загубили себе зрение, расшифровывая эти неудобочитаемые инструкции.

Своевольца, который пробовал собственноручно переделать мир, то есть, родную деревню, звали Дорохов. История Дорохова проста и типична. Он вернулся домой с фронтов мировой и гражданской войны и по типу своему принадлежал не к тем, кто бился в припадках падучей, а к тем, кто держал припадочного. В деревне он сразу начал строить новую и счастливую жизнь. Стартовал он с комбеда и рыскал по кулацким амбарам, отбирая зерно для города, потом оказался в волостном совете и организовал первую коммуны. Она была распущена, как все подобного рода «товарищества по совместной обработке земли» и добровольные коммуны. Они все же представляли собой некое «мы», целью которого было не только служить государству, но и прокормить детей. Подошло время коллективизации, и Дорохов стал председателем маленького, а затем укрупненного колхоза. Он жаждал власти, потому что точно знал, как идти к счастью. Очутившись первым в своей деревне, он развил неслыханную активность. Незадолго до нашего приезда его сняли с председательского поста за самоуправство — он что-то передернул с поставками и нанес ущерб государству. В самой деревне, с ее жителями, он мог творить что угодно — это самоуправством не считалось. Лишенный власти Дорохов не растерялся и сохранил престиж — он взял мешок и пошел побираться. Подавали ему охотно, потому что в каждой избе он повествовал о своем величии и падении. К нашему приезду его вернули на председательский пост по настоянию односельчан. Тогда им еще разрешалось слегка

бузить. Взывая к начальству, они перечислили все заслуги Дорохова. Из них главная — он провел самое глубокое раскулачивание в самый короткий срок, не затребовав помощников из города.

Дорохов имел в деревне собственную каталажку, куда сажал ослушников, не считаясь с их происхождением, то есть бедняков наравне с кулаками. Это не оттолкнуло от него односельчан. Его ценили за то, что он расправлялся собственноручно и в Сибирь никого, кроме «настоящих кулаков», не загнал. Дома «настоящих кулаков» он решил использовать под ясли, клуб, избучитальню и прочие социалистические учреждения, а пока в маленькой деревне стояло с десятков пустых и заколоченных хат в ожидании книг, библиотекарей и другого оборудования. Дорохов жаждал просвещения. Зуб на него имели только комсомольцы — они стремились к власти, потому что чувствовали себя «сменой». Подкапываясь под Дорохова, они строчили доносы и посылали их в город. Темой доносов могло быть что угодно. Комсомольцы главным образом негодовали, что Дорохов поставил подкулачников сторожить яблоневый сад, конфискованный у одного из раскулаченных. Испуганные подкулачники сторожили не за страх, а за совесть и даже падалку берегли для свиней. (Запуганный всегда лезет вон из кожи, служа начальству и подслуживаясь.) Дорохов говорил о комсомольцах, кипя негодованием: «Только бы им яблоки жрать — чисто скажу «яблонный комсомол»... У него была выразительная речь — он бурно «рванулся к культуре» и вывез из армии много замечательных выражений. «Не выходите вечером, — сказал он мне, — здесь малярийные испарения климатуры»...

За три дня до нашего приезда Дорохов издал приказ поставить на каждое окно в каждой избе по два цветочных горшка. Приказы Дорохова сыпались как горох и были написаны на языке первых лет революции. Он с нами вместе обошел с десятков домов, проверяя, как выполнен цветочный приказ. Значение ему он придавал огромное — цветы выпивают влагу и служат «против ревматизма». Бабы объясняли Дорохову, что ничего против цветов не имеют, но горшков нигде не достать и три дня слишком малый срок, чтобы вырастить даже лопух или крапиву. Дорохов негодовал, и только

наше присутствие задержало суд и расправу. Нам говорили, что Дорохов, как отец родной, и бьет кулаком прямо в рыло. Особенно от него доставалось тем, кто направлял доносы в город, а не ему «самолично». Деревня любила его, потому что он был свой, и в ответ на оскорбление или отеческое поручение можно было взбунтоваться и оскорбить его. При нем бабы сидели дома «для приготовления пищи и детских надобностей», а женщины в России хозяйки и то, что они скажут, закон для мужей, исподтишка строптивых, но все же в те времена еще законопослушных. Скоро бабам пришлось туго — их выгнали на работы в поле, потому что Дорохова, как мы узнали, окончательно сняли и он снова пошел побираться. Не пришлось ему добиться счастья ни для себя, ни для своего села. А оно было так близко...

Дорохов для тридцатых годов был осколком прошлого. Его уничтожили, как и всех участников народного бунта, вернувшихся в деревни и городки, чтобы воспитывать народ и приобщать его к культуре. Дорохова использовали во всю: он воевал, бунтовал, раскулачивал, а потом раскулачили и его. Во второй половине тридцатых годов его дом стоял заколоченный, как дома тех, кого он сам угрохал в Сибирь. Не Дорохов ли, по мнению Бердяева, расправился с жертвенной интеллигенцией? Могу дать справку: в период призрачной власти Дорохова, жертвенная интеллигенция, загнав остатки разгромленных партий на каторгу, еще пользовалась плодами победы. Ее час пробил в конце тридцатых годов, почти через десять лет после проведенной с ее одобрения стопроцентной коллективизации.

Мандельштам распил с Дороховым бутылку водки и сочувственно слушал его речи, зная, что он обречен. Он подсчитал, сколько человек Дорохов вымел из родной деревни, но цифры я не запомнила. Она была не малой и не большой, обычной, то есть, невероятной. То, что для нас обычно, для нормальных людей невероятно, непостижимо и чудовищно. Жертвенная интеллигенция не моргнула глазом, иноземные красноперки, которых у нас выращивали в колбах, чтобы потом послать в родные деревни или страны для буквального повторения пройденного, чистили клювиком перышки и никуда не глядели, а иноземные писатели ездили восхищаться нашим опытом, покупать в комиссионках мехо-

вые шубы триолешного покроя и возвращались домой, чтобы рекомендовать в родной деревне наши методы насаждения культуры и справедливого распределения. Их бы хоть один годик продержать на пайке, который доставался деревенским бабам после раскулачиванья. Дорохов, отец родной, все же жулил на поставках, чтобы у баб и ребятишек не пухли ноги и животы.

Представитель нового стиля управления (я уже говорила о нашем увлечении проблемами стиля), директор совхоза, возил нас на полугрузовичке по полевым станам. Приезжая на стан, он требовал, чтобы ему дали попробовать квасу и щей. «Забота о людях», — объяснял он Мандельштаму, представителю прессы, и иногда разносил стряпуху за качество щей, то есть, воды, в которой плавала капуста. Следующий вопрос директора был, согласно последней инструкции, относительно газет: организовано ли чтение газет — разумеется, вслух, глазами можно скользить по газете, не читая, — во время перерывов. Кто читает? Рекомендовалось читать грамотно и выразительно. Изредка директор выражал свой хозяйственный восторг тем, что бросался на кучи зерна — шла уборка, готовились к молотье — и со стоном разгребал ее ручками и ножками, словно плавая в море зернового крестьянского богатства. Мандельштам глядел, проезжая, на неубранные поля и сказал мне, что на месте директора он бы перестал надуваться квасом и слегка побеспокоился: поля желтели от сорняков, которые стояли выше, чем чахлая пшеница. Директор этого не замечал, потому что еще не спустили приказа о борьбе с сорняками. Он боролся с тем, что было названо в инструкциях. Предметов для борьбы хватало.

Под вечер мы выехали на поляну, где торчала еле заметная землянка. Впервые за день директор проявил прыть: вместе с шофером и тремя рабочими, ехавшими с нами в кузове, он выскочил из машины, бросился к землянке, залез на крышу и поднял пляс. Рабочие в шесть рук принялись разносить землянку ломами, а директор с шофером долбили крышу ногами. Иерархия соблюдалась и в таком черном деле: начальник и его подхалим, шофер, не могли разносить землянку наравне с простыми рабочими. Им полагался отдельный участок работы, на этот раз — крыша. Никто не знает, сколько у нас классов чиновников, кроме самих чинов-

ников, но они-то отлично разбираются в тонкой структуре и не возьмутся за лом, если такое им по штату не положено. Шофер вне классов. Он символ власти вместе с машиной, которую он водит, и любой чин садится с ним рядом. Поэтому шофер тоже не схватился за лом, а плясал рядом с директором на крыше. Любопытно, что в армию эти тонкие градации пришли позже, чем на гражданскую службу. В 38 году я преподавала немецкий язык в казарме (меня допустили по инструкции о женах, которых не сочли нужными сослать, и это происходило в том самом городе, где за мной приходили с ордером). Мои ученики были лейтенантами, и я слышала, как они растерянно обсуждают приказ, запрещавший им играть в шашки и шахматы с солдатами, носить на улицах тяжелые пакеты (а кому носить — мамашам или женам?) и якшаться с подавальщицами в столовых. На каждый брак, согласно приказу, требовалось разрешение командира, чтобы офицеры не заводили себе фифок из низших рангов. В институтах и университетах всегда стоял острый вопрос о степенях, рангах и о студенте — может ли он продать на базаре, стоя за прилавком, привезенный им из деревни от родителей мед или окорок. В Чите мне жаловалась освобожденная секретарша, высокий чин в институте, что студентки, крестьянские девки, путаются с рядовыми, а не с лейтенантами. Девочки выросли с этими парнями, говорила я, но секретарша, сама родом из деревни, качала головой и сокрушалась: как можно!

Убогую землянку разносили дюжие мужики, строго соблюдавшие табель о рангах. Первой поддалась крыша, что-то грохнуло, и из землянки начали гуськом выползать люди с вещами. Одна из женщин вынесла прялку, другая швейную машину. Мандельштам поразился, сколько народу помещалось в крохотной землянке — уж не вырыты ли там подземные ходы? Мы еще не прочли Кафку, но знали, что у крота всегда есть запасной выход, а людям приходилось выходить прямо на своих обидчиков. «Какие они все чистые», — сказал Мандельштам. Последней из землянки вышла женщина — там ютились старики, женщины и дети — в таком же ослепительном белом сарафане, как другие, а на руках у нее сидел заморыш, живой трупик, безволосый, морщинистый, с зеленоватыми отростками вместо рук. (Он

всегда стоит у меня в глазах, как символ — чего? Жизни, действительности, реальности и всеобщей, в том числе и моей, жестокости.)

Женщинам нечего было терять, и они крыли директора густым южнорусским матом (я люблю мат, в нем проявление жизни, как и в анекдотах), но он не успокоился, пока не сравнял с землей и не засыпал их жалкое логово. Вот судьба тех, кто по совету Зощенко вырыл в земле логово и завыл зверем. Вся земля — поле, лес, луг — принадлежит кому-то, она не бесхозна. Закончив работу, директор сел в кузов рядом с нами и пустился в объяснения: мужья либо сосланы, либо разбрелись по городам в поисках работы, а бабы «отсиживаются» на совхозной земле. Совхоз — государственное предприятие, а он, директор, ответственное лицо, не может терпеть на вверенном ему участке классового врага, кулацкое зелье... Любая комиссия, а они вечно ездят и все проверяют, может напороться на кулацкое гнездо и обвинить его, директора, в укрывательстве. Он, директор, считает, что раскулачиванье еще не доделано. Надо прямо сказать, что у нас мало прислушиваются к периферийным работникам. Они бы в один голос сказали, что надо было «пристроить в Сибирь» всех баб, как «пристроили» мужиков, а то с ними нет сладу. Можно и не в лагерь — есть же спецпоселения. Не чистая работа — недочистили. Закон есть закон. Приказ есть приказ. Он, директор, действует по закону и по приказу — иначе с него спросится.

Мы молчали — возражать было бесполезно: он знал, что делает. В бесполезный спор мы бы, пожалуй, ввязались, но спор с директором, исполнителем и законником, был не только бесполезен, но и опасен. Директор в совхозе власть, а еще и прямой сотрудник высшей власти, представитель которой живет рядом с ним и ежедневно проверяет выполнение законов. На женщин и стариков, ютившихся в землянке, не выписали ордеров — скорее всего потому, что план (по числу ссылаемых голов) оказался выполненным, а не то (и чаще) перевыполненным. Им дали расползтись по земле — лишь бы подальше от родного гнезда, где устроен «дом культуры» на крови. Бабам в чистых сарафанах с детьми и прялками неслышанно повезло, как мне, например, после второго ареста Мандельштама. А руки у них были золотые — не то что

у меня! — и они пристроятся в городах и стройках уборщицами и чернорабочими. В нашей стране для всех найдется работа, как нашлась для меня. Мы, бабы без мужиков, потянем свою лямку. Через несколько лет, когда я буду уже без Мандельштама, мы все услышим великие слова, что сын за отца не отвечает. Если заморыш выживет, его возьмут в солдаты, на завод или он пойдет руководить в партийный аппарат... Приспособят заморыша, как приспособили меня.

Директор пригласил нас к обеду, но мы собрали вещи и с попутной машиной укатили в райцентр. Там мы зашли проститься с секретарем райкома («Воробьевского райкома не забуду никогда»). По его лицу было видно, что он скатился в захолустный городок откуда-то сверху. Ему мы решились рассказать про землянку и спросили, нельзя ли что сделать. Он развел руками... Не отвечая на вопрос, он спросил, много ли бродит нищих по Воронежу. Их было уже меньше, чем в тридцать четвертом, когда мы туда приехали. Обозы же с раскулаченными как будто исчезли к тридцать третьему. «Значит, идет на убыль», — сказал секретарь и прибавил, что нищие, бродячие и те, что в землянках, еще легко отделались («Лес рубят — щепки летят»). С его стороны такие слова были неслыханной смелостью. При незнакомых людях он произнес крамольную фразу, за которую можно было угодить на десять лет. Секретарь, конечно, приложил руку к «великой аграрной революции сверху», но нам показалось, что он делал это без энтузиазма. Допускаю, что мы приписывали ему свои чувства, потому что у него было интеллигентное лицо. У директора морда была хамская — животное, пляшущее на крыше. Мы простились и укатили на грузовике, с которым нас сосватал секретарь.

Дела прошлые, но как отражаются на потомках преступления отцов и дедов?.. Нас возмутил поганец директор, весь день упивавшийся квасом, и порадовал секретарь, обронивший случайную, хотя и крамольную фразу, а по существу все, включая нас, умыли руки. Пытался оправдаться только директор — после пляски на крыше шевельнулся червячок, в который превратилась совесть. Я и не оправдываюсь — видела и проглотила. И не то еще видела и взывала да так, чтобы никто не слышал, только, когда забрали Мандельштама.

Свиное рыло, директор, оказался лучшим из всех — в течение полувека делаются худшие дела без малейшей попытки самооправдания, а свидетели молчат. Как только не отсох язык от молчания! Впрочем, он и не думал отсохнуть даже у тех, кто не молчал, а восхвалял все преступления. Нам предстоит еще полвека молчания и бесстыдных восхвалений, потому что говорить не только опасно, но и бессмысленно: «наши речи за десять шагов не слышны». Через сто лет язык, наверное, отсохнет. Научились молчать, научатся обходиться без языка. У нас ценятся и нужны «рабы, чтобы молчать».

БЛУДНЫЙ СЫН

I

НАЧАЛО И КОНЕЦ

Мандельштам всегда — всю свою жизнь — стремился на юг, на берега Черного моря, в средиземноморский бассейн. Сначала он узнал Крым и полюбил восточный берег, потом, в двадцатом году, побывал на Кавказе, пробираясь окольными путями из Феодосии в Петербург. В двадцать первом году он уже со мной провел с полгода в Грузии, а в тридцатом мы с мая по ноябрь прожили в Армении и в Тифлисе, где после долгого молчания к нему вернулись стихи. Я говорю о настоящих путешествиях, а не о курортных поездках, которых было гораздо больше.

Средиземноморский бассейн, Крым, Кавказ были для Мандельштама историческим миром, книгой, «по которой учились первые люди». Исторический мир Мандельштама ограничивался народами, исповедующими христианство, и Армению он понимал, как форпост «на окраине мира» («Все утро дней на окраине мира ты простояла, глотая слезы, И отвернулась со стыдом и болью от городов бородатых востока») ... В те годы мы на каждом шагу видели следы мусаватистских погромов (одна Шуша чего стоила!), и это углубляло ощущение окраинности, окруженности чуждыми людьми и странами. Неожиданно в стихах об Армении проскользнула

тема конца, гибели, завершенности: «И с тебя снимают посмертную маску».

Уезжая, Мандельштам навсегда простился с Арменией: «Я тебя никогда не увижу близорукое армянское небо и уже не взгляну, прищурясь, на дорожный шатер Арарата», а в Москве не переставал вспоминать ее и мечтать о новом путешествии. Армения полностью вытеснила Крым, и в стихах московского периода (1930—34) тяга на юг связывалась с Арменией. Крым назван только в «Разговоре о Данте» в рассказе о том, как Мандельштам, думая о структуре «Божественной комедии», откровенно советовался с коктебельскими камушками, а незадолго до этого в Старом Крыму появилось стихотворение «Холодная весна. Голодный Старый Крым». Это стихотворение принадлежит не к историософскому, а к актуально политическому разряду. Тот Крым, который мы видели, наводил на мысли не о возникновении культуры, а о конце и гибели.

Маленький городок был переполнен беглецами и бродягами с Украины, где в начале тридцатых годов был невероятный крестьянский голод, связанный с раскулачиваньем и коллективизацией. По силе и ужасу он был равен только голоду в начале двадцатых годов в Поволжье. Мне думается, что татарские набеги и Тамерлан не привели к таким последствиям, как раскулачиванье. Убегая или спасаясь от набегов, люди держались вместе для обороны или освоения новых земель, а раскулачиванье вызвало настоящее рассеянье: каждый спасался в одиночку, в крайнем случае — с женой и детьми. Родителей бросали где попало — старикам все равно умирать. Вокруг городов возникли землянки, где ютились сорванные с мест крестьянские сыновья. Постепенно они вращались в жизнь города, но обычно не сами беглецы, силы которых были исчерпаны, а их дети. Мне случалось бывать в землянках, когда меня в Ульяновске, как преподавателя, посылали переписывать избирателей к выборам. Меня поражала чистота и скученность, в которой жили в землянках. Родители еще не утратили традиционной крестьянской приветливости. Это обычно были люди за сорок лет. Стариков среди них я не видела ни разу, ни одного... Подростки и юноши, испытавшие в раннем детстве голод раскулачиванья, а потом войны, принадлежали к далеко не худ-

шему разряду городских детей. В землянках жили бедственно, но о пьянках не слышали, чужим не доверяли, «компаний не водили», напрягая все силы, пытались спастись и вылезть из-под земли на поверхность. Я пила у них жидкий чай или заварку с земляничным листом, мы осторожно прощупывали друг друга. Большинство выбралось из деревни во время войны, некоторые в тридцатых годах. Расспрашивать подробно не полагалось: и я, и они научились держаться начеку. Тем не менее, мы молча сочувствовали друг другу, и это выражалось в том, что все мои избиратели приходили голосовать рано утром, чтобы не задерживать меня на участке. Агитатор отвечает за своих избирателей и торчит около урн, пока все не проголосуют. Уходя с участка, многие из моих избирателей спрашивали: «Скоро тебе домой? Кто там отстал?» — и, вернувшись, торопили отставших. И они, и я выполняли подневольную церемонию и старались облегчить ее друг другу, но сказать откровенно хоть слово не смели. Никто на участке не понимал, почему у меня, сомнительной гражданки и, наверное, плохого агитатора, дело идет, как по маслу, так что к десяти утра я отправляюсь домой, а звезды Пединститута — мы работали на «подшефном участке» — сидят до ночи и мечутся по городу в поисках загулявших избирателей. Ни разу ни один избиратель не спросил меня, куда и кого избирают. Такие вопросы задавались только «звездам» в надежде, что они напутают, и можно будет сделать им пакость. Мы действовали по простому правилу: раз требуют, надо сделать, иначе «они» не отстанут. Шли последние сталинские годы и первое десятилетие со смерти Мандельштама.

С жителями землянок и сараев мы сталкивались всю жизнь. В 33 году в Коктебеле Мандельштам привел к нам в комнату маленького мальчика, побиравшегося по пансионатам и домам отдыха. Он напоил мальчика молоком, а на следующий день мальчик привел брата и сестру — еще меньше. Мандельштам утром бежал за молоком, зная, что к нему явятся дети получать паек. Через несколько дней пришел и отец, молодой украинец, бежавший с голоду из родной деревни. Мы жили в писательском доме отдыха, но писателей там не было — сезон еще не наступил. (Мандельштама и Андрея Белого писателями считать нельзя — я говорю про

настоящих, советских.) Жили весной одни мелкие служащие издательств Ленинграда и дочь Римского-Корсакова с сыном. Московский дом отдыха находился в доме Волошина, и в досезонный период там жили служащие московских издательств. В писательский Коктебель мы бы не поехали — страшно... Служащие, народ добросердечный и простой, бухгалтеры, счетоводы, канцеляристы, познакомились с детьми и стали откладывать куски с обеда, чтобы, подкормить голодную стайку. Вскоре они собрали денег и отправили всю семью домой, где голод уже пошел на убыль.

Семья эта даже не принадлежала к раскулаченным. Они поддались общей тяге — бежать, куда глаза глядят. На Украине и на Кубани голод свирепствовал всю и люди вымирали целыми селами, но и беглецы погибали на всех путях и дорогах. Спасения не было и нет нигде. В этом сейчас убедились и не бегут больше никуда — да и жить стало легче. Эра метаний кончилась. Сейчас из деревни убегают только отслужившие военную службу юноши. Они женятся на ком угодно, лишь бы попасть хоть в районный городок. Впрочем, это сведения десятилетней давности, начала шестидесятых годов. Сейчас могло измениться — деревня, говорят, сыта.

Последний в жизни Мандельштама Крым был наводнен беглецами: «Тени страшные Украины, Кубани»... По утрам мы выслушивали рассказы, где ночью разломали саманную стенку, чтобы завладеть мешочком с пайковой мукой или крупой. В Старом Крыму мы месяц ели сухари, высушенные из московского хлеба, но на базаре продавали мясо и масло. Магазины исчезли. Карточки еле отоваривались, и беглецам, чтобы не умереть с голоду, только оставалось, что ходить с протянутой рукой — только никто не подавал, потому что и горожане были нищими — или грабить. Самое удивительное, что не все вымерли, а как-то перебились, вырыли землянки, осели, спаслись. Сейчас же в маленьких городках можно купить в магазинах крупу, масло и сахар. Такой рай длится уже лет десять.

В Коктебеле все собирали приморские камушки. Больше всего ценились сердолики. За обедом показывали друг другу находки, и я собирала то, что все. Мандельштам был молчаливый, ходил по берегу со мной и упорно подбирал какие-то особые камни, сов-

сем не драгоценный сердолик и прочие сокровища коктебельского берега. «Брось, — говорила я. — Зачем тебе такой?» Он не обращал на меня внимания... Вскоре мы раздобыли бумаги — хозяйка дома отдыха и заведующий магазином «закрытого типа» дали нам кучу серых бланков. Бумаги у нас никогда не было и не будет, Мандельштам начал диктовать «Разговор о Данте». Когда дошло до слов о том, как он советовался с коктебельскими камушками, чтобы понять структуру «Комедии», Мандельштам упрекнул меня: «А ты говорила выбрось... Теперь поняла зачем они мне»... Летом 35 года я привезла в Воронеж горсточку коктебельских камушков моего набора, а среди них несколько дикарей, поднятых Мандельштамом. Они сразу воскресили в памяти Крым, и в непрерывающейся тоске по морю впервые вырвалась крымская тема с явно коктебельскими чертами. Воронеж расположен на границе леса и степи. Там Петр строил корабли для азовского похода. Мандельштам остро чувствовал ландшафт и даже любил его, но потрогав пальцами крымские камни, написал стихи, в которых впервые простился с любимым побережьем: «В опале предо мной лежат чужого лета земляники — двуискренние сердолики и муравьиный брат — агат»... В этих стихах отголоски старого спора, стоит ли поднимать простой камень: «но мне милей простой солдат морской пучины, дикий, серый, которому никто не рад»... Крымское лето в этих стихах названо чужим.

Мандельштам готовился к уходу из жизни, прощаясь со всем, что любил: с Арменией, Крымом, с вещами и людьми. Он не простился только со мной, потому что не представлял себе, что я останусь жить без него. Он был абсолютно убежден, что я уйду вслед за ним. Поймет ли он, что я задержалась ради него? После его смерти я ни разу не была ни в Крыму, ни на Кавказе: раз он простился с ними, мне туда дороги нет. Не видела я и моря, потому что он простился и с морем («Разрывы круглых бухт»). Нельзя же считать морем пресный светлосерый залив недалеко от Комарово в советской Финляндии, где мы на минутку остановились с Ахматовой. Она тоже успела проститься с морем: «Последняя с морем разорвана связь». Искусственно, вернее, насильственно и противоестественно оторванные от

всего, что нам было близко, мы только и делали, что поминали и прощались. Все оказалось запрещенным — даже хлеб: «И запрещенный хлеб безгрешен» (вариант). И все же мы были привилегированной частью населения, раз нам хватало на хлеб и мы получали карточки не самой последней категории. Мы не взламывали саманные стенки кладовок и не занимались ни лесоповалом, ни лесосплавом. Когда Мандельштам оказался в самой низшей группе, он, к счастью, умер. Плохое здоровье, в частности, сердечная недостаточность — отличный козырь для человека, потому что обеспечивает своевременную смерть.

Лето 35 года было полно событий. Вскоре после моего возвращения из Москвы мы увидели из окна своей комнаты — наемной, впрочем, не своей, с хозяином из раскулачивателей и хозяйкой из раскулаченной семьи, — похороны жертв летной катастрофы, военных летчиков, которых хоронили с воинскими почестями. Такое случалось редко: природные бедствия и катастрофы, как правило, замалчивались. Вместе со стихами о похоронах погибших летчиков, в одном с ними цикле, возникло маленькое стихотворение в двух вариантах: «Нет, не мигрень, но подай карандаш ментоловый». В одном из них Мандельштам просит, чтобы я положила ему под голову пучок коктебельского чобру, степной душистой травы, и в чобре — ниточка, связывающая эту группу стихов с коктебельскими камушками. Во втором варианте (он и должен стоять в основном тексте) Мандельштам, сопереживая смерти летчиков, погибает той же смертью и в миг летной катастрофы видит начало жизни — младенчество, детство, «краски пространства веселого», — но все обрывается падением с высоты, где «холод пространства бесполого», то есть, бесчеловечного, пустого, а земля с высоты кажется огромной рыжей плешинной (степной пейзаж), словно смотришь на нее сквозь цветное стекло. В описании вида земли с большой высоты сказались и горные путешествия, и рассказ Бори Лапина о полетах, а в цветных стеклышках — реминисценция детства. В бумагах найдется отрывок, более подробный, чем тот, что вошел в «Египетскую марку», о шестигранных коронационных фонариках с цветными стеклами. Мандельштам ребенком разломал фонарик и поразился, как выглядит мир

сквозь цветные — красное, синее, желтое — стеклышки. (Кто из нас умеет смотреть на мир прямо и открыто, а не через цветные стеклышки обычаев, готовых представлений, культуры, общества и эпохи? Возможен ли прямой взгляд и что мы тогда увидим? Во всяком случае, не случайность и бессмыслицу, рассусоленную двадцатым веком.) Чтобы войти в мир Мандельштама, надо понять, как остры у него были ощущения (я не устану это повторять) — зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и даже осязательные — и как они запоминались на целые годы. Человек удесятеренной чувственности, он никогда не забывал ни одного сильного ощущения. Он видел то, чего я не могла разглядеть, слышал звуки, которые еле мерещились мне, и чувствовал запахи и привкусы, к которым я оставалась равнодушной. Он служил мне как бы добавочным органом чувств — я привыкла смотреть его глазами и слышать его ушами. Когда я осталась одна, мне не хватало моих глаз и моих ушей, и я не хотела ни на что смотреть и затыкала уши, чтобы ничего не слышать. Зачем стала бы я смотреть на то, чего он уже не видит или ощущает совсем не так, как я, еще живая... Надо остерегаться такой близости, какая была у нас с ним, потому что один всегда умирает раньше, а второй при жизни теряет все ощущения, которые свойственны живущим. Он тоже становится мертвецом, хотя и продолжает механически жить. Такая жизнь ни к чему. Это тень жизни...

В обоих вариантах стихотворения о ментоловом карандашике резкие обонятельные ощущения. Мандельштам часто, гуляя, искал пахучие травы и растирал их в руках, в частности, чобр. На этом мы сошлись, гуляя еще в киевских парках и даря друг другу любимые листья и травы. Какие духи сравнятся с запахом грецкого ореха, который все знают и любят. Мне жалко Бердяева, обожавшего духи, в которых всегда пронохивается что-то постороннее, грубое и вульгарное. В Сухуми была маленькая фабрика, выжимавшая из герани масло для духов. Вокруг нее стоял тяжелый запах аммиака, и мы поняли, что нам портит любые духи: в их состав входит нечто, то есть, душистое масло, чья аммиачная грубость, явная при больших дозах, ощущается и в крохотных, которые потребляются в духах.

О химикалиях в нынешних духах и говорить нечего — они непереносимы.

Во втором варианте стихотворения (основном) пахнет тухлой ворванью — это запах тления — и больницей («рочот гитары карболовой» — запах карболки всегда воспринимается, как волна — то наступает, то отходит). Запах карболки ударил в ноздри еще в Москве — поздней осенью 1931 года, когда меня положили в Боткинскую больницу, и среди черновиков «Путешествия в Армению» записаны бродячие строчки о карболке. Тогда стихотворение о запахах не могло осуществиться по многим причинам. Главное — на него должен был упасть луч поэтической мысли. Из одного ощущения без мысли стихов у Мандельштама нет. (Есть ли они у кого-нибудь? Пастернак — поэт ощущений, но и у него всегда ведет мысль, через ощущение и сквозь него). Поэтическая мысль в тот период не могла возникнуть, потому что Мандельштам писал прозу. Два процесса — писание стихов и прозы — никогда не происходили одновременно. У других поэтов проза иногда перебивает стихи или стихи прозу. У Мандельштама этого не бывало, если не считать «Юности Гете», которая в настоящую и настоящую прозу не входит. Это честная заказная работа, где лишь случайно пробивается голос.

Я знаю, почему в стихотворении о внезапной смерти Мандельштам, переживая последнюю минуту, вдруг видит всю свою жизнь. Она проносится перед ним в одно мгновение. Когда-то Мандельштам прочел перевод испанского рассказа — это было как будто еще в дни, когда мы в первый раз жили на Тверском бульваре (1922/23). Он мне тут же сказал, что в рассказе человек, падая с моста в реку, в одно мгновение успевает вспомнить и пережить всю свою жизнь. Рассказ вероятно, был рядовой, иначе я бы запомнила автора, но он как-то совпал с мыслью Мандельштама об умирании или это мысль зародилась от чтения рассказа: в момент смерти жизнь вспыхивает в сознании умирающего и он отдает себе отчет, зачем жил и что видел. Пока мы жили вместе, я не понимала, как смерть и умирание всегда присутствуют и не отходят от нас. Пока Мандельштам был жив, я не понимала смерти, но оставшись одна, только ею и жила. Я думала о ней, и прежде все-

го возник вопрос: неужели на койке лагерной больницы, умирая от невозможности жить и от истощения, человек может что-нибудь вспомнить? Такая смерть, думается мне, похожа на медленное затухание, когда постепенно отмирает связь с прошлым и с жизнью. (Нас лишили не только жизни, но еще и смерти)... Настоящее настолько нереально и непредставимо, что в нем разрываются все связи с жизнью, с самим собой, с прошлым, с людьми, с законами их общежития, с представлениями о добре и зле. Мысленно умирая смертью Мандельштама, я забывала все — даже надежду на будущее. Живя в нечеловеческих условиях прошлой эпохи, я часто убеждалась, что ничего не помню. Оставалась лишь одна светящаяся точка и физически осязаемое ощущение лагеря — груды тел в вонючих телогрейках, свалка человеческих тел, еще живых, еще шевелящихся, или такие же тела, но уж замерзшие и окостеневшие, яма, куда они сброшены «гурьбой и гуртом». Вот, что я видела и чем я жила.

Я могла собрать силы и перенести эти ощущения, потому что отказалась от мысли о смысле жизни и жила одной целью. В мучительные эпохи, когда бедствие, нечеловеческое и чудовищное, затягивается на слишком долгий срок, нужно забывать про смысл — его не найти — и жить целью. Это результат моего опыта, и я не советую пренебрегать им: может еще пригодиться и у нас, и не у нас. Упражняйтесь в уничтожении смысла и в заготовке целей.

II

НЕМНОЖКО ТЕКСТОЛОГИИ

Стихотворение «Нет, не мигрень» было первым подступом к «Стихам о неизвестном солдате», оратории, посвященной будущей (может, будущей и для сегодняшнего дня) войне и массовым гибелям, а также смерти Мандельштама. Исследователь, роясь в архиве Мандельштама, обнаружит первую запись (с чобром) на оборотной стороне листка, где записано стихотворение «волчьего цикла», но пусть это не толкает его на изменение датировки. Запись на одном листке повод для

передатировки только для редакторов типа Харджиева, неспособных к смысловому анализу. У него есть ряд «бумажных» передатировок стихов (в этом он видит свою редакторскую честь), и с ними не следует считаться. Он передатировал стихи из «Камня», потому что нашел их записанными (без даты) на одном листке со стихотворением более позднего периода. Стихи могут оказаться записанными на одном листке по тысяче причин: например, автор делал подборку для журнала или записал по просьбе приятеля то, что тому понравилось. Мне ясно, почему «Мигрень» очутилась на «волчьем» листочке. Я привезла из Москвы в одном чемодане с камушками все уцелевшие от первого погрома-обыска бумажки со стихотворными текстами. (Они сохранились в кастрюле, стоящей и сейчас на моей кухонной полке, еще — в ботах, а кое-что было просто не замечено парнями, производившими обыск.) Бумаги в Воронеже лежали на единственном в комнате столе, и я составляла «ватиканский список». Мандельштам бегал по комнате, сочиняя стихи, и подходил изредка к столу, чтобы стоя быстро записать несколько строчек. Видно, меня не было дома, что он схватил первый попавшийся листок и записал на нем новые строчки. Была б я дома, он бы мне надиктовал, или б я дала ему чистый листок.

Поэты меньше всего похожи на канцеляристов и учителей чистописания. В рукописях у них большого порядка не обнаружить. Ахматова только под старость завела себе тетради, а Мандельштам даже хвастался, что не умеет писать и работает с голоса («А вокруг густопсовая сволочь пишет»). Иногда он делал аккуратный чистовичок, но почти никогда не предназначал его для архива, а для кого-нибудь, кто попросил автограф. Частенько это случалось в разгаре работы, когда стихотворение еще не успело окончательно стать, и таким образом в аккуратном автографе сохранялся не окончательный текст. Окончательные тексты обычно записывались мной под диктовку. Диктуя, Мандельштам ворчал, что я не запоминаю с голоса сразу все стихотворение. Хозяин он был требовательный и неблагодарный. Сколько он издевался надо мной за неграмотность и вечные сомнения относительно двойных «н»! В южно-русских говорах, а я выросла в Киеве, двойное «н» не звучит, и в речи у меня его нет. Впрочем, сейчас оно

звучит только у снобов и у древних стариков, а они, как известно, вымирают.

Мандельштам не мог понять, как я могу не помнить стихотворение, которое было у него в голове, и не знать того, что знает он. Драмы по этому поводу происходили тридцать раз в день. С Ахматовой же все было наоборот. Я не смела знать того, чего не знала она. Особый гнев вызывал английский язык — она дважды обсудила произношение с Маршаком и все хотела меня этому обучить — он человек музыкальный и был в Англии. Некоторые французские идиомы тоже вызывали ее интерес. Ей казалось, что мы с Мандельштамом их не можем знать, но они принадлежали к тем, которые познаются в раннем детстве. Настоящую же ярость вызывала латынь. Я кончила классическую гимназию, и учителя умудрялись вбить какие-то знания даже отъявленным лентяям, но Ахматова вспыхивала, когда меня при ней просили что-нибудь перевести — такое несколько раз случалось. Она грозно говорила: «Что они могут знать! Ничего они не знают». Кто были «они», я не знаю. Скорее всего кончившие гимназии с классической программой. Мой неистовый муж и моя неистовая подруга только и делали, что шпыняли меня, бедную, но и я от них не отставала и дразнила каждого в одиночку. Вместе я их дразнить остерегалась, чтобы они вдвоем — соединенными силами — не набросились на меня. Приходилось лавировать. Это трудное искусство. Если б мне дали дольше пожить с Мандельштамом, я бы им овладела. Способности у меня есть. Мандельштам это признавал.

Когда стихотворение содержит в себе ядро будущей вещи, оно обрастает вариантами и дает множество отростков в разные стороны. В таких случаях у автора часто бывает ощущение, что основное стихотворение само по себе не существует, не вытанцовалось, не стало... Так было с «Волком», так произошло и с «Нет, не мигрень», и оно не вошло в основной список, но осталось среди черновиков. В нормальных условиях оно бы отлежалось, а потом вынырнуло в момент окончательного становления книги. Ничего, к несчастью, нормального в нашей жизни не было. Черновики я отдала на хранение Рудакову, и они пропали у его вдовы.

Первый вариант «Нет, не мигрень» я обнаружила в тех бумагах, что остались у меня, а второй долго считался погибшим. Эренбург дал мне свою тетрадочку со стихами, и в ней-то и оказался второй и окончательный вариант «Мигрени». Записан он был трудным почерком Эренбурга, остальное все — на машинке. Я отнесла тетрадку Харджиеву. Вот одно из его безумий: он разброшюровал тетрадь и уничтожил листок с «Нет, не мигрень», потому что под ним была дата, а он пожелал изменить ее. «Чего хранить неграмотную запись!» — сказал он в ответ на мои упреки. В большом и в малом, единственное оправдание советских людей то, что они психически больны. Все больны. Одни больше, как Харджиев, потому что у них врожденная болезнь, другие поменьше — благоприобретенный психоз. Нормальным не остался никто. Такое исключается. Полвека этой жизни не могли не довести до болезни. Безумными мне кажутся и нынешние молодые и непуганые. Одни ходят и поплевывают, другие готовятся к новой волне террора и будут убивать с меньшей энергией, чем их деды. Пролитая кровь не научила их ничему. Запах крови сейчас почти неощутим, поэтому все может начаться с начала — в несколько обновленной форме. И не только у нас, а на огромных пространствах того мира, который некогда был христианским.

Я спрашивала Эренбурга, откуда у него взялось пропавшее стихотворение. Он, конечно, ничего не помнил. (Болезнь памяти один из симптомов нашего психоза)... Часть стихов Эренбург получил от Тарасенкова, «падшего ангела», известного коллекционера рифмованных строчек, автора гнусных статей о поэзии. Я могу только сделать несколько предположений. Эренбург приезжал в Воронеж весной 36 года. Возможно, что Мандельштам надиктовал ему несколько стихотворений, среди них и «Мигрень». Оно тогда еще не попало в полную опалу. Запись сохранилась у Эренбурга в Париже или в Москве у его дочери. Этот вариант вызывает у меня следующие сомнения: до войны Эренбург мало интересовался Мандельштамом. Ему казалось, что Мандельштам принадлежит прошлому. Сдвиг произошел позже. Во время капитуляции Эренбург отсиделся в советском посольстве в Париже и был выпущен немцами в Советский Союз, потому что еще действовал наш пакт с Гит-

лером. Вскоре после возвращения я встретила его на Каменном мосту (из всех своих ссылок — не официальных, а паспортных — я умудрялась наезжать в Москву). Он прогуливал собачку. Мы разговорились. Я была поражена переменой, происшедшей с Эренбургом — ни тени иронии, исчезла вся жовиальность. Он был в отчаяньи: Европа рухнула, мир обезумел, в Париже хозяйничают фашисты... Он переживал падение Парижа, как личную драму, и даже не думал о том, кто хозяйничает в Москве. В новом для него и безумном мире Эренбург стал другим человеком — не тем, которого я знала многие годы. И совсем по-новому прозвучали его слова о Мандельштаме. Он сказал: — «Есть только стихи: «Осы» и все, что Ося написал»... Я запомнила убитый вид Эренбурга, но больше таким я его не видела: война с Гитлером вернула ему равновесие и он снова оказался у дел. Единственное, что осталось от того отчаянья, это отношение к Мандельштаму, который стал для него поэзией и жизнью на фоне общего безумия и гибели. В этом перемена оказалась прочной. В остальном он постарался воскресить те иллюзии, которые помогали ему жить. (Не потому ли он мог сочетать Мандельштама с Нерудой и Элуаром, а в прежние годы и с Арагоном.) Он считал, например, что после гражданской войны у нас началась разумная жизнь и катастрофа разразилась только в 37 году. (Точка зрения «победителей»). — А как же с Мандельштамом? — спрашивали у него. Других имен не называли, хотя список их нескончаемый, потому что знали, что к остальным Эренбург равнодушен, а Мандельштам для него — боль. Единственное лекарство от этой боли — рассуждение, что Мандельштам сам навлек на себя беду. Поведение Мандельштама было неразумное, а стихи против Сталина — плохонькие и выпадают из всего поэтического наследства. Писал бы себе про ос, и ничего бы с ним не случилось... Это тоже точка зрения победителей, а с ними-то Эренбург и общался, пока жил в Париже. Победители работали в посольствах, приезжали в делегациях... Если вдуматься, то не судьба Мандельштама была для них случайностью, а весь 37 год, отнявший у них плоды победы. Все, что происходило до 37 года, считалось закономерностью и вполне разумной классово-вой борьбой, потому что крошили не «своих», а «чужих».

В годы дружбы с победителями Эренбург приезжал искать в России новое, невиданное и увлекательное и на Мандельштама не глядел. Ему казалось, что тайной этого поэта он уже овладел. Таково было, очевидно, общее мнение, потому что такие разные люди, как Эренбург и Цветаева, проглядели зрелого Мандельштама. Эпоха принадлежала страстному новаторству, и оно не нуждалось в Мандельштаме, потому что он «не откликнулся на запросы времени». Растерянный Эренбург с собачкой на Каменном мосту сохранил бы стихи Мандельштама, но я не ручаюсь за своего довоенного приятеля, искателя «нового» и ценителя «вещи» и всякого новаторства, которое заметно с первого взгляда. Довоенный Эренбург мог сохранить стихок, а мог его потерять. Вопрос остается открытым. (Все остальные писатели могли только уничтожить стихи, что большинство из них и сделало.)

К маю 38 года стихотворение «Нет, не мигрень» существовало в двух экземплярах. Один находился у Рудакова, другой — в моем чемодане, из которого все бумаги вывернули в мешок и увезли на Лубянку. Сейчас еще одна рукопись обнаружилась у Зенкевича. Спрашивается, который из двух экземпляров очутился у Мишеньки: тот, что был у Рудакова, или тот, который был увезен на Лубянку? Не от Тарасенкова ли получили этот стихок и Зенкевич и Эренбург? Вот основной вопрос. Тарасенков с Рудаковым никак связан не был. Можно предположить, что пошел в ход экземпляр с Лубянки. Я заметила, что в рукописи Тарасенкова стихотворение «Квартира» записано с пропуском двух строк. Так Мандельштам дал его следователю на Лубянке в 34 году. Мы его записывать остерегались. Если из бездны выплыла одна вещь, могут вынырнуть и остальные пропавшие стихи, весь десяток, но почему они так медлят и прячутся столько долгих и мерзких лет? Я устала ждать их, но стараюсь не терять надежду. У надежды есть особое свойство — она оправдывается, если ее сохраняют. Смешно, но факт.

В 19 или 20 году в Коктебеле Мандельштам написал стихок: «У вас потомства нет, увы, бесполоя владеет вами злоба»... Он не позволил мне запомнить его наизусть: важная профилактическая мера при современных режимах — не обременять память. Делается это на

всякий случай, чтобы очутившись на Лубянке, а такое может случиться с каждым, ничего не знать и быть, как младенец. Мандельштам с первых дней заботился о моей памяти, потому что знал, какая она цепкая. Он жил с полным сознанием близости «большого дома» и хотел уберечь меня. «Ты там должна быть полной дурой и ничего не знать... Не забывай этого, чтобы тебя не подцепили. Надо понимать, где живешь», — постоянно повторял он. (Эти правила годились до 37 года, а потом факты ни в каком виде уже не интересовали: искали только заранее запланированное — террор, покушение на хозяина и все, что угодно.) Сам он тоже забыл вредный стишок, и только в Ростове, у Лени Ландсберга, маленького, горбатого юриста, хранился один экземпляр вредной вещи. Леня приезжал в Москву в 22 году, и оказалось, что рукопись сохранилась. Я не знаю его судьбы. Скорее всего он погиб у немцев или у нас. Больше всего шансов у любого человека — на лагерь или пыточную камеру. Стишок я считала погибшим.

Несколько лет назад моя подруга, с которой я жила в Калининне после смерти Мандельштама, сказала, что ко мне рвется молодой поэт из Ростова. Я уклонялась от встречи, но она его все же привела. Мы болтали и пили вино, как она вдруг сказала: «Посмотрите, как они в Ростове издают Мандельштама». Я видела тысячу переплетенных машинописных книг и равнодушно открыла тысячу первую. Все было, как всегда, но я тут же, листая, наткнулась на полный текст потерянного стихотворения, с одним, правда, искажением, которое я легко исправила по памяти. Выяснилось, что оно было записано в экземпляр «Стихотворений», купленных у букиниста. Вероятно, это была книга Лени Ландсберга. Стихотворение оказалось более жизнестойчивым, чем автор и хранитель.

В машинописные списки иногда попадают стихи, которые никакого отношения к Мандельштаму не имеют. В одном списке я нашла стишок с упоминанием Бриджит Бардо, но владелец мне не поверил, что его надо выкинуть. Я прошу запомнить, что после смерти поэт перестает писать стихи.

Россия — страна Самиздата. Еще в пушкинское время ходили рукописные книги, а начальство, заполю-

чив книжечку, призывало авторов к ответу. Как бы мне не всыпаться с изготовлением прозаического Самиздата.

III

«СТИХИ О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ»

Наташа Штемпель написала в письме, что Мандельштам прочел ей «Нет, не мигрень» и «Не мучнистой бабочкою белой» (похороны летчиков) и сказал, что это первые подступы к «Неизвестному солдату». У меня есть свидетельница, подтверждающая мое показание. Почти не осталось людей, которые знали Мандельштама, а только кое-кто из совершенно случайных знакомых — вроде Николая Чуковского (и его тоже уже нет) или Миндлина. Еще развелись фантасты и выдумщики. Они лепят Мандельштама по своему образу и подобию (как Миндлин или Борисов) или выдумывают про встречи, которых никогда не было (таких много в Воронеже — они видели Мандельштама в Воронеже вместе с Нарбутом в 19 году и с ним разговаривали о поэзии). Есть жулики вроде Харджиева и Рождественского — они знают все, что думал Мандельштам, и успели обо всем переговорить, чтобы написать комментарии или мемуары. Наташа Штемпель — единственный близкий нам человек и достоверный свидетель. К несчастью, она ленится записать то, что помнит. Ей следует доверять больше, чем кому-либо. Ее показания драгоценны. Если сохранится живое отношение к Мандельштаму, а я в это верю, пусть знают, что в памяти у этой женщины хранится многое из двух последних лет страшной жизни этого обреченного и прекрасного человека, писавшего накануне смерти стихи, изданные сейчас огромными тиражами в издательстве Самиздат.

В стихах о неизвестном солдате говорится не про собственную гибель, а про целую эпоху «крупных оптовых смертей», когда каждый погибает «с гурьбой и гуртом» (знают ли, что гурт это стадо?) и каждый становится «неизвестным солдатом», а среди них и автор. (Что делать с лирическим героем, когда разговор идет о жизни и смерти? Ответьте мне, любители литературы.) Это оратория в честь настоящего двадцатого века,

пересмотревшего европейское отношение к личности. Человек, как известно, стал лишь удобрением для задуманного в канцеляриях социализма прекрасного будущего. У будущего есть одно прелестное качество: оно всегда удаляется и неуловимо, особенно в тех случаях, когда оно сулит счастье. Полвека народ верил в будущее. Сейчас он как будто заинтересовался несовершенным прошедшим, которое тесно связано с настоящим. Таксисты и любители домино во дворах с почтением и любовью вспоминают былые дни. Сам поэт Тихонов твердо сказал, что при Сталине было больше порядка. Впрочем, народ ни во что не верит и ничем не интересуется. Одни спят, вернувшись с работы, другие стоят в очереди к пивному ларьку. Это славные люди, которых в случае надобности можно организовать для погрома. Кого будут бить, не знаю. Вероятно, жидов и интеллигентов. Решать буду не я. За нас думает и беспокоится начальство.

В стихах о неизвестном солдате есть тема смерти в воздухе, но это уже не случайная катастрофа, как было раньше, а результат стремления к гибели опустошенных людей, которых «воздушная яма влечет» («И за Лермонтова Михаила я отдам тебе строгий отчет, как горбатого учит могила и воздушная яма влечет»)... Чтобы осуществилось то, что предвидел Мандельштам, нужна не только воля к убийству, но и воля к гибели, тяга к концу, к воздушной яме, к самоуничтожению, к пустоте, к небытию... Такая тяга существует. Она вполне реальна и для самоуничтожающегося зла, и для тех, кто потерял веру в бессмертие. Во второй половине девятнадцатого века додумались до глубокой и тонкой мысли, что дух есть продукт высокоорганизованной материи и, следовательно, уничтожается вместе с ней. Странно, но именно эта мысль вызвала неслыханный прилив гордости, хотя чего бы тут, казалось, гордиться. Гордый человек воплощался в тысячах обликов — стоял между шкафом и печкой, уподоблял себя стервятникам, боролся с морозом, проповедовал сверхчеловеческие идеи, управлял народами и бросал войска на соседей. Он неслыханно вырастал, а затем вдруг сжимался и выглядел вроде крохотули грибка. С ним происходил фокус, как на мозаике на одной из станций метро. Я ходила под этой мозаикой, как безумная, потому что Сталин, изо-

браженный во весь рост на потолке с одного места выглядел великаном, а при переходе на другое уменьшался до размеров человека-яйца, когда нельзя отличить галстук от пояса. Я опомнилась, заметив, что на меня начинают оборачиваться. Задержись я еще немного, меня бы уволокли на Лубянку по обвинению в чем угодно — такова была форма организованного погрома в те дни. Скорее всего меня бы обвинили в покушении на вождя. Реального обвинения — взрыв надежды при виде того, как на мозаике уменьшается отец народов, — формулировать бы не посмели. Мандельштам говорил, что уничтожают у нас людей в основном правильно — по чутью, за то, что они не совсем обезумели, но стыдясь признаться в терроре, привешивают каждому дело с фантастическим обвинением. Гордыня подстрекала людей к убийству и к самоуничтожению, и в этом самая существенная черта настоящего двадцатого века. Они доносили друг на друга и на самих себя и чувствовали себя при этом гордыми людьми. Только убийцы и самоубийцы, если посмотреть с нужного ракурса, уменьшаются до размера булавочной головки, хотя многим кажутся великанами.

Когда писались стихи о неизвестном солдате, уже надвигалась вторая мировая война. Меньше всего в нее верили газетчики, непрерывно трубившие о предстоящей решающей схватке между старым и новым миром. Реально она стала ощущаться после пакта с Германией. При жизни Мандельштама — он не дожил на воле до пакта с Гитлером, но предчувствовал его, а я ему не поверила: «Что ты выдумываешь!» — жизнь казалась такой невероятной и неправдоподобной, что будущего ждали, чтобы избавиться от настоящего. Так жили и мы, но когда в стихи ворвалось предчувствие будущих войн, нас это удивило: мы знали, что для нас будущего нет и каждый прожитый день — чудо. Чего уж беспокоиться о будущем, когда нас не будет, — смеялась я: — Брось своего солдата... Стихотворение так овладело Мандельштамом, что освободиться от него он бы не смог, даже если бы захотел. Оно приняло окончательную форму только в Савелове — в стоверстной зоне под Москвой. Не помню, там или потом в Калинин, он, просматривая по своему обыкновению газеты и читая между строчками, вдруг сказал: «Кончится тем, что мы за-

ключим союз с Гитлером, а потом все будет, как в «солдате»...: Можно ли было этому поверить?

Мне думается, что у Мандельштама было ощущение не одной войны, а целой серии войн. В строчках: «Чуешь, мачеха звездного табора, ночь, что будет сейчас и потом?» отмечено два момента будущего — «сейчас», то есть, скоро, вот уже надвигается, и «потом» — через некоторый промежуток времени, когда людям придется бороться «за воздух прожиточный», за глоток воздуха, за возможность дышать... Чувство недохвата воздуха могло быть вызвано собственной одышкой — она часто пробивалась в стихах. «Я это я, явь это явь» мог сказать только человек, которому трудно дышать. По этой строчке можно поставить диагноз — сердечная астма. (Мне приятно, что это заметил один далекий друг.) Но в «Стихах о неизвестном солдате» чувство недохвата воздуха подсказано не личными ощущениями, а страхом за будущее, обозначенным словом «потом».

Воздух, атмосфера вокруг земли и в особенности небо, «нижний слой помраченных небес» и видимое с земли звездное небо превращаются в угрожающую стихию. Воздух-небо даны как бы в двух аспектах. «Всеядный и деятельный» воздух в окопах и землянках принадлежат еще первой и также и второй мировым войнам, как и «неподкупное небо окопное, небо крупных оптовых смертей». Это небо, которое нависает над человеком, высунувшимся из окопа, огромное и равнодушное, свидетель массовой гибели твари, ползающей по земле. Человек — крошечное существо, но «миллионы убитых задешево (Что дешевле человеческой жизни?) притоптали тропу в пустоте», оставили незримый след своего едва осуществленного бытия. Второй аспект, в котором видно небо, относится к моменту «потом». В небе происходят события, говорящие о предчувствии чего-то иного: «шевелиющимися виноградинами угрожают нам эти миры», а затем неизвестно откуда возникшее ощущение взрыва, который ярче света: «Весть летит светопыльной обновою и от битвы вчерашней светло... Я — новое, от меня будет свету светло»...

Мандельштам поверил, что мучившие его стихи не призрак только после того, как в них появился дифирамб человеку, его интеллекту и особой структуре. Я говорю о строфе, где человеческий череп назван «чашей

чаш» и «отчизной отчизны». «Смотри, как у меня череп расщебетался, — сказал Мандельштам, показывая мне листочек, — теперь стихи будут». (Проклятая зрительная память — я вижу, как он стоит у стола и дописывает последние слова...) Человек, обладатель черепа, есть настоящее чудо. Всякий человек — неповторим и незаменим. Он — Шекспир, потому что живет, мыслит и чувствует. А Шекспир только потому Шекспир, что он человек, обладатель черепа: «Чепчик счастья, Шекспира отец»... Человек, лучшее, что есть на земле и в мире, и то, чего не будет по вине самоубийственных людей.

Мандельштама мучала мысль о земле без людей. Она впервые появилась в обреченном городе Петербурге, а в Воронеже прорвалась еще в стихах о гибели летчиков: «...шли нестройно люди, люди, люди... Кто же будет продолжать за них?»

Я заметила, что ключевая строка, в которой сгустилось смысловое напряжение, всегда появляется последней (это, конечно, не значит, что она последняя по счету в стихотворении), словно поэт долго отстраняет от себя прямую мысль и высказыванье, хочет обойтись без него, увильнуть, борется, пробует промолчать и наконец, сдается. Тема дана уже в первой услышанной строчке (иногда и строфе), а разрешение темы в той, что приходит последней. В стихах о летчиках последней пришла последняя строчка стихотворения: вопрос о том, что станет с человеческим делом, если не будет людей.

Через всю поэзию Мандельштама проходит мысль о человеке, как о центре и воплощении жизни (человек — солнце, центр притяжения других людей), и о человечестве, воплощающем весь смысл жизни. Исчезновение человека, конец человечества, это та опасность, которая нависла над миром. Страх, прорвавшийся в статье «Слово и культура», когда Мандельштам понял, что остановить распад нельзя, постепенно принимал все более конкретные формы. Апокалипсическая тема прошла через следующие фазы: конец Петербурга и петербургского периода русской истории, ощущение земли без людей в разоренном Петербурге 21 года, где еще есть прибежище, куда «влачится дух» в «годиниы тяжких бед», бессмысленная смерть «в бесполом простран-

стве» и горький вопрос о том, кто продолжит за людей их дело, и — наконец — оратория о будущих войнах, как о самоубийственном акте человечества. Мысль об угрозе с воздуха мелькнула в стихотворении 22 года, где «и с трудом пробиваясь вперед в чешуе искалеченных крыл, под высокою руку берет побежденную твердь Азраил». Есть еще два стихотворения о смерти, но уже о собственной: «И когда я умру, отслуживши, всех живущих прижизненный друг (здесь точная формула отношения к людям)» и обращение к тому, кто придет в облаке. Эти два стихотворения не варианты, а единое целое, состоящее из двух частей.

Последние стихи воронежского периода обо мне, киевлянке, ищущей мужа («Ищет мужа не знаю чья жинка»), и обращение к Наташе Штемпель, чье призвание — «приветствовать воскресших».

В дни, когда писались эти стихи, еще не изобрели оружия, способного уничтожить жизнь на земле. Манделштам назвал «поэтическую материю» пророческой, то есть провидящей будущее. Он не вполне сознавал, а скорее почувствовал, что гибель будет связана с новым оружием и войной. Раз было начало, будет и конец, но предначертана смерть, а не самоубийство, грозит же нам именно оно. Кириллов самоутверждения ради задумал самоубийство и все же колебался прежде, чем покончить с собой. Пока самоутверждающиеся народы колеблются и медлят, талантливые исполнители государственных заказов и охранители национального достоинства, суверенитета и прочих бредовых идей, отказавшись от личности и свободы во имя индивидуализма, личного и национального, разработают такое передовое и прогрессивное оружие, что оно погубит не только человека, но и всякую жизнь на земле. Хорошо, если уцелеет растительность, чтобы хоть что-нибудь осталось от этого прелестного и безумного мира, где так здорово научились во имя всеобщего или национального счастья убивать друг друга и уничтожать людей, не принадлежащих к породе убийц.

ИЗ КОММЕНТАРИЯ К ВОРОНЕЖСКИМ СТИХАМ

«Это какая улица?..»

Шуточные стихи. Третья строчка второй строфы первоначально была: «Жил он на улице Ленина» — почему так называлась окраинная улица, на которой мы жили, я не знаю¹. Этой строчки О. М. испугался (да и сейчас за нее могут съесть — как так — такую улицу захотел переименовать — да еще как!), и мы решили ее «позабыть». Стишок же записывали шифром, так как любую улицу называть своим именем ссыльному было опасно.

В конце апреля мы переехали в центр города — к «агенту». Первое стихотворение на новом месте — «Стрижка детей»². Жить стало гораздо легче — центр — не было мучительных поездок в город — весна, возможность заработать на радио и в театре. Стихи этого периода не группируются вокруг одного (матки цикла), а идут свободно — цепочкой. Эта группа стихов написана при мне. Потом я поехала в Москву. После моего возвращения из Москвы, откуда я привезла сохранившиеся после первого ареста бумаги, мы начали восстанавливать стихи 30—34-го года, и я сделала «Ватиканский список». В нем материалы кончаются «Первой воронежской тетрадью». Порядок не всегда точный.

¹ По рассказу Н. Е. Штемпель, дом, где жили в то время в Воронеже Мандельштамы, находился на 2-й Линейной улице (ныне ул. Швейников), неподалеку от ул. Ленина.

² Домашнее название стихотворения «Еще мы жизнью полны в высшей мере...»

«Еще мы жизнью полны в высшей мере...»

«Стрижка детей». Оптимистические и милые стишки на тему «жизнь продолжается» с неизвестно откуда возникшим словесным ходом: «в высшей мере». Головы ли рубят, детей ли стригут — один ход ассоциаций. О. М. это заметил и сказал, что это как-то помимо его воли. А реалии простейшие — пришлось долго ждать у парикмахера — детей к первому мая стригли, как баранов. Первого мая мы уже были на новой квартире и под нами всю ночь дебоширили — в нашем доме была не то пивнушка, не то закусовая с водкой.

«Эта область в темноводье...»

В стихотворении <...> я могу перечислить следующие реалии: мы проводили много времени на телефонной станции, находившейся в двух шагах от нашего дома. Там висела большая фанерная карта области, на которой вспыхивали лампочки, показывающие, какой из районов области включен в сеть. По совхозам мы ездили летом 35-го года. Поездка наша началась с райцентра — села Воробьевка. В райкоме там работал немолодой — лет сорока пяти — человек, явно переведенный из города. Он был подозрительно интеллигентен для райкома, очевидно, его выкинули откуда-то за несогласие. У нас с ним было несколько разговоров и, несмотря на его осторожность, мы заметили немало горьких интонаций. Они относились и к раскулачиванью, и к организации хозяйства области. В 37-м году мы его вспомнили, думая, что с ним, наверное, расправились.

«Степь беззимняя» — в тот год стояли холода уже в ноябре, но снега не было. Гололедица и ахматовские «хрустали»¹ — в провинциальных городах и особенно в Воронеже всегда невероятно скользко — дворников нет и никто не убирает улиц. «Украинская мова» поездов — Воронеж и особенно южные районы области — это граница русских и украинских говоров, которые О. М. очень любил.

¹ Из посвященного О. Э. Мандельштаму стихотворения А. А. Ахматовой «Воронеж»:

И город весь стоит оледенелый.
Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталям я прохожу несмело...

«Оттого все неудачи...»

Написано сразу — в уме. Вариантов не помню. Кажется, О. М. иногда читал вместо «воды морской» — «травы морской». Это стихотворение О. М. послал Тихонову с просьбой помочь раздобыть работу; вероятно, в этом письме была и просьба о деньгах. Тихонов прислал телеграмму, что сделает для О. М. все, что сможет, но, вероятно, ничего не смог, потому что ничего не сделал. Через много лет он категорически отказался написать вступительную статью к сборнику в «Библиотеке поэта». Разговаривал с ним об этом Сурков.

Посылая Тихонову «Кота»¹, О. М. смеялся: «Ведь это золотой самородок — «щиплет золото гвоздей» — я — нищий — посылаю ему кусок золота...»

«Улыбнись, ягненок гневный с Рафаэлева холста...»

Сохранилось два чистовика моей рукой. Разночтений нет. «Ягненок гневный» скорее напоминает Мадонну Литту, чем Рафаэля. У нас не было репродукций ни Леонардо, ни Рафаэля. Это скорее всего тоска по Эрмитажу. Мне кажется важным, что эти три просветленных стихотворения (неудачами наши дела в те дни не назовешь) О. М. написал, отказавшись от оптимистических стихов и сообщив о своих мрачных предчувствиях («начало грозных дел»²).

«Когда в ветвях понурых...» «Я около Кольцова...»

Эти два стихотворения выросли на одном корню, это как бы «двойняшки». Были черновики с еще не дифференцированным текстом. Тематически оба стихотворения остались близки. В первом — поздняя осень, когда птица отказывается петь и единственный исход — сиреневые сани, то есть смерть — славянские похороны в саних. Во втором — даль с воронежской площадки возле нашего дома «без крыльца», степь с ее смертным однообразием, тема — «везут», всегда о гибели; здесь

¹ Домашнее название стихотворения.

² Из стихотворения О. Э. Мандельштама «Как подарок запоздалый...».

степь из саней — «кочуют кочки» и «всё идут, идут»... Слепые, когда их везут в последних санях, не видят, а только ощущают кочки... Именно последние строфы этих двух стихотворений указывают на общность их происхождения — разные фазы пути «в санях».

Первое стихотворение сохранилось в двух чистовиках моей и Наташиной рукой, второе О. М. не хотел записывать из-за второй строфы: колодник с привязанной к ноге гирей. Оно было записано нашим шифром. Этот шифр был рассчитан на прочтение только мной или О. М. — опорные слова для припоминания. Считая, что О. М. слишком «осторожничают», я записывала эти стихи в разные «альбомы». В одном из сохранившихся у меня «альбомов», записанных при жизни О. М., они есть.

«Дрожжи мира дорогие...»

«Влез бесенок в мокрой шерстке...»

Двойняшки. Сохранились варианты, в которых есть элементы обоих стихотворений.

I

Дрожжи мира дорогие —
Звуки, слезы и труды
Словно вмятины, впервые
Певчей полные воды

Подкопытные наперстки,
Бега кровного следы,
Раздают не по разверстке
На столетья, без слюды...

12 янв. 37

II

Дрожжи мира дорогие —
Звуки, слезы и труды
Словно вмятины, впервые
Певчей полные воды.
Подкопытные наперстки.
Неба синего следы,
< [Бега сжатого следы] >
Раздают не по разверстке:
На столетья — без слюды...

Брызжет в зеркальцах

дорога —

Утомленные следы
Постоят еще немного
Без покрова, без слюды.
И уже мое родное
Отлегло, как будто вкось
По нему прошло другое,
И на нем отозвалось.

12—14 янв. 37 В.

Оба списка сделаны рукой Наташи.

Оба стихотворения вызваны воспоминанием о монастырской дороге, где после дождя в следы, оставленные копытами, набиралась вода. О. М. показал мне на эти «наперстки», когда мы шли с ним неизвестно куда и неизвестно зачем, прослушав передачу о предстоящих процессах «убийц» Кирова... Вмятины дороги навели его на мысль о памяти, о том, как события оставляют следы в памяти...

К тому времени, когда писались эти стихи, уже он начал сочинять «Оду», которая, как он надеялся, спасет ему жизнь. Отсюда: «По нему прошлось другое» и тема оси колеса.

В какой-то момент он мне сказал, что там — в наперстках — сидит бесенок... А что он может делать? Сбирать дань... С появлением бесенка стихи размежевались. Пока они становились, пришло несколько стихотворений с апологией поэзии, свободы и независимости человека.

«Люблю морозное дыханье...»

Есть беловик без вариантов. Мы жили на горе, откуда шел крутой спуск к реке. Следы этого пейзажа во многих стихах этой зимы. По этому крутому спуску мальчишки, среди них птицелов Вадик, сын нашей хозяйки, съезжали на саночках к реке. О. М. постоянно гулял по площадке против нашего домика и глядел на мальчишек. К этому времени уже выпал снег, поздний в том году.

По этому стихотворению, говорил О. М., нетрудно будет догадаться, что у него на морозе одышка: «Я — это я, явь — это явь...».

«Куда мне деться в этом январе?..»

Есть беловик без вариантов. Повод к написанию этого стихотворения: О. М. мучительно искал, кому бы ему прочесть стихи — никого, кроме меня и Наташи, не было. Однажды он отправился (со мной) к какому-то воронежскому писателю, кажется, к Покровскому. Нашли его квартиру в деревянном доме под горой. Покровского дома не оказалось, а может, он со страху спрятался, что было бы вполне естественно. Стихи по-

явились едва ли не в тот же день. Это самый конец января или первое февраля.

Период с 16 января по 10 февраля был предельно напряженным. Именно в эти дни О. М. говорил мне: «Не мешай, надо торопиться, а то не успею»... Эти слова повторялись как лейтмотив на все уговоры передохнуть, полежать, выйти пройтись... Стихи приходили сразу готовыми — делались в уме — почти без вариантов. Все время в работе было не одно, а несколько вещей, записывались они вместе, потому что заканчивающий момент охватывал сразу все вещи. Это не ошибка, что 16 числом или 4 февраля подписано по несколько вещей — так и было.

Как и предыдущая группа стихотворений и эти связаны с насильственной «Одой», противоборствуют ей. Здесь темы мученичества, обреченности, творческой свободы («бескорыстная песнь»), познания жизни через поэзию («Осы» — пчелы — символ поэзии еще у греков, О. М. и раньше пользовался этим древним образом: «Чтобы как пчелы лирники слепые нам подарили ионийский мед» и др...) и, наконец, неожиданная апология поэзии и себя в стихах о Тифлисе: «Моих подметок стертое величье» (см. в «Разговоре о Данте» — «сколько подметок сносил Алигьери»)...

«Где связанный и пригвожденный стон?..»

Сохранился в двух чистовиках моей рукой и машинописи того времени. Разночтений нет.

У О. М. есть несколько высказываний о сущности трагедии. В одной из статей (Харьков) он пишет про Анненского, что тот был рожден трагиком, но трагедия возможна только там, где есть целостное национальное самосознание и общее мироощущение у всего народа (передаю смысл, так как статьи этой у меня под рукой нет). Отсюда: «трагедий не вернуть». Но трагическое в самой жизни — в наступающих губах (поэта). Лемех — плуг — обычный символ поэзии («Поэзия — плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху» («Слово и культура»). В этом стихотворении выражена надежда на возвращение единства мироощущения («все хотят увидеть всех»), на возвращение единства или культуры.

Мне не ясно, почему Софокл назван лесорубом, а Эсхил — грузчиком. Я об этом спрашивала, но О. М. отмахнулся... Вероятно, есть что-то наводящее на такое сравнение у Анненского, а может, и у В. Иванова.

«Средь народного шума и спеха...»

«Как дерево и медь — Фаворского полет...»

Тоже побочный продукт «Оды» (тематический), но совсем в другом смысле — это победа настроений «Оды» и того болезненного возбуждения, которое она вызвала. Я ничего не говорила про эти стихи — все же они могли спасти О. М., а мешать попытке спастись я не могла. Но он все же чувствовал мое отношение — и эти стихи всегда вызывали у него отчуждение и почти враждебность ко мне. Легче ему было с Наташей, которая принимала стихи вне их смысла да и была гораздо более миролюбиво настроена... С самой «Одой» мне было гораздо легче примириться, чем с этой группой стихов. «Ода» была насильственным и искусственным продуктом, а здесь все же чувствовался настоящий поэтический голос. Строчка: «Но разве сердце — лишь испуганное мясо» передает все тот же страх, который невольно овладевал людьми, в том числе и нами, в ту страшную эпоху... В первом есть «говорливые дебри вокзала», стоянка на реке и кружка-жестянка, из которой О. М. пил воду, когда мы ехали из Чердыни... Но все же это самая слабая из всех «Кам»...

По поводу стихотворения «Как дерево и медь...» О. М. неожиданно мне сказал: «А может, я действительно увижу этот парад», а потом заметил, что на наши парады он попасть не может, а в стихах есть предчувствие, что он его увидит — неужели случится что-то совсем неожиданное, при котором он увидит, как «толпа ликуя»¹... Странно, но такая надежда всегда шевелилась в подсознании людей — никто не верил в веч-

¹ См. в финале «Иранской песни» В. В. Хлебникова:

И когда знамена оптом
Пронесет толпа, ликуя,
Я проснулся, в землю втоптал,
Пыльным черепом тоскуя.

ность происходящего. А ведь нас заверяли, что настало тысячелетнее царство, где ничего, кроме прогресса, главным образом технического, мы не увидим.

«Я в львиный ров и в крепость погружен...»

Стихи о певице с низким голосом — и в то же время это освобождение от «Оды». О. М. слушал по радио Марию Андерсен, гастролировавшую тогда в Москве, видел где-то ее портрет. Но в этом стихотворении не только Мария Андерсен. В те же дни мы узнали, что певица-ленинградка, работавшая на радио, заболела... Кто-то шепнул, что она не больна, а у нее арестовали мужа, инженера, уже успевшего отсидеть немалый срок в лагерях. Мы пошли к ней, узнали подробности ареста. Она надеялась, что вторично муж в лагерь не попадет, его сошлют, она поедет за ним и всюду прокормится пением... На следующий день О. М., совершенно к тому времени изможденный работой, днем лежал на кровати — мне казалось, что он дремлет. Внезапно он прочел эти стихи. В них опять тема «правоты», своего пути в жизни: «И я сопровождал восторг вселенский...» Больше к Сталину в стихах он не возвращался, хотя еще в Москве пробовал примириться с эпохой.

В этом стихотворении менялась только одна строка: были такие варианты: «Всех наших дочерей дикарско-сладкий вид» и еще «Всех белых (Богатых)»... Осталось «Всех наших», а в рукописях сохранилось «Богатых»...

На этом стихотворении кончается «Вторая воронежская тетрадь». Последующие стихи О. М. попросил меня записывать в отдельной тетради. Но это случилось не сразу — вероятно, когда уже начался «Неизвестный солдат».

[Третья воронежская тетрадь]

Порядок начала «Третьей воронежской тетради» установил О. М. Он кажется отступлением от обычной строгой хронологии, но это не так: хотя под стихотворением «Если б меня наши враги взяли...» стоит дата «Февраль», оно все же появилось и записалось в начале марта, в феврале же были записаны отдельные строч-

ки. Точно так «Я видел озеро...» пришло в то время, как О. М. уже работал над «Я молю, как жалости и милости...». Тот порядок, который я дала в «Наташиной книге», О. М. отверг и предложил свой.

«На доске малиновой, червонной...»

Пейзажное стихотворение это написано, так сказать, «с натуры» — это вид на Воронеж с берега приблизительно там, где жила Наташа. Все окончания прилагательных первых восьми строчек О. М. произносил с двумя «н». Сохранился чистовик.

«Если б меня наши враги взяли...»

О. М. говорил, что в этом стихотворении точная формулировка «тюремного чувства»: когда лишают права дышать и открывать двери. В этом стихотворении есть элемент «клятвы четвертому сословью»¹ и вера, что наша земля все же избежит тления. Последние две строки пришли к нему неожиданно и почти испугали его: «Почему это опять выскочило?» Возник вопрос, как это записать. Я предложила подставную последнюю строку: «Будет будить» и вместо союза «а» — союз «и»... В таком виде О. М. послал стихотворение Корнею Ивановичу². Корней при встрече сказал, что последние строки ничуть не вытекают из начала — еще неизвестно, кто это «наши враги», которые могут запереть двери...

О. М. мне по этому поводу сказал, что у Корнея все же есть нюх на такие вещи...

Сохранился беловик начала стихотворения и машинописный конец с цензурным вариантом.

¹ Н. Я. Мандельштам имеет в виду строчку: «...присягу чудную четвертому сословью...» из стихотворения «1 января 1924».

² Корней Иванович Чуковский.

«Я к губам подношу эту зелень...»

«Клейкой клятвой липнут почки...»

«На меня нацелилась груша да черемуха...»

I

«К пустой земле невольно припадая...»

II

«Есть женщины сырой земле родные...»

Первые три стихотворения этой группы были написаны, когда я ездила в Москву. О. М. прислал их мне в письмах — это для него необычный поступок: стихи, написанные не мне и не для меня, он мне никогда в руки не давал, скрывал их от меня и только, когда я случайно узнавала о них, сообщал их мне. Правда, часто он сам мне их как бы подсовывал, чтобы я о них «случайно» узнала... Четвертое стихотворение он просил меня не смотреть — это было, когда я вернулась в Воронеж, на извозчике. Он сказал мне, что есть еще одно, о котором он просит меня не спрашивать. И действительно, я узнала это стихотворение через много лет от Наташи. В этом скрывании было что-то и трогательное, и странное... «Изменнические стихи», как он говорил. В Москве, когда мы вернулись, было еще несколько стихотворений — «Чаплин», по-моему, слабое, «Черкешенка» (Лиле Поповой, жене Яхонтова) и «На высокие утесы, Волга, хлынь...» и еще — «И веером разложенная дранка непобедимых скатных крыш». Все эти стихи, кроме «Чаплина», пропали в Саматихе и, может, у Рудакова. Внезапно вспыхнувшая после многолетнего знакомства дружба с Лилей была рецидивом «Оды». Лиля уверяла, что «Ода» — лучшая вещь Мандельштама, что он погибнет как поэт, если не примирится с современностью, не поймет вождя и тому подобное... Я не боролась против «Оды», но О. М. знал, что я молчу, надеясь, что «Ода» спасет его. Во мне он союзницу не видел. Лиля же бурно нападала на меня — при нем — вызывала меня на споры (я боялась их). Она говорила, что меня должны осудить, как темную силу, мешающую «творчеству» Мандельштама и его отношению к Сталину... О. М. в те дни был в размягченном, нервическом состоянии — он надеялся остаться в Москве; был по-

трясен с той самой минуты, как его выпустили из Воронежа... Его немного, но не полностью образумило, когда милиция не дала нам прописки. Мы выехали тогда в Савелово. Он ездил из Савелова в Москву, пытаясь договориться с Союзом писателей. Лахути послал его в командировку на канал — и он даже сочинил «канальский» стишок, который мы с Анной Андреевной бросили в Ташкенте в печку. («Канальским» он сам назвал этот стишок.) Продолжалось это, вероятно, около месяца, а кончилось очень смешно. Мы были у Яхонтовых во время одного из наших приездов в Москву. Лиля собирала для Мандельштама книги, которые требовала, чтобы он прочел (набор марксистской литературы). О. М. сидел и листал Библию. Вдруг он сказал — я лучше это возьму... Лиля ахнула, но ее остановил Яхонтов: пусть берет Библию, там и Евангелье... Это ему нужнее... Лиля уговаривала взять и то, и другое, хотя не понимала, зачем Библия... О. М. и Яхонтов хотели... Библию О. М. очень обрадовался, а дальше уже только отшучивался от поучений Лили, а к нему присоединялся Яхонтов. Эта Библия и сейчас у меня...

В «Чаплине» есть строчка: «А твоя жена — пустая тень...». Я уверена, что это про меня — результат политической пропаганды Лили. Про Яхонтова мне впоследствии рассказывали очень грустные вещи — весьма секретного порядка. В них, очевидно, кроется причина его самоубийства. Он поддался пропаганде Лили глубже, чем кто-либо... Между прочим, обвиняя меня, Лиля всегда говорила: «Вас осудят, как Бриков...» Она почему-то считала, что Брики погубили Маяковского так, как я гублю О. М. ...Ее логика мне непонятна — ведь именно Брик научил Маяковского «наступить на горло» и работать на хозяев.

Именно про этот приступ «любви к действительности» — от «Оды» до «канальского» стишка — О. М. потом сказал Анне Андреевне, что он понял — «это была душевная болезнь...» На моих глазах этой душевной болезнью переболели многие. И это не мешало им погибать.

Но в потерянных стихах не было и тени «канальства». Даже уничтоженный мной и Анной Андреевной стишок был просто пейзаж пейзажем, правда, в нем упоминался канал.

МАНДЕЛЬШТАМ В ВОРОНЕЖЕ

...Хорошо помню лето 1937 года, белый высокий дом в тенистом саду, где жила тогда Эмма Григорьевна Герштейн (ее отец был врач, и квартира находилась при больнице), удлиненную комнату, направо от двери обеденный стол, в глубине письменный.

Меня привел сюда Осип Эмильевич Мандельштам. Мы стояли у стола и почему-то стоя пили сухое вино, закусывая сыром. Осип Эмильевич был оживлен. Это были первые месяцы его «свободы».

В мае 1937 года Мандельштаму разрешили покинуть Воронеж. В Москве жить было негде, да и прописки уже не было. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна на лето поселились в Савелове. Во время летних каникул я поехала к ним. Оставив мужа в Москве у своей тетки, я отправилась одна в Савелово. Нашла нужную улицу и дом; в окне увидела Осипа Эмильевича. Он таинственно поднес палец к губам, молча вышел ко мне, поцеловал и ввел в дом. Надежда Яковлевна тоже мне обрадовалась.

В бревенчатом доме они снимали полупустую комнату, но в этом была какая-то дачная прелесть, казалось, больше воздуха.

День промелькнул необыкновенно быстро, вечером я обещала мужу вернуться в Москву. Мандельштамы запротестовали. Мне и самой не хотелось уезжать, но обещала — Борис будет ждать. «Дадим ему телеграмму, что приедете утром», — весело сказал Осип Эмильевич. Так и сделали.

Полночи мы с Осипом Эмильевичем бродили по лесу вдоль берега Волги. Надежда Яковлевна с нами не

пошла. Осип Эмильевич рассказывал мне, как они жили эти два месяца после отъезда из Воронежа, прочитал все новые стихи. Мне кажется, их было десять или одиннадцать¹. Стихи пропали при последнем обыске и аресте. Надежда Яковлевна не знала их наизусть, как знала воронежские. Списков ни у кого не было. Можно надеяться только на чудо, на то, что они сохранились где-нибудь в архиве НКВД, — но бывает ли такое?

Когда мы вернулись среди ночи домой, Надежда Яковлевна уже постелила на полу постель, каждому стлать было нечего, и мы все легли, как говорится, вповалку. Было жестко, неудобно, но это никого не огорчало.

Утром Мандельштамы проводили меня на вокзал, а затем более поздним поездом тоже приехали в Москву.

Мы условились встретиться вечером на концерте Яхонтова. Я была страстной его поклонницей. Яхонтов не раз приезжал в Воронеж. Я не пропускала ни одного концерта. Помню прекрасную композицию «Чиновники» («Медный всадник» Пушкина, «Шинель» Гоголя, «Белые ночи» Достоевского); огромное впечатление произвела на меня и вторая композиция «Поэты путешествуют» — Пушкин и Маяковский; стихи, письма, документы, факты из биографий. И третий концерт: Владимир Николаевич читал отдельные произведения, среди них был отрывок из «Идиота», когда Рогожин приезжает за Настасьей Филипповной и она бросает деньги в камин: рассказы Зощенко, Есенин: «Собаке Качалова», «Черный человек», — тут же «Моцарт и Сальери» Пушкина и восхитительный «Граф Нулин».

Прекрасный голос, исключительное внешнее обаяние, предельно скупые и выразительные жесты — все это слагалось в неповторимый облик актера. Мы много раз говорили с Осипом Эмильевичем о Яхонтове. Мандельштам хорошо его знал и любил, вернее, они взаимно любили друг друга.

¹ Насколько я помню, это были небольшие (по количеству строк) стихи, лирические, любовные — и, конечно, прекрасные. Но одно из них резко отличалось от остальных. В нем шла речь о смертной казни, которую Осип Эмильевич не принимал и не оправдывал ни при каких обстоятельствах. Кажется, хотя я в этом не уверена, у Мандельштама на эту тему был спор в Союзе писателей, как будто с Лупполом, Осип Эмильевич всегда забывал о своем положении. Осторожность не была ему свойственна.

Владимир Николаевич считал Осипа Эмильевича своим учителем. Мне это было непонятно. Манера чтения была у них совершенно разная. Осип Эмильевич читал стихи превосходно. У него был очень красивый тембр голоса. Читал он энергично, без тени слащавости или подвывания, подчеркивая ритмическую сторону стихотворения. И все-таки Яхонтов читал по-другому, оставляя огромное впечатление.

Концерт был посвящен столетию со дня гибели Пушкина. Мы с мужем немного опоздали. Нас все же впустили в зал, мы сели на свои места. Мандельштамов не было. И вдруг, когда кончилось первое отделение, Осип Эмильевич, увидев нас, спрыгнул со сцены прямо в партер. Он был за кулисами. После концерта мы вчетвером, зайдя в гастроном и купив, кажется, ветчину и сухое вино, отправились на квартиру Наппельбаума, где остановились Мандельштамы (хозяева, очевидно, были на даче).

* * *

Осипу Эмильевичу хотелось познакомить меня со своими друзьями, ведь в Воронеже он был лишен этой возможности.

Прежде всего Мандельштамы повели меня к Шкловским. По словам Надежды Яковлевны, это была едва ли не единственная семья, которая не боялась принимать ее во время воронежской ссылки Осипа Эмильевича. Шкловские жили в Лаврушинском переулке, в доме № 17, одном из первых писательских домов. Квартира огромная, да и семья состояла из шести человек. Виктор Шкловский встретил нас в трусах, что меня несколько шокировало. Но действительно жара стояла невыносимая. Первое впечатление от Виктора Борисовича: веселый круглый человечек, круглая, очень круглая голова, круглые глаза, а веселость так и брызжет, искрится. Он все время острит. Я почувствовала себя у них сразу хорошо. Мне очень понравилась Василиса Георгиевна, жена Шкловского. От нее веяло мудростью, спокойствием, грустные большие серые глаза смотрели на вас с сочувственным вниманием, а главное, меня поразила какая-то высокая простота и естественность. И — сияющая Варя, дочь Шкловских; таких сияющих глаз, кажется, я ни у кого не видела, они освещали все

лицо. Так бы и смотрел на нее и невольно улыбался сам.

Это первое впечатление сохранилось навсегда. Шкловские были в лучшем смысле слова интеллигентные люди.

Впоследствии, после смерти Осипа Эмильевича, я часто бывала у них. Там всегда, как в своей родной семье, останавливалась Надежда Яковлевна.

В то далекое и счастливое лето я зашла как-то к Шкловским за Осипом Эмильевичем, и мы пошли в Третьяковскую галерею, она была напротив дома. Но осмотр оказался, к моему удивлению, очень коротким. Осип Эмильевич, не останавливаясь, пробежал через ряд залов, пока не разыскал Рублева, около икон которого остановился. За этим он и шел.

Зная мое восхищение стихами Пастернака, Осип Эмильевич решил повести меня к Борису Леонидовичу (которого очень любил). Но Пастернака в Москве не оказалось. Тогда пошли к Николаю Ивановичу Харджиеву. Он жил в деревянном двухэтажном доме барачного типа, не помню, на какой улице (кажется, в Марьиной Роще). У него была одна комната на первом этаже. Целую стену от пола до потолка занимал огромный стеллаж. Это было замечательное собрание поэтов начала XX века. Кого тут только не было: и символисты, и акмеисты, и футуристы, и имажинисты. Кроме того, было много журналов: «Аполлон», «Весы», «Золотое руно» и еще какие-то, не помню. Я оторваться не могла от книг. Обращал внимание комод, набитый рукописями, фотографиями, письмами Хлебникова. Николай Иванович в это время готовил к изданию его стихи и огорченно сравнивал некоторые из них с напечатанными ранее и искаженными редакторами почти до неузнаваемости, так как, по словам Харджиева, читать рукописи Хлебникова невероятно трудно. Во время нашего разговора и чтения Осип Эмильевич, казалось, был занят своими мыслями.

Николай Иванович произвел на меня несколько странное впечатление, прежде всего заядлого холостяка. Насколько я могла заметить, к Осипу Эмильевичу он отнесился с большой теплотой.

Познакомил меня Осип Эмильевич и с известной пианисткой Марией Вениаминовной Юдиной, об этой встрече у меня осталось смутное воспоминание, помню

только, что Осип Эмильевич очень любил ее исполнение классической музыки². Восторженно говорил он о Михоэлсе. Мы собирались к нему в еврейский театр, но театр в это время, как оказалось, не работал, и Михоэлса тоже не было в Москве.

Мне было очень интересно посещать с Осипом Эмильевичем и Надеждой Яковлевной их друзей и знакомых или просто бродить по Москве, но отсутствие у них здесь своей крыши над головой, постоянного пристанища создавало ощущение неприкаянности, какой-то ненастоящей, временной жизни. В Воронеже хоть было жилье, а тут ни жилья, ни работы. И все-таки радостная, с ворохом впечатлений я вернулась домой, в Воронеж.

* * *

На зимние каникулы я снова на несколько дней поехала к Мандельштамам. Они жили в Калининне на окраине города.

Вспоминаю занесенные снегом улицы, большие сугробы, опять почти пустую холодноватую комнату без намека на уют. У обитателей этой комнаты, очевидно, не было ощущения оседлости. Жилье и местожительство воспринимались как временные, случайные. Не было и денег — ни на что, кроме еды. А главное — равнодушие к вещам, одежде, отсутствие которых, мне кажется, не портило настроения.

Помню, в этот мой приезд на Осипе Эмильевиче был серый костюм совершенно не по росту, кто-то ему его подарил, вернее отдал, кажется, Катаев. Беспокойство доставляли брюки: они оказались очень длинны. Осип Эмильевич вынужден был их несколько раз подвернуть, они все время разворачивались, так что приходилось время от времени останавливаться и снова их подвертывать. Но это не раздражало и делалось автоматически. Почему-то никому и в голову не приходило, что можно их подрезать и подшить. Мой приезд, как мне казалось, радовал Мандельштамов. Здесь они жили так же уединенно, как и в Воронеже.

Надежда Яковлевна послала нас на рынок купить

² До этого Мария Вениаминовна специально добивалась гастролей в Воронеже, чтобы увидеться с Мандельштамом. Она не побоялась прийти к нему в гости и играла для него в свободное от концертов время.

мяса. Идея эта была довольно фантастической. В те времена я совершенно не занималась хозяйством, мяса никогда не покупала, сырое мясо вызывало у меня отвращение. Осип Эмильевич в этом вопросе был умудрен не более.

Мы довольно долго ходили по рынку вдоль прилавков, на которых кусками лежало мясо, в полной растерянности, не зная, что купить. Осипу Эмильевичу, по-видимому, это занятие надоело, я не заметила, как он исчез. Оглядываюсь по сторонам. «Наташа, Наташа, идите скорее сюда!» — закричал он. Подхожу, он стоит сияющий около какой-то женщины, которая продает восковых утят: красных, зеленых, желтых. «Давайте купим всех утят». Проблема с мясом решена. Денег больше нет, и мы, счастливые, веселые и гордые своей покупкой, отправились домой.

Надежда Яковлевна нас не ругала и не омрачила нашей радости. Понравились ли ей утята, не помню.

К вечеру захотелось есть. Тут уж нам не доверили денег, и мы втроем пошли в ближайший гастроном или просто лавку. Что-то купили на ужин и сварили кофе.

Из Калинина поехали на день в Москву. И, вероятно, желая доставить мне удовольствие, Осип Эмильевич повел меня к Яхонтову.

Он снимал меблированную комнату на втором этаже в старинном красивом особняке в центре Москвы (кажется, в Столешниковом переулке). Когда мы вошли, Владимир Николаевич стоял между двух больших зеркал, на нем был голубой джемпер, который так шел к его золотым волосам, светло-серые брюки и лакированные черные туфли. Очевидно, он репетировал. Яхонтов кинулся к Осипу Эмильевичу, не дав ему раздеться, обхватил его и начал с ним кружиться. Так смешно было на них смотреть: Один изящный, элегантный, а другой в нелепой, с чужого плеча меховой куртке мехом наружу, высокой шапке и галошах.

Комната, очень светлая, была обставлена старинной красивой мебелью, но в то же время не было ощущения обжитости, и она, конечно, не отражала индивидуальности своего хозяина. На маленьком столике стоял какой-то комнатный цветок почти без листьев. Он, очевидно, изображал елку, потому что был обвешан бумажными лентами и игрушками. По комнате летали два

попугая: голубой и зеленый. Клетки не было, и они сидели, где им хотелось.

Владимир Николаевич был очень любезен, расспрашивал меня о Воронеже, показывал нам, как он работает над своими композициями. Мне запомнились очень длинные, в несколько метров, ленты, состоящие из склеенных листов бумаги разной величины. Мы пробыли у Владимира Николаевича почти целый день, что-то ели. Стол накрывала Лиля, жена Яхонтова. Очень красивая женщина, строго одетая, тихая, молчаливая, совершенно лишенная кокетства. Она даже не включилась в общую беседу. Ее поведение чем-то удивляло меня, и в то же время я любовалась ею.

Несмотря на оживленный разговор, у меня было ощущение, что все мы здесь случайные люди, как в гостинице, и от этого становилось грустно.

* * *

Я сообщила Осипу Эмильевичу, что разошлась с Борисом, он очень расстроился. Упрекал меня, что я не сказала об этом сразу, изъявлял желание поговорить с ним (непонятно, о чем в таких случаях можно говорить?!), потом успокоился и сказал, что ему ясно, почему мы разошлись: «Борис не способен на праздник, который вы несете».

Но, очевидно, Осип Эмильевич успокоился не совсем. Позже, оказавшись дома, я начала получать почти каждый день телеграммы; содержания их не помню, кажется, Мандельштамы предлагали приехать в Воронеж. Какая-то телеграмма была подписана, помимо Мандельштамов, Ахматовой и Рудаковым.

Продолжалось это до тех пор, пока не взмолилась мама и не попросила меня прекратить все это: ведь телеграммы приносили чуть ли не в пять утра (тогда телеграммы носили и ночью). Осип Эмильевич отправлял их, наверное, в одно и то же время, поздно вечером.

* * *

...Из Москвы мы вернулись опять в Калинин. Не думала я, что это моя последняя встреча с Осипом Эмильевичем. Мы много гуляли, несмотря на большие морозы. Осип Эмильевич сказал мне: знайте, если вам будет

плохо, достаточно телеграммы, и где бы мы ни были, мы сейчас же приедем.

Так на всю жизнь запомнилась зима 1938 года, занесенный снегом Калинин, совершенно необыкновенный поэт и человек и верная его подруга Надежда Яковлевна. В мой калининский приезд она была особенно грустна — такой она не была и в Воронеже, как будто чувствовала близость трагической развязки.

* * *

1 мая 1938 года в Саматихе, в доме отдыха, куда получили путевки Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна, Мандельштам был вторично арестован.

Надо сказать, что по Советскому Союзу в это время не один Осип Эмильевич был взят повторно.

Как выяснилось позднее, 9 сентября (то есть через четыре месяца) Осип Эмильевич был отправлен в лагерь. На этот раз Надежде Яковлевне уже не предлагали его сопровождать. Через Шуру, брата Мандельштама, она получила письмо от Осипа Эмильевича из пересылочного лагеря под Владивостоком с просьбой выслать посылку. Она сделала это сейчас же, но Осип Эмильевич ничего получить не успел. Деньги и посылка вернулись с пометой: «За смертью адресата».

Надежда Яковлевна сообщила мне об этом в письме. Боже мой, как я плакала! Я никогда не плакала так горько. Тогда я оплакивала его как человека. Я не думала о нем как о поэте, жизнь которого насильственно оборвали в тот период, когда он так много писал и многое еще было незавершено... Я не могла вообще представить себе Осипа Эмильевича без Надежды Яковлевны. Он был так беспомощен в жизни. Сердце у меня сжималось от горя и жалости. Я поняла, что потеряла друга, бесконечно преданного, — даже независимо от того, стали бы мы встречаться или нет и как бы долго не виделись. Во мне неосознанно жило ощущение, что он есть. Достаточно было знать лишь это: он есть и живет. А вот теперь его нет и никогда, никогда не будет, и некого позвать...

В письме, где Надежда Яковлевна сообщала мне о смерти Осипа Эмильевича, некоторые слова как-то бессмысленно были подчеркнуты красными чернилами, это делалось и в последующих письмах.

Я поехала к Надежде Яковлевне в Калинин. Она жила уже в крошечной комнате, в которой умещались только кровать и небольшой стол. В углу была гора выточенных из дерева небольших круглых коробочек. Надежда Яковлевна их расписывала в русском стиле (она работала надомницей на какой-то фабрике); в комнате сильно пахло красками.

Времени в моем распоряжении было очень немного: я отпросилась в середине учебного года. Я пришла к директору техникума и сказала, что должна на несколько дней уехать: у моей близкой приятельницы большое несчастье, если вы не отпустите, я все равно уеду, — и он отпустил.

Всю ночь напролет мы проговорили, подкрепляя силы черным кофе. Надежда Яковлевна попросила меня съездить в Ленинград к Анне Андреевне Ахматовой (писать ей она боялась) и рассказать все, а на обратном пути опять заехать в Калинин, что я и сделала. С Анной Андреевной я не была знакома и никогда раньше ее не видела. Стихи Ахматовой я знала и очень любила, у меня были «Четки», «Белая стая», «Аппо Доміпі».

Я пришла в «фонтанный дом», каменный, длинный, четырехэтажный, он стоял в глубине сада, мне запомнились старые липы, но дом мне показался мрачным. С волнением поднялась на четвертый этаж, позвонила. Мне открыла дверь немолодая некрасивая женщина, напомнившая классную даму из романов Чарской. Позднее я узнала, что это была бывшая жена Пунина, в то время мужа Ахматовой. Я спросила Анну Андреевну. Не сказав в ответ ни единого слова, женщина удалилась. Я стояла в коридоре довольно растерянно, не зная, что мне делать. Но через несколько минут появилась Анна Андреевна. Я не могла оторвать от нее глаз. Высокая, стройная, длинноногая, с небольшой гордой головой, с русалочьими грустными глазами, а челка и заложенные сзади косы придавали ей девичий вид. Черный атласный халат с огромным серебряным драконом плотно облегал ее прекрасную фигуру.

Она провела меня в какую-то узкую, загроможденную старой мягкой мебелью комнату. Комната казалось нежилой, и сама она как будто тоже была здесь случайной гостьей. Мы просидели несколько часов. Ости-

хах не было речи, слишком трагические были обстоятельства и у нее и у меня как вестницы Надежды Яковлевны. Ахматова просила меня прийти на другой день, но вечером я должна была уехать.

* * *

И опять Воронеж, мой родной город, привычный и неощутимый как воздух. Но так больно теперь его прикосновение; без Мандельштама он стал для меня мертвым.

Единственное утешение — вечером встретиться с милым, чудным Павлом Леонидовичем³, бродить по темным пустынным улицам и без конца говорить об Осипе Эмильевиче, вспоминая все до мелочей.

Павел Леонидович, мне кажется, все понимает и сам чувствует потребность в том же, поэтому с ним легче. Как же, как все началось?

* * *

В начале февраля 1936 года моя давнишняя приятельница Люся попросила меня как-нибудь вечером зайти к ней. Она хотела познакомить меня «с очень интересным молодым человеком». Это был Сергей Борисович Рудаков, вместе с которым Люся лежала в инфекционной больнице, — ленинградец, высланный в Воронеж (ссыльных в то время в Воронеже было много). Выслали его за социальное происхождение: его отец, генерал царской армии, близкий друг К. Р.⁴, и его старший брат были расстреляны во время революции.

Сергей Борисович, филолог по образованию, превосходно знал и самозабвенно любил поэзию, помнил наизусть сотни стихов, даже поэтов XVIII века. Писал и сам стихи.

Высокий, с огромными темными глазами, несколько крупными чертами лица: резко очерченный рот, черные брови с изломом, длинные ресницы и какие-то особенные тени у глаз — он был очень красив. Недаром Ахматова говорила о «рудаковских глазах». Человек он

³ У меня был замечательный учитель, ему я безгранично обязана своим литературным вкусом и симпатиями, — Павел Леонидович Загоровский, профессор Воронежского университета.

⁴ К. Р. — великий князь Константин Константинович, русский поэт, взявший эти инициалы в качестве псевдонима.

был эмоциональный, горящий. Сразу, с первого вечера нашего знакомства, мы подружились, захлебываясь, говорили о любимых поэтах и композиторах. Вкусы сходились. От Сергея Борисовича я впервые услышала воронежские стихи Мандельштама. Он читал мне их очень часто⁵. Об Осипе Эмильевиче Рудаков говорил с восторгом. Когда я как-то спросила, какой он, Сергей Борисович воскликнул: «Ну, чудный!»

* * *

И вот в осенний яркий день (это было в начале сентября 1936 года), страшно волнуясь, я поднялась по лестнице большого каменного дома на углу улицы Фридриха Энгельса и Итээровского переулка⁶ (ныне улицы Чайковского) и позвонила. Мне открыла дверь хозяйка квартиры и сказала, что Мандельштамы в Задонске, но на днях возвратятся.

Не знаю, как хватило у меня смелости пойти второй раз. Надежда Яковлевна встретила меня несколько удивленно — очевидно, к посетителям Мандельштамы не привыкли — и ввела в комнату. Осип Эмильевич стоял посреди комнаты и с любопытством смотрел на меня. Очень смущаясь, я пролепетала что-то невнятное о Сергее Борисовиче. «Ах, вот кого он прятал!» — лукаво и весело воскликнул Мандельштам. И сразу стало легко и непринужденно. Помню, я с увлечением рассказала о своих летних впечатлениях, о Хреновском конесовхозе, где гостила у знакомых, о чудных орловских рысаках и былинных белых першеронах, которые жили

⁵ Стихи Мандельштама я знала давно, пожалуй, с первого курса университета. Он был в числе любимых поэтов, наряду с Пастернаком, Ахматовой, Гумилевым и Цветаевой, которую я представляла тогда по «Верстам». Помню, мы, молодежь, небольшая группа по сравнению с остальной студенческой массой, жестоко спорили, кому отдать пальму первенства: Мандельштаму или Пастернаку. Я и мои сторонники считали стихи Мандельштама глубже по мысли, не говоря уж о совершенно невиданной стройности, чужанности формы, классической скульптурности стиха. «Молодой Державин», по определению Марины Цветаевой! В то время я знала «Камень», «Tristia», прекрасную подборку в антологии «Русская поэзия XX века» под редакцией Ежова и Шамурина, позднее — сборник «Стихотворения» 1928 года. И вдруг этот замечательный поэт в Воронеже, просто невероятно!

⁶ По современной нумерации: ул. Ф. Энгельса, д. 13, подъезд 5. кв. 39.

на воле в степи, о потомственных конюхах, ведущих свою родословную от крепостных графа Орлова; о своеобразных традициях и легендах; об очень симпатичном москвиче директоре совхоза, который каждый год собирается возвратиться в Москву, но с грустью говорит, что от лошадей уйти невозможно. Осип Эмильевич слушал меня с большим интересом. Потом рассматривали осенние акварели Надежды Яковлевны, разложив их в два ряда вдоль всей комнаты прямо по полу. Запомнилось золото деревьев и синева Дона. Осип Эмильевич спросил меня, знаю ли я наизусть какие-нибудь его стихи. Я ответила утвердительно. «Прочитайте, пожалуйста, я так давно не слышал своих стихов», — сказал он с грустью и сразу стал серьезным. Не знаю, почему я прочитала из «Камня»: «Я потеряла нежную камею, не знаю где, на берегу Невы...». Боже мой, что началось. Осип Эмильевич негодовал. Он весь был воплощение гнева. Меня поразила такая бурная реакция, такая неожиданная перемена настроения. Я растерялась. Единственное, что мне запомнилось из этого крика: «Вы прочитали самое плохое мое стихотворение!» Сквозь слезы я сказала в свое оправдание: «Не виновата же я, что вы его написали». Это как-то сразу его успокоило, мне даже показалось, что он пожалел о своей вспышке. Тут вмешалась Надежда Яковлевна и сказала: «Ося, не смей обижать Наташу».

Она усадила меня на свою кровать, стала гладить, как маленькую, по голове и подарила альбом французских импрессионистов. Перед этим мы разговаривали о них, и оказалось, что и я и она их очень любим.

Мандельштамы настойчиво приглашали меня приходиться к ним. Но, как ни странно, на второй визит у меня не хватило смелости. Я думала, что меня зовут из вежливости. Тогда я еще не знала Осипа Эмильевича и не понимала, что он никогда не станет что-то делать или говорить из вежливости. Это был человек предельной искренности, и он мог быть очень резким, если это соответствовало его внутреннему состоянию. Мандельштам часто забывал о своем положении ссыльного и поднадзорного. Помню, в пушкинские дни мы с Осипом Эмильевичем пришли на выставку в университетскую фундаментальную библиотеку. И Осип Эмильевич заметил, что из стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» вы-

брошены организаторами выставки строчки: «Но есть, есть божий суд, наперсники разврата, есть грозный судья: он ждет; он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед». Осип Эмильевич устроил настоящий скандал и успокоился только тогда, когда директор библиотеки обещала восстановить пропущенный текст.

И еще случай. Осип Эмильевич написал новые стихи, состояние у него было возбужденное. Он кинулся через дорогу от дома к городскому автомату, набрал какой-то номер и начал читать стихи, затем кому-то гневно закричал: «Нет, слушайте, мне больше некому читать!» Я стояла рядом, ничего не понимая. Оказывается, он читал следователю НКВД, к которому был прикреплен. Осип Эмильевич всегда оставался самим собой, его бескомпромиссность была абсолютной. Об этом пишет и Анна Андреевна: «В Воронеже его с не очень чистыми побуждениями заставили прочесть доклад об акмеизме. Не должно быть забыто, что он сказал в 1937 году: «Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых». (Говоря о мертвых, Осип Эмильевич имел в виду Гумилева. — Н. Ш.) На вопрос, что такое акмеизм, Мандельштам ответил: «Тоска по мировой культуре».

Так вот, недели через две после первого свидания с Мандельштамами я случайно встретила их в Первомайском саду во время антракта на гастролях московского театра, кажется, имени Немировича-Данченко. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна подошли ко мне, и мы тут же условились, когда мне прийти. Я начала бывать у Мандельштамов очень часто, и вскоре мы стали видеться почти ежедневно. Дома я восторженно говорила об Осипе Эмильевиче и его стихах.

И вот однажды мама сказала: «Наташа, ты очень часто бываешь у Мандельштамов. Ты хорошо представляешь, какие могут быть последствия?» Я промолчала. Все это было очень грустно. Аресты действительно принимали массовый характер, и мы с мамой не раз прислушивались ночью, где остановилась машина⁷. На ду-

⁷ События захватывали и близких мне людей, не общественных деятелей, не политиков, а самых обыкновенных.

Ту Люсю, которая познакомила меня с Рудаковым, тоже постигла общая беда: арестовали ее мужа, агронома Сахаротреста, человека, интересовавшегося только своей специальностью и рабо-

ше было смутно, я очень любила мать, она всегда была для меня другом, нет, она была для меня всем, а главное — мысль о брате, не подведу ли его?! Но не бывать у Мандельштамов я не могла, мне даже стыдно было об этом подумать. Испугаться!!

И я продолжала ходить к ним, но дома ничего не говорила. Меня не спрашивали, лгать не приходилось. Через некоторое время мама говорит: «Девочка, я знаю, что ты бываешь у Мандельштамов, ты напрасно молчишь и мучаешься, я поступила бы точно так же на твоём месте. Я просто считала своим долгом тебя предупредить, зови их к нам».

С этого времени Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна начали бывать у нас. Больше этот вопрос никогда не возникал и никого не волновал. Маме всегда хотелось угостить их, она вообще была необыкновенно гостеприимна, любила людей. В доме у нас бывало всегда много народу. Помимо моих старых друзей, товарищей и просто знакомых, к нам как-то случайно попадали и ссыльные: Андрей Азанчевский из Киева, Евгений От-

той, через несколько дней взяли ее брата и невестку, а маленького ребенка отправили в детский дом, отказавшись отдать родственникам. Люсю со старушкой матерью и сынишкой в январе в страшные морозы выгнали из квартиры, выкинули во двор все вещи. Я видела, как они валялись в снегу. Люся была безучастна, больше волновалась я, деваться ей было некуда, она пришла к нам.

И вот второй случай.

У моей сослуживицы Маруси, преподавательницы, активной комсомолки, из пролетарской семьи, в течение недели произошло сразу три несчастья. Муж ее старшей сестры Николай Иванович был начальником политотдела в Хреновском конесовхозе. Он отправил под каким-то предлогом жену и маленькую дочку в Воронеж к бабушке и повесился, написав письмо на имя Сталина.

Через несколько дней приехал брат Маруси Виктор (он был секретарем райкома, кажется, в Борисоглебске), остановился у своего друга, секретаря парткома завода имени Дзержинского. А на другое утро, когда хозяева ушли, застрелился, оставив записку: «Извините за беспокойство». А еще через несколько дней арестовали ее старшего брата Андрея. Во время империалистической войны он был в плену у немцев.

Я была единственным человеком, кому Маруся все рассказала. Боясь лишиться работы, она вынуждена была скрывать свое горе. От этих трех разбитых семей остались дети примерно одного возраста, они ходили в детский сад, жили у бабушки, Марусиной матери. Однажды со слезами на глазах Маруся рассказала мне, как они хором повторяли: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство».

тонович Пиотрковский, Хаим Соломонович Лифшиц из Москвы и другие. Все они были люди незаурядные, интересные. Они получали минус шесть, девять или двенадцать⁸ и выбирали Воронеж.

Осип Эмильевич неоднократно говорил: «Наташа владеет искусством дружбы». Я же думаю, дело не во мне, а в маме: трудно сказать, к кому приходили люди, даже мои сверстники, и с кем они больше дружили, со мной или с мамой.

Мандельштамам мама очень сочувствовала, понимая хорошо их положение. Но накормить Осипа Эмильевича было трудно, он был равнодушен к еде, точно так же как и к вещам. Отсутствие их, скудость не портили ему настроения. Ел он очень мало, я не помню, чтобы Осип Эмильевич спокойно сидел за обеденным столом. Что-то схватит на ходу, как мне казалось, автоматически, не замечая что, или со стаканом чая бегаёт вокруг стола, читает стихи и спрашивает маму: «Вам нравится, Мария Ивановна?» Так же он ел и дома. Обязательно одновременно чем-то занимался. Но любил, когда появлялись деньги, пойти в лучший магазин, конечно, вместе с Надеждой Яковлевной и купить всяких вкусных вещей, а потом мы устраивали «пир».

* * *

Вскоре Мандельштамы перешли на другую квартиру. В маленьком одноэтажном каменном домике они снимали комнату у театральной портнихи, которая жила вместе со старушкой матерью и сыном Вадей, учеником второго класса. Удобств никаких не было, отопление печное. Но расположен дом был очень живописно. Он находился в тупике на улице 27 февраля, в трех минутах ходьбы от проспекта Революции⁹. Перед домом была большая площадка с огромным тополем, разбросавшим во все стороны свои могучие ветви, а за домом был спуск (начиналась Неёловская улица), открывался вид на речную даль. И вблизи никаких домов не было. Даже не верилось, что это центр города. Через площадку и

⁸ Высылаемому разрешалось выбрать местожительство по своему усмотрению за исключением шести, девяти или двенадцати городов, таких, как Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Минск, Одесса, Севастополь и другие.

⁹ Главная улица в Воронеже.

дорогу в угловом здании бывшей женской гимназии в то время находились междугородная телефонная станция и городской автомат. Тогда их в Воронеже было очень мало. Мы не раз часами, чаще всего поздно вечером, просиживали на станции в ожидании Москвы. Утешало то, что мы почти всегда были единственными посетителями: можно разговаривать, читать стихи, думать — никто не мешал.

Теперь на месте домика, где жили Мандельштамы, большой дом и сад работников обкома партии. Все заасфальтировано, тополь, конечно, уничтожен: слишком он привольно жил.

В комнату Мандельштамов можно было попасть через маленькую покосившуюся переднюю. Налево вела дверь к ним, а прямо — к хозяевам. Комната была темноватая, два небольших окна в глубоких нишах освещали ее плохо, а тут еще затенял тополь. Одно окно выходило на площадку, другое во двор, и Осипа Эмилевича по утрам изводил петух, который с ранней зари начинал кукарекать прямо в окно (окна были на полметра от земли). Петух настолько надоедал Осипу Эмилевичу, что он даже об этом писал Надежде Яковлевне, уехавшей по делам в Москву: «Я тебе петуха-красавца покажу, который восклицает триста раз от четырех до шести утра. И котенок Пушок всюду бегаёт. И вербочки зеленые...»

Во втором письме, написанном через несколько дней, — опять петух: «Дней десять назад я поссорился с хозяйкой (я кричал о петухе в пространство: она приняла на свой счет. Очень деликатно, но все же говорила кислые слова) из-за петуха. Все это забыто. Деликатность удивительная. Денег не брали. Терпенье сверх меры. По поводу нападения курицы на маму. Никакой царапины нет. Шрам заживает. Черт знает какой вздор пишу! Гоголь такого не выдумает!..»

Убранством комната мало отличалась от прежней: две кровати, стол, какой-то нелепый длинный черный шкаф, очевидно, книжный, и старая, обитая дерматином кушетка, которая стояла почему-то почти посередине комнаты. На ней всегда было холодно и неудобно. Так как стол был единственный, то на нем лежали и книги и бумаги, стояли дымковские игрушки (их любила Надежда Яковлевна) и кое-какая посуда. В шкафу дей-

ствительно хранились те немногие книги, с которыми Осип Эмильевич не расставался. Помню старинное издание на итальянском языке его любимой «Божественной комедии» Данте в кожаном переплете с застёжками, сонеты Петрарки, тоже в подлиннике; на немецком языке Клейст, о котором написано замечательное стихотворение «К немецкой речи»¹⁰, стихи Новалиса, альбомы живописи и архитектуры и еще какие-то книги.

Мы рассматривали с Осипом Эмильевичем эти альбомы, и как-то под впечатлением готических соборов Реймса и Лиона Мандельштам написал стихотворение:

Я видел озеро, стоявшее отвесно.
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный,
Лиса и лев боролись в челноке...

Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна пришли ко мне в лабораторию, где я работала, и Мандельштам прочитал его мне. Читать мне (больше и некому было) только что написанное стихотворение стало для Осипа Эмильевича привычкой. Если не приходила я, они приходили сами ко мне домой или на работу. Помимо своих стихов, Осип Эмильевич часто читал мне стихи любимых поэтов: Данте, Петрарку, Клейста. Я не знала языка, но впечатление было непередаваемое: изумительный голос поэта, его манера чтения и музыка стихов создавали иллюзию полного понимания текста. Одним из любимых русских поэтов Осипа Эмильевича был Батюшков. Нередко он читал мне его стихи. В чудном стихотворении «Батюшков», написанном Мандельштамом еще в 1932 году, он говорит о нем как о своем современнике, ощущая его присутствие:

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему.
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму...

¹⁰ Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера:
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера.

Это и понятно, учителями Батюшкова были Торквато Тассо, Петрарка. Пластика, скульптурность и в особенности неслыханное у нас до него благозвучие, «итальянская гармония» стиха, — все это, конечно, очень близко-Осипу Эмильевичу.

В этом же стихотворении он так характеризует «русского Тассо»:

Ни у кого — этих звуков изгибы...
И никогда — этот говор валов!..

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

Как-то попался Осипу Эмильевичу томик Никитина в серии библиотечки поэта. Он с удовольствием читал его лирические пейзажные стихи и восторгался отдельными строфами.

Из своих современников Мандельштам больше всех ценил Пастернака, которого постоянно вспоминал. Надежде Яковлевне он говорил, что так много о нем думает, что даже устал.

В новогоднем письме Осип Эмильевич писал Пастернаку:

«Дорогой Борис Леонидович. Когда вспоминаешь весь великий объем вашей жизненной работы, весь ее несравненный жизненный охват — для благодарности не найдешь слов. Я хочу, чтобы ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены, — рвалась дальше к миру, к народу, к детям...

Хоть раз в жизни позвольте сказать вам: спасибо за все и за то, что это «все» — еще не «все».

Простите, что я пишу вам, как будто юбилей. Я сам знаю, что совсем не юбилей: просто вы нянчите жизнь и в ней меня, недостойного вас, бесконечно вас любящего»¹¹.

В одну из поездок в Москву Надежда Яковлевна показала Пастернаку вторую «Воронежскую тетрадь» Мандельштама. Новые стихи понравились Борису Леонидовичу. Он подробно говорил о них Надежде Яковлевне и написал записку Осипу Эмильевичу:

¹¹ Письмо опубликовано в журнале «Литературное обозрение» (1986, № 9).

«Дорогой Осип Эмильевич! Ваша новая книга замечательна. Горячо Вас с ней поздравляю. Мы с Надеждой Яковлевной отметили и выделили то, что меня больше всего поразило. Она расскажет Вам о принципе разбора. Я рад за Вас и страшно Вам завидую. В самых счастливых вещах (а их немало) внутренняя мелодия предельно матерьялизована в словаре и метафорике и редкой чистоты и благородства. «Где я, что со мной дурного...» в этом смысле головокружительного по подлинности и выражению.

Пусть Надежда Яковлевна расскажет Вам все, что говорилось нами о теме и традиции. Пусть временная судьба этих вещей Вас не смущает. Тем поразительнее будет их скорое торжество. Как это будет, никто предсказать не может...

Но говорить только хочется об «Осах», «Ягненке гневном» и других Ваших перлах, и на словах (с Надеждой Яковлевной) это вышло лучше и проще, на бумаге же ложится таким Саводником, что лучше бросить»¹².

* * *

Я хорошо помню первое впечатление, которое произвел на меня Осип Эмильевич. Лицо нервное, выражение часто самоуглубленное, внутренне сосредоточенное, голова несколько закинута назад, очень прямой, почти с военной выправкой, и это настолько бросалось в глаза, что как-то мальчишки крикнули: «Генерал идет!» Среднего роста, в руках неизменная палка, на которую он никогда не опирался, она просто висела на руке и почему-то шла ему, и старый, редко глаженный костюм выглядел на нем элегантно. Вид независимый и непринужденный. Он, безусловно, останавливал на себе внимание — он был рожден поэтом, другого о нем ничего нельзя было сказать. Казался он значительно старше своих лет. У меня всегда было ощущение, точнее, убеждение, что таких людей, как он, нет. Он и сам писал: «Не сравнивай: живущий несравним...» Я смотрела на него всегда с удивлением, и острота новизны не исчезала.

¹² Из семейного архива Б. Л. Пастернака. «Где я, что со мной дурного...» — строка из стихотворения Мандельштама «Эта область в темноводье...». Саводник Владимир Федорович (1874—1940) — историк литературы, автор учебников для средней школы.

Осип Эмильевич никогда не жаловался на обстоятельства, условия жизни. Прекрасно он сказал об этом:

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокойно и утешен, —
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен...

15—16 января 1937.

* * *

Как-то сочувственно я рассказала о жалобах Сергея Борисовича на то, что так неудачно сложилась у него жизнь, что при других условиях он много мог бы написать. Неожиданно для меня Осип Эмильевич взорвался. «Ерунда, — резко сказал он, — если вам есть что сказать, скажете при всех обстоятельствах и вместо десяти нудных томов напишете один».

У него не было мелких повседневных желаний, какие бывают у всех. Мандельштам и, допустим, машина, дача или полированный гарнитур — совершенно неправдоподобно, несовместимо.

Но он был богат, как сказочный король: и «равнины дышащее чудо», и чернозем «в апрельском провороте», и земля, «мать подснежников, кленов, дубков», — все принадлежало ему.

Где больше неба мне — там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще, воронежских холмов —
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

Он мог остановиться зачарованный перед корзиной весенних лиловых ирисов и с мольбой в голосе попросить: «Надюша, купи!» А когда Надежда Яковлевна начинала отбирать отдельные цветы, с горечью воскликнуть: «Все или ничего!» «Но у нас ведь нет денег, Ося», — напоминала она.

Так и не были куплены ирисы. Что-то детски-трогательное и грустное было в этом эпизоде.

Мне так хотелось подарить Осипу Эмильевичу все цветы, но у меня тоже не было денег.

Жили Мандельштамы в абсолютной изоляции, кроме меня, у них никто не бывал, так же как и они бывали только у нас. Позднее я привела к ним Павла Леонидовича Загоровского, профессора Воронежского пединститута¹³, по специальности психолога, человека широко образованного, страстно любящего и превосходно знающего поэзию. Он был кумиром воронежской поэтической молодежи и всегда был окружен ею. Павел Леонидович был человек необыкновенный и по внешнему облику, и по манерам, и по характеру. Его движения, походка отличались изяществом. Очень быстрый взгляд и вдруг — опущенные ресницы, какая-то удивительная живость, внезапный смех, как бы вызванный своими мыслями, высокий звук голоса, а главное, удивительная деликатность, безукоризненная воспитанность, столь редкая сейчас, — все это поражало, приковывало к нему людей. Недаром Осип Эмильевич называл его «бархатный профессор». Тонкий, остроумный и в то же время очень мягкий, удивительно скромный, он никогда не подчеркивал своей буквально энциклопедической образованности. Память у него была феноменальная. Это был безусловно порядочный человек, по-настоящему мужественный, не побоявшийся поставить под удар и себя, и семью, и свое положение (он был не только профессором и завкафедрой, но и проректором).

Как-то я предложила Павлу Леонидовичу познакомиться с Осипом Эмильевичем. Он согласился.

В условленный час мы пошли к Мандельштамам и уже почти дошли до дома, как вдруг Павел Леонидович говорит, что сегодня не пойдет. Я возмутилась: «Бойтесь?» «Нет, просто я не в форме», — ответил он. Я не поверила и пошла одна, решив, что больше, конечно, навязывать ему это знакомство не буду. Через несколько дней Павел Леонидович сам попросил меня пойти с ним к Осипу Эмильевичу. Симпатия между ними возникла сразу, как будто они были давно знакомы. Наконец-то Осип Эмильевич обрел равного себе собеседника. Я сидела на кушетке, вжавшись в угол, и тихо радовалась, молча слушая их оживленный разговор, —

¹³ К этому времени педфак университета выделился в самостоятельный институт.

они буквально дорвались друг до друга и, казалось, забыли обо всем на свете.

С этого времени Павел Леонидович не очень часто, но систематически бывал у Мандельштамов. Заходили и они к нему на несколько минут, обычно днем, чтобы не бросалось в глаза. Павел Леонидович по возможности помогал опальному поэту: страшно смущаясь, он совал в руку Надежде Яковлевне деньги.

Решив расширить круг знакомых Осипа Эмильевича, я хотела привести к нему профессора Бернадинера (философа, или, как он сам себя тогда называл, диаматчика). Он был еще молодым человеком, интересовался литературой, стихами, часто бывал у нас. Но мое предложение резко отверг. На тот же вопрос: «Боишься?» — «Да, боюсь», — ответил он прямо.

* * *

Как-то ранней весной, в самых первых числах марта, когда везде еще лежал снег (в том году его было очень много), Осип Эмильевич зашел к нам, и мы пошли гулять. Были уже сумерки. Мы дошли до конца улицы Каляева, на которой я жила, и остановились на крутой горе; улица спускалась вниз, на Степана Разина, а напротив поднималась тоже крутая и высокая гора, так начиналась Логовая.

В синих сумерках на горе и внизу загорались огоньки окон.

На доске малиновой, червонной,
На кону горы крутопоклонной,
Втридорога снегом занесенной,
Высоко занесся санный, сонный
Полугород, полуберег конный,
В сбрую красных углей запряженный...

.....
Не ищи в нем зимних масел рая,
Конькобежного фламандского уклона...

Так запечатлел Осип Эмильевич кусочек моего города в стихотворении, которое он прочитал на другой день.

* * *

Я приходила к Мандельштамам чаще всего из техникума, днем или вечером, почти всегда заставляла их обоих на кроватях.

Надежда Яковлевна лежа читала или писала. Она превосходно знала английский язык и переводила, конечно, под чужим именем, чтобы хоть сколько-нибудь заработать. Ведь жить было совсем не на что. Осип Эмильевич сидел в обычной для него позе около спинки своей кровати, часто с потухшей папиросой. Мой приход вносил оживление. Я рассказывала техникумовские новости, а однажды пришла в полном смятении, надеясь получить от Осипа Эмильевича совет.

На уроке русского языка во время диктанта на вопрос учащихся, как пишется «в полдень», я ответила: «Вместе», имея в виду существительное «полдень». Все тридцать человек написали «полдень» слитно с предложением «в». Что делать? Эта ошибка меняла оценку, я в отчаянии (был первый год моей педагогической работы). Осип Эмильевич рассмеялся и вместо совета взял карандаш и написал две эпиграммы:

Если бы проведаль бог,
Что Наташа педагог,
Он сказал бы, ради бога,
Уберите педагога.

И вторая:

Наташа, как писать «балда»,
Когда идти на бал, то «да»,
А «в полдень», если день, то вместе,
А если ночь, то не скажу по чести.

Иногда я укладывалась рядом с Надеждой Яковлевной, и мы тихонько разговаривали, чтобы не мешать своей болтовней Осипу Эмильевичу, ведь комната была одна. Мне всегда было у них хорошо, все мои тревоги, заботы куда-то уходили. Иногда втроем мы шли гулять, но были случаи, когда с порога вынуждены были возвратиться домой. Первые месяцы моего знакомства с Мандельштамами Осип Эмильевич не мог выйти из дома один, без Надежды Яковлевны, а часто и ее присутствие не помогало. У него начиналось удушье, рука инстинктивно тянулась к воротнику рубашки, ему хотелось его разорвать, растянуть, он задыхался; не знаю, возникало ли у него ощущение страха, но видеть это было очень тяжело.

Несколько позднее Осип Эмильевич мог ходить уже со мной и однажды, когда я была в техникуме, пришел один, я даже глазам своим не поверила, он сиял.

Мы много гуляли, особенно когда ненадолго уезжала в Москву Надежда Яковлевна. Осип Эмильевич очень тосковал без нее и писал ей замечательные письма. Вот одно из них:

«Надик, дитенок мой!

Что письмо это тебе скажет? Его утром принесут, или вечером найдешь? Так доброго утра, ангел мой, и покойной ночи и целую тебя — сонную, уставшую или вымытую, свеженькую, деловитую, вдохновенно убегающую по таким хитрым, умным, хорошим делам.

Я завидую всем, кто тебя видит. Ты моя Москва, и Рим, и маленький Давид. Я тебя наизусть знаю. И ты всегда новая, и всегда слышу тебя, радость. Ау, Наденька!» (28 апреля 1937 года)

Как-то на время ее отъезда приехала мать Надежды Яковлевны Вера Яковлевна. Об этом в письме просил сам Мандельштам:

«Доргая Вера Яковлевна!

Обращаюсь к Вам с просьбой: приезжайте, поживите со мной. Дайте Наденьке спокойно съездить в Москву по неотложным делам. Ехать ей придется на этот раз надолго. Почему я Вас об этом прошу? Сейчас объясню. Как только уезжает Надя, у меня начинается мучительное нервно-физическое заболевание. Оно сводится к следующему: за последние годы у меня развилось астматическое состояние. Дыхание всегда затруднено. Но при Наде это протекает мирно. Стоит ей уехать — я начинаю буквально задыхаться. Субъективно это невыносимо: ощущение конца. Каждая минута тянется вечностью. Один не могу сделать шага. Привыкнуть нельзя...

Бытовые условия будут хорошие. Уютная комната. Славная хозяйка. Лестницы нет. Все близко. Телефон рядом. Центр. Весна в Воронеже чудесная. Мы даже за город с Вами поедem».

Вера Яковлевна — маленькая, худенькая старушка, очень живая и остроумная. Мне казалось, что она относилась к Осипу Эмильевичу как к большому ребенку. Он тоже платил ей хорошим отношением. И когда в ресторане мы ели испанские апельсины, один из них он

принес своей теще и положил тихонько ей под подушку. Она уже, конечно, спала.

В письме из Воронежа Вера Яковлевна писала дочери, как она живет со своим зятем:

«Дорогая Наденька! Особенных событий за день не было. Мы гуляем, делаем покупки — у нас вооруженный нейтралитет. В хозяйственных взглядах мы не сходимся. Ося уверен, что он такой же хороший хозяйственник, как и поэт. Он любит все более дорогое, я тоже, но я заглядываю в кошелек и даю обет воздержания... Он не сдастся, но бывает покорен, когда увидит дно кошелька».

В конце апреля мы пошли в парк культуры, который воронежцы по старой привычке называли Ботаническим садом. Было пустынно, ни одного человека, только в озерах радостное кваканье лягушек, и весеннее небо, и деревья почти без листьев, и чуть зеленеющие бугры. Так возникло замечательное стихотворение:

Я к губам подношу эту зелень —
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвopеступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков...

А еще позднее, в середине мая, мы гуляли по проспекту Революции. Осип Эмильевич читал стихи, небо было высоким и синим, все благоухало. Мы сели на мраморные ступеньки нового, помпезного здания обкома партии, потом пошли вдоль Кольцовского сквера. У меня было непередаваемое ощущение какой-то внутренней свободы: все повседневные обязанности, заботы, огорчения и радости отступили, их не существовало. Мне казалось, что мы в Италии, и ослепительный весенний день усиливал это ощущение. Да, так можно себя чувствовать только в совсем чужом, но прекрасном городе, где ты ни с кем и ни с чем не связан.

Я робко сказала об этом Осипу Эмильевичу. К моему удивлению, он ответил, что у него такое же ощущение.

На другой день он прочитал мне прекрасное стихотворение, которое сразу уничтожил. «Оно слишком автобиографично», — сказал он. Я до сих пор жалею, что не решилась защитить это стихотворение.

Не раз мы втроем посещали наш музей изобразительных искусств. Приятно было бродить по чуть холодноватым пустынным залам, хотя вряд ли что-нибудь особенно пленяло Осипа Эмильевича. Помню, он останавливался перед маленькой картиной Дюрера (она и сейчас там висит); вообще зал западноевропейской живописи его интересовал больше. И всегда с удовольствием рассматривал превосходную коллекцию греческих ваз. Может быть, под этим впечатлением написаны стихи:

Длинной жажды должник виноватый,
Мудрый сводник вина и воды —
На боках твоих пляшут козлята
И под музыку зреют плоды.

Флейты свищут, клевещут и злятся,
Что беда на твоём ободу
Черно-красном, и некому взяться
За тебя, чтоб поправить беду.

И второе:

Гончарами велик остров синий...

И наконец чудное третье стихотворение — «Флейты греческой мята и йота...». Последнее стихотворение было связано не только с вазами, а и с арестом замечательного музыканта Карла Карловича Шваба, с которым Мандельштам был лично знаком. Карл Карлович играл на нескольких инструментах. В музыкальном училище он преподавал по классу фортепиано, а в воронежском симфоническом оркестре играл на флейте. Не раз он играл специально для Осипа Эмильевича.

Очень любил Осип Эмильевич и живопись, об этом говорят его стихи — «Импрессионизм» (1932) и воронежские: «Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста...» или «Как светотени мученик Рембрандт...». Надежда Яковлевна считала, что в «Рембрандте» Мандельштам говорит о себе («резкость моего горящего ребра») и о своей голгофе, лишенной всякого величия.

Стихотворение «Улыбнись, ягненок гневный...» Пастернак назвал перлом. Что послужило поводом к его созданию, какие именно реалии, сказать трудно. В воронежском музее картин Рафаэля нет. Быть может, по какой-то ассоциации Осип Эмильевич вспомнил репро-

дукцию с картины Рафаэля «Мадонна с ягненком»¹⁴. Там есть и ягненок, и «складки бурного покоя» на коленях преклоненной мадонны, и пейзаж, и какой-то удивительной голубизны общий фон картины. Как правило, Мандельштам в своих стихах был точен.

Восторгался Осип Эмильевич иллюстрациями Делакруа к гетевскому «Фаусту» (как-то, будучи у меня, он внимательно их рассматривал).

Бывали мы также и на симфонических концертах нашего воронежского оркестра и особенно на сольных, когда кто-нибудь из известных скрипачей или пианистов приезжал из Москвы и Ленинграда. Музыку Мандельштам, пожалуй, любил больше всего. Не случайно после концерта скрипачки Галины Бариновой он написал и послал ей стихотворение «За Паганини длиннопалым...». Во второй строфе Осип Эмильевич непосредственно обращается к ней:

Девчонка, выскочка, горячка,
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей, —
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка...

Помимо концертов Осип Эмильевич с удовольствием бывал и в кино. Оно привлекало его и раньше. Он написал несколько интересных кинокритических рецензий. В одной из них («Шпигун»¹⁵, 1929) Мандельштам писал: «Чем совершеннее киноязык, чем ближе он к тому еще не осуществленному мышлению будущего, которое мы называем кинопрозой с ее могучим синтаксисом, — тем большее значение получает в фильме работа оператора».

Сильное впечатление, которое произвела на Осипа Эмильевича одна из первых звуковых картин — «Чапаев», отразилось в стихотворении «От сырой простыни говорящая...».

С большим интересом мы смотрели картину Чарли Чаплина «Огни большого города». Мандельштам очень любил и высоко ценил Чаплина и созданные им кинофильмы. Так появилось стихотворение:

¹⁴ «Святое семейство с ягненком». Музей Прадо.

¹⁵ Это была рецензия на фильм режиссера Шпиковского «Шкурник» (ныне опубликована в журнале «Памир», 1986, № 10). Шпигун — фамилия главного лица фильма.

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости...

И дальше о Чаплине:

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли, —

В океанском котелке с растерянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницею...

Очень высокую оценку этому стихотворению дал И. Г. Эренбург: «Я много лет прожил во Франции, — пишет он, — лучше, точнее этого не скажешь...» («Люди, годы, жизнь»).

* * *

Писал Осип Эмильевич много, и никакие превратности его личной судьбы не являлись препятствием для напряженной творческой работы, он буквально горел и, как это ни парадоксально, был по-настоящему счастлив. Мне тогда казалось, что Осип Эмильевич создавал свои стихи легко, они шли потоком, появлялись варианты, а отдельные строчки, образы неожиданно возникали совсем в другом стихотворении, даже в эпиграмме. Но над «Неизвестным солдатом» Осип Эмильевич работал долго и мучительно. Он не давал ему покоя, напряжение было страшное. Я не любила это стихотворение, пожалуй, боялась его, толком не понимая, но интуитивно чувствуя его страшный пророческий смысл. <...>

Отношение к «Неизвестному солдату» у меня, к стыду моему, осталось юношеское, хотя я прекрасно понимаю его значение, глубину и то, что, очевидно, это одно из сильнейших произведений Мандельштама. По крайней мере несомненно, что Осип Эмильевич придавал ему большое значение. Мне кажется, в какой-то степени оно явилось итогом целого периода — воронежского — творчества поэта.

* * *

Мы (Надежда Яковлевна и я) были захвачены в орбиту внутренней напряженной жизни Осипа Эмильевича и жили им, его стихами. Новые стихи были праздником, победой, радостью.

Наверное, нечасто выпадает такое счастье — быть свидетелем (нет, это не то слово) такого торжества

духа надо всем. Воронежский период — это новое слово, сказанное Мандельштамом в русской поэзии XX века, подобного еще не было. Об этом же говорила и Анна Андреевна Ахматова: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем несвободен: «И в голосе моем после удушья звучит земля — последнее оружие». Да он и сам прекрасно понимал это и прямо выразил в письме, написанном из воронежской ссылки Юрию Тынянову, на которое, кстати, не получил ответа. С этого письма я тогда сняла копию по просьбе Осипа Эмильевича. Она сохранилась в бумагах Надежды Яковлевны. Вот это письмо:

«21 января 1937 года.

Дорогой Юрий Николаевич!

Хочу Вас видеть. Что делать? Желание законное. Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе.

Не отвечать мне легко. Обосновать воздержание от письма или записки невозможно. Вы поступите, как захотите.

Ваш Осип Мандельштам».

Это письмо интересно и как самооценка.

* * *

Очень много Осип Эмильевич читал. Он брал книги в университетской фундаментальной библиотеке, доступ к которой получил еще до нашего знакомства. Мандельштам высоко ценил эту библиотеку и не раз говорил, что в ней можно найти редчайшие книги, которые не всегда увидишь в библиотеках столичных. Вот и еще была радость в его жизни — общение с книгами.

Несмотря на изоляцию, подневольное положение и полное неведение, чем обернется будущее, Осип Эмильевич жил в духовном отношении активной, деятельной жизнью, его интересовало все. Помню, как волновали его испанские события. Он начал даже изучать испанский язык и очень быстро на моих глазах в какой-то мере

овладел им. Может быть, под впечатлением этих событий одно из стихотворений Мандельштама («Когда щетол в воздушной сдобе..») заканчивалось строками:

И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц!

* * *

Апатия была не свойственна характеру Осипа Эмильевича, чуждо было ему и желчное раздражение, но в гнев он впадал не раз. Он мог быть озабочен, сосредоточен, самоуглублен, но даже в тех условиях умел быть и беззаботно веселым, лукавым, умел шутить.

Как-то Мандельштамы пришли к нам. Осип Эмильевич подошел к письменному столу, выдвинул ящик (там лежали особенно любимые книги) и увидел листки розовой бумаги со стихами, написанными тушью. Почерк ему показался знакомым. Осип Эмильевич без разрешения прочитал их. Сергей Борисович, уезжая, переписал для меня свои стихи, среди них было одно, посвященное мне. Не знаю, по каким признакам Осип Эмильевич об этом догадался. Называлось оно «Баллада о движении» (в разлив, ранней весной мы сидели с Сергеем Борисовичем на плоту). В стихотворении были слова «источник слез». Осип Эмильевич ничего не сказал, лукаво улыбнулся и написал эпиграмму:

Источник слез замерз, и весят пуд оковы
Обдуманных баллад Сергея Рудакова.

Бедный Сергей Борисович, наверное, и не узнал этой эпиграммы, так как погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. <...>

Часто по вечерам от Мандельштамов я спешила к своему дяде, который болел и которого я очень любила. Так возникла шуточная надпись, приложенная к книжке «Стихотворения» издания 1928 года, подаренной мне Осипом Эмильевичем:

Эта книжка украдена Трошеею в СХИ¹⁶,
И резинкою Вадьиной для Наташи она омоложена
И ей дадена в день посещения дядина.

Надпись была сделана на маленьком дамском конвертике с лиловым обрезом (эти конвертики лежали в

¹⁶ СХИ — Сельскохозяйственный институт.

коробке, стоявшей у Надежды Яковлевны на столе).

На книге была совсем другая надпись: «Милой Наташе, — не знаю, что и надписать: так мне приятно, что нашлась книжка подарить, хоть и плохая. Обещаю никогда больше таких книг не писать и во всем слушаться — при условии, что и меня будут слушаться».

История подаренной книги такова. Троша, соквартирант Сергея Борисовича, получил путевку в местный дом отдыха имени Максима Горького, и там в библиотеке ему попала книжка стихов Мандельштама, о котором он постоянно слышал от Рудакова. Недолго думая Троша украл книжку и передал Осипу Эмильевичу для получения автографа. Между тем, пока Осип Эмильевич собирался это сделать, Трошу направили на постоянную работу в район. О книжке все забыли. Как-то случайно она попала на глаза, Осип Эмильевич очень обрадовался: действительно, Вадиной резинкой (это был мальчик хозяйки) по возможности стер надписи и просто грязь, просмотрел все стихи, помню, одно вычеркнул, два дописал, что-то исправил. Везде поставил букву «В» (Воронеж), дату и инициалы О. М. и подарил мне. После войны я отдала ее Надежде Яковлевне. У меня остался только «Шум времени» с короткой надписью: «Милой, хорошей Наташе от автора. В. 16/V-37 г.».

Возвращаюсь к конвертикам; на них были написаны и другие эпиграммы. Писал их Осип Эмильевич весело, часто за чаем, когда я собиралась уходить.

Пришла Наташа. Где была?
Небось не ела, не пила,
И чует мать, черна, как ночь,
Вином и луком пахнет дочь.

Особенно потешала Осипа Эмильевича последняя строчка, так как лук я терпеть не могла да и к вину была совершенно равнодушна. Он читал ее с особым ударением. Были и другие экспромты, тоже за вечерним чаем, на конвертиках с лиловым обрезом. И еще шутка, записанная Осипом Эмильевичем на двух отдельных листках, с заголовками «Подражание новогреческому»:

Девочку в деве щадя, с объяснением юноша медлил
И через семьдесят лет молвил старухе: «Люблю!»

А на втором листке:

Мальчика в муже щадя, негодуя, медлила дева
И через семьдесят лет плюнула старцу в лицо!

Осип Эмильевич даже вычислил и на каждом листке написал, сколько лет было «деве» и «старцу». Шутка была связана со мной и Павлом Леонидовичем. <...>

* * *

Часто бывали мы и в книжных магазинах. Это доставляло и мне и Осипу Эмильевичу большое удовольствие. Привычка заходить почти ежедневно в книжный магазин возникла у меня давно, до знакомства с Мандельштамом. Я собирала книги, главным образом стихи, и у меня была уже порядочная библиотека. Книги я покупала везде, где бывала: и в Москве, и в Ленинграде, и в других городах. Помню еще букинистов у Китайской стены — книги были разложены на подстилках прямо на земле или на раскладных матерчатых столиках. Чего тут только не было, и цены были нормальные, тогда книги не являлись еще предметом спекуляции. Да и на старичков букинистов было приятно и интересно посмотреть.

В Воронеже на проспекте Революции находилось четыре книжных магазина (теперь и в одном продавать нечего). Особенно мы любили заходить в два из них. Один размещался в доме рядом со строительно-монтажным техникумом (теперь там булочная), второй — на первом этаже здания кинотеатра «Пролетарий» (сейчас там бар). Эти магазины казались нам необычными, и делали их необычными люди, работавшие в них. Первый назывался «Магазин индивидуальной книги». Доступ к книжным стеллажам был свободный, вместо прилавков стояли небольшие столики и стулья. Заведовал магазином Яков Романович Милой, чудный человек, влюбленный в книги, хорошо знавший вкусы своих покупателей. Кроме него была только одна продавщица, Мария Александровна, милая, красивая, обаятельная женщина. Магазин являлся своеобразным клубом, где встречались любители книг, делились впечатлениями по поводу прочитанного, спорили, радовались новой хорошей книге. Иногда Яков Романович даже звонил по телефону своим постоянным посетителям: приходите, есть такая-то книга. Прибегаешь, еще помучает: «У меня только одна книга, а вы пришли вдвоем». Стоим и думаем: кто же окажется счастливым? А Яков Романович с заговорщическим видом идет за перегородку в так

называемый свой кабинет и торжественно выносит вторую книгу.

Яков Романович уцелел на фронте, но совершенно потерял здоровье. Грустно и больно было на него смотреть. Он умер в первый суровый и голодный послевоенный год в растерзанном немцами Воронеже, где даже кров над головой найти было трудно.

Второй магазин — букинистический, заведовал им Яков Андреевич Чернышов, он же был и продавцом. Яков Андреевич, человек немолодой, когда-то работал у Сытина; это был прекрасный знаток книги и вообще очень хороший человек. У него можно было купить самые редкие книги. Я купила там «Снежную маску» А. Блока издания 1907 года, первое издание «Вечерних огней» Фета 1883 года, «Форель разбивает лед» М. Кузьмина, «Четки» Ахматовой, «Кипарисовый ларец» Анненского 1923 года издания и многое другое. Ведь Воронеж до революции был дворянским городом, кругом было много имений с богатыми личными библиотеками, так что источник существовал. Если Яков Романович звонил своим покупателям, когда появлялась интересная книга, то Яков Андреевич, хитро улыбаясь, говорил: «Платите столько-то». Значит, сюрприз. Так были куплены мной «Камень» Мандельштама, его «Стихотворения» 1928 года, роскошный «Фауст» Гете 1848 года издания. Осип Эмильевич книг не покупал, но особенно часто заходил в этот магазин, с большим интересом рассматривал книги и очень любил поговорить с Яковом Андреевичем. Как я могла заметить, это доставляло большое удовольствие и тому и другому. А когда возникало критическое положение с деньгами, Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна несли в магазин к Якову Андреевичу продавать свои драгоценные книги. И, конечно, не случайно книги эти всегда оказывались непроданными; получив откуда-нибудь деньги, Осип Эмильевич, к своей великой радости, выручал их.

* * *

В конце декабря 1936 года я заболела и слегла надолго. Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич приходили каждый день. Мандельштамы старались развлечь меня, но у самого Осипа Эмильевича, я чувствовала, настроение было плохое.

Мы разговаривали, читали, иногда Осип Эмильевич грустно играл с моим котом, хотя играть с ним было мудрено. Кот был злой, дикий, и характер у него, надо сказать, был дьявольский. Он царапался, кусался, даже преследовал осмелившегося его погладить, чтобы вцепиться. Любил он, пожалуй, только меня, остальных, кто бывал у нас, кое-как терпел. Внешность его вполне соответствовала повадкам. Кот был совершенно черный, без единого пятнышка, с огромными изумрудными глазами. Смотрел он на человека всегда пристально, и в глазах был вопрос с оттенком презрения. Мне казалось, что он все понимает, и я не удивилась бы, если бы он заговорил. Было в нем нечто зловещее, ведьмовское, таинственное. Кот очень занимал Осипа Эмильевича, и однажды, придя к нам, Мандельштам прочитал мне стихотворение:

Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий —
Внук он зелени стоячей
И купец травы морской.

Там, где огненными шами
Угощается Кашей, —
С говорящими камнями
Он на счастье ждет гостей, —
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.

У него в покоях спящих
Кот живет не для игры —
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы.
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих
Шароватых искр пиры.

Видя настроение Осипа Эмильевича, я не восприняла это стихотворение как шуточное, было в нем какое-то тоскливое предчувствие беды, беспокойство.

В письме Н. С. Тихонову от 31 декабря 1936 года Мандельштам сам дает оценку «Кашееву коту»:

«В этой вещи я очень скромными средствами при помощи буквы «щ» и еще кое-что сделал (материальный) кусок золота.

Язык русский на чудеса способен, лишь бы ему стих повиновался. Как любой язык чтит борьбу с ним поэта

и каким холодом платит он за равнодушие и ничтожное ему подчинение...

Стишок мой в числе других когда-нибудь напечатается, и он будет принадлежать народу Советской Страны, перед которым я в бесконечном долгу»¹⁷.

В январе 1937 года Осип Эмильевич чувствовал себя особенно тревожно, он задыхался... И все-таки в эти январские дни им было написано много замечательных стихотворений. Как узнавала я в них нашу зиму, морозную, солнечную, яркую:

В лицо морозу я гляжу один, —
Он — никуда, я — ниоткуда,
И все уютится, плонится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце шуруется в крахмальной нищете,
Его прищур спокоен и утешен.
Десятизначные леса — почти что те...
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб,
безгрешен.

Но тревога нарастала, и уже в следующем стихотворении Мандельштам пишет:

О, этот медленный, одышливый простор —
Я им пресыщен до отказа!
И отдышавшийся распахнут кругозор —
Повязку бы на оба глаза!

И все разрешается замечательным и страшным стихотворением:

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок.
От замкнутых я, что ли, пьян дверей?
И хочется мычать от всех замков и скрепок...

Если Осипа Эмильевича не особенно угнетало отсутствие средств к существованию, то та изоляция, в которой он оказался в Воронеже, при его деятельной, активной натуре порой для него была непереносима, он метался, не находил себе места. Вот в один из таких острых приступов тоски Осип Эмильевич и написал это трагическое стихотворение.

Как-то утром пришли Осип Эмильевич и Надежда

¹⁷ «Глагол», 1933, № 1.

Яковлевна, и Мандельштам прочитал его, меня оно потрясло. Как ужасно чувство бессилия! Вот, на твоих глазах задыхается человек, ему не хватает воздуха, а ты только смотришь и страдаешь за него и вместе с ним, не имея права подать даже виду. В этом стихотворении я узнавала внешние приметы моего города. Мандельштамы иногда шли к нам не по проспекту Революции, а низом, по Поднабережной, и там на стыке нескольких улиц — Мясной Горы, Дубницкой и Семинарской Горы — действительно стояла водокачка (маленький кирпичный домик с одним окошком и дверью), был и деревянный короб для стока воды, и все равно люди расплескивали ее, кругом все обледенело.

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке.

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб...

Все это правда. Да, да, и «переулков лающих чулки, и улиц перекошенных чуланы» — Суконовки (Левая и Правая, узкие, кривые), Венецкая, Мало-Чернавская... как много их в этом узле. Запутаешься, закружат... Как не замечала раньше!

* * *

В эти же дни я как-то пришла к Мандельштамам. Мой приход не вызвал обычного оживления. Не помню кто, Надежда Яковлевна или Осип Эмильевич, сказал: «Мы решили объявить голодовку». Мне стало страшно. Возможно, видя мое отчаяние, Осип Эмильевич начал читать стихи. Сначала свои, потом Данте. И через полчаса уже не существовало ничего в мире, кроме всецельной гармонии стихов. Кажется, никогда не было так хорошо! Я запомнила это на всю жизнь, очевидно, по резкому контрасту двух противоположных чувств.

Только такой чародей, как Осип Эмильевич, умел увести в другой мир. Нет ни ссылки, ни Воронежа, ни этой убогой комнаты с низким потолком, ни судьбы отдельного человека. Необъятный мир чувства, мысли, божественной, всецельной музыки слов захватывал тебя целиком, и кроме ничего не существовало. Читал стихи

Осип Эмильевич, как я уже говорила, неповторимо, у него был очень красивый голос, грудной, волнующий, с поразительным богатством интонаций и удивительным чувством ритма. Читал он часто с какой-то нарастающей интонацией. И кажется, это непереносимо, невозможно выдержать этого подъема, взлета, ты задыхаешься, у тебя перехватывает дыхание, и вдруг на самом предельном подъеме голос разливается широкой, свободной волной.

Трудно представить человека, который умел бы так уходить от своей судьбы, становясь духовно свободным. Эта свобода духа поднимала его над всеми обстоятельствами жизни, и это чувство передавалось другим.

Голодовка не была объявлена, и больше никогда на эту тему разговора не возникало. Может, меня пожалели, не знаю, я, кажется, этого не пережила бы.

И, несмотря ни на что, было хорошо! Я обрадовалась, узнав, что не только я так чувствовала. Когда через сорок лет вышла книга Осипа Эмильевича «Разговор о Данте», Надежда Яковлевна, подписывая ее мне, назвала зиму 1936/37 года страшной и счастливой.

Анна Андреевна Ахматова, которая навестила поэта в изгнании в феврале 1936 года, так передала свое впечатление от его жизни в известном стихотворении «Воронеж», посвященном Осипу Эмильевичу:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

А ведь она побывала здесь тогда, когда еще существовали какие-то связи с писательскими организациями, когда была какая-то работа или видимость ее — в театре, радиоцентре, даже командировки в совхоз.

Осип Эмильевич, рассказывая мне о приезде Анны Андреевны, смеясь, говорил: «Анна Андреевна обиделась, что я не умер». Он, оказывается, дал ей телеграмму, что при смерти. И она приехала, осталась верна старой дружбе, не побоялась приехать, несмотря на свое тоже неблагоприятное положение.

Позднее, уже в период моей дружбы с Мандельштамами, все было обрублено — ни людей, ни связей, ни работы.

«Наше благополучие кончилось осенью 1936 года, когда мы вернулись из Задонска. Радиокомитет упразднили, централизовав все передачи, не оказалось работы и в театре, газетная работа тоже отпала. Рухнуло все сразу», — писала Надежда Яковлевна.

Мандельштамы оказались в полной изоляции.

В апреле 1937 года Осип Эмильевич писал Корнею Ивановичу Чуковскому: «Я поставлен в положение собаки, пса... Меня нет. Я — тень. У меня только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство... Нового приговора к ссылке я не вынесу. Не могу».

Такое настроение, очевидно, усугублялось приближением конца высылки и полным неведением будущего, а также выпадами против поэта в местной печати.

В апреле в областной газете «Коммуна» появилась статья, направленная против Мандельштама. Несколько позднее, в том же 1937 году, в первом номере альманаха «Литературный Воронеж», выпад против Мандельштама был еще более резким. В обзорной статье «Воронежские писатели за 20 лет» Н. Романовский и М. Булавин писали:

«Пользовавшиеся поддержкой врагов народа, бывшие в 1934 году в Воронеж троцкисты Стефен, Айч, Мандельштам, Калецкий пытались создать сильное оцепление писательского коллектива, внося дух маразма и аполитичности. Попытка эта была разбита. Эта группа была разоблачена и отсечена, несмотря на явно либеральное отношение к ней бывших работников обкома (Генкин и др.), которые предлагали «перевоспитывать» эту банду».

Там же местный поэт Григорий Рыжманов опубликовал памфлет на Мандельштама.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Пышной поступью поэта,
Недоступный, словно жрец,
Он проходит без привета
И... без отклика сердец.

Подняв голову надменно,
Свысока глядит на люд —
Не его проходит смена,
Не его стихи поют,

Буржуазен, он не признан,
Нелюдимый, он — чужак,
И побед социализма
Не воспеть ему никак.

И глядит он вдохновенно:
Неземной — пророк на вид.
Но какую в сердце тленном
К нам он ненависть таит!

И когда увижу мэтра
Замолчавших вражьих лир,
Напрягаюсь, как от ветра,
Четче, глубже вижу мир.

Презирай, гляди надменно —
Не согнусь под взглядом я,
Не тебе иду на смену,
И не ты мой судия!

Декабрь 1936¹⁸.

В ответ на все это Мандельштам написал письмо в секретариат Союза советских писателей:

«Уважаемый тов. Ставский,

прошу Союз советских писателей расследовать и проверить позорящие меня высказывания Воронежского областного отделения Союза.

Вопреки утверждениям областного отделения Союза моя воронежская деятельность НИКОГДА не была разоблачена областным отделением, но лишь голословно опорочена задним числом.

Называя три фамилии (Стефен, Айч, Мандельштам), автор статьи от имени Союза представляет читателю и заинтересованным организациям самим разбираться: кто из трех троцкист. Три человека не дифференцированы, но названы: «троцкисты и другие классово враждебные элементы».

Я считаю такой метод разоблачения недопустимым».

* * *

Я сказала Осипу Эмильевичу, что выхожу замуж. На другой день Осип Эмильевич прочитал мне стихотворение «Наташа», свадебное стихотворение. Собственно го-

¹⁸ Эти материалы собраны Василием Гыдовым.

воря, оно не имело названия. Мы его называли «Наташа» условно, начиналось оно так:

Клейкой клятвой пахнут почки,
Вот звезда скатилась, —
Это мать сказала дочке,
Чтоб не торопилась...

Был и первый вариант, который мне нравился больше, но Осип Эмильевич изменил его, «потому что он автобиографичен». Так он сказал мне. К сожалению, я его совсем не помню.

Осип Эмильевич просил меня привести и показать Бориса. Борис почему-то оттягивал эту встречу, хотя очень любил стихи, был страстным поклонником Пастернака. Наконец я обещала Осипу Эмильевичу вечером прийти с Борисом. Борис заупрямился, ему понадобилось непременно идти в кино. После споров решили этот вопрос компромиссно: отправиться к Мандельштамам из кино. Был одиннадцатый час, когда мы подошли к окну комнаты Осипа Эмильевича. Свет был погашен, и Осип Эмильевич стоял у открытой форточки, ожидая нас. Я окликнула его, он сейчас же вышел. «Так вот вы какой!» — произнес он, внимательно разглядывая Бориса. Мы вышли на проспект, почему-то мужчины решили выпить вина (ни тот, ни другой к нему пристрастия не имели) и начали водить меня по погребкам. Их на проспекте было много. Не успевали мы туда спуститься, как я бежала назад: нет стульев, неудобно, мрачно. Тогда они повели меня в погребок, где были столы и стулья. Это была какая-то преисподняя. Темно от табачного дыма, дышать нечем, и в этом табачном тумане пьяные физиономии. Наконец сообразили пойти в лучший воронежский ресторан «Бристоль»¹⁹. Отдельных кабинетов не существовало, а в общем зале были отгорожены желтым шелком кабины. Одну из них мы заняли. Создавалась иллюзия, что мы одни. Ели испанские апельсины. Осип Эмильевич много читал стихов, был очень оживлен. Борису он сказал, что завидует Пастернаку, что у него такие почитатели. Мы проводили Осипа Эмильевича домой. Я шла впереди, они сзади, увлеченно о чем-то разговаривая. Я вспоминаю этот эпизод, чтобы рассказать, как возникло стихотворение «К пустой зем-

¹⁹ Ныне ресторан «Москва».

ле невольно припадая...». Но этому предшествовал еще один разговор.

Незадолго до нашего «путешествия» по кабачкам я зашла к Осипу Эмильевичу и сказала, что мне по делу надо побывать у Туси, моей приятельницы и сослуживицы. Осип Эмильевич пошел со мной. На обратном пути он меня спросил: «Туся не видит одним глазом?» Я ответила, что не знаю, что никогда на эту тему с ней не говорила, очевидно, не видит. «Да, — сказал Осип Эмильевич, — люди, имеющие физический недостаток, не любят об этом говорить». Я возразила, сказав, что не замечала этого и легко говорю о своей хромоте. «Что вы, у вас прекрасная походка, я не представляю вас иначе!» — горячо воскликнул Осип Эмильевич.

На другой день после ночной прогулки я зашла из техникума к Мандельштаму. Надежда Яковлевна была в Москве. Осип Эмильевич сидел на кровати в своей обычной позе, поджав под себя ноги по-турецки и опираясь локтем на спинку. Я села на кушетку. Он был серьезен и сосредоточен. «Я написал вчера стихи», — сказал он. И прочитал их. Я молчала. «Что это?» Я не поняла вопроса и продолжала молчать. «Это любовная лирика, — ответил он за меня. — Это лучшее, что я написал». И протянул мне листок.

1

К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой,
Она идет, чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И кажется, что ясная догадка
В ее походке хочет задержаться, —
О том, что эта вешняя погода
Для нас — праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.

2

Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их — гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их призванье,
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня — ангел, завтра — червь могильный,

А послезавтра — только очертанье.
Что было поступь — станет недоступно.
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И то, что будет, — только обещанье.

4 мая 1937.

И я сразу вспомнила нашу прогулку втроем холодной майской ночью, разговор с Осипом Эмильевичем о Тусе и моей хромоте.

Стихи были написаны тушью в суперобложке к Баратынскому. Осип Эмильевич продолжал: «Надюша знает, что я написал эти стихи, но ей я читать их не буду. Когда умру, отправьте их как завещание в Пушкинский Дом». И после небольшой паузы добавил: «Поцелуйте меня». Я подошла к нему и прикоснулась губами к его лбу — он сидел как изваяние. Почему-то было очень грустно. Упоминание о смерти, а я должна пережить?! Неужели это прощальные стихи? На другой день мы зашли в Петровский сквер. Осип Эмильевич был весел, я сказала, что не могу разобрать во вчерашнем стихотворении ни единого слова. Он написал мне тут же эти стихи по памяти разборчиво карандашом на листке из ученической тетради²⁰.

...Возвратившись из Москвы, Надежда Яковлевна прочитала мне другое стихотворение: «На меня нацелилась груша да черемуха...» — и, улыбаясь, сказала: «Это о нас с вами, Наташа».

* * *

Завещания поэта я не выполнила. Уже после войны, когда Надежда Яковлевна приехала ко мне в Воронеж, я отдала ей оба экземпляра стихотворения. Вообще я отдала все, что у меня было: блокноты со стихами,

²⁰ Когда я приехала в Москву в марте 1975 года и прочла Надежде Яковлевне эту рукопись, она сказала: «Наташа, вы о своих стихах не все сказали, неполно, это не прощальные стихи. Ося возлагал на вас большие надежды». И она повторила строчки:

...Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их призванье...

В своих воспоминаниях Надежда Яковлевна так писала об этом стихотворении: «Прекрасные стихи Наташе Штемпель стоят особняком во всей любовной лирике Мандельштама. Любовь всегда связана с мыслью о смерти, но в стихах Наташе высокое и просветленное чувство будущей жизни. Он просит Наташу оплакать его мертвым и приветствовать воскресшего».

стихи на отдельных листках и полосках ватмана, эпиграммы на конвертиках, фотографии, книжку стихотворений 1928 года, правленную Осипом Эмильевичем, а главное — все письма (подлинники, копий тогда с них не было) Осипа Эмильевича Надежде Яковлевне. Она передала их мне на хранение после смерти Осипа Эмильевича, когда мы встретились с ней в Москве точно не помню где: у ее брата Евгения Яковлевича или у Шуры, брата Осипа Эмильевича. Письма были в железном сундучке от чая. В эту же встречу Надежда Яковлевна подарила мне одну из любимых книг Осипа Эмильевича — томик Клейста. Это было старое издание: готический шрифт, желтоватая бумага, кожаный корешок. Своей рукой Надежда Яковлевна написала: «Из библиотеки Осипа Мандельштама». (Книга пропала в занятом немцами Воронеже).

* * *

Я очень привязалась к Мандельштамам. Для меня Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич были совершенно неразделимы. Я не могла их представить отдельно и кого из них любила больше — не знаю.

Редко, наверное, в жизни встречаются такие браки, такое понимание, такая духовная близость. Надежда Яковлевна была вровень своему мужу по уму, образованности, огромной душевной силе. Я никогда не слышала от нее жалоб, не видела ее раздраженной или удрученной. Она всегда была ровна, внешне спокойна. Она, безусловно, являлась моральной опорой для Осипа Эмильевича. На ней держалась жизнь. Тяжелая, трагическая его судьба стала и ее судьбой. Этот крест она сама взяла на себя и несла его так, что, казалось, иначе и не могло быть.

А могло быть иначе, ведь ее никто не высылал, она поехала за мужем добровольно и добровольно разделила с ним его участь. До сих пор вижу ее большие, ясные серо-голубые глаза, улыбку, которой она всегда встречала меня, ровный, спокойный тон. Женская говорливость не была ей свойственна, скорее она была молчалива.. Мне всегда казалось, что Осип Эмильевич без нее не мог бы существовать. Поэтому так стало страшно, когда его оторвали от нее и сослали за Владивосток в пересылочный лагерь, где он и умер.

Не раз я присутствовала при таинстве создания стихов. Осип Эмильевич обычно сидел на кровати в своей характерной позе и что-то невнятно бормотал, пока это бормотанье не превращалось в членораздельную речь. Он не писал и не записывал свои стихи, а если и записывал, то в виде редчайшего исключения. Лучше всего об этом сказал он сам: «У меня нет рукописей. Нет записных книжек, нет архивов. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса». Да, действительно он создавал стихи на слух, он работал «с голоса», а потом диктовал их Надежде Яковлевне. «Стихи, записанные Надей, — говорил Осип Эмильевич, — могут идти в порядке рукописи». Внимательно прочитав записанное стихотворение (почему-то всегда стоя, наклонившись над столом), он ставил букву «В» (Воронеж) и дату. К дате Мандельштам относился очень щепетильно, но совершенно был безразличен к знакам препинания, и тот, кто писал под его диктовку, ставил их по своему усмотрению. Помню, одно время стихи записывались на узкие листочки, нарезанные из ватмана, они не раз переписывались тонким, мелким и очень разборчивым почерком Надежды Яковлевны. Многие из этих листков потом попадали ко мне, как и конвертики с эпиграммами. Незадолго до отъезда из Воронежа Осип Эмильевич попросил Надежду Яковлевну переписать для меня все стихи. Получилось три толстых голубых блокнота. На первом из них печатными буквами было написано «Наташина книга». Осип Эмильевич отдал их мне, также поставив под каждым стихотворением дату и букву «В». Он ничего не сказал, вручая мне это сокровище. Что он думал — не знаю. Я тогда ничего не думала, просто была счастлива. Я так привыкла к его стихам, он уезжал, мне трудно было бы жить без них, а их ведь ни у кого больше не было, да и не знал их почти никто.

Подарил он мне и свою воронежскую фотографию. Накануне отъезда по его желанию мы все пошли в пятиминутную фотографию на рынке. Как и следовало ожидать, карточка получилась ужасная. К великому сожалению, Осип Эмильевич отказался идти в хорошую фотографию, сказав, что не хочет меня подводить. Подводить? Почему именно теперь пришло ему это в голо-

ву? Ведь встречались почти каждый день, а вот теперь, когда его освободили, у него возникло такое опасение. Каким же непрочным было ощущение этой «свободы»!

Был и еще один подарок, фарфоровая обезьянка, на обратной стороне Осип Эмильевич написал: «Наташа, Ося».. Я забыла обезьянку, покидая занимаемый немцами Воронеж. Ведь все было оставлено, мы уходили налегке, в последние минуты. Но если бы я вспомнила, обязательно взяла бы ее, как взяла стихи, листочки, книжку, фотографии и письма, которые, как я уже говорила, отдала мне Надежда Яковлевна после гибели Осипа Эмильевича. Тут я уже понимала, что нужно сохранить все во что бы то ни стало.

И мне удалось это сделать: я не расставалась с небольшим свертком ни в товарных поездах, ни на станциях, ни в деревне, куда мы попали на некоторое время; короче говоря, он был всегда со мной во всех мытарствах, пока мы не оказались в Куйбышеве, в эвакуации.

Для большей гарантии, чтобы сохранить все, что было создано Осипом Эмильевичем, Надежда Яковлевна еще до знакомства со мной стала запоминать наизусть написанные им стихи.

* * *

Я часто думаю, как повезло Воронежу. Вот и еще одно имя навсегда соединилось с этим городом, с этой землей, которая подарила нам в прошлом веке Кольцова и Никитина. Теперь, в XX веке, с ней связано имя Осипа Мандельштама. Здесь поэт обрел новую силу, хоть и писал:

Я около Кольцова,
Как сокол, закольцован,
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца.

К ноге моей привязан
Сосновый синий бор,
Как вестник без указа,
Распахнут кругозор...

И в другом небольшом стихотворении, где шутка смешалась с трагическими нотами:

Пусти меня, отдай меня, Воронеж,
Уронншь ты меня иль проворонишь, -

Ты выронишь меня или вернешь —
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож!

Город не стал для поэта ни «вороном», ни «ножом», он вернул его. Но вернул для новых страданий и гибели.

* * *

Может быть, здесь впервые Осип Мандельштам почувствовал всю силу земли, несущую жизнь, и приветствовал эту землю:

Ну, здравствуй, чернозем, будь мужествен, глазаст,
Черноречивое молчание в работе.

Стихотворение «Чернозем»²¹ было написано под впечатлением распаханых опытных полей СХИ, где Осип Эмильевич нередко гулял ранней весной.

Вплотную к полям подходил Ботанический сад, а напротив была Архиерейская роща. Там в 1879 году собрался съезд «Земли и воли», на котором присутствовали Плеханов, Софья Перовская, Вера Фигнер, Желябов и другие. Не отсюда ли в стихах Мандельштама «комочки влажные моей земли и воли»?

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор, —
Комочки влажные моей земли и воли.

В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней жидется работа, —
Тысячехолмие распаханной молвы;
Знать, безокружное в окружности есть что-то...

«Чернозем» — точное описание местности, где поэт был «закольцован». И, возможно, один из лучших в русской поэзии гимнов земле.

Мне очень нравилось это стихотворение, и Осип Эмильевич переписал мне его разборчиво, тушью на листе хорошей бумаги.

²¹ Факсимиле этого стихотворения приведено в книге: О. Мандельштам. Стихотворения. М.—Л. 1973. Почти одновременно с «Черноземом», наблюдая воронежскую весну, буйный разлив, когда река выходит из берегов, затопляет весь луг и вода переливается даже через дамбу, а иногда и врывается в город, Осип Эмильевич пишет еще одно небольшое стихотворение, которое перекликается с первым (оба стихотворения датированы апрелем), — «Я должен жить, хотя я дважды умер...». В стихотворении чувствуется большая симпатия поэта к городу, где оказался он не по своей воле.

Непосредственно навеяно городом, написано под свежим впечатлением от него — многое.

Приехав в Воронеж, Мандельштамы поселились в Привокзальном поселке. Эти места связаны и с Андреем Платоновым. Одноэтажные дома с палисадниками, сады, огороды, немощеные улицы, заросшие травой, бурьяном. По улицам бродят куры, и за забором нередко раздаётся лай собаки. Трудно представить, что стоит только перейти деревянный мостик через железнодорожную линию — очутишься на проспекте Революции, главной улице города, и что город совсем не маленький. Очевидно, под впечатлением своего нового жилья Осип Эмильевич писал:

Я живу на важных огородах, —
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.
Вётер служит даром на заводах,
И далёко убегает гать.

Поэт, конечно, имеет в виду Придаченскую гать, являющуюся продолжением Чернавского моста и соединяющую город с Придачей, тогда еще пригородом. Гать шла через заливной луг.

Чернопахатная ночь стелных закраин
В мелкобисерных изьябла огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах.

И богато искривилась половица —
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится,
И своя-то жизнь мне не близка.

Посмею сказать, что Осип Эмильевич полюбил эту землю. В первый год своей жизни в Воронеже он имел возможность побывать в различных районных центрах Черноземья, некоторых совхозах. Был даже в декабре 1935 года в тамбовской санатории, откуда писал Надежде Яковлевне: «Здесь... зимний рай, красота не описанная. Жйвем на высоком берегу реки Цны. Она широка или кажется широкой, как Волга. Переходит в чернильные леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляют глубокое наслаждение. Очень настоящие места...»

Эта область в темноводье —
Хляби хлеба, гроз ведро,

Не дворянское угодые —
 Океанское ядро...
 Я люблю ее рисунок,
 Он на Африку похож —
 Дайте свет, — прозрачных лунок
 На фанере не сочтешь...²²
 Анна, Россошь и Гремячье, —
 Я твержу их имена. —
 Белизна снегов гагачья
 Из вагонного окна.
 Я кружил в полях совхозных,
 Полон воздуха был рот,
 Солнц подсолнечника грозных
 Прямо в очи оборот.
 Въехал ночью в рукавичный,
 Снегом пышущий Тамбов,
 Видел Цны — реки обычной —
 Белый, белый, бел-покров.

.

Где я? Что со мной дурного?
 Степь беззимняя гола.
 Это мачеха Кольцова.
 Шутись — родина щегла!..

Это стихотворение было написано под впечатлением командировок в Воробьевский район, куда Осип Эмильевич ездил с группой воронежских писателей и журналистов.

И отсюда совершенно изумительные стихи о щегле. Я помню, с какой любовью писал их Осип Эмильевич, как радовался им:

Мой щегол, я голову закину,
 Поглядим на мир вдвоем.
 Зимний день колючий, как мякина,
 Так ли жестк в зрачке твоём?

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
 Ниже клюва в краску влит,
 Сознаешь ли, до чего щегол ты,
 До чего ты щегловит?

О щегле было не одно стихотворение, были и варианты. «Щеглиный цикл, — пишет Надежда Яковлевна, — развился на обостренной жажде жизни, на ее

²² Реалиями для строчек «Дайте свет, — прозрачных лунок на фанере не сочтешь...» послужила карта Воронежской области, сделанная на фанере. Населенные пункты на ней были обозначены лунками с горящими лампочками. Карта висела на телефонном переговорном пункте, где Мандельштамы часто бывали.

утверждении, но предчувствие беды, пробивалось в нем с первых минут». Осип Эмильевич видел щеглов не только на воле, но и у Вади, хозяйского мальчика, были щеглы. Надежда Яковлевна вспоминает, как работал Осип Эмильевич над этим циклом, и передает его слова: «Щегла запрятали в клетку, не выпустили в лесную Саламанку... А меня нельзя удержать на месте».

Мне кажется, никогда Мандельштам не сливался душой так тесно с природой, никогда не писал таких задумчивых стихов, какие писал в Воронеже:

Вехи дальние обоза
Сквозь стекло особняка.
От тепла и от мороза
Близкой кажется река.
И какой там лес — еловый? —
Не еловый, а лиловый,
И какая там береза,
Не скажу наверняка, —
Лишь чернил воздушных проза
Неразборчива, легка..

В Воронеже поэт полюбил русскую зиму, многоснежную, ясную, морозную. До воронежского периода в его стихах почти не было зимних пейзажей. Здесь мне хочется вспомнить еще одно зимнее стихотворение, написанное под впечатлением чудесных картин природы в тамбовском санатории:

Как подарок запоздалый
Ощутима мной зима.
Я люблю ее сначала
Неуверенный размах.

Хороша она испугом,
Как начало грозных дел.
Перед всем безлесным кругом
Даже ворон оробел...

Благодаря «Воронежским тетрадам» Осип Эмильевич навсегда прописан в старом русском городе. Жена поэта писала: «Воронеж был чудом, и чудо нас туда привело».

В полушуточном стихотворении Мандельштам писал:

Эта, какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова! —
Как ее ни вывертывай,

Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Права он был не лилейного.
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма, —
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

Это стихотворение связано с реальным адресом одной из квартир поэта в бывшей Троицкой слободе на улице Линейной.

Чтобы попасть к Мандельштамам, надо было войти в ворота двухэтажного дома, пересечь двор и спуститься по дорожке вниз в до сих пор существующую «яму». У стихотворения буквальная топография. А название улицы дало повод для поэтической самохарактеристики поэта.

На этой квартире Осипа Эмильевича с Надеждой Яковлевной навещали В. Н. Яхонтов и М. В. Юдина.

Думаю, настанет время, когда в Воронеже действительно будет улица Мандельштама. Жаль, что мы привыкли чтить только мертвых, и то через десятки лет.

ИЗ ПИСЕМ 1935—1936 ГОДОВ

Во многом благодаря общению с Сергеем Борисовичем Рудаковым О. Мандельштам вновь, после долгого перерыва, стал писать стихи, и возникли «Воронежские тетради». Общение длилось всего год с небольшим — с начала апреля 1935 по 1936 г., когда ссылка Рудакова закончилась, и он уехал из города. Казалось, поэт нашел в молодом литературоведе не только замечательного собеседника, но и своего потенциального биографа и комментатора, редактора будущего издания своих сочинений. Почти каждый день Рудаков писал в Ленинград письма своей жене Лине Самойловне (в них он называет ее Лина, Лика, Кити, Кит, Ли, Ки), в том числе со своеобразными «отчетами» о весьма частых, иногда ежедневных, встречах с Мандельштамами. Но С. Б. Рудаков погиб на фронте в Великую Отечественную войну.

Не до конца ясна судьба блокнотов с самообъяснением поэта, продиктованным Рудакову, — возможно, их уже не существует, не сохранились письма. Они хранятся в Институте русской литературы РАН (Пушкинском доме) в С.-Петербурге. Позднее отрывки из них напечатала и проанализировала Э. Г. Герштейн, познакомившаяся с их автором во время посещения Мандельштамов в Воронеже. Затем отрывки из писем Рудакова, связанные с поэтом, опубликованы и тщательно прокомментированы в «Ежегоднике рукописного отдела Пушкинского дома на 1993 год» (СПб., 1997). Данная подборка основана на обеих публикациях. Отдельные имена и факты объясняются в сносках и именном указателе в конце книги. **М., О., О. Э., Он** — так Рудаков обозначает О. Э. Мандельштама, **Надин, Н.** — жену поэта Надежду Яковлевну; позднее появляющиеся «Оськи» — О. Э. и Н. Я. Мандельштамы.

1935 год

30 марта

Вот я и в Воронеже.

31 марта

Воронеж — удивительный в топографическом отношении город. Центр ровен, как стол. Проспект Револю-

ции — уменьшенный Невский, стрела, а не улица (и дома хорошие и в новом, и в старом роде). А от этой улицы в сторону, тут же, киевско-московские кручи, обрывы, прямо овраги; в просветах между домами этих боковых улиц виден стокилометровый горизонт и речка внизу у города. Ни дать ни взять вид поверх Подола в степи. Этот местный Подол — деревня, и совершенно буквальная: все на холмиках и оврагах.

2 апреля

Если я вчера не вернулся бы домой в 10 минут второго (а в 1/2 2-го гасится свет), вчера было бы написано замечательное письмо. Но так даже лучше. Все расскажу дома, когда приеду. Все — это вид на степь за железную дорогу и непомерно разлившуюся в половодье Ворону, это очень быстро наступивший вечер, наступивший и тянувшийся в полусумраке долго. Потом ночь.

Шницель и какао в кафе, а потом сиденье на самодельном диване в покосившейся комнате, примус, необыкновенно легко разжигавшийся, хождение вдоль покосившегося пола. В крошечную черную ночь уход домой через заднюю балконную дверь домика, стоящего на окраине железнодорожного поселка...

Линуся, понятно или нет? Лика — это Мандельштам.

Гр<игорию> Моис<еевичу> [Леобкумовичу] — передай генеральную благодарность — ведь это он мне сказал о нем. Я не знал, что он в Воронеже. Они (он и она, которая сейчас в Москве) приглашают нас и Анну Андреевну [Ахматову] на дачу... Вот тебе и Воронеж!

А дела идут своим чередом... Захожу в учреждения насчет службы. Не думай, что Мандельштам мешает этому (мы ходили с ним вместе).

Линуся, спиши для нас (!) хотя бы немного Вагинова, что передаст тебе Ирина¹. Пришли хоть 1—2 вещи. Еще — «Опыт соединения слов»² — только без автографа... Потом Осип Эмильевич очень просит, если есть

¹ Ирина — старшая сестра Рудакова, была замужем за родным братом К. Вагинова Алексеем.

² «Опыт соединения слов» — книга К. Вагинова «Опыт соединения слов посредством ритма», Л., 1931.

«Современник» с Тыняновым¹, здесь его не достать.

...Чувствую себя изумительно. Кончилась молчанка. Можно говорить, думать. А думать молча я не умею...

Зима вчера кончилась, и на главной улице асфальт сух. Ворона напоминает океан, а улицы маленькие и боковые тонут в грязи. Но ручьев уже нет.

4 апреля

Это первый раз в жизни (не считаю Кости Вагинова, с которым этого тоже было немного), когда я по-настоящему чувствую себя с другим (с женщиной). Его увидишь, когда приедешь. А сейчас важна схема отношений: мы вместе обедаем, читаем Щербину и Сумарокова, его необычайнейшие новые стихи (дворонезские...).

...Углублять споры нецелесообразно, ввиду его нервности и потому, что на 26-м году литературной деятельности не обязательно он должен быть перевоспитан; — это даже невысказано. Я просто смотрю, как он мыслит, как говорит о других, судит. Это новая высокая стадия.

Особый вопрос о моих стихах, которые стоят, в сущности, в итоге исторической концепции. Моя сила — ее сознание, это очень много, достаточно, чтобы жить. Но я всегда с собою и буду с теми, кто будет жить. Он мне так напоминает минутами Костеньку, что боюсь за него. А здоровье очень плохо. Лиана, а стихи, стихи — они будут у нас (написанных у него тут с собой нет, он запишет или продиктует), — изумительны, восьмистишия.

Это не разговоры в Европейской². Это жизнь равная, ровная и со всеми своими качествами, с деньгами, калошами, комнатами и всем, всем человеческим.

Надо всем, со всем, и несмотря на все — гениальный поэт, написавший Соломинку, Венецкую жизнь. — И не на эстраде, не в артистической. — Важно в этом только одно: каждый человек в известном смысле настоящим бывает не 24 ч. в сутки, и вот такая

¹ В «Литературном современнике» с первых номеров за 1935 год печатался роман Ю. Н. Тынянова «Пушкин».

² ...разговоры в Европейской — в конце 1933 г. Мандельштам приезжал из Москвы в Ленинград, где остановился в Европейской гостинице. Там его посещали ленинградские писатели, пришел и Рудаков. Он читал свои стихи и был жестоко раскритикован Мандельштамом.

близость дает видеть эти настоящие минуты, уловить которые у другого не хватило бы охоты.

А я, кроме всего прочего, вижу в нем глубоко несчастного человека, привычки и манеры — все объяснимо.

Я заставляю его бриться и чистить на улице ботинки (это я-то, свинушка-то).

...Ему 43 года, выглядит старше (и старше), но когда спокоен — это тот Мандельштам, который нарисован в «Аполлоне» и с хохолком (бороды нет, он бреется!).

6 апреля

У меня есть комната, т. е. те 1/2 комнаты с артистом, о которых писал. Вещи уже там, сегодня первый раз буду спать дома. Эту ночь спал у Осипа Эмильевича. Уже достал макинтош — тут весенняя жара. Теперь только забота о службе и деньгах: комната, и сказочно дешевая, есть. <...>

Вчера были на концерте скрипачки Бариновой (с Мандельштамом, бесплатно) — у нее невероятный цветаевский темперамент, 22-летняя молодость и неартистическая живость. (Когда я это сказал, О. Э. удивился, откуда я мог так угадать действительное сходство с Цветаевой, когда я ее не видел. А ритмы-то стихов!) А вот и мое достижение. После года или более Мандельштам написал первые 4 строки. О ней, о Бариновой, после моих разговоров —

Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту
Три черта было, ты четвертый,
Последний, чудный черт в цвету.

Это должно стать концом шестистрофной вещи, у которой дома появилось и начало —

За длиннопалым Паганини
Бегут цыганскою толпой
Все скрипачи.

Я говорю, что лучше длиннопалым (пал — в смысле пальцы слишком близко к беспалым, трехпалым и etc.).

Пишу сейчас у Мандельштама. Балконная дверь раскрыта, против нее стоят облака. Осип Эмильевич говорит, что это ненаписанная картина Рафаэля — готов фон. <...>

Дом на горе. Вид на «Подол» и невероятно разли-

шуюся, но уже мелеющую Воронеж. Время от времени проходит поезд. Пишу на Сумарокове. О. Э. переводит «Иветту»¹ (и злобствует от нелюбви).

7 апреля

Спасает О. Э., у которого и с которым масса забот. Он чувствует себя ужасно плохо и выдумывает все болезни, не исключая, кажется, женских. Он просто ребенок. Подробно — расскажу устно. Забыть это нельзя... Сегодня водил О. Э. к профессору-терапевту. Тот ему ничего толком не сказал, а дитя успокоилось. Вчера я сидел у Т. А. и К°, а он, наверное, нервничал один. То ругает, то хвалит Иветту — и страшно гладко и быстро ее переводит, но скоро утомляется.

Я счастлив, что взял VIII т. Сумарокова. Еклоги — одно успокоение (именно они). — Пастушья любовь всегда по одной схеме... Мандельштам злится, а я в восторге.

8 апреля

Читал Осипу Эмильевичу Вагинова, он страшно протестовал против сего, кроме последнего стихотворения (про ветер, снег и умиранье соловья), которое ему чрезвычайно понравилось: «Вот это настоящие посмертные стихи».

Лица, даже страшно и жутко от огромности моих мыслей, от масштабов планов. Мандельштам сперва лез в бутылку («Что это, карманная история литературы?»). Но тут-то и начала вскрываться моя сила, его (как ни страшно) консервативная беспомощность. В деталях я его бью его же стихами! Вот — речь о Сумарокове, которого он, в сущности, как и все, кроме меня и Гукковского, не знает. По моей концепции, Сумароков в атмосфере 60-х гг. XVIII в. по-своему аналогичен Гумилеву, т. е. работает не на речевых новшествах (как Хлебников или, условно говоря, Державин и другие фольклористы 70—80-х гг.), а на игре готовыми и прозрачно литературными элементами и приемами (ро-

¹ «Иветта» — повесть Ги де Мопассана.

манс, песня, эклоги, etc.). Мандельштаму это не ясно. А вот его стихи:

И вслед за тем, как жалкий Сумароков
Пролетел заученную роль,
Как царский посох в скинии пророков
У нас цвела торжественная боль.

Я говорю: «Видите, вы сами стиховно, правда, по-рица Сумарокова в пользу Озерова, поняли его литературствующую роль. Теперь ясно, что это надо проверить лучше и увязать исторически. Ответ? **«Ясно»**. Лица, он хорохорится, но смертельно боится Гумилева. Делает вид, что обожает Пастернака.

9 апреля

...Живем «беззаботно», а именно так: часам к 12 я прихожу к М. (это от моего дома три хороших трамвайных остановки; причем третья остановка уже пригородная, за полотном ж. дор.). Там повторный чай после первого утреннего. Его перевод, мое чтение (вчера Языкова, которого он вместе с Батюшковым привез из Москвы; Языков 1833 года). На балкон выходим без пальто. Дерево, растущее рядом с балконом, наклоняет свои ветки, а на них огромные почки — из которых торчат зеленые, еще свернутые в трубку листья. Пока зелени нигде нет...

Потом идем гулять. Пешком до Петровского сквера (путь к моему дому). Там стоит идиотский Петр с простертой рукой; в другой руке якорь; у подножия еще якорь. М. зовет его Петр-якорник. Сад маленький, за ним спуск к реке, видна заречная часть; перед Петром неработающий фонтан. Из садика деловые походы М. с совместным заходом на почту за моими письмами (если с вечера письмо запоздало — я захожу утром до М.). Походы к знакомым, в магазины, на телефонную станцию (его разговоры с Москвой). В середине дня обед. Иногда вместе, иногда отдельно, так как он ходит в диетическую столовую.

10 апреля

М. взял Современник и ранее всего кинулся на Степанова, а у того и вообще-то вздор написан, да к тому

же дважды и беззубо обруган М. (правда, периода 20-го года). Он совсем скис. А от Тынянова пришел в раж от отвращения. Я его чуть-чуть понимаю: Тынянов — это языковая работа со старыми пластами (20—30 гг.), а многим тут тесно и душно становится. М. — подобно мне — любит его малые вещи — Кижэ и Витушишников¹. А тут с тетками, правда, понакручено. Но целиком мне доставило радость, а М. неугомонен.

Переводя Иветту, он разъярился окончательно и сказал бессмертную фразу: «Что французы? о чем можно говорить с французом? Это кошка, опоившаяся валерианом... У них один Мериме чего-нибудь стоит». <...>

Далее вечером вышел с ним грандиозный разговор о моих стихах. Хуже, чем в Европейской гостинице. В чем дело? — Не понимаю. Он обо мне говорит с таким непониманием, как худшие читатели мира о нем самом. Единственная истинная истина, что 90% моих вещей о стихах и узком литературном круге ассоциаций. Это (и мы согласны) близит нас с Вагиновым. Но дальше, прости, но вздор. Много блеска, ума, но все зря. Это сейчас говорит моя святая вера в себя. А он вроде барана — уперт. Поверить, что стихи плохи или даже далеки от его стихов — немыслимо. Он меня «пугает» Тихоновым (что я на него похож). Если бы он был М., но не О. Э., или О. Э., но не М. — я его послал бы к лешему. А сейчас надо воспитать, обратить. Он меня дополнительно шлет к Ахматовой и... Пастернаку (вот за последнее спасибо?! Чтобы мы передрались взаимно).

15 апреля

У М. день шел в ожидании его телефонного разговора (Москва, с 4 до 6). Была перегружена линия, и ему не дали — он так изнервничался, что чуть с ума не сошел. К его счастью, удалось зайцем проскочить вечером, и он договорился. Приезд дам² из Москвы еще отложен — теперь до 18<-го>.

¹ Повести Ю. Н. Тынянова «Подпоручик Кижэ» (1928 г.) и «Малолетний Витушишников» (1933 г.).

² Анны Андреевны Ахматовой и Надежды Яковлевны Мандельштам.

Дома коллективно жарили яичницу из 6 яиц, напились сладкого чаю с булкой и маслом, и — увы! — оказалось 11¹/₂ час. веч. А у нас подошло чудное разговорное настроение. Начали с Комаровского, кончили мною. Важно, что я пришел в раж и стал на нем (на М.) демонстрировать свои позиции: эволюцию поэзии от Надсона (от нуля) до Гумилева и Мандельштама. Небо его сознания проясняется. Но увы! не без наивностей: он говорит: «так скажите, в чем же общая суть в 2-х словах». А надо для этих двух слов написать тома.

17 апреля

У М. — тревоги: переезд на новую квартиру и ссоры с хозяином, а Н. Я. еще нет (будет 20). Я его увещеваю, а он с ума сходит. Пишу сейчас, сидя у него. Жаль, что ты не увидишь этой комнаты, в новой будет не то.

О Заболоцком молчит, а потом мрачно ругается.

М. сейчас хочет писать доклад (он же статья) о формализме. Вот уж тут я — порочный ученик Тынянова, Эйхенбаума и К°, или продолжатель их дела, или создатель новых отношений, — даже после всех наших разговоров не ясно ему. Консерватизм — ужасная вещь.

...Сегодня опять о рельсах, что видны с балкона, и о том, скоро ли нас повезут поезда. А он говорит:

Я семафор со сломанной рукой
у полотна воронежской дороги

(у него сломана правая рука выше локтя).

Близость М. столько дает, что сейчас не учесть всего. Это то же, что жить рядом с живым Вергилием или Пушкиным, на худой конец (какой-нибудь Баратынский уже мало). Масса мыслей вокруг этого <...>. Важно нечто неуловимое, а не сами литературные мелочи. Хотя есть и они (то, что надо запоминать для анекдота, для биографической детали).

18 апреля

...Да, а Иветта (или Иветтка, как говорит О. Э.) — Мопассана. Она уже кончена. В мае он уже не хочет переводить, а будет писать о помянутых формалистах.

Тут был вечер памяти Маяковского (с Яхонтовым). Резонанс ужасный, и Яхонтов не звучал. Он был перегружен выступлениями, а М. еще его адрес спутал, и лично его не видели. Сегодня были в Летнем театре на Гауке (Брамс и Вагнер, с которого удрали, т. к. на дневное «представление» набились дети, которые не давали слушать).

20 апреля

17, 18, 19, 20 — дико работает М. Я такого не видел в жизни. Результаты увидишь...

Итог — точный: или ничего (кроме стихов) не будет — или будет книга моя о М. Или сейчас уже статья в местном журнале. На расстоянии это несоизмеримо и нерасказуемо. Я стою перед работающим механизмом (может быть организмом — это то же) поэзии. Вижу то же, что в себе — только в руках гения, который будет значить больше, чем можно понять сейчас. Больше нет человека — есть Микель Анджело. <...> Он не видит и не понимает ничего. Он ходит и бормочет: «Зеленой ночью папоротник черный». Для четырех строк произносится четыреста. Это совершенно буквально.

Он ничего не видит. Не помнит своих стихов. Повторяется и, сам отделив повторения пишет новое. <...>

Еще предстоит великолепная жизнь. И такая работа, какой свет не видел. Я изучаю дивную конструкцию, секрет которой сокрыт для смертного, изучаю живого Манделъштама.

21 апреля

Он сегодня переехал в центр. Я простился с комнатой, с балконом и неповторимым видом за реку через полотно железной дороги. Знаешь эти 20 дней такая эпоха, что не мог оторваться от ее пейзажа...

26 апреля

Каждые полстиха читаются мне, а здесь (см. мое письмо к Григорию Моисеевичу) куча моих требований, несколько ориентированных на мою стиховую практику, несколько объективных. Опять спор (жена боится).

8 мая

Сегодня уехала Надин. На вокзале она совсем рассиховалась и бедного О. извела до того, что он дрожащим голосом говорил: «Наденька, не сердись, ты ведь уезжаешь». И потерял палочку, которая, правда, нашлась в буфете. Его жалко страшно. Он притих и варил мне и себе какао. Перепачкал руки о кастрюлю, вытер их об лоб и ходил зеброй весь вечер.

9 мая

У О. заминка с паспортом, и он весь день мечется между воронежскими и московским телефонами. Страдает из-за глупости, сыпет на себя куски горящих папирос, горит, пугается, тушится, проливает чай и чуть не плачет. Я, сколько могу, его успокаиваю: целый час рассказывал эпизоды из строительной практики, и он вошел в норму и протрезвел. Пошел один на телефонную станцию, а я домой...

10 мая

...Паспорт утрясся. Надин в Москве, и он постепенно успокаивается. И опять началась чудесная полоса. ...Еще при тебе он выкинул «Стансы». Потом он (с Надей) уничтожили все записи «Стансов» и начатого Чапаева. Он говорил, что они бред, и покушался на черновики, что у меня (не догадываясь, что они скопированы). Надька называла его «мой Гоголь» (в смысле уничтожения «порочащих» рукописей) и радовалась. Я «Стансы» запомнить не успел. Сейчас осторожно — по строчке — косвенными вопросами вытягиваю из него их. Запоминаю и дома записываю (уже есть 32 строки из 46). Есть 9 строк Чапаева. А когда у меня нащупывается текст, вижу, что он не так плох, но требует переработки в сторону удаления расхлябанности. Под мою диктовку он к вещам возвращается и закончит их, а у меня сохранится «проклятый» первый вариант, необходимый в своей обнаженности для моей работы. Пишу о том, чего ты не видела, так как был период потускнения и нервов (квартира, камни [коктебельские], психозная жена).

12 мая

О. все волнуется по поводу дел, и прояснения минутны. Огромная отрада от игры в шахматы с Калецким. Читаю Коневского и буквально подавлен его изумительнейшими стихами. Читаем его вместе с М. Он делается тише. Днем спал у М. с 1 до 3. Потом читали Вагинова. Он злобствует, говорит что это **звукореподобие** [речь идет о рукописном сборнике стихов «Звукореподобие»], на отдельные вещи восхищается. Хвалит прозу его. Но, в сущности, боится сам себя. История здесь астрономически та же, что со мной. Именно, где он видит вещи, близкие себе, эпохи 1908—1925 годов, он лезет в бутылку. А похожим ему мерещится любое упоминание Петербурга (Петербурга в широком смысле, с целым пластом, ему присущим).

13 мая

О. просто с ума сходит. У него дня два началась какая-то перегруженность практическими делами. Опять у него все болезни мира: воспаление челюсти, 37,0°; несуществующий туберкулез; на почте его какая-то гражданка пихнула ручкой двери в правый бок (почти в живот), он стал стонать, бодро дошел до Петровского сквера, все собирался лечь по этому поводу в больницу, решил, что у него будет или перелом ребра, или воспаление легких от ушиба. Бодро дошел до дома, все говоря, что ходить не может (вечером он сговаривался быть у мадам Айч, а идти расхотелось). Дома устроил самоосмотр, вертясь с необыкновенной бойкостью и абсолютным здоровьем; в течение 50 минут мерил температуру, получил 37,1 и переволновался. Протестует на мои успокоения. В 11 ч. будет звонить Надине.

С Вагиновым происходят любопытнейшие явления: «Преподобие» «оказывается» замечательной книгой. Я читаю ему вещи с перерывами, по одной, он вслушивается, запоминает, хвалит и наслаждается. Расспрашивает меня о нем. Между делом (между разговорами по поводу Вагинова) я читал свои вещи: «Лицо, как стеарин прозрачно», «От книги начинается движение»..

18 мая

...огромная работа с Мандельштамом... из обрезков и черновиков, прибавленных к «Чернозему» и «Каме»; из изменений «Большевика» мы (я, а затем он) сделали немного больше ста стихов. Тут мною переработаны «Стансы» (первоначальный текст спасен и отвергнут).

21 мая

Беда, что я не записываю всего, что вижу и слышу, но письма многое сохранят. Он опять читал стихи памяти Белого. Он с ним был последнее время очень близок. Говорит, что стоял в последнем карауле, а до этого «стояли пильняки — вертикальный труп над живым». В суматохе Мандельштаму на спину упала крышка гроба Белого.

О Вагинове разговоры нескончаемые. Сегодня (когда я ночевал у него) он видел во сне Вагинова. Видел, что он утверждает себя как гениальный поэт. И сам добавляет: «иначе и быть не может. Это так и есть». Его сравнивает с Бодлером, Новалисом. <...>

«Проклятый» акмеизм в 1912 году у него выковал такие стихи о бедном художнике, живущем на чердаке и имеющем специфические «легкие», «тяжелые», «упрямые» etc. вещи даже в быту.

...художник...

Чтобы кофе варить на спирту,

Он купил себе легкий треножник.

Стихи писались серьезно, но потом отвергнуты и стали анекдотом.

[О работе над стихотворением «Мне кажется, мы говорить должны»...].

В четырех местах мне удалось вернуть идеальный вариант, но места два сохранятся в стиле барокко, не идущем к целому. Так:

войны и мира гнутая подкова

заменено:

воздушно-океанская подкова

(влияние катастрофы с «М. Горьким»), по мне это безлепица, оттеснившая классику. Называется: «борьба с акмеизмом».

22 мая

В ночь на сегодня пережил удовольствие — повидал Воронеж после 3-х часов ночи — сонный и огромный, расширенный ночью Воронеж, воздухом уходящий в мандельштамовские поля ЦЧО. Было так: лег спать. Сплю. Слышу стук в парадные двери. Голос хозяйки и ответ из-за двери: тут Р. С. Б.? Представляешь мою радость?! И оказывается это... Осюк, который не дозволился Надине и, перепуганный, прибежал ко мне (по дороге забегал на телеграф, но телеграммы не дал, а только перепачкал 3000-й костюм о свежевыкрашенный маслом барьер). Я свел его на телеграф — отправил Надине молнию и до утра с ним сидел у него; утром свел к одному заезжему москвичу (его — очень милому — знакомому), а сам пошел на работу. Пришел ответ о благополучии, и он днем отсыпался, а я буду сейчас...

23 мая

Пишу карандашом, потому что тушь у Мандельштамов. Сегодня там занимались диктовкой (уже около 300 стихов!). Ах, Ли́ка, что это? Этим я искусственно остановил, нейтрализовал разрушение новых стихов. Он весь в припоминании. Ли́ка, чудо, что мы встретились. Сейчас он ежедневно долбит: работайте, пишите — и у меня будут новые вещи, а работа о нем будет изумительна.

24 мая, поздно вечером:

Депрессия. Лежит и скулит, что написал только «Каму» и «Чернозем», а остальное чепуха. Цикл его гнетет, и он слабеет... Беру бумаги и читаю ему подряд (читаю воспитательно), — после каждой вещи: «видите — хорошо, а не чепуха, и хорошо тем-то и тем-то». Он молчит, а у него вертятся какие-то полуварианты, интересные, но к делу (цикла) не идущие. В целом он колеблется. Говорит, что я изумительно читаю (это лучше диплома). Я так люблю, когда ценят мое чтение, может быть, больше всего, так как в душе не всегда бываю уверен. А главное только начинается: идучи на телефон, говорю ему: «Слушайте — период «мне кажется

мы (т. е. я) говорить ДОЛЖНЫ» — кончен, т. е. кончен цикл **открытых** политических стихов. Теперь вы — вольноотпущенник и не должны, а вольны. Последние вещи живут отдельно, а в этом сейчас самое главное». Он счастлив, поняв это. Эти полуварианты будут новой вещью — о детях — и все. Хорошо?.. Покойной ночи... Это письмо выразило все очень полно.

26 мая

Пишу утром на службе. Сегодня спал у Мандельштамов. Часов в 8 на почту, получил два твоих письма... рад твоей свободе от статьи. А вот у меня беспокойство в смысле расценок. Скоро конец месяца, подведение итогов, а у меня ушло много времени на составление и утверждение проекта...

Сейчас жарко, конец мая, и весь город в белом.

Бедный, бедный перед великой исторической перспективой твой счастливый мальчик. Уже налицо у мальчика гениальные... ученики, а сам он только Фриде пока известен.

Слушай:

Еще стрижей довольно в мире и касаток,
Еще комета нас не очумила,
И пишут звездоносно и хвостато
Толковые лиловые чернила.

Это конец хорошего в целом нового 12-стишия Осипа Эмильевича. Лина, Лина, тут лучше всего:

Толковые
 Лиловые
 чернила

Источник?

Привычными
 Кирпичные
 заборы!!!

Лица, что делать!? Нельзя же встать на Невском и всем это рассказывать. Мое он знает наизусть.

Сейчас он, может быть, уедет раньше меня. Это неопределенно. Надины еще нет, и нет именно поэтому. А то, что эти месяцы мы были вместе — удивительное, историческое событие. Посмертно стихи все завещаны мне, его собственные слова: «Вы будете единственным

душеприказчиком и издателем Мандельштама». Сейчас Надин, может быть, уже привезет старые вещи из дому. На благополучный Ленинград расчеты о новом вечере — со мной. <...>

Сегодня во сне видел Хлебникова. Вчера мы о нем говорили. Мандельштам его видел перед самым отъездом в Новгород, где он умер. Перед отъездом он два раза был у Мандельштама.

У Мандельштама к Хлебникову огромное почтение. А боится как конкурента он только Гумилева, но это дико скрывает. Побаивается Цветаевой и Вагинова, но по-другому... Линуся, уже лето, а мне никуда не хочется, все сижу у Мандельштама и не тягочусь стенами, потому что без тебя непривлекательны зелень и река. Линуся, пиши чаще. Какие белые ночи. Вчера мы вспоминали, что в Ленинграде светло, и жутко стало...

27 мая

Он пишет новое, по-моему, плохо. Что делать? Хвалить — мне цены нет, потому что это будет поддакивание бесценно. Ругать (отговаривать) — мешать тому, что, может быть, сильнее меня. Мы друг для друга представляем всю русскую литературу (его слова) — и это очень трудно. Вот стих:

Сон был больше, чем слух; слух был больше, чем сон —
слитен, чуток —

Ну, Лина, извини меня, а по-моему это риторика, Мандельштам запутался в словах, под них подставляет «смыслы» и не чувствует резины на зубах. Или:

Расширеньем аорты могущества в белых ночах —
нет, в ножах.

Даже в отрыве от целого (т. е. «Чапаева»...) это абсурдная тянучка. Он расстроен чуть ли не до слез. А я хвалить не имею права. Он в волнении (без психования) сказал, что сейчас «до конца нам договариваться нельзя, надо это делать в конкретном литературном процессе», т. е. это значит: «Сергей Борисович, не ешьте меня живьем», а сам целый день вытаскивал меня на «откровенность» по поводу злосчастного Чапаева. Я уверен, что прав, если даже он этого не поймет.

29 мая

Из-за последней редакции Чапаева (о строках, о которых тебе писал) дикие споры.

31 мая, ночь

Недавно пришел от Мандельштама... Был гость, некий Стефан. Ему читались стихи (10 шт.). Реакция: ему безумно нравится «Чернозем», остальное звучит политически, а он «сторонник чистого искусства» и не может мириться с «тенденцией». И тут огромное выступление Мандельштама (обращено на меня, мне легче передать). Передаю не порядок разговора, а итог.

«Чернозем» — вещь реакционная: акмеистическая строфика с обновленной инструментровкой, весь из «Камня», источники — «Адмиралтейство» etc. (вещь, угнетающая сейчас Мандельштама). Это вещь 1001-я и прекрасная, а остальное — вещи первые и после них будут так (по-новому о новом) написаны тысячи. Основное — вещь о Пушкине и Чапаеве. Она говорит о русском фольклоре, о сказке, о стране и впервые о новом «племени», о ГПУ, о молодежи, у которой будущее, о пленном времени, вечности, и материально, на основе реального бреда при поездке на Урал, образы безумного пространства, расширяющегося, углубленного и понятого через «синее море» пушкинских сказок, море, по которому страдает материковая, лишенная океана Россия» (сюда же «воздушно-океанская подкова» в предыдущей вещи)... Далее Мандельштам говорил, что его всю жизнь заставляли писать «готовые вещи (монументальные), а Воронеж принес, может быть, впервые открытую новизну и прямоту.

1 июня

[Были в гостях у Я. Я. Рогинского.]

...Рассматривали привезенные им из Москвы книги, среди них 2 тома Хлебникова, «Гамбургский счет» [Виктора Шкловского] и «Встречи» Пяста.

Я им читал вслух 3-й парус «Детей Выдры». Восторг. Потом у Мандельштама скука на лице: «У Хлебникова такое же, как гениальность, огромное уродство: он не

умеет кончать. Это ему никогда не простится. Стих — канитель...»... Интересно дальше. У Шкловского большие цитаты из Бабеля. Мандельштам почитал, почитал и говорит (еще раньше он хвалил Бабеля, говоря: «он из лучших»): «Что Зозуля, что Бабель — одно и то же, только один получше, другой похуже, а оба не очень хороши: не по-русски (?)!».

«Трамвай» НГ¹. «Иллюзия. — Представьте себе — значит уже ничего нельзя представить. Все время помнишь, что действие в [Петрограде], путешествие за гривенник. А он считал, что это лучшее; я говорил, что «Колчан»² очень плохая книга, а он, что лучшая. Я говорил ему: поменьше Бога в стихах трогай — (то же у Ахматовой: «Господь», а потом китайская садовая беседка). А понимал он стихи лучше всех на земле, но ценил в себе не это, а свои стихи». Это запись того, что он говорит о Гумилеве.

...А с Мандельштамом последняя победа. В длинной строке про сон и слух, которая считалась законченной и мной опротестовывалась, изменение, нарушающее мертвую игру словами того варианта:

Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон:
слитен, чуток.

...масса о вчерашнем разговоре и планах издания собрания сочинений или новой книги стихов. А главное — рассказы о себе последних пяти лет — о стихах. И так до половины второго часа.

3 июня

Вечером вчера диктовали машинистке его стихи. Это способ подчеркнуть, что стихи кончены, иначе он их еще и еще потрошил бы. Отпечатана тетрадоочка «О. М. Одиннадцать стихотворений. Воронеж. 1935». + 3 вещи отдельно. У меня копится целый архив.

4 июня

Пишу днем от Мандельштама. Вчера ; вечер такой. Остался у него и лег очень рано (в 10), а он писал но-

¹ Речь идет о стихотворении «Заблудившийся трамвай» Н. Гумилева.

² Сборник стихов Н. Гумилева.

вую вещь. Я так заснул, что узнал эту вещь только утром, он не мог меня добудиться. Вещь «новая и неожиданная» в его терминологии, в моей — вторичная *Tristia*, с учетом Чернозема etc. Об этом споры с Рогинским. Очень интересны к ней варианты, которые, по моему, живут как 12-ти строчное стихотворение. Но это все частности. Главное обо мне. Читал ему «Караима». Ли́ка, тут двухчасовой перерыв: прения по «Караиму». Теперь письмо дальше. Он говорит, что нужна несколько большая детализация темы. И я почти восстановил, почти написал заново — вставь, пожалуйста:

- 6 Тюремный корпус глухо
- 7 Приезжих бережет.
- 8 Для неживого слуха
- 9 Лишь вентилятор сухо
- 10 И сетует и лжет.
- 11 Бессонницы etc.

Ли́ка, вывод его «хорошо, очень хорошо», но у него живут те же возражения о «неясности», что раньше. Господи, это тупость. Решили послать Пастернаку от его имени. Кидается с восторгом на вентилятор, наизусть бубнит про кровать и самого караима, а в заключение разводит руками: «Тово...», дескать. Вы, говорит, пишете по-японски, а я по-китайски, все хорошо, а пути разные».

8 июня

...М.: — Сказал «Я лежу», сказал «в земле» — развивай тему «лежу», «земля». Только в этом поэзия. Сказал реальное, перекрой более реальным, его — реальнейшим, потом сверхреальным. Каждый зародыш (росток) должен обрастать своим словарем, обзаводиться своим запасом, идя в путь, перекрывая одно движение другим. Будь форма, ритм... все недостаточно, если нет этого. Получится канцелярская переписка, а не стихи. Надо не забывать, что был Хлебников, что у меня были хорошие стихи... Этому правила не понимали некоторые акмеисты, их последыши, вся петербургская поэзия, вся официальная советская поэзия (пауза). Сергей Борисович, давайте, писать книгу о поэзии!..

Я: — Нет. Так как вы на некоторые вещи смотрите

иначе, чем я. (Пауза). Согласившись, я должен был бы сплясать индейский танец на Гумилеве.

М.: — (Пауза). «Он отвечал... этому... правилу». Опять пауза. Сидим мы у стола. Пожевав губами, он поднимается, идет к кровати и ложится носом к стене. Я записываю этот листок. <...>

На днях говорили о утерянных произведениях. Я сегодня ему говорю: «Вот еще «Дракон» Гумилева. Известно шесть, а было 12 книг». Он: — «Это его (Гумилева) счастье, т. к. вещь плохая». При мне, кроме «У цыган» (условно), он не похвалил ни единой строки Гумилева.

11 июня

Эпизод. Калецкий играет в шахматы со мной. О. психует, что на него здешние литераторы не обращают внимания. «Вот Есенин, Васильев имели бы на моем месте социальное влияние. Что я? — Катенин, Кюхля... Вот Бонч-Бруевич за архив мой предложил 500 р. и когда я поднял шум, написал мне честное письмо: «Я, да и мои товарищи считаем вас второстепенным поэтом, не обижайтесь и на нас не сердитесь — другие и даром дарят...» Я не Хлебников (по Калецкому), я Кюхельбекер — комическая сейчас, а может быть, и всегда, фигура. Оценку выковывали символисты и формалисты. Моя цена в полушку и у тех и у других...

Мы решили систематизировать, с его слов, курьезы низких оценок его за 30 лет».

Он убежал на улицу. Калецкий вякает о том, что высшая оценка его стихов «понимающими» не совпадает с оценками масс. Я: — (играя в шахматы):

Коль не совпадает,
Масса не читает,
Значит, он страдает целый век.
На других похожий,
Помните, он тоже,
Тоже настоящий человек.

15 июня

Оська пишет рецензию на навозного Санникова¹ и хвалит его (из уважения к Белому, кот<орый> его

¹ Рецензия на книгу Г. Санникова «Восток»: Стихи и поэмы 1925—1934». (М., 1935). Была опубликована в журнале «Подъем». 1935. № 5. См. раздел «О. Э. Мандельштам: Статьи».

хвалил), а я говорю: вы обычно ругаете хорошее, а это первый случай, что хвалите плохое. Он злится...

16 июня

Вот конец дня: у Мандельштамов — дико пишется рецензия... Сегодня год их отъезда из Чердыни. Мы сложились и купили бутылку вина. За рецензией оно осталось неоткрытым...

И мечетей суровые скулы
Проступали арабской резьбой¹.

Надин: — «Мечеть на скулы не похожа».

Ося: — «Надя, это и лицо и мечеть сразу, поэт так хотел сказать».

18 июня

Сегодня кончена «Баринова» (23 строки). Во время работы Надин вмешалась (оттирая меня и смазывая мои разговоры). Он: — Надюша, мы должны побыть одни, это может только Сергей Борисович. — Она примирлась и по-своему счастлива.

19 июня

У Мандельштамов волнения: Осип Эмильевич проходит медобследование на предмет установления нетрудоспособности (рука) и установления необходимого объема лечения. Волнения. Но все это сейчас снято. Сегодня умерла жена Калецкого. Надежда Яковлевна говорила, что ее (Н. Я.) отец был единственным человеком, перед которым Ося не хорохорился.

20 июня

...Подобедов красноречиво вынул из кармана желтый «Восток» и сказал О. М.: «Какая пакость — и печатает Москва». О. Э. — ему: «Я не могу ругать у него все огульно». На пути с кладбища² О. Э. <...>: «Задал я работы Подобедову — читает Санникова». На

¹ Стихи Г. Санникова.

² В этот день хоронили жену П. И. Калецкого.

мои общие (не формулированные) возражения начинал кипятиться: «Что за чистоплюйство! Мы не можем из книжки в 1000 стихов выбрать 300 прекрасных; хотим, чтобы была гладенькая, обструганная книга. Я не могу так швыряться поэтами, отмахиваться...»

«Вы боитесь поверить Вагинову, называете Багрицкого «подпоэтом», а тут выхваляете четверостепенное. Кто, судя по Вашей манере делить на сорта и ранги, выше — Багрицкий или Санников?» (пауза). О. Э.: — «Санников». — Я хвалю «Победителей»¹, говоря, что это стихи, какие дай бог писать всякому (!), он мне возражает, что это «Гумилев на революционной романтике».

...«Вы делаете нехорошее дело (и недаром до сих пор от меня по секрету — ведь рецензию мне не читали). Вы должны были бы писать о Багрицком, Вагинове». — Он после большой паузы скисает и — носом к стене...

23 июня

О. Э. М.: «Подлинная поэзия перестраивает жизнь, и ее боятся».

27 июня

Сегодня вроде оживление. Именно: О. написал 10-стишие. О море и Стамбуле. Первый стих:

Бежит волна волны волне хребет ломая

Я в спор о идиоме: «волна волны» (что это такое?), хотя сам факт употребления одного слова троекратно в падежном изменении очень интересен и, в частности, дает интереснейшее ритмическое движение здесь, раскачку. Еще несколько замечаний. О. на дыбы. Н. рада, что спор со мной, и похваливает. Он ушел чинить сапоги и долго один бродил по городу, терзаем сомнениями. К вечеру сделано:

Бежит волна волной волне хребет ломая,

т. е. нарушена связь волна волны, а зависимость с изменением падежа дала смысловую связь между всеми тремя волнами. И натурально, и принципиально здо-

¹ «Победители» — книга стихов Э. Багрицкого (М.-Л., 1932).

рово (вот где слава Хлебникову!) Сохранен чудный черновик. Вещь очень хороша. Н. во время конца доработки изгнана («Надюша, это дело семейное, оставь нас!?!»).

О. знает, что я сейчас работаю над стихами (дома). Увидел в блокноте, тобой присланном, «Осенние приметы» Заболоцкого. Попросил прочесть. Я чудно прочел. Он и Н. охали и оживлялись. В конце... он стал многословно ругать. Ругань такая:

«Обращение к читателю, как к идиоту, поучение («и мы должны понять») — тоже Тютчев нашелся... Многословие... Подробности... А что мы узнаем? Что корова существо на четырех ногах. Природа-то перечислена. Также Гете нашелся... Это капитан Лебядкин, а не стихи... В хвост и в гриву использован формалистический прозаический прием отстранения (я поправил: остранения)... Все на нездоровой основе. И стихито это не Заболоцкого, а ваши». Я сказал, что они из «Известий». Н. вспомнила об этом... «Ну, тогда на вас похоже, сказанное больше относилось к вам. У Заболоцкого тоже все так же, но я думал — это вы».

29 июня

Только что вернулся от М-ма. Усталый, как после 100-часовой работы. В твой белый блокнот надиктовано больше ста пятидесяти строк, а главное, обнаружилось вещи, им начисто забытые... Вещи порой первоклассные. Куча коктебельских стихов невозвратима, а эти попугаи психуют из-за потери коктебельских камешков. У Н. постепенно выветривается ко мне недоверие (точнее, нежелание пускать к черновому наследству)... Она обещала записать потихоньку то, что сам О. не дал.

1 июля

Вообще с ним очень трудно, и минутами все кажется лишним. Но стихи, может быть, только он и умеет писать сейчас.

2 июля

У них сейчас тихая драма. А я повинен в ней. У О. есть женские вещи, не ей посвященные, а есть вещи, на-

писанные в часы, когда она думала не о нем (их она наизусть не помнит и не любит). — Вспоминанье для диктовки мне тех и других привело к воскрешению запретного прошлого. Они стали заниматься мельчайшими взаимопрекаами и (я уже писал) излияниями мне горя своего. Бежать бы мне от этих мест — вот одно-единственное, что могу говорить об этом. Неловкость не хуже той, какую мы испытывали при Роме-Жениных затмениях. Все кажется — вот сейчас скандал разгорится, а стихи, к слову сказать, становятся яснее и сильнее от этого...

5 июля

Сегодняшний мой день такой: дал деньги хозяйке, потом М. (в долг дня на 4), и у них устроили обед. Надин готовила по многу купленным продуктам (суп овощной, яичница, блинчики с земляничным компотом — вышло рубля на три с хвостиком на нос; в заключение О. сбегал за 300 гр. мороженого). Потом дождь. Шахматы с Надин: если она не берет назад ходы, я не проигрываю, но сам от переигрываний воздерживаюсь с трудом — привык. Здесь Камерный театр. О. знаком там, и решили идти на «Сирокко»¹. Пошли. Опоздали. Сидели в оркестре (очень весело и видно). Артисты Осипа уважают. Вчера у них дома была Ефрон, завтра будет несколько. <...>

Пьесу недосмотрели: они по неуравновешенности, я за компанию... Они все пишут Гете (для радио). За вечерним чаем — я: «А помните Кузмина стихи о Гете? (в «Нездешних вечерах»). — О. морщится: «Наверное, плохие». Я читаю (а стихи хорошие); он читает что-то из «Сетей» и добавляет: «Гумилев говорил, что поэт К. плохой». Я говорю: «Это почти так, т. к. лучшее — «Гуль» и «Форели»² — написаны много времени после оценки Гумилева». Несколько общих фраз о произнесении некоторых слов, и я говорю: «А как надо Конквистадор произносить, об этом спорят все, знающие Гумилева». О.: — «О нем рассуждает много народу, которому этого не надлежит делать. А книга первая не

¹ «Сирокко» — музыкальная комедия.

² Имеются в виду сборники стихов М. Кузмина «Новый Гуль» (Л., 1924) и «Форель разбивает лед» (Л., 1929).

такая плохая, я ему всегда говорил, что он хорошо начал...»

6 июля

У Мандельштамов либо сегодня, либо завтра артистки Камерного на варениках. Рад, что (сознательно) отсутствую.

9 июля

М. погружен в радио (Гете, которого просят еще подправить; это три недели работы Надин и О. пляса вокруг). Он собирается от газеты ехать в колхоз. Его это оживляет и занимает. Стихов нет. Он самопогружен. Я получил Сумарокова, когда его не было дома, показал Надин Сумарокова, та в восторге, пришел О. — тоже, оба зачитали.

11 июля.

День длинный. И, прежде всего, паспортный. В отделении милиции — очередь, часы — и паспорт (трехмесячный). Заходы на почту и к Мандельштамам в перерыве стояний. ...У Мандельштамов некоторое успокоение. Хотя Ося огорчен (ошеломлен) приходом «полковника» (объясню, что это такое), смертью котенка и некоторыми неладями с Гете. Это днем, а сейчас, вечером, — мир и благодать, и планы.

21 июля

...к Мандельштамам. Там только Н. — играли в шахматы. Она говорит: «Оська ругал вас самым пышным образом всю ночь и мне не давал спать. В результате стихи переделаны. Вы огромный молодец. Без вас он бы их не доделал». Когда О. пришел — мне поднесены варианты на 7 страничках и напечатанный на машинке окончательный текст. Стало лучше, тверже. Он, входя, смеялся, что пишет полушедевры. Сейчас вместо половины, т. е. 50% — стало, м. б., 80%. Есть, например, стих: «Как венки, шагающий в покое...». Всего не посылаю, так как это еще не конец, и вся история текста слишком многообильна.

22 июля

Теперь о М. Сейчас ночь (1 ч.). Луна уже полувдавленная, а в 12.05 они уехали к станции Калач на декаду, м. б., более. Боже, какая сразу пустота, т. е. отсутствие назойливого фона ста с лишним дней. Расстались более чем нежно. В вагоне (они внутри, я снаружи) ели куриные котлеты, запивая их вишневым морсом с нарзаном. Говорили нежные вещи. Обещали писать. Поняли и сказали, как привыкли друг к другу. Совсем расставаться будет очень трудно. О. последних дней поглощен моей литературной легализацией. Умоляет писать стихи; хотя бы легкую статью о Кюхельбекере; рецензии. Все чуть шало, но искренно и проникновенно (хотя это и порыв). Н. держит себя ультрочудно (поняв и приняв мою роль в О.). Получается немного трогательно, особенно после того, как я его так ругал, но невероятное счастье — наша встреча. В конечном счете ждать лучших результатов и нельзя, может быть. Протест на меня в работе — лучшая похвала, а уступки в работе над его стихом, его согласия — даже оценки не имеют. Надо работать и жить! И верить в столичные встречи.

31 июля

[После поездки в Воробьевский район.]

Утром (в 9) разбудили Мандельштамы. Записываю тебе первое и главное. Они бодры. О. весел. Там было так. Жили они в Доме крестьянина. О. пленил партийное руководство и имел лошадь и автомобиль и разъезжал по округе верст за 60—100 с партийцами знакомиться с делом. Надин говорит, что он их очаровал, но чем, не признается, т. к. это было не в ее присутствии. Говорит, что произошло это потому, что под боком не было любящей жены, которая при его взлете сказала бы: «Молчи, дуралей». О. мне говорит: «Два с половиной часа чувствовал себя Рябининим (секр. обкома), который инспектирует область. Они думали, что приехал писатель, расшатанный, с провалами, а я им... я им... дал до 12 важных указаний и без числа мелких...» На вопрос мой — каких же — он лукаво смеется и говорит, что не может пересказать, что это было вдохнове-

ние. По сути, он распустил перед ними хвост и действительно пленил личным обаянием, которое при подобающей настроенности излучается им здорово. Покрутит и напишет очерк. Это внешнее. А фактически это может быть материал для новых «Черноземов». Говорит: «Это комбинация колхозов и совхоза, единый район (Воробьевский) — целый Техас с очень сложной картой чересполосиц. Люди слабые, а дело делают большое, настоящее искусство, как мое со стихами — там все так работают».

О яслях рассказывает, о колхозниках. Их там (М-ов) заели клопы и блохи. Он говорит, что эти звери для клопов мелки, для блох велики, назвал их комбинационно: **блохохотам**. Говорит, это новая разновидность. Факт тот, что он, не зная деревни, видел колхоз и его воспринял. Но сам добавляет: «Вот все ошибаюсь, скажу про какого-нибудь председателя, что он молодец, что ему дивизией бы командовать, а секретарь райкома мне скажет, что тот отменно плохой работник; то же с отдельной колхозницей. Видите, как обманчиво!»

Как ребенок мечтает поехать еще туда. Глупости; газета туда же не пошлет, а если сам приедет, не будет той короны, что венчала его сейчас.

1 августа

О. пишет очерк, и вроде рецензий, по секрету. Я и рад, т. к. ценю в нем только стихи, остальное интересно только как материал к ним или пути от них во вне. Но тут одиночество снова...

2 августа

Теперь об Оське. Но все записать очень трудно.

Он не может написать очерк.

Об этом Надин: «Это медленное выживание человека — давать ему работу, ему чуждую, но по сравнению с Москвой, и рецензии, и радио, и статья в газету — невероятная свобода. Все это рано или поздно приведет к тупику. Но каков он? Опять бросаться в окно? Те годы разлада кончились стихами и... Воронежем... Ося цепляется за все, чтобы жить, я думала, что выйдет проза, но приспособляться он не умеет. Я за то,

чтобы помирать...» — это мне без него. Его утешаем. Он: «Я опять стою у этого распутья. Меня не принимает советская действительность. Еще хорошо, что не гонят сейчас. Но делать то, что мне тут дают, — не могу. Я не могу так: «посмотрел и увидел». Нельзя как бык на корову уставиться и писать. Описывать Господь Бог может или судебный пристав. Я не писатель. Я не могу так. Зачем это ездить в Воробьевку, чтобы описывать, почему это радиус зрения начинается за одиннадцать часов ползучки от Воронежа. Из Москвы наши бытовые писатели ездят за материалом в Самарканд, а Москвы не могут увидеть. Эти «понятники» меня с ума сведут, сделают себе же непонятным. Я трижды наблудил: написал подхалимские стихи (это о летчиках) — бодрые, мутные и пустые. Это ода без достаточного повода к тому: «Ах! Ах!» и только; написал рецензии — под давлением и на нелепые темы, и написал (это о вариантной рецензии) очерк. Я гадок себе. Во мне поднимается все мерзкое из глубины души. Меня голодом заставили быть оппортьюнистом. Я написал горсточку настоящих стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последнем. Это начало опять большой пустоты. Я думал, что при доброжелательности жизнь придет, подхватит «фактами» и понесет. Но это была бы не литература. А пробиться сквозь эту толщу в завтрашний или еще какой день не могу, нет сил. О нашей жизни говорить еще рано, надо действовать. Можно уже стихами, и то потому, что они свое знание вкладывают, привносят. А давать черновики, заготовки прозы я не умею. У меня полуфабрикат ужасен, я или ничего не даю или уже нечто энергетическое. Я хотел очерком подслужиться. А сам оскандалился. Стихами — кончил стихи; рецензиями — наплел глупостей и отсебятины; очерком — публично показал свое неумение (он его показывал в редакции, и там сказали, что плохо). Это губит все. И морально, и материально. И бросает тень сомнения на всю мою деятельность и на стихи». И т. д. и т. д.

Киса, это запись почти дословная, только очень сокращенная. В жизни это причитания, почти слезы. Но не психованье. Все трезво, и есть вывод за целый период. Надеюсь, что оно минет. Что ни нового безумия, ни самоубийств не будет. Но по тому, как подтянулась Надин, и по ее словам о сходстве состояния с первым. слу-

чаем, да и по собственному наблюдению — вижу, что скверно. Вся его «деятельность» не выход. Положение скверное и упирается в тупик материальный. Но беда не так близка, дело не в ней, а в том, что Мандельштам взвыл от халтуры. Не тот Осип Эмильевич (или Ося), что с нами обедал, а гениальный, равный Овидиям и чувствующий, что стихи трещат. Здесь даже ирония не напрашивается, и Оськой зову его только по привычке... Если б не было неловко (немыслимо), записывал бы все при нем. Много блестящего, но это было бы кошунство — человек чуть ли не вены вскрывать себе (в 3-й раз) хочет, а я с карандашиком каждое словечко уловляю. Может быть, он хвалил свою «Скрипачку». О всем воронежском периоде говорил как о сломленном и недостроенном. Корректуры рецензий отнесены в «Подъем» после мучений: «может быть, их снять?» Мы с Надин уговорили не снимать. Через несколько часов я нашел на полу четвертушку бумаги: — конец рецензии о метро. Оська к Н.: «Надюша, убери этот селедкин хвост — он воняет и перетух». Это совсем не смешно. Теоретически сложность какая! Все, он (и я) об этой самой жизни, а вот прямо описывать ее нельзя.

Все это утомительно и на такой высоте, как сегодня держаться не может. Но бежать от этого и беречь себя не хотел.

3 августа

У Оси «пожар сердца почти кончился. Т. е. начинается залгание действительного положения вещей (это от слов *заливание* и *лгать*)... Деталь ко вчерашнему. К вопросу о «описании». Он: «Почему это санкция, поощрение должны быть двигателями литературы! Меня в рай пусти, я его не опишу, хотя меня и будут просить это».

А сегодня : «Отобраны, заложены жизнь и смерть — выданы ломбардные квитанции. То же у других людей. И идет разговор с помощью квитанций, а настоящее все спрятано, концы в воду. Действительность надвинулась. Мы ощущаем ее корку, ее отвердение. Жизнь — это же движение, действие, событие — его нельзя описать. Я должен писать белые стихи, но не обычные без рифм пятистопные ямбы, а мои, вроде «Нашедшего подкову»,

где все держится на прозаическом дыхании, кусками, члененно, за пунктами. Чтобы эпитеты стояли, как в оде, на своих местах: бум, бум и БУМ!» Я: — «А отчего нельзя это в обыкновенных стихах?» (я-то ведь ненавижу «Нашедшего подкову» etc.). Он: — «Все от обмеления словаря, а это от воронежского оскудения интеллекта. Не читаю книг, не спорю, и вы-то (т. е. я) со мной не говорите, не спорите».

Дальше опять о том, что все обмелело, есть только квитанции, а не смысловые слова. Все это параллельно попыткам писать большую прозу, где «очерк», может быть, будет как эпизодический момент. Идет и переписыванье стихов о летчиках. Благо, что мир воцаряется...

4 августа

С почты иду к М. Они вчера коллективно кончили очерк, и, м. б., наступит полный мир, — тогда начну дойти Оську исторически. С собой предусмотрительно беру бумагу и развитый вчера планчик. Он человек стихийный и важно его втянуть, толкнуть в определенном направлении, а там он и сам покатится. Хоть бы успеть!

6 августа

Сейчас (только что) он закончил мучившие его строки Летчиков. Веселый бегаёт по комнате, подпрыгивает, машет руками, говоря, что боль сломанной руки прошла, так как рука только функция психики, а сейчас он доволен и спокоен.

...Нет темперамента спорить из-за стихов, их О. не показываю, и он верит, что я писать не умею. Так, очевидно, спокойнее. Сказал фразу: «В России пишут четверо: я, Пастернак, Ахматова и П. Васильев». А меня, наверное, кошки съели.

[Ночью. Дома.]

...еще раз я умудрился понять огромность мандельштамной встречи. И расставанье страшно. Откидывая все авторские распри, мы очень полюбили друг друга и загрустили при мысли (мною искусственно подогретой) о разлуке. Ведь сознание вот какое: не было бы, ну, скажем, Института (?) или сейчас Оси — у меня представление о мире было бы скуднее и хуже. И жаль себя отрывать от настоящего общения: мы вот сегодня до-

шлифовали «Летчиков». Он подкис да и говорит: «а мы правительству заявление подадим, что отдельно не можем». — Это не только шутка.

21 августа

...сейчас три часа, только что вернулся от Мандельштамов. Там были артистки. О. читал, говорили, ели кекс, колбасу. Это с 12-ти. А раньше доделывали «Летчиков». Еще раньше — О. был в редакции, мы с Н. играли и разговаривали...

26 сентября

У «Осек» новые волнения... хотя финансы налаживаются, он взялся делать передачу «Гулливера у великанов» (образец «У лилипутов», сделанной Н. Заболоцким!). Там стихи:

Мы настоящие солдаты
Даты, — даты, — даты, — даты.
Мы лилипуты
Путы — путы — путы — путы
etc.

О. ругается злобными словами: мерзость, пошлость, отвращение и все такое...

Я тщетно объяснял, что *даты* и *путы* — монотоннейший припев, очень вяжущийся с детскими песенками (передача была ведь детская).

30 сентября

О. все пытается писать проспект фольклорной книги — у меня советы выпрашивает.

2 октября

С Н. опять биографические разговоры, раскрытие посвящений. <...> Мандельштамы клятвенно обещали, что через Анну Андреевну я буду работать над Гумилевым.

5 октября

Днем расписывали Оськи... У них ремонт, грязь, хотя и сносная. Н. едет в Москву, а я боюсь остаться с О. Оба с ума сойдем, вернее, он меня сведет.

7 октября

У О. назначение на эфемерную должность в театр. Он юн и весел. Где они, психования отчаянные? — остались так только, крошечные...

10 октября

...В стихах мы (т. е. я) спорили до конца, так как была абсолютная ответственность за стихи лучшего, может быть, в мире поэта. И я спорил до смерти, а в халтуре это просто невежливо, так как низкая выработка будет. А кроме того, меня не поколеблет в стихах его брань (*а брань — фон творчества у него*). Он всеми словами ругает строку, и кажется, ее заплевал полноценно, а потом она же остается, а ряженный гений в итальянских переводах в радио непомерно авторитарен...

Когда я показал список учтенных цитат, Ося «хвалил» и умилялся, но платонически. Когда начали вместе работать, стоял вопль на мои куски и линии, их связывающие. Вопль: дайте готовые две страницы для радио (аналогично: дайте готовую строфу — в том переводе). А я не успокаивался, как раньше, а орал на него, как за стихи, и методически твердил о своей концепции. Я чертил на стене кривую действия. Он кидался ничком на кровать со стоном, что устал и ничего не понимает, Надин кусалась, а я долбил. <...>

Кончалось тем, что Ося слюной (как пчела) склеивал кусочки (а без кусочков — только брызганье слюной!). Работа шла от тупика к тупику, а там и на столбовую. Работаем. Монометр показывает давление, близкое к стиховому... Здесь Вилли Ферреро. Он по сто раз репетирует с оркестром одни и те же куски: пять репетиций. Этого никто не делает. Ося был на репетиции. И в восторге от его упорства. Мы работаем, как Вилли.

11 октября

Здесь продолжает довариваться «Сталь»¹. Момент тормозящий (новый) в том, что Н. боится за политическую четкость передачи и страшает Осю, что будет идеологический провал. Это вздор, но он частично поддается. Настоящая же причина некоторой прохладности к «закалению» в том, что он зачисляется в театр на 400 рублей, и его сразу обуяла лень к работе.

14 октября

О. уже перебрались из Бристоля. Ферреро уехал, и ремонт окончен... У «Стали» полу-пауза.

Вечер: был у Шваба, флейтиста («Мариинский», а с 18 г. здесь), он шахматист I кат. Проиграл ему 3 партии. Покой и семейный чай, разговор почти по-немецки. Играл на флейте Моцарта и куски из Баха. Немного на рояле (Бах). О. читал свои стихи, преимущественно где есть о музыке.

Днем произошло одно травматическое событие. Споткнулся, упал, разодрал немного левую ногу, подвихнул правую. К Швабу пошел, но после сидения весь вечер нога разболелась. Оськи хотели меня оставить у себя, но доехал третьим номером.

15 октября

Сегодня день провел дома, даже лежа... Часа в 4 О. принес обед: мясо и блинчики.

16 октября

У О. довольно благополучно с театром, но это требует времени, и он нервничает и ищет повода опорочить работу, чтобы избежать ее. <...>

Утром зашла Н. Вместе пошли к ним. Играли в шахматы (счет 4¹/₂—15¹/₂ в мою пользу). А к вечеру они готовили сокращение пьесы «Платон Кречет»² — сокращение для передачи по радио (это служебное зада-

¹ О. Э. Мандельштаму заказали на радио композицию по роману Н. Островского «Как закалялась сталь».

² «Платон Кречет» — пьеса А. Корнейчука.

ние). Вечером же Гольдони «Слуга двух господ» — премьера. Сидели все врозь на свободных местах. А в конце Ося, изумленный и побледневший, подошел к нам: «Со мной феномен произошел: я забыл, кто я, это раздвоение личности...» А Н. острит — «Слуга двух господ» (т. е. театр и радио).

17 октября

С Н. записывал биографию.

21 октября

О. на «Камень»¹ и обрадовался и разгрустился.

22 октября

Чего не было давно, пришел от О. поздно — неожиданно опять литературные разговоры, воспоминания.

23 октября

О. в театре и уже начинает там скандалить. Ему не дают «фору», а он лезет.

...Сегодня О. принес анкету для театра, и ее вид подействовал на меня ужесточающе...

24 октября

Дома... Занимаюсь О. Смотрел свою тетрадь. Лина, это бездна материала! и мыслей!! Необходимо продолжать. Иначе глупо и нечестно. Всегда потом, при надобности, можно перетрясти, но сейчас писать и писать.

С О. немного работал над его прозой. По его «Шуму времени» и «Египетской марке» примечания труднее добывать, чем по стихам: ведь это проза, значит нужное уже сказано и не требует повторения. Это его логика.

25 октября

Н. старается ублажить меня диктовкой его биографии. И то благо, но освещение событий у нее с претензией, с наглостью и пошло по окраске, не в пример О.

¹ Жена С. Б. Рудакова прислала Мандельштаму издание «Камня» 1913 года.

26 октября

Сейчас много работаю над О. Стянул копию анкеты, им заполненной. Родился 3 января 1891 г., и интересное изложение своего социального происхождения. Документик!

Н. систематически диктует его (и свою) биографию. Есть 19-й, 20-й, 21-й и начало 22-года.

1 ч. («Как закалялась сталь») сделана так. Взял Островский, составлен монтаж из его кусков, но т. к. они Осю не удовлетворяют художественно, он многое пересказал в своем вольном стиле, приукрасил бедного автора своей манерой, так сказать, подарил ему свои красоты. II часть сделана мною. Честный сбор цитат. Согнанных и подогнанных...

Сегодня он читал свою первую часть на радио. Там испуг. «Книгу, одобренную правительством, признавать негодной стилистически?!!». Передача снята. Деньги идут только под первую часть. Похоже, что на радио (не наверно еще) не будут больше давать работу. О. горд: «Опять я не смог принять чужой строй, дал себя, и меня не понимают» (я-де, гений)... Там один из радио-работников в кабинете зава стал его утешать: «Это не ваше ампула». Он раскричался: «У меня нет и не было моего ампула...» (т. е. я молод и много обещаю и безграничен). Все буффонство и биографический анекдот. Самоупоенье.

Н. опять собирается продавать квартиру. Это перманентно.

27 октября

Вечером с О. были в Музтехникуме. На 2-х ролях. Моцарт и Григ. <...>

О. все сходит с ума о своем положении. Об этом у меня копятыся записи.

28 октября

Из изд-ва письмо о расторжении договора на книгу о Воронеже. Срок ее 1 сентября. С него требуют аван-

совые 1800 р. М. б., это только формальность. Их не разберешь. Требуют и оплату почтовых расходов. О. нежно острит, что предложит немедленно погасить половину задолженности, т. е. 30 коп. за марки этого письма, а 1800 р. — потом. При этом мрачные проклятия литературе и всем издательствам. Его полубуффонская речь: «В Воронеже я благополучен: должен писать книгу о городе, колхозные очерки, передачи о Гете, Павке («Сталь»), Платоне etc, объяснять всех музыкантов мира для радиоконcertов, давать советы руководителям радицентра, исправлять для Большого театра переводы Шекспира, Соколовского и Радловой, создавать итальянские песенки, сочинять на нем: и фр. языках приветствия Коминтерну, режиссировать в театре, поддерживать связь театра с союзом¹ (хочет выхлопотать союзу бесплатную ложу, а с союза теарецензии), поддерживать неугасимо хорошее настроение, готовить собрание сочинений; при всем этом не мозолить глаза обществу, а быть в рамках вспомогательной работы, черновых ролей...»

...А между тем я в миниатюре: он все хочет и боится писать письмо², а вдруг ответа не будет?! Что тогда?!

...Из О. постепенно выкачиваю дело. То же (активно весьма) из Н.

2 ноября

Вот ты пишешь, что я не хочу, не говорю тебе о литературной жизни своей (и О.) — боишься, что это сознательно. Кит, мой маленький, да разве это может быть? Просто тот кусочек разговоров был малым островком, это во-первых, а во-вторых, то, что теперь и удавалось выудить, — это чистые комментарии, и они сразу вставали на свое место в блокноте и, естественно, не дублировались в письмах, не пересказывались. А бытовым образом (особенно с его болезнью) мы бесконечно замотаны. Само по себе это даже повод для писем, но последние дни я как-то лишен способности наблюдать, может быть, нет деталей, а одна полоса нервов. А главное, что пишу тебе всего себя без нарочных утаек. Те-

¹ Имеется в виду Союз писателей.

² Имеется в виду прошение к властям.

атр, болезнь, etc. — как комментарий должны воплотиться в тетради № 2. В этом смысле их обдумываю. И тут проклятое его фонбаронство: во всем видеть фабулу, фабульность своей судьбы. Это ложно, надуто и вместе безумно вяжется с его образом. Болезнь, как интервал, дала убеждение, что служить больше нельзя, это есть самоожжение, это вредно. Упадки сменяются скандалами с Н. (с терминами: дура, дурак, скотина, сволочь и т. д. в рамках мещанско-комнатной ругани с психологическими экскурсами в область этики поведения и общежития). Деньги у них почти последние — тревога; а все к мысли, что он устроен (служит), привыкли и не беспокоятся. Н. тоже нездорова (сильная простуда). И я сегодня звонил ее брату... Ответ от Евгения Яковлевича, что «общее не время», а деньги, может быть, еще достанет (это у них называется независимость от родни...). Богомолов мил, внимателен и сам одинок и задавлен... О. стал ему о своем величии доказывать... Хорошо, что я успел Богомолова предупредить (не столько о величии О., сколько о мании величия, как о следствии жизненной загнанности при фактически первоклассных литературных данных, — ведь яснее ему втолковать нельзя, в большее со слов не поверит). Это все для 2-й тетради. Пусть не звучит сплетней. Стыдливые многоточия всегда можно будет вставить. Психованья — это налет, а впрямь они больны, и сейчас не грех с ними возиться. Сегодня оговорено: в день полчаса литературной работы (комментарии — насильственно, как лекарство).

3 ноября

У О. денежные волнения, которые к тому привели, что я должен был еще раз звонить Евгению Яковлевичу и Шкловскому (!). Но пришла телеграмма, что за Мопассана высылают 500, и они успокоились. Болезнь фактически кончилась... А О. все хочет болеть, чтобы жить льготами. Пустое дерганье и усталость. Это надоело и уже скоро кончится, я надеюсь. <...>

Читали «Марко Поло» Шкловского. О. говорит, что это начало отмены всякого чтения, как кино. А по-моему, минутами просто нестерпимо: особенно набор цитат про татар. Решено было все рассказать Шкловско-

му параллельно с устройством для Н. перевода в ГИХЛе. Есть идея звонить Пастернаку. Все это мандельштамовские штучки, а мое участие мотивировано тяжелой болезнью героя.

4 ноября

Сегодня у меня день поворотный. Именно — начало литературной работы. Мы почти час работали по Tristia, и, кроме того, я массу у него вытянул попутно. Я лукавыми разговорами (после полного выяснения данных по анализируемому стихотворению) свожу Оськину мысль на общие вопросы. Метод такой. Я говорю о своей (или чьей-нибудь) точке зрения, а он возражает и плывет по данному направлению, себя проявляя. Далее: выматываю сведения о писателях. Сегодня: Рукавишников, Сологуб, подробно Дм. Петровский и стихи последних номеров («Знамя», «Звезда», «Новый мир»). А фон — расспросы о теоретической работе — о его Данте. При этом он чувствует, что фиксирую только комментарии к стихам!!

5 ноября

У Осек мир. Т. е. он встал, не выходит еще. Читаем Шевченко (по-украински и в переводе Сологуба), Медведева о формалистах...

Много и хорошо работаем — через 3—4 сеанса кончится книга 1928 г. Масса ценнейшего укладывается в блокнот с примечаниями. И опять тупик: понял, что пишу примечания сам, т. е. из О. выматываю и огромную долю своих мыслей апробирую и с его изволения фиксирую. Сам это всегда отделить сумею, но делать двойные примечания нелепо сейчас. А тут игра: если это М. — ему все верят, а если это я — сомнения. А выдавать все за М., значит, себя «затирать». Все это нормально должно утрястись и в боковых, и в предисловных словах должно быть четко названо. Верно? А техника растет. Как он станет менее подробен, я ему чего-нибудь вопросительно-раздражающего, и он оживляется, и едем дальше.

Н. сплошь обыгрываю — шахматы и семечки — нагая вольность: вопреки вкусам О.

6 ноября

А днем — по покупочным делам — бега бестолковые. Просветы разума у О., с ним почти хороший разговор о Хлебникове, об акмеистах, а после (часов с 6) психование — страх за болезнь, и я тащусь к Богомолу, с ним обратно, он разговорчив и сидит вечер. Пусто и бессмысленно. О. не замечает, что собеседник не в курсе его дел и тонко плетет ему о своей политике, а тот ушами хлопает. Пусто, и нет все оправдывающей работы, напряжения, при котором О. из маниакального большого делается человеком, собой. <...>

Попробую записать кое-что о Хлебникове и ложусь.

7 ноября

У О. разговоры о нашей форме жизни, о ее беспредельности узаконенной. Вдруг, как ижица, осозналась нелепость этого. Почему? Зачем это? И как в письме, что писал тебе в конце первого нашего лета (еще на «вы», еще до всего), стало ясно настоящее с высот будущего. Как изумительна встреча с М. И через все бытовые дебри его (их) изломанного лица пробираемся мы к историческому и неповторимому. Он говорил о моих стихах как о будущем, о своем автопортрете на них и о изумительной моей выдержке к нему, к его стихам. Линонька моя, когда это кончится, будем вместе, я буду писать о нашей воронежской свободе, о мире, открытом в будущее за счет ненормального настоящего.

Написали план работы. Именно: кроме примечаний, составить письма (до десятка): в Секцию поэтов, Щербакову, Пастернаку, М. Шагинян, Селивановскому, в редакции журналов. Снабдить их стихами и пояснениями к стихам (а мне это и комментариями будет). Это должно создать оживление вообще, а для О. — «внутреннее движение». Пусть утопия, но работа и нужная, по существу, как анализ. Сейчас кончаем *Tristia*. Лина, характер записей углубился невероятно. Боже, сделать бы так Гумилева! Самому или с Анной... Андреевной! А там и теория поэзии сложится сама.

8 ноября

Сегодня — обыкновенный день. У О. чуть-чуть осложнилось его здоровье, м. б., утомление после первого выхода на улицу и неумеренной подвижности: t° и головная боль. Вечером капризы и постель. Не занимались из-за этого. Но, читая «Новый мир», обсуждали журнальный вздор...

О себе говорит, что казенный период кончился. Что больше не хочет ни театра, ни радио. А рупор на улице кричит «Кречета», но не в его переделке.

9 ноября

...Ем опять у Осек с минимумом оплаты (обеда), остальное дома (папирос больше не покупаю).

10 ноября

Вот и скандал, если это нужно. Дело такое, сегодня поругался с Оськой. Обстоятельства и источники такие.

С давних времен (до тебя и при тебе) гипертрофия его биографии, работы etc. С моей стороны одно объективное наблюдение. Работа наша идет по чайной ложке в пятидневку и все такое прочее. У меня настроение под давлением тыняновского молчания и всего ленинградского-прошлого с Гуковским, Пушкинским Домом, etc. А здесь из-за него литературная безработица — закрыт «Подъем», радио и т. д. Ты все знаешь, но повторяю как мысли последних дней. Сегодня был в Публичке. «Литературный Ленинград» о выходе малой серии «Библиотеки поэта». Опять XVIII век (Ломоносов, Сумароков и все проч.). Т. е. еще ускользание одной возможности. Действуют такие радости нехорошо... Придя к О., почему-то решил об этом, т. е. о сборниках, сказать. А он бойко: «Вы тут работайте. Занят тот материал, работайте на новом. Если мысли есть, всегда выбьетесь и все получится хорошо». Я стал опять говорить, как вредно отражаются эти тормоза, как я мог еще в 29-м году работать официально и все (ну, ты знаешь), а он опять свое. Но гадко именно тупое равнодушные, прикидывающееся благими советами. Скандал на-

чался с того, что я сказал: «Будь у меня конченная и изданная работа, и вы по-иному относились бы к моим сегодняшним планам, не говоря уже о отношении Тынянова и литературы вообще ко мне». Он взбеленился, что я его обвиняю в низкопоклонстве перед литературой, его! ниспровергателя авторитетов!! и т. д. Злоба перешла в ругательства почти обычные, но чрезмерные. Все предыдущее и последующее я говорил очень спокойно, но вполне злобно, так что его корчи понимаю. Не надо было этого начинать, но, начав (т. е. обратив нескромно внимание на себя), не нужно было смягчать. Пусть это заложено в его характере, и пусть это повод и причина всех его ссор (от Горнфельда через Саргиджана до Вдовина), но мне от этого не веселее. Он опять (как тогда при тебе) вопил, что я его обвиняю в хамстве (теперь уже обиженно, а тогда стоически). Н. вмешалась, говоря, что, если бы его лишили Данта, как меня всей литературы, он не написал бы «Разговора» своего, а без Гумилева, Ахматовой, Г. Иванова и К°, м. б., его и не было бы вовсе. Он совсем очумел от этого. Стал орать, что все настоящее всегда пробьется, и т. д. и т. д. У меня нет темперамента пересказывать все; да это «все» и не так многообильно. Важно же, что я перехожу для него в разряд его «не понимающих» людей.

11 ноября

На фронте дела такие. Пришел к ним часа в 2. О. старается говорить об электричестве, погоде, в виде вставок о переводах Пастернака, но все слишком вежливо, хотя благопристойно в высшей мере. Н. рассыпается, мила etc. О. при этом сдержанно нервничает.

12 ноября

С О. мир. Читаем Шевченко, все трое одновременно. Мы с О. ритм и интонацию, а Н. произношение и перевод. Чудный базар.

13 ноября

Мотивы дня такие. У О. Веня (мой сожитель — бухгалтер) проводил настольную лампу, теперь уютно. О. здоров и бодр. Со мной нежен etc. Концепция его быта такая: не хочет (не может?) брать всех халтурных нагрузок, их боится; бюллетень не оформлен, и для поправки (осмотра и т. д.) он направлен в обкомовскую клинику. Говорить хочет так: я переутомлен, хотя и здоров формально, перегружена и легко возбудима психика, работы умственного напряжения делать не могу, мне искренне несвойственна работа, какую выполнял последние четыре месяца, отсюда — нервы и слабость сердца, сильно реагирующего на нервное возбуждение, т. е. отчипитесь и дайте спокойный отдых, не отнимая театральных денег. Позиция и откровенная, и хитрая, и вполне соответствующая действительности. Бюллетень дадут на основе истории болезни Богомолова, а вот дадут ли «отпуск» такой?

Пока — мир и Напареули¹. Немного разговоров вокруг переводов и Шевченко. Я (и он) читаю историю архитектуры. Очень интересно...

Все-таки привыкли мы с О. и нас не разгонишь сейчас. Никакие посторонние собеседники его не заменят никогда.

14 ноября

Сегодня — неожиданный Ленинград: Калецкий. Он за вещами приехал. Служба в библиотеке Академии Наук и все прочее (рекомендации Эйхенбаума, Оксман, Пушкинский Дом etc). Его явление рецидивно. В нас возбуждает зависть и еще что-то. А он еще корежится, что 350 ему и материально, и морально мало, что то да се. Но это пустое. Собираемся сыграть турнир по 5 партий (он, Н. и я)...

15 ноября

В университетской библиотеке взял книги по истории шахмат и Вельфлина «Историю искусств» (назва-

¹ Марка грузинского вина.

ние как-то иначе). Об этой книге с О. разговоры, сводящиеся к проклятиям Запада как системы наций. Сам он «лечится» через клинику обкома. Знакомит психиатра со своим творчеством.

17 ноября

Калецкий едет 20-го, а я решил выпотрошить его по части О. К тому же он засуматошен и выбит из колеи воронежским одиночеством. Я ночевал у него...

Дело оформилось так: он мне надиктовал сведения об О. периода раннего Воронежа. Тут отношения его с Союзом, планы etc, etc. Между прочим, планы организации рабочего университета по литературе с утопическими программами, планы фольклорной работы (по этой части у К. есть Оськина записка, копию ее обещает прислать из Ленинграда или тебе передать). Сведения не многообильны, но пополняют запас. Кроме того, К. отдал мне № «Подъема» со статьей О.

19 ноября

Теперь обстановка у Осек. В прямом смысле последствий ругани нет, но некая лживость извечна. Объясняю грубо: Н. ясно видит необходимость моего присутствия (ну, как минимум хотя бы, чтобы «общество» было), она и старалась тогда все сгладить. И это все с оглядкой на свои удобства. Ведь она едет в Москву, а О. один скис бы. Вот она и понимает, что меня надо задобрить...

Я весьма учтиво сказал, что загрузка мне очень вредна, что время гибнет, но это вполне необходимо, что случай редкий — войти, м. б., в регулярный заработок. Н., учтя неудобство О. выступления, стала сокрушаться обо мне. А он (о, дитя!) перемежает сетования (в тон мне) о гибнущем времени, со вздохами: «... Подождали бы все же загружаться до...» Все это проще, я обобщаю, конечно... Сейчас идут хлопоты вокруг врачебной комиссии: желанье получить «должную» оценку. Сегодня вечером у психиатра...

...письмо передаст Павел Исаакович (Калецкий). С ним провел весь сегодняшний вечер. М.к 8 ч. собирались к психиатру, а мы с шахматами ретировались к П. И. домой. Несколько сжато, но додиктовано кое-что об О.

Очень было бы хорошо, если бы в мирной обстановке он тебе что-нибудь дополнил или уточнил (вне связи даже со сделанным), а ты запиши и пришли...

Шахматы наши кончились 7 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$... С Н. почти не играю, т. к. О. нервничает при этом. Шахматы и семечки он с трудом переносит.

20 ноября

С Мандельштамами были в кино. На «Вражьих тропах». Местами очень и очень правдиво, т. е. портретно, натурально. В целом ложно и надутно. А впечатлительный О. по окончании, как свет зажегся и все встали, на весь зал изумился: «Надюша, как же это может быть такой конец? это плохая фильма?.. Как же?» Публика на отчаяние его интонации стала хихикать. А он и взволнован, и взъерошен, как воробей.

Вчера у психиатра заключение: **истощение нервной системы**. О. откровенно уже говорит, что цель «исканий» медицинских — быть на глазах, вертеться, а не лечиться. И похоже, что особых льгот, вроде обкомовской поликлиники, — ему не дадут.

...Сегодня проводил Калецкого: Боже, когда же я поеду?

22 ноября

Зашел к О. Он в деморализованном состоянии. Не верит в болезнь, как в путь, а это было, может быть, из последних вер. Н. едет 24-го. Пока начал его тормозить: записана забытая вещь 1930 года... В быту он потускнел, ничего более или менее твердого, четкого. Нытье одно.

23 ноября

У «осек» Лео Гинзбург. Осип перед ним извивается, читает стихи. При этом сам все говорит, а потом вопит: «Так? да? да? да. Так? Вы правы. Так! да...» А тот жметя (он к тому же заика).

27 ноября

(Из больницы, где С. Б. Рудаков пробыл по 10 января 1936 г.)

Еще 24-го врачиха из Красного Креста была, но решила (как и я), что это ангина. Полтора дня я пролежал у М. Они были изумительно заботливы. Когда 25-го я обнаружил красноту кожи, началась паника. Пришла Кедрина (помнишь?), должен был быть Леонид Иванович, но по вызову Кедринной меня увезли в больницу... Осипу Эмильевичу оставил доверенность на письма... Троша и Веня очень очень трогательны. Н. Я. пока в Москву не едет, так как Осип Эмильевич боится захворать, один остаться не хочет.

10 декабря

От Н. записка — посылаю: храни для истории (все-таки оценка Оськи) ¹... Троша принес посмертный сборник Гумилева. В нем — спасенье — святой гений.

26 декабря

Свежие фактические данные должны найти себя, встать на место, воплотиться. А это великая тяжесть. Можно ее обойти. Это то самое, что подчеркивает Эйхенбаум в последней газетной статье о Толстом ², это тяжесть творческой необходимости. Без нее нельзя. С нею ух как невесело бывает. Кажется, что мог бы сейчас это все (материалы) диктовать, рассказывать, превратить в ряд мелких докладов-сообщений. Но писать одному, молча, на этих листках мучительно. Это же чувство бывает, когда новые стихи намечаются, но неясно, это же чувство, когда они не ловятся. И вместе с тем работаю.

Писал вот что. Рассказываю, хотя это тайна, т. е. полная еще неопределенность. Рассказываю, хотя тебе, может быть, было бы интереснее видеть готовое.

Так вот. В беспорядке на большом листе набросал иероглифические факты: так эпизодов на 30. Затем на этих листках стал их (факты) группировать. Принцип: пороки. Так сказать, дантовский ад. Хотя номенклатура

¹ См. раздел «О. и Н. Мандельштамы. Из писем воронежского периода».

² Эйхенбаум Б. Как работал Лев Толстой // Известия. 1935, 20 ноября.

грехов моя собственная, получилось введение (трехчастное) и пять групп эпизодов. Разумеется, что все это останется рабочей канвой, а то, что рассказывается, будет нитью случаев из нашего Воронежа, случаев, освещенных некоторым единством (целью!). Все это — продуманная схема тетради № 2 (т. е. того, что ею могло стать, продуманная сейчас, заранее, в противоположность тетради № 1, которая на первые две трети делалась стихийно). Живопись, фактура, может быть, частично в духе тех двух отрывков, что в начале болезни тебе послал (отрывков, так тобою одобренных). Но вообще, конечно, манера в каждом отдельном случае будет, очевидно, диктоваться частными условиями.

27 декабря

Днем опять залез в пустую палату: там занимался лозунгом и писал об О. Пока немного. 18 таких страничек (это не считая конспектной части работы — плана)... Минутами мне кажется, что делаю что-то не то. Но когда перечел вчерашнее и подумал, что бы я сказал, если бы мне дали такие записи о Гумилеве хотя бы, решил, что осуждать это можно будет после, а сделать необходимо, были кусочки неверия в свою литературу, но это только тень.

30 декабря

Мои писания об О. растут, но так хочется работать литературно вполне официально и спокойно. Иметь среду (ведь Григорий Моисеевич — «Пятница», извини за несвойственное мне острение).

1936 год

3 января

Н. мне прислала письмо из Москвы... она мне привезет кучу (часть перечисляет) материалов... Сама же просит ей прислать кое-что, что есть у меня, а у нее нет. Будет она в Москве до 10—12-го. Я не успею... хочу попросить тебя... посылая, объясни, что я просил это сделать, т. к. сам не успел бы, и у тебя тексты проверен-

ные... надо ей: восьмистишия (кроме «Шестого чувства», «бабочек», «чертежника», «голуботвердого глаза»), о Белом большие длинные стихи и воронежские (кроме Чернозема, Стансов, Скрипачки, Венка, и «День стоял о пяти головах»). <...>

А Пастернак в «Правде» или «Известиях» за первое дрянь напечатал. Тоже «большевеет».

5 января

Сейчас входят в палату из дежурки и зовут к телефону сестру. Ее нет. Тогда говорят мне: «справляются о вас, подходите сами». В телефоне: «Можно Богомолова? Говорит писатель Мандельштам, хочу справиться о здоровье Сергея Борисовича Рудакова». «Осип Эмильевич, здравствуйте». И так сказать, поцелуи. Он вернулся ввиду «резкого ухудшения». Обо мне заботы, нежность etc. Все вполне человеческое (хочет бежать разыскивать ту посылочку, что затерялась, и все такое). И тут же нотка (его узнаваемым голосом, все остальное голосом тревожным): «Эх, а я-то рассчитывал, что вы уже дома». Т. е. «черт тебя держит в больнице, когда нет Надюши и я один». Уверен, что он сегодня же начнет Надин вызывать из Москвы телефонно.

8 января

Звонил О. Его стихи приняты «Красной Новью». Я ему сказал, что в «Правде» были пастерначьи стихи и что печататься надо **осмотрительно**, продуманно. И сразу ни тени искусственности в разговоре... У него (речь ведь идет о стихах... о его стихах) — опять жизнь, работа. М. б., это только телефон. Больничный гипноз слабо нарушен этим звонком.

10 января

Выписываюсь завтра... К 4 обедать к Леон. Ив. К О. не рекомендует заходить — лучше дня 2 побыть на воздухе, проветриться, чтобы не обангинить его. Троша ему передал.

11 января

От О. телеграмма (запоздалая из Тамбова) — дескать, «скучаю, пишете». К нему — его нет. Никого нет. В парикмахерскую стричься. По дороге Троша. Чуть не обнимаемся. Он ждет меня, пока стригусь. Рассказывает, что Пановы заняли Оськину комнату. Он на них к прокурору, а они на него пасквилянством. Живет О. у Пескова, это один из подъемовцев. Где его взять? Дело далекое, за Вдовиным где-то, завтра поеду искать. Троша пойдет провожать, адрес неопишем.

12 января

...А вот с самим О. трагедия. Он очень слаб, еле ходит. Затем нервы. Ночует по писателям. Разыскал я Пескова сегодня. Его видел раньше: Он посвежее здесь других. Молодой очень. Делал что-то стоярное во дворе. С ним бегло об О. поговорил. Вернее, его послушал. О. у него две ночи ночевал, одну у Вольфа (директора театра), одну у Сергеенко (писатель). Сперва был бодр, немного они пили. О. читал стихов массу. Следующие дни психованье, Н. не едет. В Москве три дела: а) стихи в «Красной Нови», в) затруднения с той квартирой и с) вопрос о заезде О. в Москву на показ врачам. Песков вполне сочувственен, но говорит, что по вопросу о пановской квартире воронежцы мало энергичны (и сам тоже), сочувствует.

13 января

Китуся, не потому, что почитаю себя особо грешным, а потому, что знаю о своем отличии от массы людей, отличии, не всегда всех радующем, снова вижу свое триумфальное прощение на том свете, да и на этом. А логика такая: кто много умеет дать, тому многое и можно. По Пушкину («Моцарт и Сальери»): «Гений и злодейство — вещи несовместные». Все это — обобщенная реакция от новой (первой-второй) встречи с О. Э. Пусть он сто раз псих. Кто не может его вынести, только слаб. А кто может, с тем стоит разговаривать. ...Видел его дважды: днем 15 минут в «Коммуне» и весь вечер у

Маранцев. Жаль, что отдельно не записал первую встречу.

Вот она сейчас. Вхожу в комнату Союза писателей. О. Э., небритый, энергичнейше кричит в телефон (логически) по тому поводу, что милиция завольтыживает решение прокурора вернуть комнату, отогнав Панова. Мне глубочайший кивок и улыбка. Сажусь на диван. Он подходит на шаг — боится здороваться. Идем в коридор. Он возбужден и развинчен, он совершенно сбит с толку: моей болезнью и страхом инфекции, поездкой в Тамбов, комнатой. Первые три минуты разговор не находит тона. Решаем встретиться у Маранцев в 6—7 ч. Впечатление полного разложения психики, глаза блестят. <...>

Маранцы. Собственно их квартира с О. Э. Он почти в норме. Вот событие — прибежал Панов в Союз с раскаянием: клянется, что «больше не будет», завтра водворенье. Боже, как дивно Мандельштам говорит. Вот это язык и мысль. Хотя общее нервное беспокойство. Квалифицируют это как циклическое реактивное состояние. Интересно, что эта тамбовская нервно-санаторная формула терминологически совпадает с моими тетрадными записями. Теперь рассказ:

В Тамбов он кинулся от страха скарлатины. Там психовал. Сдружился с одним трактористом, который ему говорил: «Ты уезжай, они (больные) тебя не любят, они тебя избить хотят». А поводы были такие. О. Э. все искал покоя и кочевал из палаты в палату (изводя персонал). Нашел пустую. Лег. Человек восемь больных стали в нее барабанить. Он выскочил и стал орать, зовя всех сволочами и etc; вызвал главного врача; пять убежали, три остались, один из трех обиделся за ругань на О. Э., а тот — «назвал сволочами и правильно сделал...». Тогда, как О. Э. рассказывает, тот устроил краснопартизанский припадок. О. Э. в полубелье бежал в кабинет врача, а под сводами санаторного особняка громыхла партизанская брань. Утром — мир. Вот его оценки: врачи казенные, только ухудшают в больных веру в болезни, больные серые: 15% нервных, 20% — утомленных, остальные премированы путевками. Один учитель, начальник отделения милиции — уже высшая интеллигенция. Кончилось все тем, что О. Э. вернули деньги (!) и отпустили, «вследствие резкого ухудшения».

Сам он говорит, что психоз прогрессировал, что созда-лось чувство, будто он не может сам уехать оттуда etc, etc. Похудел, подхватил гриппок, а тут еще Панов. Де-тали, Тамбов, как город, безумно понравился. Вот его картина: «Чудный губернский город. Река. Снег далеко-далеко. На нем точки путей. Лес. Перелески под сне-гом. Движенья никакого. Только баба в платке пройдет. Сугробы. Чудные дворянские особняки, какие могут быть и в германском старом городе, и в Тамбове; де-ревянная, по Щедрину, каланча. Один автомобиль на весь город. Лавок не мог обнаружить: мне нужно было пуговицу купить. Воронеж — столица просто».

В мытарствах товарищи из Союза помогали ему прожить: возили на машине к прокурору, давали у себя ночевать, беседуя каждый о своих твореньях до трех часов ночи. Он верит в поездку на юг, в Москву лечебно ехать не хочет. В театре, если не врет, делал дело ре-ально. Чувствует «перелом» в отношении к себе. Гово-рит: «фабула двигается».

...Пили чай. Очень хорошо радовались встрече. Все-таки такого другого человека не знаю. Пусть бы только стихов побольше писал. О том, чтобы они были хороши, видно, черти заботятся.

...Деловое дополнение. Пока был болен — меня вы-зывали в НКВД. Сегодня пошел. Говорил около двух часов с каким-то дядей в чутких тонах о Кюхле, о Юр. Ник., о моем нежелании исследовать в Воронеже Коль-цова и Никитина¹. Толку не добьешься — сами это они или из Москвы со мной лично знакомятся. Говорит, что о заявлении² еще ничего не знает. Вроде как пожелал скорого возврата. Рассказывал я про Кюхлю и рукопи-си очень интересно. Расспрашивал о ленинградской жизни. Ушел я в чудном настроении.

15 января

Думал о тебе, когда ехали на извозчике с О. Э. на вокзал Н. Я. встречать. Снег, ветер легкий, тепло. Ко-нечно, мы так покатаемся по Ленинграду, по островам.

¹ «С. Б. Рудаков рассказывал мне, что его убеждали там, что, занимаясь Мандельштамом, он сделал неправильный выбор» (при-мечание Э. Г. Герштейн).

² Имеется в виду прошение к властям о пересмотре дела.

О. Э. вспоминал блоковское «Елагин мост и храп коня. И голос женщины влюбленной...».

У О. Э. ужасные минуты почти безумия сменяются ясностью. Циклы, циклы! И сердце реально плохое минутами. За два часа до вокзала скис. Побледнел: «С. Б., а я часом не умираю? Со мной этого не было, так что я не знаю, как это бывает...» Короткое отлеживание, пауза и улучшение.

...Все московское до гибели неутешительно. «Новь» — миф утешающий. Нервно О. очень плох, а о Москве всего не знает.

Н. Я. привезла мне столько, что жутко и торжественно стало на душе. Потом подробно. Просто сокровища... Потом Н. мне потихоньку о радостях московских. А я эгоистически рад привезенному. У Н. формула: «Я хочу сохранить имеющееся», т. е. написанное, не забываясь о том, сможет ли он еще писать. Тут доля риторики, но это искренне, и мне, действительно, все переходит, кажется.

16 января

Сегодня забрался домой рано, в 7 часов, и весь вечер буду работать, читать «Разговор о Данте» и еще всякое. Мне с моей тягой к пейзажу, к графике безумное наслаждение доставила Надин: Оськины рукописи. Это и лес, и парки, и луга, и даже безводные пустыни. До 300 листов, от мазаных черновиков до белых редакций, оформленные изумительно (в простоте, конечно). Неимоверно расширен круг стихов 1907—1920-х годов. Просто непредставимо. А варианты!.. Только бы свершить задуманное.

Если Н. не врет, в Москве многие знают о этой моей работе через Ленинград, т. е. помимо Н. самой (через Степанова и Тынянова).

...Оськин Дант — ключ ко многому, если не ко всему: положения, там трактуемые, очень четко формулированы, но это все есть в его новых (1930—1935 гг.) стихах. Почти каждый абзац имеет себе стихотворную параллель. Он (О. Э.) будет в ярости, когда я так разложу его работу на элементы. В целом она есть лицо его ереси и, может быть, гениальности (она, собственно, не в этом).

18 января

Успокоение могла бы принести Оськина работа, но они, как курицы на яйцах, — на рукописях сидят. Т. е. дают их мне на анализ, но систематичности еще не наладилось, т. к. у них работать нельзя, а О. умоляет не уходить. Завтра твердо днем начну работу над ранними годами.

У О. волнения и всякие тревоги, планы и их крушения. Все на тупик похоже, и, кажется, все правда плоховато у них.

19 января

Вот я рано дома. Со мной стихи Осипа Эмильевича за ранние годы (кончая 1911-м), всего 61 лист (а на иных по две пьесы вариантов...). По изданию 1928 года за эти годы всего 25 пьес. Сажусь работать с некоторым волнением. Это — бумага нового специально купленного блокнота. Пусть на ней к тебе уедет, то, что хотело быть абиссинскими стихами. Творчески почти замулю, стиховно, почти продиктовано каким-то голосом мне:

Она святого Иордана
Полдневный зной, безводный луг,
Веселости, любви, обмана
Неиссякаемый досуг,
Она долина Ханаана,
Непокоренная пока —
Веселости, любви, пожара
Глубоководная река.

Январь. 1936. Воронеж.

3-й и 7-й стихи — очень членораздельны, с четкими запятыми. Кинуся, простите, что стихов стало так много, — хватит ли любви на все? И они стоят ли? Эти, кажется, стоят.

20 января

У М. какая-то тупая примиренность, приглушенность, бесхитростность. Где все бури и полемики прошлых месяцев? О. Э. очень постарел и осел как-то. Н. массу мне по рукописям помогает — не всегда толково, но сердечно. Может быть, они действительно куда на юг и

уедут, может быть, все лопнет. Мне и трудно там сидеть, и жаль их, и деться самому, в сущности, некуда. Очень радуют рукописи, но хочется работы шире: комментарий его самого и проч. Может быть, это будет.

21 января

Очень скверно с О. Сегодня даже ставился вопрос о том, чтобы я писал Пастернаку о безнадежном в смысле здоровья состоянии О. Э. Это — кадры нескончаемой киноленты. И я не за всякие хлопоты: но он меня страшил своей смертью. Все это хорошо (т. е. мои возражения), но он-то ведь правда слаб и плох. Решит это время. Пока же остrotревожно.

...Вечер будет неопределенно какой. Они (О. и Н.) у врача, сижу у них. ...С 10 ч. дома и все работаю: предварительному анализу (с копией) подвергнуто до 40 пьес (1907-8-9-10-11). Есть вещи хорошие, а интересно и ценно все. Лучше всякой исповеди.

22 января

В портфеле Оськины материалы, и такие живые, мы вместе сегодня работали черновики «Соломинки». Он к концу вечера сильно успокоился. Все эти дни в вечном кипении его забот о болезни. А тут наступило просветление. Между прочим, они оба дико хвалили мои профили-силуэты и даже робко молвили о «пересмотре» точки зрения на мои пейзажи. Все это мне тем интереснее, что он дается рисоваться. Знаешь ли ты альбом писателей (профилей) работы Кругликовой? Мандельштамы говорят, что у меня лучше. Вот сделаю своего О. как следует.

23 января

Утро, оказывается, вот какое. Очень поздно проснулся. На комодке открытка из Москвы... Бумажка вот какая:

Прокуратура СССР
Б. Дмитровка, 15а 19/1-36
№ 13/20591 а

По распоряжению Прокурора отдела по специальным

делам т. Линсон (вот уже глупая игра фонетики — почти твое имя!) **сообщается, что ваша жалоба о пересмотре дела Прокуратурой СССР оставлена без последствий.**

Секретарь... (подчеркнутое напечатано).

Пока продолжаю усиленно работать над рукописями. Очень интересно. Но жить без будущего трудно. Будем рассчитывать на лучшее, но одновременно надо подумать, может быть, это бесконечно?.. Боюсь, что Воронеж (особенно стихи, да и все) был настолько литературен, что не смогу, как лет пять назад, отказаться от необходимости литературной деятельности.

25 января

Сейчас бесконечно интересна работа над рукописями.

31 января

Сегодня просмотрел с О. Э. с 1907 по 1912 год. Подробно проверили даты и места написания вещей. И кое-что по примечаниям записали. А затем читали с ним по-итальянски XI песнь «Чистилища» Данте — он читал по одной книге, я по другой. Он делал замечательный глубочайший перевод, в то же время объясняя грамматические формы и фонетику, я вникал и, может, зачитаю по-итальянски. Главное же, близость его «толкования» его стихам — это похоже в филологическом смысле на отсебятину, но очень своеобразную, глубочайшую, если понять, присмотреться. Об этом надо записать отдельно, но, к сожалению, не записал дословно перевода.

1 февраля

...Нельзя ли через папиного знакомого узнать подробнее историю отказа? Это существенно.

То, что ты, между прочим, написала об отрицательном влиянии Оськиной близости, мне кажется нереальным. А, кроме того, местный Союз высказывает охоту со мной познакомиться и в частности по вопросу о работе над Мандельштамом. Знают они об этом давно, а заговорили сейчас. Я говорил с Кретовой (зам. ред.

«Подъема»). Она просила позвонить 3-го. Это, по-моему, правильно, раз вслух об этом (давно всеми зримом) заходит речь. Пиши, что ты об этом думаешь.

По текстам кончил 1920 год.

...Вот с О. отношения ровнее, и все за счет моей сдержанности, выдержки. У них сидя, работать почти нельзя, да и «болести» их меня донимают. Сейчас посумасшедшему ждут Аннушку, а та застряла в Москве. Начну уходить — уговоры. Хорошо, что сожителей вечерами нет дома. В комнате тепло. А на улице мороз до 30° уже два дня...

2 февраля

Пошел к М. Они бодры, хотя и надрывны. Ем у них, т. е. с ними, а т. к. Н. уже начала яичницу, мне были отложены два яйца, на которых О. написал: «личная собств. СБР. 2.II.36. Воронеж».

...Разговоров, слово за словом, много, а сумею ли их передачей рассказать состояние, настроение, нет, сущность всего?

Необычность дня в том, что у них плотно лежал, что не работал, что острили и дурака валяли с О. Читали Пастернака, обсуждали будущий Воронеж, и все в шуточных красках. Выдумали (и это постепенно из фраз), что станем «служителями культа» (увы, почти это не передаваемо), важно, что это рассматривалось на фоне реакции Елозо, Союза, Пастернака, Калецкого, хозяев, Вдовина etc. Заставили Н. нам сделать гоголь-моголь, т. к. «приход» будет яйца поставлять. И все с серьезным видом, с настоящими серьезнейшими отступлениями.

О. раньше захваливал Пастернака. Говорит, что прочел его один раз в 1924 году, а остальное хваленье — инерция. Сейчас разочарован. «Набор звуков по методу пародии. Лицемерие. Кухарка за повара. Стихи одного уровня, безголовые: он моралист. Человек здоровый, на все смотрит как на явления: вот — снег, погода, люди ходят... А если плохо, это чудно, это руда, надо разрабатывать. Все равное, все законное. Все личное. О стихах я ему часто говорил антипастернаковские вещи. Что это ничему не учит, не помогает работе над стихом. Что это буддизм. Он бы вот на моем месте вел себя достойнее. Не копошился бы. Молчал».

Говорили о Заболоцком, Ходасевиче и Цветаевой, он (и я) очень хочет их перечесть. Вернее, я ему. Если можешь, привези их. А Заболоцкого, кроме «Столбцов», и рукопись «Деревья», что в столе. Пусть Гр. М. снесется с Шадриным и отберет у него «Поэму конца» Цветаевой (моя рукопись и часть Шадриным перепечатанная)...

Непланово посмотрели Данта.

...Тут же была подписана карточка: «Снимок сделан в Воронеже директором театра Вольфом в декабре 1935 г. Переснят С. Б. Рудаковым и ему как будто принадлежит, т. е., очевидно его собственность. О. Мандельштам. 2.II.36».

Вынесли решение на другом экземпляре карточки записать все диагнозы последних 2-х месяцев (их много).

Стали считать заработки их за 18 месяцев. Воронеж — 7200, Москва — 14 700, учитывая «подарки» родственников и знакомых, сумму оформили до 25 000. Что дает 1400 в мес. на круг, а Н. уверяла, что 700. Цифры были подсчитаны детально.

3 февраля

Чудо, что с О. что-то наладилось, что исписано 15 текстологических тетрадей... День у М. (и вечер, конечно) — работа, Дант — вакханалия...

5 февраля

Основное событие дня — приезд Анны Андреевны. Весь день очень похож на прежние: Оськи все ждали из Москвы отмены приезда, сопровождая эти догадки всяческими ругательными выступлениями о низости друзей etc. Все это, т. е. предыстория, — очень смешной материал для тетради, для введения в «тетрадь».

...Важнейшее событие: из Москвы (через Литфонд) разрешение и средства для Осек ехать на юг лечиться (Крым, Кавказ etc). Пока это бесформенно и, м. б., задержится из-за Анны Андреевны.

Приезд таков. О. оставили дома (и ходить ему утомительно, и, главное, он «тяжело» болен, судя по телеграмме, вчерашне посланной, неловко же ожить), а мы с Н. поехали на вокзал. Перрон. Толпа.

Анна Андреевна — в старом-старом пальто и сама старая. Вид кошмарный. Сажу их на извозчика, сам — трамваем. Приезжаем почти одновременно. Вхожу: она еще не разделась. О. полупомешался от переживаний.

Она снимает шляпу и преображается. Это то, о чем говорил тебе на пушкинодомской встрече. Когда она оживлена, лицо прекрасно и лишено возраста. Чудные волосы. Очень похудела, что дает стройность (?). Пока не привык, минуты потускнения просто страшные, почти безобразные. В мандельштамовской квартире в Москве живет брат Наппельбаумов, его жена прислала Оське альбом Щукинской галереи. О. в суматохе так заврался, что радуясь альбому, стал говорить какую-то чушь про французскую архитектуру и Корбюзье, которого только что мы читали.

А. стала переодеваться, а мы с О. пошли в магазин. Выйдя за дверь, он стал охать и стонать, что ее, а не его надо лечить. — «Сергей Борисович, чем помочь ей тут?» Уверен, что завтра начнет с этим бегать к Стойчеву, Подобедову и К°. Он помешан на лечении.

Сейчас добролюбовский карнавал¹. Чтобы дать А. отдохнуть, мы с О. пошли в музыкальный техникум на добролюбовский вечер. И действительно: О. накинулся на Стойчева и стал бормотать: «Она приехала, не хочу, чтобы это было только для меня, вы хотите организовать ей встречу?.. Вы ей помогите тут устроиться, жилья ей нет, удобств...» Тот едва отвязался.

Что чудно — это поведение Н. Все дурачества спали, никакой фанаберии, а, наоборот, подлизыванье к Аннушке.

Все немного суматошно. О. мне говорит: «Я потерял чувство действительности». И правда, он расчумелый весь. ...Надолго ли А. — неизвестно еще.

6 февраля

У Мандельштамов: О. все психует. Для него приезд Анны Андреевны — общественный шаг. Занят уже тем, возымеет ли это действие на дальнейшее.

Уже нет тени натянутости. Мы с Ан. Анд. просматривали куски моей текстологии. Она вроде Оксмана в

¹ Отмечалось 100-летие со дня рождения Н. А. Добролюбова.

смысле авторитета. Она, кажется, не ждала увидеть то, что нашла. Ки, я не люблю, когда осознают величие и трепещут (как Есенин, в первый раз узрев Блока), но, когда в разговоре со мной, вспоминая чтение О. стихов в Цехе, сказала «Коля», мне холодно стало. Лица, как она изумительно красива! Ты можешь себе представить, что идешь под руку с Гумилевым? Вот то, что ты представишь, я испытывал, когда ее провожал к Маранцам. Звучит это глупее и хуже, чем есть на самом деле. О. психует. В остальном вечер чудный. Она говорит, что пушкинисты ее дразнят по поводу ее дома, его историчности:

А мы живем как при Екатерине —

Дальше вышло весело. Я говорю:

Многооконый на Фонтанке дом.

А оказывается, О. ее раньше коверкал:

Целует мне в гостиной руку
И бабушку на лестнице крутой.

Много смеялись.

7 февраля

День был такой. Утром зашел к Маранцам за Анной Андр. У Осек уравнишенье постепенное. Подача заявления о лечении на Сочи etc. Они жизнерадостны. Я немного позанимался текстологически. Видимо, сговорившись, Н. и Анн. Оську опекают, т. е. Н. его зря не волнует, и он тих.

Здесь начинается О-но благородство. Он рассказал Ан. Андр. о моих стихах, и они организованно стали устраивать мое чтение. Оживилась Н., которая их не знает.

После обеда уселись. О. на кровати. Н. под часами в том углу, где сидел Цветаев. Ан. Ан. и я на низком диване. Внимание. Ожидание.

Решил начать с не известной никому «Скарлатины». Между просьбой читать и началом чтения немного не верил голосу, боялся, что буду волноваться и плохо читать. Для созерцания избрал визави — т. е. Н. — Сверчок умный и ласковый, и так хорошо в пустой палате

нерепетированный (голос) зазвучал ровно, и с первой строфы Н. возгорелась, узнала больницу; 2 и 3 пьесы видел и О., и Ан. Ан., т. к. они шевелились, т. е. слушали более чем активно. Он забубнил и заахал, а по тону (при благородстве-то!) ждал, что готовит он атаку.

...«Миргород» О. заставил читать три раза подряд. Читал абиссинские, «Как хорошо бродить», «Жел. дор.», «Державинскую ночь» («Анты» почему-то не стал), еще «Лицо как стеарин», «Соображение овладевает...» и уже после разговоров «Вагинова». А разговоры заставили читать еще больничные (о, человеческое, женское уменье!), Ан. Ан., севшая хотя и на диване, но против меня, смотрела в упор мне в глаза, и к последней строфе — нет не просто, а как у Сумарокова, как у меня — опустила ресницы. Это иллюстрация, оценка, словами не рассказуемая. А как я второй раз читал!.. О. во время второго чтения сказал: «Сумароков тут пришел в своих настоящих правах». Помнишь, у него о Сумарокове ругательно, то, от чего он «отрекся». Сказал и о Зареме, слышимой в первой строфе. Какими дугами, ступенями ложились стихи. Оценки — общая и единоголосная радость на «Миргород» и «Сумарокова». Затем «Абиссиния», а дальше все, не разберешь уже. Конкретнее, после встрясок и вскакиваний, О., конечно, пустился в полемику, но что получилось? Речь была обращена к Ан. Ан., т. е. «подтвердите», дескать. Тезисы: «несвобода, самоурезанье замечательных возможностей, мир под гипнозом, в статике, хотя и труднейший для воплощения» etc. И что же? «Нет, это только закононо. Это то, что и нужно, что органично. Вы, Осип Эмилевич, свою точку зрения, свою позицию навязываете другому поэту». Ки, ведь это почти даже моими словами.

И дальше совсем весело. О. пустился доказывать, что «пряжа» — нечто множественное и голосу не «подобна». И запутался в понятиях пряжи и тканья. Нет, всего не рассказать, но все обернулось хорошо, без тени сомнения с моей стороны, победой. Т. е. я четче и распространеннее повторил слова Ан. Ан. о его органической неспособности согласиться с тем, что вне его стихов. Он все вопил, что большинство из читанного просто прелестно, но нужен еще выход, что если я прав, то это уже готовое свершение, но он ищет другого (ну, и на здоровье, но я-то при чем...).

Ан. Анд.: — «Удивительная работа над словом, полнота, которая создает, м. б., излишнее затруднение, вещи кажутся длиннее, чем есть, огромное».

О. — «Редкая пригнанность слова, нет повода для частной поправки, изменения. Возражения мои общепhilософские».

«К Вагинову», — сказала А. А., то, что я тебе уже писал: дом Вагинова, и Дом Театра, и Дом Культуры друг другу мешают. Я, м. б., сумею переделать средние два стиха. Это нужно действительно.

Пушкинский Дом хочет купить О. архив. Он не дает, оставляя его мне для работы, но собственность сохраняя за собой.

Вечер: чтение Данта, разговоры, шуток много. Вместе они очень веселые. Между прочим, в полемике со мной О. заврался и прутковское «В соседней палате поет армянин» приписал Лермонтову. Хохот. Он, смутясь, выдал в этом А. А. расписку: «7.II. открыл у Лерм. такие-то стихи. — О. М.».

Стихи, кажется, прошибли Н. К. ним часто возвращались. Огорченье: А. А. уже собирается домой. М. б., задержится, но неопределенно.

8 февраля

День замороченный. Анна Андреевна уже собирается ехать. Это вчера дало трещинку в спокойствии. Сегодня хуже — все переволнованы. Чудно, что в воззрениях на О. мы очень с нею согласны. Она страшная умница, сегодня мы с ней обед готовили: варили щи, вышло очень вкусно. Минус тот, что много времени и сил уходит на Оськины политики и планы. А с другой стороны, его жаль, он тоже скис, предчувствуя ее отъезд.

Из достижений — корректное поведение Надьки. Сейчас это вспомнил к тому, что злость на нее стоит за записками об О. — сейчас уже смягчилось.

9 февраля

Сегодня О. (дополнительно) читал стихи 1930 etc., причем дамы его ублажали; просили еще, расточались в хвалах...

Едет А. А., очевидно, 11-го, сперва в Москву.

С О. обсуждаем ее молчание стиховое.

Он: — Она — плотоядная чайка, где исторические события, там слышится голос Ахматовой, и события — только гребень, верх волны: война, революция. Ровная и глубокая полоса жизни у нее стихов не дает, это называется, как боязнь самоповторения, как лишнее истощение в течение паузы.

Ей сказал, что вреден Пастернак, что он раньше целостнее других натворил то, во что другие пустились массово, всем скопом, безвкусно. Это почти все, что кто-либо писал за 15 лет. Это и «Грифельная ода» О. Э., в этом ее боязнь (т. е. А. А.) М. б., это было слишком резко, там и дружба и уваженье к Пастернаку.

Она ругает Брюсова, Блока... да и всех почти. Сегодня читали Хлебникова. Ей нравится револ<юционный> Хлебников. Обособленье сомнительное, при всей прелести «Ночи в окопе» и «Ладомира». О. накинута на Хлебникова, а я его раскрутил, показав незнание им Хлебникова... Он снова залился... Я говорю: «так говорить о стихах не полагается». Он: — Стихи вообще положены быть не должны, они должны жить (это любимый его звуковой, не всегда даже корневой путь афоризации). Я: — ...говорить так **не следует**, если вас устроит синонимическая замена. Следовать — значит двигаться, жить, а меняет ли это дело? У вас чистая полемика, на грани придирки». Он: — Анна Андреевна, вот Сергей Борисович меня всегда берет в логическую проработку и начисто снимает, что я говорю, он умерщвляет ход моего доказательства».

Теперь главнейшее. Сажу на диване с А. А. И думаю, как сформулировать вопрос о работе над Гумилевым. Ей Мандельштамы об этом еще не говорили. Так сидели молча... Она оборачивается и говорит: когда будете в Ленинграде, я ознакомлю вас со всеми etc... Это — гипноз.

10 февраля

С А. А. много говорил о работе. Доверие беспредельное, только время и Ленинград, — и все задуманное будет сделано. Мы друг друга с полуслова понимаем, будто я с ними в Цехе Поэтов был... даже мелочи: называет в какой-то связи Комаровского, начинаю о нем

говорить, о «Франческе», пополам или, вернее, вместе читаем вслух друг другу слово в слово:

Или под самым потолком,
Где ангел замыкает фреску,
Рисую вечером тайком
Черноволосую Франческу¹.

ОНА: «Да, знать Комаровского это марка. А знаете, Коля говорил: «Это я научил Васю писать, стихи его сперва были такие четвероногие...» И правда, он конечно...

Еще: «...когда Коля приехал из Парижа, я сказала ему, что мы будем расходиться. Мы поехали к Левушке в Бежецк. Было это на Троицу. Мы сидели на солнечном холме, и он мне сказал: «Знаешь, Аня, я чувствую, что я останусь в памяти людей, что жить я буду всегда».

Может быть, к ней надо было мне пойти уже давно, но без тех прямых условий, в которых встретились сейчас, может быть, не получилось бы нужного. В Ленинграде будут простые и чудные отношения, вот увидишь, и будет работа, в которой она другим не поможет. Верит в это и она.

Лина, познанный О., все с ним связанное — это очень много, но спокойная, вечная гениальность Ахматовой мне дала столько, сколько мог я сам придумать. Высшая награда — получить ожидаемое, желаемое. Так, как с ней, говорил впервые в жизни. Это необъяснимое сочетание: я говорю, сообщаю, понимаю силу этого и одновременно знаю, что она все это понимает сама. Говорит она, мне все ясно до глубины; а весь разговор — и неожиданность, и новизна. Удивительная форма: о любви так можно говорить с любимой, как мы о поэзии. Боже, так бы со мной говорил и Он². Анна Андр. завтра едет.

11 февраля

Сегодня уехала Ан. Андр. Киса, всякие поклонения великим — вещь глупая и безвкусная. Об Ахматовой известно, что это адресат целого культа. И что же?

¹ Строфа из стихотворения В. А. Комаровского «Возрождение».

² Имеется в виду Н. Гумилев.

Шесть дней знакомства сделали так много... Я сделал покражное преступление. Взял у сестры Толмачева «Anno Domini», дал А. А., а она сделала мне надпись, книга останется у меня, никакие черти ее не отнимут. Карандашом:

Сергею Борисовичу Рудакову
на память
о моих Воронежских днях

Ахматова.
11 февр. 1936. Вокзал».

...Билет, как и тебе, через Таллера, сидячий, в вагоне «Воронеж — Москва». Сидели в буфете, поезд опаздывал на 2 часа. Как подали вагон, безумные Мандельштамы усадили ее где-то на 4-м пути — и домой. Одному мне оставаться было нелепо. И чувство, что она так и сейчас не уехала, а с чемоданчиком и сумкой для провизии сидит в своем вагоне, что вагон так и стоит вне состава. Звериная нелепость. У О. так пусто стало, просто до слез. Утешенье — надпись...

Н. с похоронно-воспоминательными репликами, мы с О. в разных углах комнаты, почему-то злые друг на друга (ревность!?). ...К вечеру зашевелились, стали разговаривать. Он получил из Литфонда подтверждение — телеграмму: «Забронирована путевка Старый Крым». И нет уже и А., ничего, планы, психованье. А потом опять о ее молчанье (языком диагнозов собственных хвороб): «Словарный склероз и расширение аорты мировоззрения, ее недостаточная гибкость — вот причины молчания. Я очень черство могу говорить о литературе...». <...> А после Н. вслух читала статью Дынник о Зенкевиче и частично о нем, вообще дрянь с проблесками... Союз пока обо мне отмалчивается, но не окончательно.

...Ки — А. А. была в синелиловом, почти черном платье; — а в «Anno Domini» —

И кажется лицо бледней
От лилового шелка...

Кити, хочу в Ленинград — теперь еще с большей силой — об этом услышишь от Аннушки...

13 февраля

У О. наступила тихость разочарования отъездом Аннушки и тревоги собственных Крымов, которые оформляются медленно.

14 февраля

Получил письмо, где ты уже знаешь об А. А., а ее уже нет. Так привык возвращаться до Петровского сквера не один. И у М. все вразброд сейчас. О. нужно сидеть и ждать, а он без повода бесится. Все же его психованья многое в нем (и в стихах) портят для меня.

По О. кончил 1930 год, виден конец рукописей.

19 февраля

О. раздобыл в театре денег — и снова мир.

...Ты пишешь о книжке. Это единственный выход. Но мыслимо ли? Почитай стихи в «Лит. газ.». Смотри, что было на пленуме в Минске¹.

Сейчас 9 часов вечера: один в комнате. Пачка тетрадей передо мною — буду работать, ты будешь довольна работой этой: она уже переходит на принципиальные вопросы, текстология как таковая близится к концу.

20 февраля

Чем хуже обстоятельства, тем лучше и естественнее Н. С ней «био-канва» (с 19-го года) доведена до 30-го — т. е. до нового стихотворного периода.

...Н. попросила за О. в театр зайти, слабость у него, и он все норовит доехать до Утюжка на извозчике.

...Анна Андреевна еще в Москве...

...Надпись повергла О. в истерику: на «Anno Domini», в 1936 году! Ах, ах!

Он сильно одал, но все же в этом есть доля политики, т. е. здоровье-то плохо, но оно обыгрывается еще.

¹ Речь, по-видимому, идет о возможности издания книги стихов С. Рудакова.

21 февраля

Снег и снег, но такой сухой и мягкий. Не холодно. Мандельштамы пошли на концерт (бас Стешенко из Чикаго). <...>

С Союзом дело обстоит так: Кретова должна со Стоичевым решить, как (беседа, доклад etc) ознакомиться с работой моей. Пока же дело ограничивается звонками и откладыванием «ответа»...

22 февраля

Сейчас вернулся от О., где долго работал над 1932 годом.

24 февраля

Только что сбежал с 3 акта «Отелло». Был с Мандельштамами. Сильно невыносимо, а они патриотически смотрят в третий раз. Вокруг этого много интересных разговоров: «Оська срастается с театром!». Это, конечно, издевательские слова.

26 февраля

Вышла книга Волкова «Русская поэзия эпохи империализма» (Брюсов, Гумилев, Ахматова, Мандельштам etc). Там об О. непочтительно и бестолково (ограничиваясь «Камнем» 1916 года!). Впрочем, самой книги я еще не видел. О. скис и расстроился чуть ли не до истерики.

...Ложусь спать, чувствуя себя победителем после ухода из психокотла.

27 февраля

Сейчас масса мерзких деталей с квартирохозяевами у О. Сюда относятся: крики, вопли, выключение света,

снова крики, на них ответные психованья — все очень подробно.

28 февраля

О. пока не говорил о карточке тебе, т. к. он опять боится своих автографов и даже мне больше не пишет. Дикие волнения в связи со скандалами хозяев. Вообще же ожидаются грандиозные перемены, и где-то в глубине они бодры.

29 февраля

Пошли с ним слушать квартет им. Глинки, а он сбежал, т. к. концерт для слета ударников полей, и программа его не устраивает.

Сейчас бесконечно изводит О. и тревожит текстология. А к вечеру такой усталый, что нет сил сидеть. Кипа тетрадей передо мной, но боюсь, что уберу их в чемодан и лежа буду читать Волкова, это тоже общественно-полезное занятие.

1 марта

...жаль, что нового Заболоцкого не знаю еще наизусть. Его Осипу Эмильевичу не показывал, так как биографические психованья так глубоки, что переключиться он не в силах. Жалко комкать Заболоцкого.

Встал я очень поздно. Опять лежал раскисши почему-то, а к М. пришел только часа в 4.

Вспомнил:

Не спите днем — пластается в длину
Дыханье парового отопленья, —
Проснувшись, вы окажетесь в плену
Гнетущей скуки и смертельной лени.

(Б. Пастернак, Спекторский).

О. Э. — Вот пустословие. И все это вместо того, чтобы кашлянуть, потянуться. И это не Пруст, не Джойс, не анализ.

— А дальше о том же дневном сне:

Моим рожденные словом,
Гиганты пили вино
Всю ночь — и было багровым,
И было страшным оно.

И жалко мне стало дня,
Своею стопою легкой
Прошедшего без меня.

Это стихи из «Костра» («Творчество») [Н. Гумилев].
О. Э. — Хорошо. Очень.

...Н. купила О. книгу по архитектуре Китая. Она в футляре. О. футляров не любит, и я его унаследовал и ношусь с безумной мыслью его на большую книгу приспособить.

2 марта

Очень много работал: посылаю тебе один листок с «Волком», это единственное умыкание. Спрячь его. Интересный вариант последней строфы.

4 марта

Вот пишу на той бумаге, в которую был завернут Дант. Посылка чудная, а он — в особенности. О. (и Н.) на него яростно изругались — они ненавидят переводчика Эфроса.

...При нем ему сочинил:

А Мандельштам настойчиво
Набрасывается на Стойчева,
Набрасывается на Стойчева
И потрошит его...

Это по поводу того, что от меня Союз (Стойчев) сможет при желании отвязаться легко, а О. гоняется за ними за всеми и поедом ест. И нечитаное продолжение:

А после точит слезы
В жилеточку Елозы¹...

5 марта

Эпизод. Психования О. с термометром. Воскликать: t° 37,8 (вместо привычной 37,2—37,5). Молниеносные

¹ Елозо — фамилия редактора «Коммуны», официально не склонялась.

гипотезы о новых болезнях, планы хлопот. О. хватается за голову, Н. поддерживает. О. бежит к окну, к свету: «Надюша, я обманул тебя на градус — 36,8!» Они двое хохочут, я сидел отдельно за текстологией, не ужаснулся в начале, не восхитился в конце. О.: «С. Б-ч — а заранее знали, что в этом роде, вы знаете, что все у нас такое, и не реагируете». Я: «Да, только не всегда есть контроль, так сказать, не всегда к свету подходите». О. хохочет: «Да, да. Просто не пишутся стихи — вот все и есть».

6 марта

Сегодня первый весенний (не предвесенний уже) день. Пасхальная погода, ручьи, солнце. Выходной. Я помылся, почистился, побрился. Письмо от Аллы. У Осек пьянство хозяев. О. нервничает. Здесь в культкомандировке на железнодорожный узел поэты Кириллов и Богданов (?) — уже давно: но сегодня О. ринулся их искать: Бристоль¹, телефон², Москва — Донбасс³. Все тщетно. Он скис. Мои утешения, уговаривания. Хозяйева позаснули. Полумир. Ушел от них гулять.

7 марта

Н. пишет для «Коммуны» консультационные письма стихотворцам — 3 р. 50 <копеек> штука, в день можно оделать до 10 шт. Дают их ей партиями штук в 30—40. Всего пока рублей на 250—300. Этого «мало», и «делиться» она не может. И, главное, это подряд.

8 марта

Не могу сидеть у М. — там тупейшая самозанятость. Не могу больше. Часа полтора сидел в библиотеке над газетами. Все механически. Умер Кузмин. Такая боль от этого. Его очень люблю, и не мелочность, а правда была в том, что хотел с ним познакомиться. Вспоминал его «пароходик» из «Нового Гуля»:

Уходит пароходик в Штетин,
Остался я на берегу.

¹ Название гостиницы.

² Междугородная телефонная станция.

³ Управление Московско-Донбасской железной дороги находилось на месте нынешнего управления. Ю.-В. ж. д.

10 марта

Заходил в Союз. Практическая новость. Они устроили со мной предварительный разговор. Его течение было ознакомительное. К Мандельштаму отношение неправомерно отрицательное, даже пренебрежительное (вопреки его о них рассказам). Отсюда скепсис по отношению к моей работе, но одновременно и интерес: решили 14-го на правлении поставить вопрос обо мне — при этом предварительное пожелание было сформулировано Кретовой так: устроить мой доклад для Союза и Пединститута (профессора, доценты и студенты старших курсов). Боюсь, что это утопия (непроверенного, чужого еще человека пускать на студентов).

14 марта

Вчера М. переехали в новую комнату в хорошем доме специалистов. Комната как настоящая городская.

16 марта

Что с Союзом? Вот что:

Было общегородское совещание работников искусства с докладом Плоткина (специально для этого из Ленинграда приехавшего) о формализме. Это (ты знаешь, наверно) отклик на статью в «Правде» etc. Был и я; такая дичь и тупость, что мне лезть с работой невыносимо.

17 марта

...Следишь ли ты за «Правдой» etc, по вопросам искусства? это все очень значительно и окончательно. С О. почти переругался. Он хочет готовить речь на дискуссионно-покаянное собрание.

19 марта

О. потащил меня в театр на ученический балет.

21 марта

Отношения с О. выродились в бытовую манную кашу.

24 марта

Сегодня О. напугался какими-то прописочными формальностями. Потом я провожал его в театр (он относил свои тезисы-замечания по пьесе «Мольба о жизни»¹). На обратном пути (ублагодворенный):

О. Э.: — Сергей Борисович, у вас прошла тревога?

Я: — Тревога была у вас. А у меня, если бы она и была, пройти ей было не с чего, т. к. ничего для меня не случилось.

О. Э.: — А для меня?

Я: — Театр — это деятельность все же.

О. Э.: — Да? — Разве... а? (Пауза.) Вы ко мне относитесь чисто по-бытовому. А я вам завидую: вы сумели себя сохранить, пронести. Вы окружающих (!) не цените.

Я: — А вы? 7

О. Э.: — Я отношусь не с точки зрения бытовой, а нравственной. Вы вот ничего не потеряли, а я изломан.

Сказать на это о его «безнравственности» — зачем?

31 марта

Сегодня год Воронежа.

Вчера... у М. вечер — замотался разговорами об Орфее²... Сейчас сижу у М. Они на радио. Введение «ничего», но наивно. Забавно мнение О., когда он вернется. Читала его дикторша, дико коверкая стихи, цитируемые о Глюке (из «Моцарта и Сальери»).

Днем зашел в книжный магазин. «Город Эн» Добычина (ругаемый в дискуссии рядом с Шостаковичем)...

...с О. разговор — обсуждение «Орфея». Тихость и деловитость почти былая. Ушел от них в 1 час.

2 апреля

А вот новое впечатление от «Гондлы»³. Дивные места, развитые потом в «Синей звезде», лирический Гумилев; а очень многое, долженствующее быть эпосом, очень риторично, сухо, часто даже несуразно. При этом

1 Пьеса французского драматурга Ж. Деваля.

2 Радиопередача, введение к которой написал Мандельштам.

3 Поэма Н. Гумилева.

эпическое, разметное целое удалось. Беда, значит, за деталями эпоса.

...О. вопит, что Добычин написал под него, а «Лит-газета», что под Джойса. О. заключает: «Этакую мерзость от Джойса производить».

Н. пишет (в который раз! — все переделывает) статью для газеты о школах. Она этого делать не умеет, как не умеет рисовать. Для самоободрения опять «привлекает» меня. Но в тонковежливой форме.

3 апреля

Ки, сегодня (а может быть, вчера — но мы решили, что сегодня) год нашего с О. воронежского знакомства. Он купил колбасы, сыру и конфет (всего понемногу, т. к. денег нет), и мы пили чай и говорили друг другу нежные вещи. До этого чудное событие. В университетской библиотеке достал «Гондлу», «Аполлон», где «Америка» Гумилева и его и Кузмина портреты... С О. все это смотрели, читали.

Жильца-соседа (из «Коммуны») зовут «карлик», как и всех культработников газеты (в отличие от столичных «гигантов»). О. сочинил четверостишие, долженствующее пародировать Гумилева:

Карлик-юноша, карлик-мимоза
С тонкой бровью — надменный и злой...
Он питается только Елозой
И яичной скорлупой.

Началось так. Он сказал: он питается Елозой (сказал в разговоре прозаически). А я:

Он питается Елозой
И яичной скорлупой.

Через несколько минут О. вопил четверостишие (сперва несколько иное — не запомнил его).

Разговор же о конце года стал неволью итоговым. А разговоров не было давно!

О. Э.: — Сергей Борисович, как вы предсказали и задавали мои воронежские стихи, скажите, что же теперь должен я делать. Заниматься старым я не могу, а что новое?

Я: — Осип Эмильевич, мне кажется, что теперь по ряду показателей можно судить, что будет проза. Говорю это вот почему. Все, с 1930 года по воронежские стихи включительно, все стиховое было вокруг «Разговора о Данте», или до него, или после, но все смотрело на него. Или в «Данте» оправдываются готовые стихи, или стихи последующие его распространяют и оправдывают. Это «Разговор» о вас. Т. е. все, что вы думаете теоретически, вы изложили в порядке доказательств того, что Дант «хороший», «настоящий» (я упрощаю, но это значит, что «Дант и есть поэзия»), по смыслу же это было обсуждение вашей практики. И хотя Дант является сюжетом работы, его там меньше всего. Я ее понимаю до конца, не зная итальянского. (О. Э.: да, это все говорят, что это понятно и не знающим Данта). Я: — Но это надо понять не как полноту, Данта разъясняющую, а как то, что смысл не в Данте, хотя он и не случаен, т. е. что и о нем многое, видимо, характерно. Итак, в моих примечаниях (которые я хочу «кончить», т. е. сделать полно уже сейчас) должна быть раскрыта связь стихов с тем, что было в вас тогда помимо них. Привлечение химии и музыки тоже произвольно. Вам нужна была структурность. Подошли бы и естествознание, и математика, и архитектура. Вы доказывали так: музыка структурна (оркестр, etc.), и она музыка! а Дант ей подобен, как он хорош! А получалось совпадение тех формул поэзии, которые вы выверяли с вашей практикой, с практикой Вагинова, моей и еще очень немногих. В чем же суть дела? В том, что поэзия понимается как наложение рядов одного на другой, как отказ от твердых форм значения за счет углубления роли сочетаний. Здесь куча частных. Программа: все это в движении. О нем, о движении, написан «Дант».

Но сейчас нет ни накопленных **новых** точек зрения, ни обновленных стихов. То и другое самозакончено. А опыт большой, и он начинает не обсуждаться, или углубляться вами, а бродить словесно. Т. е. рецензии, радио, театр, колхоз, «Глюк», и все, все сможет ожить

прозаически по типу реформированной «Египетской марки». Признаки этому — попытки записывать кусочки, самоцельно обыгрываемые...

О. Э.: — Очень, очень все похоже, но надо тогда на все начать смотреть, как на лагерь, как на работу. Увидим, смогу ли я это сделать. Надо жить и жить. Буду всегда помнить о себе, а быт свой, метанья — отстраню.

Я: — Такая проза пойдет, может быть, как раньше «Путешествие в Армению». Вообще, о деталях и рано и не нужно еще говорить.

О. Э.: — Для такой работы будут годны все удачи и неудачи, но она должна быть не обобщающей.

Я: — Как «Египетская марка» — уводящей, разностремленной, разлагающей.

О. Э.: — Может быть, может быть. А вы стихи должны писать, и скорее, скорее — примечания к «Данту» для начала.

Я: — Остальное будет кончатся в Ленинграде.

Когда я уходил, на «Египетской марке» он сделал надпись:

«3 апреля. 1936. О. Мандельштам.

Поживем — поглядим, С. Б.!

М.»

Все вместе безумно напомнило тот год, его начало. Как давно не было, шел домой и поздно и радостно — такой легкой походкой по сухому асфальту проспекта и левой стороны Петровского спуска.

4 апреля

Григорию Моисеевичу письмо написал <о его стихах>. Тебе могу сообщить: «О. сказал: «Пусть он скрывает, что пишет. Это военный капельмейстер: Сюита-воспоминания о Шуберте, Листе, Венявском и Балакиреве. Исполняет красноармейский хор».

6 апреля

Из событий очень важных — речь Заболоцкого¹ (см. «Литературный Ленинград»). По данным «Литературной газеты», я подумал, что это примитивное у него

¹ Имеется в виду покаянное выступление поэта в дискуссии о формализме 28 марта 1936 г.

получилось. По сути же человек говорит о своем пути и о том, как ему мешали. На все его объяснения, рассказанные мною О., последовала рецензия: «Врет. Написал памфлет на сухотку мозга, а объясняет как... Это вроде Зошенки, который пишет памфлеты невероятной силы, а выдает их за душеспасительное чтение». Правда ли это? — Не знаю я, но тону Заболоцкого поверил.

...У О. краткое безденежье и, как вывод, — безумствования. Н. три раза переделывала статью для «Коммуны», и ее три раза браковали. Журнально-газетных ловов не получилось. Она оправдывается: «Я забыла о своих основных чертах — тупости и ипохондричности — и хотела работать». В результате она и консультативных писем не пишет. Идут бесстыдные разговоры о гибели и необходимости скандалов, демонстраций, объявления голодовки etc. В «нервах» расшвыряла шахматы на проигранной партии. О. то стонет, то мечется, придумывая утопические уродства, — вроде всяких писем с жалобами и упреками. Злит их и моя малая реактивная живость. Н. хочет ехать в Москву квартиру продавать (т. е. это пока болтовня).

7 апреля

Вечером был с О. на четвертой симфонии Бетховена.

9 апреля

У меня сейчас дурацкая отрешенность от мира. Она вызвана тем, что у Н. болит печень, а О. (в силу психоза — боязнь пространства) не может один ходить и я бессмысленно таскаюсь с ним в театр, на радио, к Елозе etc. У них сцены и драмы. Проекты скандалить из-за безденежья. А вся ситуация такая: театр — 400, «Коммуна» Надьке за «письма» 200, но в театре вычеты за авансы январские, а в «Коммуне» за забракованные статьи не платят. Домашние диспуты готовы разразиться в скандал по поводу моего малого сочувствия. Вдобавок сегодня метель и снег мокрый и густой. «Не хочу писать писем», — орет Н. — «Не пиши, Надюша», — заключает О., а там жалобы и ругательства.

12 апреля

. Пишу у М. Были только на дневном концерте под управлением Пауля Брейсаха, Бетховен (2-я симфония).

6 мая

(После отъезда Э. Г. Герштейн и жены Рудакова.)

У О. волнение в ожидании меня (придет ли?) и мирное подлизыванье. О. ожил и говорит, что Эмма сейчас больше присутствует, чем когда была лично, что нет чувства отъезда.

7 мая

У Осек только на минуту и потом с ними на Бедховена. Дивно слушал Девятую симфонию. С Ойстраха О. убежал, жалуясь на сердце (извозчик, поликлиника). Сидели мы розно, и я об уходе узнал в антракте. Застал их в поликлинике. Алчно хочет врачебной активности в вопросе освещения своего положения. Опять много декораций (если не всё они).

8 мая

О. психуют... О. сам подчеркивает, что очаг болей — плацдарм, так сказать, — места казенные: «Коммуна», Театр. Посмеивается, что-де «сердце знает, кого пугать, пусть начальство видит».

11 мая

Сейчас еще рано (часов 8). Вечером обещал зайти к М... Н. таинственно дала мне письмо, отправить Жене (ее брату), добавив: «Прочтите». Вот оно:

«Женюша! После припадка Ося очень плохо управляется. Очень слаб. И самое тяжелое, что предположение Герке (склероз мозга) подтверждается: появляются дополнительные признаки. Еще можно лечить, если поддастся лечению.

Но скоро будет поздно.

Сообщи Ане¹. Пусть добивается лечения (Мацеста).

¹ А. Ахматовой.

Сейчас откладывать нельзя. Нужна летом дача и, если июнь и июль пройдут благополучно, то Мацеста в августе. Нужны большие деньги. На даче — курс ванн. Что будет?

Выглядит он отлично, но это ничего не значит.

Я, очевидно, подниму вой. Я жду еще несколько дней Пастернака и Аню. Пусть торопятся. Если опять обман, то буду действовать я. Ося не умирает. Что, конечно, может разочаровать всех. Но он может протянуть, обреченный, еще 2—3 года. Может умереть внезапно, и это, в нашем положении, пожалуй, самое лучшее. Я не буду просить в Союзе денег. Дача — на лечение, но так, что-то вроде отдыха. Просто немножко замедлить... А они скажут, что уже все сделали, а то, может, ничего не дадут. Ну их к черту.

Надя

Пиши. Н.».

Мои примечания: о хорошем виде для меня, чтобы я не думал, что вид (вижу его только я) решает дело. Для этого письмо велено мне прочесть... О деньгах: я получил в театре, а Н. в Союз звонила вчера, и Кретьова прислала 50 р. (с бумажкой, на ней Н. расписалась: «Мандельштаму из лечебных средств «Коммуны»). О. бодр, говорит благоглупости и придумывает формы деятельности (сесть в сумасшедший дом, или на дачу поехать, или написать Майе Роллан, чтобы патефонных пластинок прислала).

27 мая

О. инвалидничает, т. е. комиссию хочет пройти. События эти изложены в письме Н. к Б <орису> Леонидовичу Пастернаку>. Вот оно:

«Б. Л. Вчера состоялся консилиум при 1-й поликлинике. О. Э. признан нетрудоспособным и направлен в комиссию по инвалидности. Будет признан инвалидом.

Эта комиссия должна была иметь медицинский, лечебный характер. Но на самом деле это было издевательством: мне не ответили ни на один вопрос медицинского характера, чтобы не взять на себя обязательств. Мне предложили в случае сердечных припадков обращаться за помощью к дежурному врачу, который прыскает камфору. И рекомендовали регулярно ездить в пси-

хиатрическую: проверять состояние. Это очень любезно. Дело в том, что все эти врачи в отдельности говорили о наличии склероза сосудов мозга и необходимости немедленного лечения, режима и т. д. Фактически О. Э. без медицинской помощи. Казенная медицина только страхуется. Частные врачи не хотят такого пациента. Был здесь проф. Герке. Он лечил, несмотря на социальное положение, но сейчас его нет: он заболел и уехал в Москву.

Комиссия написала следующую бумагу:

«Поликлиника № 1 Месткома Большого Театра — Мандельштам О. Э., 45 лет, страдающий кардиомиопатией, артериосклерозом, остаточными явлениями реактивного состояния, шизоидной психопатией, должен быть направлен в ВТЭК на предмет определения степени потери трудоспособности. Подписи: Азарова, Шатойло, Земгель. 27.V.36».

Через неделю О. Э. будет признан инвалидом: это почетное звание: он может спокойно умирать. Так полагается инвалидам. Он будет получать 8 р. 65 к. инвалидного пособия. Он может торговать папиросами — это инвалидное право. А Союз писателей до сих пор рекомендует М. зарабатывать на собственное лечение. **И выезд из области отказан.** Врачи молчат, потому что в области нет лечебного заведения нужного типа. Все очень прилично. При всеобщей пассивности — вполне сознательной и твердой — Осю обрекают на смерть. Вася прошу к прокурору Лейлевитову **не ходить**. Этот ход — пустая формальность. Все к нему ходят и уходят ни с чем. Мне известны десятки таких случаев. Я предпочитаю упрощенное положение: для О. Э. никто не сделал того, что мог. Без самоослепления вроде визита к прокурору. Надеюсь, что моя просьба будет уважена. Над. М.

Только в Москве я могла бы получить настоящий диагноз. Мне отказано в разрешении поехать в Москву для медицинской консультации»¹.

¹ Э. Г. Герштейн сомневается, послала ли Н. Я. Мандельштам это письмо по адресу, получил ли его Б. Л. Пастернак (см. «Подъем», 1988, № 10. С. 115).

30 мая

И вот новость... «Карлик» (сожигатель Мандельштамов) в небрежном тоне (вчера) рассказывает, что в № 4 «Знамени» новые стихи Пастернака. О. взволновывается. Умоляет меня купить.

Потом: «Надюша, 500 рублей, это я за эти стихи гонорар получил! Вернуть деньги!» Н. на обе половинки мысли двукратно ответила: «Да».

В конце дня я журнал купил, но ему не понес, а стал читать сам (сперва в магазине, потом в кафе).

Такие разговоры устно (для тебя) угнетающи. Но в письме пусть все звучит более историко-литературно, научно, как остановка времени под уздцы, чтобы его лучше рассмотреть. И другим показать.

Так вот, губительность того, что я непечатаемый, вернее, даже, что меня не знают.

Стихи его до одури напоминают мои последние. <...> Пробовал и вчера, и сегодня себя перечитывать, и, ей-ей, лучше, хотя, может быть, схематичнее (но нет, это неверно, это мне кажется от близости собственной вещи, звучит ее понятность). Время пройдет, ни одна собака не поверит, что я написал раньше. Но суть не в этом. Как и ждал, у М. судороги от восторга («Гениально! Как хорошо!»). Сам он до того отрезвился, что принял за стихи!! Именно, исправил последний стих последней воронежской вещи...

Он: — Я раскрыл то, что меня закупило, запечатало. Какие теперь просторы. А Пастернак установил связь между: конем, окном и небом (см. стихи). У меня теперь новые «у» потянуло. Чуть ли не восемь месяцев был перерыв. А званье надо носить, правда, Сергей Борисович? — Стихи у Пастернака глубочайшие, о языке особенно... Сколько мыслей... А вы что скажете?

Я: — У меня дело особое. Они очень по-худому близки к моим новым стихам.

Он: — Стихи другие стихи никогда не отменяют. (А в том же номере «Знамени» Шкловский пишет, что Блок Маяковскому сказал: ...вы нас отменяете, но мы, конечно, этому не можем радоваться).

Все это произошло у Мандельштамов спешно. Пришла одна их радиознакомая, и я уехал к Юлию. В при-

хожей О. Э.: «Сергей Борисович, оставайтесь... а нет, то завтра будете читать стихи».

Я ушел переволнованный. К чему этот хамский период, если О. опять восстановится? Я к нему по-старому не буду относиться. И стихов читать не буду. Вот уже конец Воронежа. Он... создал такую обстановку, что я не мог радоваться на свои стихи, легко без скандала их читать. А я знаю законы истории и знаю, что силой вещей могут быть загублены дивные даже произведения. И со мной неизмеримая вина Мандельштама. Я буду и жить, и работать, но с пользой. Воронеж принес глубочайший вред.

Вчера не писал нарочно. Будут потом стихи и историческая работа, но сейчас было гадко: это какие-то формы проигрыша. Понятно ли пишу? Все с Пастернаком лишь пример, что близкое ко мне котируется как гениальное (у Мандельштамов и у критики) за известность. Перечитывал стихи — нет, не разочаровывают. Какие скоты люди!

Рад, что внутренне от Мандельштама свободен, что не буду читать, так как астрономически точно знаю, что будет бред брани. Довольно этого. И не хочу его баловать тем, что о нем в стихах есть. Пойми, все это, может быть, лучшее проявление силы. Но может же быть плохо и сильному.

7 июня

Приехал Саратовский оперный театр. Сегодня пошли на «Кармен». Конечно, опоздали и увертюры — нам такой знакомой и хорошей — не слышали.

10 июня

После ряда метаний и стонов они решили ехать на дачу в район. Сперва в Павловск (городишко тут), потом в Задонск... Оформили так: Елозо дает Н. газетную командировку на месяц, а дальше они останутся там инерционно, живя на театр и присылы из Москвы (дружеские и довольно частые, по 500—600 в месяц). Еще перед отъездом накупили книг. Ехать должны были с домработницей и ее дочкой.

15 июня

Вот он лепечет опять о своей политике. И смысл такой: на инвалидность не пойдет, чтобы все на него рукой не махнули — «инвалид!», что-де вышел в отставку...

16 июня

Затмение в Воронеже, говорят, будет довольно ощутимо. 20-го утром Мандельштамы едут в Задонск. В театре он снят с 1 августа, уже расчет получил.

17 июня

Бомбой на один день принесся младший брат О. Все сугубо деловое. И О. размяк. Тут и Аннушка и все такое (она пока все в Москве).

18 июня

Он был у нового профессора (фамилию забыл). Тот сказал, что «сердцу 75 лет, но жить еще можно». В деталях отвергал своих диагностических предшественников, парадоксален, и О. возвеселился.

В 9 час. вечера слушали передачу о смерти Горького. Век уходит. Много о нем говорили, и очень глубоко и проникновенно. Союз собирался звонить в Москву о здорovy О. За час до известия о Горьком О. Э. звонил Стойчеву: «В дни тревоги за Горького прошу обо мне снять вопрос».

Дома: «И как страшно умер, накануне затмения. Горький в гробу — и затмение». Потом хватает меня за руку и тащит к окну: «Смотрите, босяк. Горький умер, и идет босяк, таких теперь нет...»

Вопрос — писать ли телеграмму? Сочтут, что хочет о себе напомнить. Решил послать брату: «Дни траура Горького прошу снять все личные вопросы. Осип». Но опять испугался, что звучит как коммерция: «Де, придержи». А выразить хотел свое уважение. Еще давно, в октябре, когда я вспомнил о препирательстве Брюсова с Толстым, он сказал: «Глупо. Это то же, что я с Горьким стал бы — то да се, мы не поделили...» Для него Горький (как вообще настоящий писатель) вне воп-

роса о том, «хорошо ли» писал, снимаются: Горький — это Горький. Об этом же, где рифма «горький — дальнорский» в «Большевике» — это в примечаниях.

Утром, действительно, затмение. Есть у меня черная киноленточка, чтобы не обжечь сетчатку.

20 июня

Сегодня, 20-го, утром, в часы, ровно совпадающие со вчерашним затмением, уехал на автомобиле в Задонск О.

...Затмение хотели смотреть вместе, но я сознательно уклонился, так как был уверен, что они или просят, или бросят смотреть на середине. Смотрел с обрыва реки один. Проголодался, у прохожей молочницы купил полбутылки молока, выпил тут же с диким удовольствием. Мандельштамы уезжали суетно, барахлово, с визгом и тревогой. Где пределы жизнеспособности этого «умирающего»?

Ко всем свободам прибавилась еще одна — от Мандельштама, от Мандельштамов. Так сказать, город свободен. Это есть избавление от лицемерия последних недель наших отношений. И жаль, и отрадно, облегченно как-то.

21 июня

Линуся, что же такое — жить без Осек? Это прежде всего некоторое успокоение, роздых. А главное — ощущение пустоты проклятущего Воронежа просто невыносимо. День какой-то стеклянный и безжизненный.

26 июня

Взял раздел «Онегина» для юбилейной пушкинской выставки в Публичной библиотеке. Сейчас в форме отъезжающего ленинградца я их не устрашаю. А было время, что и говорить не хотели (почти ровно год назад).

28 июня

От Мандельштамов получил письмо, где говорится о двух (!) телеграммах до востребования. Они цветут и меня зовут отдыхать.

1 июля

Запаковываю вещи, сдаю «Онегина», получаю за него 100 руб., на день еду проститься с Мандельштамами и по заказанному билету домой.

«Онегин» мой, хотя и удешевленный, но настоящий. Это компиляция литературы о нем в моей обработке... Важно, что на пустяке, но я заработал, пришел в действие. — Ли, может быть, это переход от застоя воронежского к Пушкинскому Дому?

6 июля

Думал, что к сегодняшнему дню буду уже «от Мандельштамов», а сам только завтра еду к ним. Они шлют телеграммы и устраивают «тревогу из-за моего здоровья».

8 июля

Вот я из Задонска. Прощанье более чем трогательное. ...Все-таки и на будущие дни эта задонская встреча очень положительна. Как-то лучше будет на расстоянии. ...В Москве забрать можно нужные бумаги. И это, и общий тон встречи оставят лучшее, а не худшее ощущение. Пусть это будет напутствием от Воронежа, напутствием дружелюбным.

ИЗ ПИСЕМ

М. А. Гецову, 8 декабря 1934 г.

...Полтора месяца вылетели в трубу, заполненные термометром, клизмой, диетой, лекарствами — и чепуху французскими томиками замечательных мемуаров Казановы. Трудно входить в жизнь. В жизни клеится все не так, как надо. Развлекает меня знакомство с Мандельштамом, который теперь в Воронеже.

М. А. Гецову, 18 января 1935 г.

...Ты спрашиваешь о Мандельштаме?

Рассказывать о нем надо много и долго. Очень умный, путанный человек, с гениальными иной раз высказываниями, говорящий о стихах, как о своем хозяйстве, практически неумелый — как ребенок, вспыльчивый, взрывающийся как бомба при легчайшем споре — он очень трудный и обаятельный человек.

Иной раз его замечание — это чистый клад, над которым надо сидеть и сидеть, иной раз остроумный афоризм, которым прикрывается все же бессодержательность.

Живет он неважно, хотя ему в лечении идут навстречу. Числится он консультантом при «Подъеме» и получает жалованье. Его по существу жалко, впрочем он и сам в этом виноват.

Встречи с ним бывают интересны и представляются ярким пятном на фоне серости человеческого материала в Воронеже.

Ответственному секретарю
Ленинградского отделения ССП,
без даты, 1938 или 1939 г.

...Из перечисленных в письме лиц, с которыми я был якобы связан, я был знаком со Столетовым, который работал в ССП с начинающими писателями и печатался в органах ССП, и Мандельштамом.

С последним я познакомился ближе в последние месяцы моей жизни в Воронеже, когда он и его жена оказались единственными людьми, которые оказали мне большую и добрую человеческую поддержку во время болезни и при смерти моей жены, в то время как никто из моих воронежских коллег по ССП не счел нужным заинтересоваться моим положением, и за эту поддержку я Мандельштамам глубоко и искренне благодарен.

ВСТРЕЧИ В ВОРОНЕЖЕ

Несколько раз я встречался с Мандельштамом в Воронеже летом 1935 г., куда был командирован Московским университетом для чтения курса лекций на биологическом факультете Воронежского университета. Часто бывал у него, и Мандельштам заходил ко мне в общежитие.

Однажды он появился у меня и с ходу стал читать только что написанные стихи:

Мир начинался страшен и велик —
Зеленой ночью папоротник черный.
Пластами боли поднят большевик —
Единый, созидающий, бесспорный.
Упорствующий, дышавший в стене,
Привет тебе, скрепитель добровольный
Трудящихся, твой каменноугольный
Могучий мозг — гори, гори стране.

Прочитав это стихотворение, Мандельштам сказал, что его не удовлетворяет похожесть на Пушкина: «Ужо тебе, строитель чудотворный...». А потом неожиданно спросил:

— Как вы считаете, Яков Яковлевич, вам было бы приятно, если бы вам сказали, что у вас мозг каменноугольный?

— Да нет, — ответил я, — как-то не очень...

В Воронеже Мандельштам, как известно, был поселен по прямому распоряжению Сталина. Говорил Мандельштам о Сталине благожелательно.

Держался он иногда странно. Однажды я, Надя и он пошли на концерт. Все уже расселись, когда вдруг Мандельштам встал и начал аплодировать, широко от-

вода негнущиеся руки и также сводя их обратно на манер Буратино. Покосясь и увидев мое удивленное лицо, он объяснил:

— Знаете, почти в каждом городе есть концертный сумасшедший. Здесь в Воронеже — это я.

Однажды, когда я был у них в комнате, вполне благополучной, кажется, даже на центральной улице, зашел разговор о Надсоне. Известно, что такое Надсон для поколений символистов и акмеистов. Тем не менее некоторые его стихи мне тогда нравились, и я сказал:

— Все-таки у него были хорошие строчки, а потом он ведь был очень молод.

Мандельштам срывается с места:

— Надо немедленно написать в литературные организации, что нужно многое пересмотреть у Надсона.

Потом остановился, поглядел на меня и сказал:

— А может, не стоит?

Еще один эпизод: мы сидим на сквере с памятником Кольцову. Мандельштам спрашивает:

— Как вы думаете, а будет ли поставлен когда-нибудь памятник мне в Воронеже?

Что я мог на это ответить... Я задал ему вопрос об Ахматовой. Он сказал: «Величайшая в мире поэтесса после Сафо».

Поразительны суждения Мандельштама историко-философского порядка. Мне довелось слышать, как он буквально одной фразой охарактеризовал XVIII век во Франции.

— Все время впечатление, что ты ходишь по высохшему водоему, все, что было в глубине, оказалось на поверхности.

А сопоставляя Ламарка и Дарвина, он высказал поразительное по верности и глубине суждение:

— Ламарк приказывал природе, а Дарвин — изучал и слушался.

Удивительно оно еще и потому, что глубоко связано с биографиями обоих ученых: Ламарк вырос в военной семье и в молодости бежал на войну, а Дарвин по происхождению был связан традицией позитивного буржуазного мышления. Наверное, отсюда и идет императив: «Он сказал: довольно полнозвучья...» («Ламарк»).

Я чтил Добролюбова, ценил и его стихи. Однажды прочел Мандельштаму наизусть «Пускай умру, печали

мало...». О. Э. отрезал: «Стихи плохие...» Он был беспощаден к тому, что не было совершенным искусством.

Через много лет, когда Мандельштама уже не было в живых, меня позвала к себе Е. М. Фрадкина:

— У нас будет Ахматова, я хочу, чтобы вы с ней познакомились. Ей будет приятно узнать о том, как о ней отзывался Мандельштам.

Я познакомился с Ахматовой и три часа провел в ее обществе. Она очень изменилась по сравнению с тем обликом, который запомнился нам по портрету Альтмана. Она пополнила, и внешность, я бы сказал, даже изменилась к лучшему: это была разгневанная королева.

Я рассказал ей о разговоре около памятника Кольцову и как о ней отзывался Осип Эмильевич.

— Мандельштам — это чудо, — сказала Анна Андреевна, — в совершенно далекой от поэзии среде забил такой родник поэзии...

1980, 1984

ИЗ НАЧАЛЬСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСКИ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

П. Юдин — М. Генкину

Тов. Генкин!

В Воронеже с некоторых пор проживает старый писатель-поэт Мандельштам. Попал он в Воронеж за некоторые дела, не одобряемые органами советской власти. Мандельштам как поэт очень квалифицированный и является большим мастером и знатоком поэтического творчества.

Среди старых писателей он пользуется известным авторитетом. Поэт он, конечно, не наш, и будет ли когда-нибудь нашим — не думаю.

В Воронеже он живет как будто бы сравнительно свободно, и ему не возбраняется заниматься литературной деятельностью.

В Культпроп ЦК ВКП(б) обратились некоторые старые его сподвижники по литературе (Пастернак Б. Л.) с вопросом о возможном расширении литературной деятельности Мандельштама.

Считаю, что это сделать возможно.

«Расширение» деятельности Мандельштама, думаю, может выразиться примерно в следующем:

а) предоставить возможность ему писать, а следовательно, и печатать в общем порядке при условии, конечно, полной приемлемости того, что он будет давать для нашей печати;

б) использовать его как переводчика классической литературы;

в) можно привлекать его в общие коллективы (бригады) писателей, каждый раз определяя конкретно задачу, которую ему можно поручить.

Речь, следовательно, идет о том, чтобы Мандельштам постепенно вовлекать в писательскую работу и использовать его по мере возможности как культурную силу и дать возможность заработать.

Об этом я говорил с А. И. Стецким и пишу тебе по его поручению.

Всякие разговоры с Мандельштамом удобнее всего будет вести через ваших писателей.

Если будет время — напиши о воронежских новостях.

С коммунистическим приветом

П. Юдин

20.XI.34 г.

О. Кретьова — М. Генкину

Уважаемый т. Генкин!

По Вашей просьбе я написала коротко о жизни в Воронеже поэта Мандельштама и о его связи с нашей организацией.

Посылаю Вам это сообщение.

С коммунистическим приветом

О. Кретьова

29.XI.34 г.

М. Генкин — П. Юдину

Зам. зав. отд. культуры и пропаганды

ленинизма т. Юдину

13.XII.34 г.

Дорогой товарищ!

Твои указания, согласованные с т. Стецким, относительно поэта Мандельштама постараюсь реализовать. Говорил с некоторыми нашими писателями-коммунистами и вот что могу тебе сообщить.

Поэт Осип Эмильевич Мандельштам живет в Воронеже с мая 1934 года. Летом он был болен (психо-травма) и не мог принимать участия в работе литературной организации.

В сентябре правление Союза советских писателей установило с Мандельштамом постоянную связь. В беседе с писателями-коммунистами, членами правления, Мандельштам рассказывал о своей огромной жажде принять и осмыслить советскую действительность, просил помочь ему бывать на заводах и в колхозах, вести работу с молодыми писателями. Правление Союза при-

гласило Мандельштама участвовать в поездке на открытие первого совхозного театра в Воробьевском районе Воронежской области. Знакомство с совхозом, с ростом культурного уровня сельскохозяйственного пролетариата произвело на поэта огромное впечатление.

Редакция областного литературного художественного журнала «Подъем» предоставила Мандельштаму возможность вести платную литературную консультацию. Сейчас он пишет статью для журнала. Предполагает начать работу над книгой о старом и новом Воронеже. При участии Мандельштама проведено обсуждение очерков воронежских писателей о магистрали Москва — Донбасс.

Жилищные условия поэта вполне удовлетворительны, комната большая, светлая. Он прикреплен к столовой издательства «Коммуна», где получает диетическое питание. Настроение у Мандельштама хорошее, он считает, что воронежские организации подошли к нему чутко и помогут ему выправить сделанные ошибки.

С коммунистическим приветом

(Без подписи).

Из протокола № 1 заседания правления Воронежского отделения Союза советских писателей.

(Было заслушано заявление Н. Мандельштам об оказании помощи О. Мандельштаму.)

«Постановили:

а) Поручить т. Булавину на основании полученных диагнозов написать еще раз в Литфонд СССР о состоянии здоровья О. Мандельштама. Просить, чтобы ему разрешили выезд на курорт и ассигновали на это средства Литфонда СССР.

б) Просить директора мединститута обеспечить наблюдение за состоянием здоровья Мандельштама до разрешения Москвой вопроса о его дальнейшем лечении.

в) Выдачу Мандельштаму 80 рублей из средств Литфонда утвердить.

г) Констатируя факт нарушения положения о расходовании средств Литфонда систематической выдачей безвозвратных пособий поэту Мандельштаму, не явля-

ящемся ни членом ССП, ни членом Литфонда, поручить гг. Стойчеву и Булавину поставить вопрос в соответствующих организациях о возможности изыскания средств для оказания поэту Мандельштаму помощи в связи с его тяжелой болезнью».

В протоколе № 3—4 от 16 марта 1936 г. также значится пункт «О Мандельштаме»:

«Слушали: <...> О Мандельштаме.

Информация гг. Кретовой и Булавина о том, что Мандельштам, получив согласие Литфонда СССР на бронирование ему путевки в Крым, обратился к отдельным членам правления ССП Воронежской области с требованием ко всему правлению в целом обеспечить его выезд в Крым вместе с женой или заменить путевку деньгами для поездки на отдых сроком не менее чем на 3 месяца, а также просить предоставить ему средства для поездки по районам области.

Постановили:

Принять к сведению сообщение Стойчева о том, что им послано письмо в Правление ССП о возможности оказания помощи Мандельштаму со стороны Литфонда СССР и Всесоюзного правления ССП; правление воронежского отделения ССП и местное отделение Литфонда в разные сроки уже выдало Мандельштаму свыше 1000 р. и дальнейшие его просьбы не могут быть удовлетворены. Правление не может также оказывать материальную помощь Мандельштаму, требования которого приняты с его стороны систематический характер. Правление считает, что, оказав помощь Мандельштаму в поступлении на работу в театр и его жене в получении работы от редакции «Коммуна», оно сделало достаточно, чтобы Мандельштам мог устроиться материально без пособий со стороны Воронежского ССП».

16 июня 1936 г. (протокол № 8) было рассмотрено заявление Н. Мандельштам о полной нетрудоспособности О. Мандельштама и об отсутствии у него средств к существованию.

«Постановили:

3. Поручить зам <естителю> пред <седателя> правления Воронежской организации ССП Кретовой сообщить Н. Мандельштам о том, что отделение ССП

не правомочно решать вопросы о пенсиях, поэтому Мандельштаму надлежит обратиться в Правление ССП СССР и Литфонд СССР, переслав в их адрес все необходимые документы и заключение медицинской комиссии. Принять к сведению информацию т. Кретовой, что о положении Мандельштама сообщено тт. Щербакову и Марченко воздушной почтой и телеграфом».

Правление ССП СССР

В. П. Ставскому

28 сентября 1938 г.

С Мандельштамом дело обстоит так: осенью 1934 он явился к тогдашнему председателю Союза писателей т. Шверу с просьбой предоставить ему возможность принимать участие в работе воронежского Союза писателей. Швер дал свое согласие и даже взял Мандельштама на должность литературного консультанта при ССП. Однако скоро обнаружилось, что Мандельштам совершенно неспособен к работе с начинающими авторами.

В феврале 1935 года на широком собрании воронежского ССП был поставлен доклад об акмеизме, с целью выявления отношения Мандельштама к своему прошлому. В своем выступлении Мандельштам показал, что он ничему не научился, что он кем был, тем и остался.

Осенью 1934 г. и позднее воронежскому правлению ССП через зав. культпропом т. Генкина было указание от работника культпропа ЦК ВКП(б) т. Юдина об оказании Мандельштаму всяческой помощи. Правление ССП в разное время выдало Мандельштаму (еще при Швере) около тысячи рублей. Но в жизни союза Мандельштам после вечера об акмеизме никакого участия не принимал и не принимает.

В течение этого года Мандельштам несколько раз обращался в правление с просьбой о ходатайстве перед Москвой об оказании ему медицинской помощи: просился на Минский пленум; вообще всячески старался добиться, чтобы правление в каких бы то ни было формах встало на путь реабилитации его перед Советской общественностью. Правление ограничилось посылкой сведений о состоянии здоровья Мандельштама в Литфонд СССР, куда Мандельштам писал заявление о предо-

ставлении ему места на курорте. Что же касается других неоднократных притязаний Мандельштама, то правление неизменно и решительно отклоняло их. В свое время о Мандельштаме мы сообщали правлению СП СССР.

Много раз в правление приходила жена Мандельштама и угрожала, что если-де воронежский Союз не окажет им, Мандельштамам, материальной и моральной помощи, то они покончат самоубийством. Так обстоит дело с Мандельштамом, который отбывает ссылку в Воронеж. Ни членом, ни кандидатом организации он не является и в деятельности ССП никакого участия не принимает».

Далее С. Стойчев продолжает: «В целях дальнейшей, углубленной проверки членов и кандидатов ССП правлением намечено за время сентябрь-декабрь подвергнуть широкому обсуждению всю деятельность каждого члена и кандидата ССП, как творческую, так и общественно-политическую. Проведение этого мыслится так: устраивается вечер, целиком посвященный одному писателю. Докладчик делает анализ всего того, что написано писателем. Сам писатель рассказывает о себе, что он пишет в настоящее время... Секретари обкома тт. Рябинин и Ярыгин интересуются каждым новым произведением, написанным нашим писателем и читают не только, когда произведение напечатано, но и рукописи, помогая советом, указаниями, вдохновляя писателя на работу.

Основное ядро наших писателей несомненно здорово, творчески дееспособно. У большинства из наших писателей дело овладения основами литературного мастерства подходит к концу и в ближайшее время мы вправе ожидать от них зрелых, достойных Сталинской эпохи произведений.

**Секретарь партгруппы
Воронежского ССП**

Ст. Стойчев.

ИЗ МЕСТНОЙ ПЕЧАТИ

И. ЧЕРЕЙСКИЙ

«КАНИКУЛЫ» В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ

На пленуме союза писателей Воронежской области, состоявшемся в начале апреля этого года, шел разговор о недостатках, которые мешают успешной работе писателей. Все выступавшие тогда с горечью говорили о том, что существующая у нас творческая среда (вернее, отсутствие ее) не способствует росту писателей, что правление союза не сумело организовать литературную общественность, что нет настоящей критики и самокритики внутри писательской организации: критики дружеской, но и нелицеприятной, внимательной к успехам, но и не скрывающей ошибок. Были сказаны очень резкие и очень справедливые слова. И сами руководители союза не думали отрицать, что все это действительно так и есть. Они не снимали с себя ответственность за недостатки в работе писательской организации. Но они твердо заявляли, что это дело прошлое, а в будущем картина резко и приятно изменится. Начало планомерной работе положено, пленум послужил переломом, литературное движение в нашей области поднимается на новую ступень и т. д.

Так рисовалось будущее. А вот — действительность. На днях — спустя почти полгода после пленума — воронежские писатели собрались для того, чтобы обсудить последние политические события в союзе писателей. И что же? О чем же говорили на собрании?

— Правление союза писателей не является организатором творческой работы наших писателей (М. Подобедов).

— Союз писателей еще не стал общественно-культурным центром области (В. Покровский).

— В союзе писателей нет дружеской обстановки. Живете вы не дружно, плохо. Не интересуетесь друг другом. Что пишешь, как пишешь, — эти вопросы мало волнуют правление союза (В. Ряховский).

Те же недостатки, те же болезни! А председатель областного правления союза писателей тов. Стойчев по-прежнему выражает надежду, что «это собрание положит начало планомерной работе» и т. д.

Вовсе не случайно, что как на пленуме, так и на последнем собрании больше всего говорилось об отсутствии настоящей творческой среды. Писатели оторваны друг от друга. Все вместе они оторваны от читателя. Общественно-политическая жизнь в среде писателей развита чрезвычайно слабо. Разоблачение троцкистско-зиновьевской контрреволюционной банды всколыхнуло всю страну. Оно взволновало всю литературную общественность. Ведь писательские организации явились убежищем ряду врагов советской власти, для которых марка советского писателя служила удобной маскировкой их подлинного лица бандитов и террористов. Как известно, расстрелянный по приговору Военной коллегии Верховного суда презренный террорист Пикель состоял в союзе советских писателей и только во время процесса был изгнан оттуда. Недавно союз писателей в Москве освободился от троцкистов и двурушников — Г. Серебряковой, Трощенко, Селивановского, Тарасова-Родионова и др. В Армении разоблачены Симонян, Бакунц и др.

Все организации союза писателей, объединяющие в своих рядах честных, преданных советской власти художников, — а таких подавляющее большинство, — расценили эти события так, как и полагается большевикам — партийным и непартийным: враг пытается пробраться в наши ряды, пытается использовать в своих гнусных целях оружие художественного слова и перо литератора, — значит надо усилить бдительность, надо еще и еще раз проверить себя, надо освободиться от всех, кто дискредитирует почетное звание советского писателя.

И вот понадобились все эти события — процесс над троцкистско-зиновьевской бандой, разоблачение за-

маскировавшихся троцкистских последышей в писательских организациях Москвы, Ленинграда, Армении и др. — понадобилось все это, чтобы напомнить воронежскому областному правлению союза писателей о его обязанностях. Только тогда, — и то с немалым опозданием, — правление собрало писателей. (А надо заметить, что с момента последнего пленума ни разу не собиралось широкого писательского собрания, ни разу перед писателями не ставились важнейшие общественно-политические и творческие вопросы!)

Что же удивительного, что снова начались разговоры о творческой среде. Это очень существенный момент в работе писателей. И надо прямо сказать: если бы правление союза писателей не ограничилось словесными обещаниями на этот счет, весьма возможно, что не было бы тогда тех вредных идейных влияний в творчестве некоторых воронежских писателей, о которых пришлось говорить на последнем собрании и докладчику тов. Стойчеву и многим выступавшим в прениях.

Воронежская организация союза писателей сумела довольно быстро разглядеть явно чуждых людей, которые пытались использовать союз писателей и журнал «Подъем», развивая на его страницах путаные и вредные теории, продвигая туда свою литературную продукцию (Калецкий, Айч, Стефен, Мандельштам). С некоторым опозданием, не сразу, недостаточно решительно, но эти люди получили свою оценку. Но не так обстоит дело с писателями, которые, являясь нашими советскими людьми, отразили в своем творчестве влияния, далекие от нас по своим идейным установкам, чуждые по духу. Тт. Ряховский, Сергеенко, Подобедов и др. указывали, например, на творчество Л. Завадовского и Б. Пескова — писателей, которые должны серьезно задуматься над тем, по какому пути они идут. Творческие позиции и идейные установки Завадовского и Пескова — хотя это писатели по масштабу своего дарования несравнимые — очень близки к платформе небезызвестной литературной группки «Перевал». Это та самая литературная группа, идейным воспитателем которой являлся литературный оруженосец Троцкого — Воронский.

.....
Тов. Стойчев в своем выступлении обмолвился на-

счет «летних каникул»: дескать, затишье в литературной жизни Воронежа и области, вероятно, объясняется летними настроениями. Не слишком ли затянулись эти самые каникулы? Не пора ли, в самом деле, союзу советских писателей занять то место в культурной жизни нашей области, какое советская литература в целом занимает в жизни всей страны?

«Коммуна», 1936, № 214, 16 сентября.

О. КРЕТОВА

К 5-летию постановления ЦК ВКП(б) о перестройке литературно-художественных организаций

ЗА ЛИТЕРАТУРУ, СОЗВУЧНУЮ ЭПОХЕ!

Исполнилось пять лет со дня исторического решения ЦК ВКП(б) о перестройке литературно-художественных организаций. Этим решением ликвидирована ассоциация пролетарских писателей — РАПП. Все писатели, поддерживающие платформу советской власти и стремящиеся участвовать в социалистическом строительстве, объединены в союз советских писателей. Подобная перестройка была произведена и на других участках искусства.

.....

Постановление ЦК ВКП(б) уничтожило барьер между пролетарскими писателями и писателями-попутчиками. Вся советская литература была призвана в ряды великой армии создателей новой жизни. Писатели горячо почувствовали доверие, которое оказала им партия, и свою ответственность перед страной. Уже первый год после постановления ЦК ознаменовался появлением ряда книг, где не только даны широкие картины строительства социализма, но и по-новому осмысливается историческое прошлое. Это были: «Поднятая целина» Шолохова, «Цусима» Новикова-Прибоя, «Последний из Удэге» Фадеева, «Время, вперед» Катаева, «Энергия» Гладкова и др.

На первом Всесоюзном съезде советских писателей

секретарь ЦК ВКП т. Жданов охарактеризовал советскую литературу, как «плоть от плоти и кость от кости нашего социалистического строительства». Литература народов СССР — самая передовая, самая революционная литература в мире. Это неоспоримый факт. Но в свете стоящих перед ней задач наша литература все еще отстает от требований эпохи. Констатируя слабости литературы, т. Жданов указал, что они не случайны: они отражают отставание сознания писателей от экономики социалистической страны. Тов. Жданов горячо призывал всех литераторов работать над своим идейным вооружением, над овладением мастерства.

Гениальный художник слова и руководитель союза писателей Алексей Максимович Горький неоднократно подчеркивал, какое значение имеет советская литература для «всестороннего познания прошлого и настоящего нашей родины», для воспитания послеоктябрьского поколения. На съезде Алексей Максимович говорил: «Нам необходимо знать все, что было в прошлом, но не так, как об этом уже рассказано, а так, как все это освещается учением Маркса-Ленина-Сталина и как это реализуется трудом на фабриках и на полях — трудом, который организует, которым руководит новая сила истории — воля и разум пролетариата Союза социалистических республик. Вот какова, на мой взгляд, задача союза литераторов».

Со времен съезда появилось немало произведений высокой идейной насыщенности и зрелого художественного мастерства. Алексей Толстой, Шолохов, Фадеев, Панферов дали продолжения своих больших романов, Павленко — «На Востоке», Ильф и Петров — «Одноэтажную Америку», В. Катаев — «Белеет парус одинокий»; Николай Островский — «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей», Тынянов — «Пушкина», Макаренко — «Педагогическую поэму». Вышла четвертая книга «Клима Самгина» — последний вклад в советскую литературу горячо любимого всем нашим народом Максима Горького. Ряд писателей отмечен высокой наградой советского правительства — орденом Ленина. Среди них — покойный ныне Островский, дагестанский ашуг Сулейман Стальский, народный певец Казахстана Джамбул, Гасем Лахути.

Но литературный фронт всегда был фронтом ожесто-

ченной классовой борьбы. В свое время небезызвестный Клычков пытался истолковать постановление ЦК ВКП(б) как амнистию реакционным писателям. Он говорил, что если рапповцы утверждали, что в литературном произведении ласточка должна лететь туда, куда нужно эпохе, то теперь эта ласточка может лететь, куда она хочет. Клычкову ответили Тихонов и Сейфуллина: — Нет, — говорили они, — литературная ласточка должна лететь в страну социализма.

Действительность убедила нас в том, что основная масса советских писателей — это верные сыны своей родины. Но классовый враг все время пытался оторвать от партии и народа его писателей. Известно, что Воронский стремился сохранить кадры своей троцкистской группы «Перевал», что заклятые враги народа Тер-Ваганян, Фридлянд, Пикель имели трибуну в советских литературных журналах, в Ленинграде орудовали Горбачев, Горелов, Майзель, а в Москве — Мазнин и Макарьев.

Бухарин и Радек на Всесоюзном съезде писателей отбрасывали пролетарскую литературу за рубежом и революционную, политическую поэзию у нас, они ориентировали литературные кадры на камерную и косноязычную поэзию Пастернака.

Не все писатели сразу поняли, куда может увести этот путь. Понадобились два года, понадобились статьи «Правды» о формализме и натурализме, чтобы стало совершенно очевидно: одним из основных качеств советской литературы должна быть ее народность в новом и самом широком смысле этого слова.

Союз писателей в свое время не заметил, что классовый враг проник в его ряды. Это — жестокий урок, из которого надо сделать все выводы.

Серьезные недостатки, вскрытые последним Пленумом ЦК ВКП(б) в работе партийных, хозяйственных, советских и общественных организаций, — свойственны и союзу советских писателей. В союзе писателей не соблюдались элементарные принципы советской демократии, не было должного большевистского воспитания кадров. Самокритика была не в почете. Ряд писателей оторвался от жизни. Все это в полной мере относится и к воронежскому отделению союза советских писателей.

Писатели нашей области после ликвидации РАПП

имеют в своем активе около двух десятков новых книг. За эти годы были изданы и печатались в журнале «Подъем»: «На последней меже» и «Торжество» Подобедова, «Бригада» и «Конопля» Прудковского, «Золото» Заводовского, «Девятый вал», «Побег» и «Лава» Булавина, «Страсть» и новые рассказы Пескова, «Дело чести» Сергеевко, «Восстание» Ряховского, отдельные пьесы Задонского, стихи Рыжманова. Этого, конечно, очень мало.

Правление воронежского отделения союза не сумело организовать творческую работу писателей. В связи с этим многие из них затянули работу над новыми произведениями; другие, загруженные служебной работой, пишут очень мало; третьи ничего не дают в течение долгого времени. Большинство членов областной литературной организации работает на давно накопленном материале, недостаточно изучая качественно новые явления советской действительности. Их беда в том, что они слишком долго литературно осваивают накопленный опыт. В новых условиях, созданных принятием Сталинской Конституции, писатели должны по-новому осмыслить пройденный страной путь, глубже войти в жизнь.

.....

В результате колоссальных побед социализма коренным образом изменилась жизнь народов советской страны. Трудящиеся массы культурно выросли и требуют от своих писателей произведений, ярко и правдиво отображающих пафос борьбы и радость творческих завоеваний, требуют, чтобы литература помогала бороться за формирование социалистического мировоззрения, за нового человека.

На путях к созданию подлинно народной литературы стоит много препятствий. Главные из них: с одной стороны — формализм, с другой — серое бытописание, натурализм, выражающийся в преклонении перед мелочами, мешающими видеть и понимать целое. Писателям нашей области более свойственны недостатки второго порядка. Но в некоторых их произведениях есть и эстетство и бутафорские эффекты, присущие формалистам. Борьба за народность, за социалистический реализм — одна из коренных задач нашей литературной организации.

В течение последних лет с областной писательской

организацией неоднократно пытались сблизиться, оказать свое влияние троцкисты и другие классово-враждебные люди: Стефен, Айч, О. Мандельштам. Но они были разоблачены писательской организацией.

К людям же, когда-то в прошлом совершившим ошибки и пытающимся честно исправить их, отношение было иным. Правление и все писатели сурово критиковали «перевальские» ошибки Завадовского. В романе «Золото» им сделана серьезная попытка преодолеть биологизм. Но все же перестройка писателя идет медленно. <...> Грубых политических ошибок наделал писатель-комсомолец Борис Песков. Акцентируя все время на теневых сторонах жизни, сгущая их, он фактически искажал действительность. В своем мировоззрении Песков обнаружил большую путаницу и шатания, договорившись до надклассовости литературы — «политика одно, а художник другое». Писатели-коммунисты указали Пескову на эти ошибки. Песков их осознал и осудил в своих выступлениях.

Недавно обнаружилось, что правление ССП просмотрело чуждый, антисоветский элемент в городской литгруппе. Факты засоренности литгруппы должны мобилизовать всю организацию. Необходимо решительно пресекать поползновение политически-враждебных, контрреволюционных, троцкистских элементов, желающих проникнуть в литературную среду.

Все творческие силы писателей сосредоточены на подготовке произведений к 20-й годовщине Октября. Чтобы эти произведения были полнокровными и художественно полноценными, писатели должны много и серьезно работать над собой, активно участвовать в строительстве новой жизни.

Заканчивая, хочется еще раз сказать словами Фадеева: «В сущности наши писательские обязанности такие же, как и у всех граждан: это честно трудиться, давая по способностям; соблюдать социалистическую дисциплину, право социалистического общежития, работать на оборону нашей родины, быть верным делу социализма, делу Сталина».

«Коммуна», 1937, № 93, 23 апреля.

Из книги «Литературный Воронеж»

(Сборник Воронежского союза советских писателей.

1). Воронежское областное книгоиздательство, 1937.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Двадцать лет назад под руководством коммунистической партии большевиков, под руководством гениальных вождей Ленина и Сталина рабочий класс и крестьянство нашей страны свергли власть капиталистов и помещиков и организовали новое, советское государство, первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян.

Прекрасны и величественны итоги героического двадцатилетия советской власти. Под мудрым руководством любимого всеми народами гениального Сталина построены сотни гигантов промышленности, создано множество новых отраслей и видов производства, организованы сотни тысяч колхозов и совхозов. Из страны мелко-крестьянского хозяйства СССР стал страной мощной передовой индустрии и самого крупного в мире социалистического земледелия.

Выросли десятки новых городов, осваиваются отдаленнейшие, недоступные прежде районы нашей земли, меняют свои русла реки. Навсегда ликвидированы все эксплуататорские классы.

Радостной, зажиточной и культурной стала жизнь советских людей. «Наша революция является единственной, которая не только разбила оковы капитализма и дала народу свободу, но успела еще дать народу материальные условия для зажиточной жизни» (Сталин).

Пышным цветом расцветают у нас таланты, буйным ключом бьет изобретательская мысль, повседневно и на каждом шагу проявляются инициатива, отвага, героизм.

Вершину прекрасного здания социализма увенчивает

Сталинская Конституция. В ней ярко, с предельной ясностью запечатлен итог великих, всемирно-исторических побед. Право на труд, право на образование, право на отдых, право на обеспечение в старости не только провозглашены, но и полностью гарантированы у нас всей мощью социалистического государства.

«В результате пройденного пути борьбы и лишений приятно и радостно иметь свою Конституцию, трактующую о плодах наших побед. Приятно и радостно знать, за что бились наши люди и как они добились всемирно-исторической победы. Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, что она дала свои результаты. (Продолжительные аплодисменты). Это вооружает духовно наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию. Это двигает вперед и поднимает чувство законной гордости. Это укрепляет веру в свои силы и мобилизует на новую борьбу для завоевания новых побед коммунизма» (Сталин).

Победа социализма завоевана в беспощадной борьбе с классовыми врагами и оппортунистами всех мастей. Подлый фашистский пес Иуда — Троцкий и вся троцкистско-бухаринская свора на всех этапах революции вели озверелую подрывную работу против партии коммунистов, против рабочего класса и всего советского народа. Гнусные, черные предатели, проклятое отребье рода человеческого, они собирались продать фашистам нашу прекрасную родину, восстановить в ней капитализм и в потоках крови потопить свободу и счастливую жизнь нашего могучего народа.

Бешеную и подлую диверсионно-вредительскую работу развернули троцкистско-бухаринские мерзавцы и в нашей Воронежской области. Они не брезговали никакими средствами, чтобы посеять в массах смятение и недовольство, чтобы подорвать могущество и благосостояние страны. Главарь троцкистско-бухаринской шайки, фашистский шпион Рябинин, вкупе с одичавшей бандой викторовых, левиных и прочей сволочи уничтожали сотни тысяч скота, распространяли чуму, сибирскую язву, готовили массовое отравление ядами людей, пытались организовать голод. Но все гнусные планы врагов и шпионов потерпели крах.

Славная советская разведка, под руководством вер-

ного сталинца Н. И. Ежова изловила этих подлых тварей и поставила перед лицом народного суда.

Выборы в Верховный Совет являются продолжением борьбы за дальнейшие победы социализма. Вдребезги разбитый классовый враг сейчас зачастую прикрывается советской личиной, двурушнически маскируется.

Но трудящиеся массы, наученные опытом двадцатилетней героической борьбы, сумеют разоблачить всех врагов. Голосуя за социализм, за свою счастливую жизнь, за партию Ленина — Сталина, советский народ пошлет в Верховный Совет самых лучших, самых преданных своих сынов.

Нет на земле той силы, которая могла бы поколебать безграничное доверие народа к коммунистической партии, к советской власти. Велика, могуча и несокрушима любовь миллионов советских людей к гениальному созидателю бесклассового социалистического общества — к товарищу Сталину.

С именем товарища Сталина неразрывно связана героическая борьба рабочих и крестьян за советскую власть в Октябре, в годы гражданской войны; во главе с товарищем Сталиным советский народ, после смерти Ленина, шел и побеждал на всех этапах великого социалистического строительства.

Под мудрым, гениальным руководством товарища Сталина и коммунистической партии наш могучий народ пойдет и дальше, непрерывно повышая свою бдительность, круша и уничтожая всех фашистских гадов, которые попытаются остановить его победное шествие к сияющим вершинам коммунизма.

Н. Рыжманов

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Пышной поступью поэта,
Недоступный, словно жрец,
Он проходит без привета
И... без отклика сердец.

Подняв голову надменно,
Свысока глядит на люд, —
Не его проходит смена,
Не его стихи поют.

Буржуазен, он не признан,
Нелюдимый, он — чужак,
И побед социализма
Не воспеть ему никак.

И глядит он вдохновенно:
Неземной — пророк на вид.
Но какую в сердце тленном
К нам он ненависть таит!

И когда увижу мэтра
Замолчавших вражьих лир,
Напрягаюсь, как от ветра.
Четче, глубже вижу мир.

Презирай, гляди надменно, —
Не согнусь под взглядом я,
Не тебе иду на смену
И не ты мой судия!

1936 г., декабрь.

Н. Романовский, М. Булавин

ВОРОНЕЖСКИЕ ПИСАТЕЛИ ЗА 20 ЛЕТ

Обзор

.....

Сделав беглый обзор советской литературы и литературного движения в Воронежской области, считаем совершенно необходимым отметить, что развитие и рост литературных кадров проходили в тяжелых условиях административного зажима, искусственного торможения со стороны предателей и изменников родины, пролезших в Обком ВКП(б), Облисполком, областную газету «Коммуна» и Книгоиздательство, в лице врагов народа Рябинина, Швера и др. Огромный вред литературному движению области был нанесен бывш. секретарем Обкома Варейкисом.

Окруживший себя шайкой прожженных политических бандитов, Варейкис создал атмосферу непроходимого подхалимства, лести и низкопоклонничества. Играв роль высокого покровителя, литературного мецената и человека большой культуры, он писал статьи для журнала и письма отдельным писателям. Его друзья и подхалимы Швер, Алексеев, Елозо и др. внушали ли-

тературной организации, что Варейкис является большим эрудитом и непререкаемым авторитетом в искусстве. Сам Варейкис имел наглость полемизировать с Горьким о языке в статье, помещенной в «Октябре» № 8 за 1934 год, журнал с этой статьей был роздан на Всесоюзном съезде писателей.

Писателям не позволялось быть самостоятельными в своей работе; в качестве «идейного» руководителя к ним приставлялся «дядька» — Швер, Стойчев. Последний был рекомендован подвизавшимся в Воронеже в качестве критика и доцента по русской литературе Плоткиным. Деятельность Плоткина подлежит особому рассмотрению и пристальному изучению. Упомянем только, что Плоткин не написал ни одной статьи о воронежских писателях, которых в Воронеже, по его глубокому убеждению, был только он один — Плоткин. Его невзыскательному перу принадлежат клеветнические статьи о Маяковском, апология ряда авербаховских теорий. Он же, к немалому удивлению воронежской общественности, сделал «блестящую» «ученую» карьеру, получив командировку в Академию наук при содействии ныне разоблаченных врагов народа.

Другим «столпом литературной критики» являлся некто Егин — бухаринский последыш, которому безраздельно был доверен при Швере отдел культуры и искусства в газете «Коммуна». Эстетская, формалистская трактовка вопросов литературы и театра тесно переплеталась у него с перевальскими взглядами. Своими «литературно-критическими» упражнениями он принес немалый вред молодым авторам.

Пользовавшиеся поддержкой врагов народа, прибывшие в 1934 году в Воронеж троцкисты Стефен, Айч, Мандельштам, Калецкий пытались создать сильное оцепление писательского коллектива, внося дух маразма и аполитичности. Попытка эта была разбита. Эта группа была разоблачена и отсечена, несмотря на явно либеральное отношение к ней бывших работников Обкома (Генкин и др.), которые предлагали «перевоспитывать» эту банду. Особо тяжелые условия для работы писательского коллектива были созданы бухаринским шпионом Рябининым и его приспешниками.

ИЗ ПОЧТЫ ЖУРНАЛА «ПОДЪЕМ»

(1989, № 2, стр. 142—144)

Привет вам, воронежские стихоплеты!

Вот я в «Подъеме» (№ 6, 7, 1988 г.) вычитал, как вы ретиво стремитесь пробиться через какие-то «литературные ворота», даже если придется взять для этого и бревно. Зачем вам это, ребята? Ведь вы, кажется, уже и не дети, а? Ну, вас будет печатать «Подъем», ну, пусть и «Новый мир». И что? Жил да был в вашем Воронеже О. Э. М. (имеется в виду О. Мандельштам. — Ред.). Жил-был и писал стихи. И, уж извините, не чета вашим! И прочно забыт в Воронеже. А ведь О. Э. — большой поэт! А вы? Что, кто — вы? Извольте: вы — жалкие графоманы, всего лишь. И что вас ждет?.. Если очень повезет, станете известными, как Евтушенко Женья! Завидная доля? Вовсе нет, и разве вам неизвестно — почему?

Когда Анна Андреевна Ахматова была в Лондоне, ей задали вопрос, как она относится к поэзии Жени Евтушенко.

И она ответила:

— А разве он поэт?

А вы прете в... поэзию! Мне ее жаль! Возьмитесь за ум, ребята, и организуйте кооператив по выращиванию бычков! Как те (помните, показывали по телевидению) инженеры, профессиональный уровень которых в инженерии чуть выше вашего — в поэзии. Добрый совет!

И еще: если вы на самом деле честные ребята, постарайтесь, чтобы в вашем Воронеже хоть какой-то переулочек напоминал любителям стихов об О. Э. М.

С поэтическим приветом

Н. ПЕТУХОВ.

г. Псков.

* * *

За последнее время я прочитал немало статей, в которых ряд репрессированных писателей были реабилитированы и многие из нас отнеслись к этому благожелательно. Даже те статьи, в которых писалось о том, чтобы вернуть в нашу русскую литературу имена писателей, заблуждавшихся, не принявших Октябрьскую ре-

Это зренье пророка подошвами
Протоптало тропу в пустоте —
Доброй ночи! Всего им хорошего
В холодеющем Южном Кресте¹.

В этом же журнале с большой статьей о Мандельштаме выступила неизвестная мне Н. Е. Штемпель. Она пишет, что О. Мандельштам был кумиром воронежской поэтической молодежи. Это неправда. Будучи ответсекретарем Воронежской писательской организации, я впервые в 1937 году встретил приехавшего в Воронеж, в ссылку, Осипа Мандельштама. До этого я не знал его, ни как поэта, ни как человека. Я не видел, чтобы приходила молодежь, группировалась вокруг него и встречалась с ним. Это тоже неправда. Вся поэтическая молодежь находилась у нас на учете и печаталась либо в журнале «Подъем», либо в газете «Коммуна» и газете «Молодой коммунар». В наш союз писателей на собрания приходил и Мандельштам с высланными: бывшим дипломатическим работником, написавшим книгу «Раб и Рим», Стефан и цирковой работник с женой Айч. В перерыве все четверо выходили в коридор, курили и разговаривали на иностранном языке. Я попросил их, чтобы впредь они на наших собраниях пользовались только русским языком. Я знал, что Мандельштам испытывал нужду, бедствовал, ютясь в очень маленькой частной комнате, и сочувствовал, но помочь ему в тогдашней ситуации не мог. Некоторые его стихотворения были напечатаны в газете «Коммуна».

Читая их, я чувствовал, что они вымучены, что ему трудно писать иначе, чем те, которые написаны в той же манере, в том же стиле, в каком они были напечатаны ныне в «Молодом коммунаре».

В своей статье о Мандельштаме неизвестная мне Н. Е. Штемпель писала о нем и его стихах с восхищением, с большой теплотой, то сквозь слезы, то с умилением, то с восторгом, считая его стихи почти гениальными, и играла ему на фортепиано. Сам я писатель-прозаик, стихов не писал, но много читал, однако стихов Мандельштама не понимал.

По своему идейно-творческому направлению Ман-

¹ Это самая первая, черновая редакция стихотворения (см.: Новый мир, 1987, № 10, стр. 199). — *Примечание составителя.*

дельштам, как поэт, примыкал в Москве к модернистскому течению в русской поэзии — акмеизму или адамизму. Они объединялись в кружок «Цех поэтов «Аполлон». Течение «адамизм» именовалось по имени библейского «праотца» Адама, что было связано с культом первобытно-биологического природного начала, которое противопоставлялось всему социальному. Реальность общественных связей и ценностей объявлялась мистикой (Лит. энциклопедия, т. 1, 1962 г.). Еще резче и прямее сказано в «БЭС»: «Акмеизм — одна из реакционных декадентских литературных групп, сложившихся в русской буржуазно-дворянской литературе второго десятилетия XX века».

Однажды, это было в 1937 году, редактор газеты «Коммуна» предложил Мандельштаму выступить перед журналистами и писателями в библиотечной комнате. Мандельштам согласился. После его выступления, резко критикуя его идейно-творческое направление, выступил редактор газеты «Коммуна» Швер (реабилитированный посмертно).

С тех пор прошло 50 лет. Нет ни Мандельштама, ни тех людей, которые восхищались им и восхваляли его поэтическое творчество, чуждое массовому читателю.

Не хотят ли ныне, пользуясь широкой демократией, возродить литературное течение акмеизма?

В октябре 1987 года в Доме архитектора было собрание, на котором присутствовали краеведы. Речь зашла о поэте Мандельштаме. Кто-то внес предложение создать музей Мандельштама в Воронеже. В связи с широкой реабилитацией крупных и известных писателей, погибших при культе личности Сталина, некоторые писатели в Москве, поклонники поэзии Мандельштама, выступали с лекциями, посвященными ему. Так постепенно выстроился довольно крепкий фронт выдвижения Мандельштама на первый план, как одного из крупнейших поэтов Советского Союза. Фигура Мандельштама стала обрастать пока еще пылью мрамора, но, видимо, стараниями его поклонников может вылиться в мрамор. Писатель Ласунский сказал, что в скором времени в Воронеже будет музей Мандельштама. Когда я возразил и не согласился с ним, он сказал мне, что если я выступлю устно или печатно против Мандельштама, меня высмеют с высоких московских трибун лите-

ратурные критики, литературоведы, филологи и поэты.

Тогда как быть с такими понятиями и определениями, как «народность и партийность литературы», выдвинутыми В. И. Лениным и А. М. Горьким?

Я повторяю, что в области поэзии у Мандельштама нет заслуг ни перед Родиной, ни перед народом.

Никакие литературоведы, филологи и критики не смогут убедить меня в том, что поэзия Мандельштама как поэта является народной и партийной.

Я против возвышения Мандельштама как поэта, я против создания его музея в Воронеже и самым энергичным образом буду протестовать против наименования улицы его имени в городе Воронеже.

Член Союза писателей,

член КПСС с 1939 г.

Михаил Яковлевич БУЛАВИН.

г. Воронеж.

ЕЩЕ РАЗ О ТРАГЕДИИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

В этом году во втором номере журнала «Подъем» напечатано письмо воронежского писателя М. Я. Булавина.

Пусть мой ответ ему будет приложением к публикации рукописи О. Мандельштама.

«Уважаемый Михаил Яковлевич!

С огромным интересом я прочитал Ваше письмо о редакцию. То самое письмо, которое Вы начинаете заявлением о своем полном непонимании стихов Мандельштама, далее пишете, что эти стихи «сравнимы разве с шарадами, ребусами, которые надо расшифровывать, догадываться, чтобы как-то осмыслить то, о чем хотел сказать автор читателю...», и заканчиваете словами о том, что «в области поэзии у Мандельштама нет заслуг ни перед Родиной, ни перед народом... Я против возвышения Мандельштама как поэта, я против создания его музея в Воронеже и самым энергичным образом буду протестовать против наименования улицы его именем в городе Воронеже».

Что ж, понимать или не понимать поэта, любить его или не любить — это Ваше право, Ваше личное дело. И я не призываю Вас менять точку зрения. Так что, ради бога, не понимайте, не любите.

Более того, я даже не предлагаю Вам взять в библиотеке «Избранное» Мандельштама и начать свое новое знакомство с этим поэтом. Начать не со сложных стихов, которые, действительно, у Мандельштама есть, а с более простых, понятных Вам. А потом уже пере-

ходить от простого к сложному. Знаете, это как в школе: там ведь не зря следуют именно такому правилу.

Нет, ничего подобного я не предлагаю. Потому что чувствую: не тот случай.

Но при всех случаях, любезный Михаил Яковлевич, я очень советую Вам никогда не хвастаться своим непониманием. И тем более не выдавать собственное непонимание чего-либо за непонимание всего народа...

У меня к Вам несколько вопросов.

Вот Вы пишете, что в 1937 году были ответственным секретарем Воронежской писательской организации и объявляете неправдой утверждение, что вокруг поэта могла группироваться творческая молодежь. «Вся поэтическая молодежь, — строго замечаете Вы, — находилась у нас на учете...»

Весьма многозначительное замечание!

Но я все-таки хочу спросить: неужели вся молодежь? Неужели Вы не допускаете даже мысли о том, что какая-то часть «поэтической молодежи» могла быть «не учтена» Вами?..

Судя по письму, из всех встреч с Осипом Мандельштамом лишь одна произвела на Вас неизгладимое впечатление. И об этой встрече Вы, как и положено прозаику, повестуете емко и образно. Не стану пересказывать, лучше снова прибегну к цитате, сохраняя Ваш писательский стиль.

«В наш союз писателей на собрания приходил и Мандельштам с высланными: бывшим дипломатическим работником, написавшим книгу «Раб и Рим», Стефан и цирковой работник с женой Айч. В перерыве все четверо выходили в коридор, курили и разговаривали на иностранном языке. Я попросил их, чтобы впредь они на наших собраниях пользовались только русским языком...» (Сочувствую Вам! Действительно, трудно определять, на каком именно языке говорил Мандельштам со ссыльными. Ведь он знал четыре языка: французский, немецкий, итальянский и испанский...).

В ситуации, о которой Вы рассказываете, в общем, разобраться можно: председатель объявил перерыв, люди вышли в коридор, стоят, курят и (заметьте — в перерыве!) говорят на языке, который Вам непонятен. А Вы, Михаил Яковлевич, почему-то сердитесь.

Ну почему, объясните! Ведь они же не с Вами разговаривают, а друг с другом! Вам-то что до этого?! Или в функции ответственного секретаря в то время входила и испепеляющая жажда знать, о чем именно говорит «высланный О. Мандельштам» со своими друзьями?..

Впрочем, надо отдать Вам должное: страдания Осипа Эмильевича не могли не растревожить Ваше сердце. Вы прямо так и пишете: «Я знал, что Мандельштам испытывал нужду, бедствовал, ютясь в очень маленькой частной комнате, и сочувствовал, но помочь в тогдашней ситуации не мог....»

Да, кстати, я совсем забыл сказать, что комиссия по литнаследию О. Мандельштама (как и каждая подобная комиссия) тщательно собирает не только все, что написал он сам, но и все, что было написано о нем.

И вот совершенно случайно мне на глаза попался сборник Воронежского отделения Союза писателей, изданный в ноябре 1937 года. Название сборника «Литературный Воронеж», и в нем помещена итоговая статья-обзор «Воронежские писатели за 20 лет». У статьи два автора: Н. Романовский и М. Булавин. (А ведь это вы, Михаил Яковлевич!)

Я спрашиваю так потому, что хочу продолжить, как-то расширить намеченную тему Вашего искреннего сочувствия Мандельштаму. И оказывается, что на деле в 1937 году Ваше сочувствие выглядело следующим образом:

«Пользовавшиеся поддержкой врагов народа, прибывшие в 1934 году в Воронеж троцкисты Стефан, Айч, Мандельштам, Калецкий пытались создать сильное оцепление писательского коллектива (?!), внося дух маразма и аполитичности. Попытка эта была разбита. Эта группа была разоблачена и отсечена (?!), несмотря на явно либеральное отношение к ней бывших работников Обкома (Генкин и др.), которые предлагали «перевоспитать» эту банду...»,

Ну что сказать по поводу этой цитаты? Пока только то, что она типична для того времени. Посажённых «врагов народа» можно было ругать самыми последними словами. Именно такие публикации поощрялись, фиксировались. И назывались «голосом общественности».

Но ведь Мандельштам-то к тому времени еще не был арестован! Наоборот, в мае тридцать седьмого года ему разрешили вернуться в Москву.

Ну, а Вы его — наотмашь, словно он не на свободе, а в тюрьме: «троцкист», «дух мааразма», «группа разоблачена и отсечена», «участник банды»...

За что же Вы его, Михаил Яковлевич? За то, что Вам стихи непонятны? Зачем Вы вместе с Вашим соавтором говорите о поэте так, будто знаете, что «мандельштамовский вопрос» скоро будет решен раз и навсегда?

Или, может, Вы провидец, Михаил Яковлевич?..

Однако давайте вернемся из темного прошлого в светлое будущее. То есть давайте снова обратимся к Вашему недавнему письму в редакцию журнала «Подъем».

Из письма совершенно ясно, что поступиться принципами (в том числе и принципами тридцать седьмого года!) Вы не можете. Не можете и не хотите.

Что ж, это тоже Ваше право.

Только, пожалуйста, не надейтесь, что прошлое, в котором Вас все боялись, прошлое, о котором Вы так тоскуете, может вернуться вновь.

Другое время сейчас на нашей земле. Совсем другое...

А улица Осипа Мандельштама в Воронеже будет. Будет как память о большом прекрасном поэте, который несколько лет жил и работал в Воронеже. Да, работал, несмотря на всю вынужденность своего воронежского пребывания, несмотря на всю трагичность своей судьбы.

О. К. КРЕТОВА

ГОРЬКИЕ СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Мандельштам. Ни в школе второй ступени, которую я окончила неполных семнадцати лет, уже работая сельской учительницей, ни на двух педагогических курсах, тоже в двадцатые годы, ни, наконец, в 1934, в док-

ладе Бухарина на I съезде советских писателей, делегатом которого я была, о поэзии Мандельштама не было даже упомянуто.

Книг Мандельштама в магазинах я не встречала. И оставался он для меня *terra incognita*.

Поэтому, когда стало известно, что Мандельштам едет на жительство в Воронеж, мне было очень любопытно: какой же он?

Думала: Осип — совсем русское, даже простонародное имя, Эмильевич — уже изыск, что-то необычное. Мандельштам! — а это, как громовой удар, — сильно и неотвратимо.

И вот он с женой приехал; стали заходить в Союз писателей. На жену я вначале смотрела без пристального интереса, казалось, обычная, каких немало, заботливых, преданных жен. А вот Осип Эмильевич встал передо мной человеком совсем особенным, ничуть не похожим ни на одного писателя из тех, кого пришлось знать и видеть, и ни на кого из окружающих. В нем все было свое, только одному ему присущее. И щуплая фигура при одновременно горделивой самоутверждающей поступи, и манера неожиданно вскидывать голову, и привычка «мыкаться» туда-сюда во время разговора даже на скудном пространстве нашей заставленной канцелярскими столами комнатки Союза писателей на третьем этаже редакции газеты «Коммуна».

О чем говорили, не помню. Но всегда, о чем бы ни шли словопрения, было очевидно, что Осип Эмильевич внутренне сосредоточен еще на своем, глубоко личном. В то же время он многим готов был делиться с нами. Но мы оказались к этому неспособны.

Для меня Мандельштам был «инопланетянином», человеком иного мира, неизмеримо более высокой культуры, чем та, которой мы удовлетворялись. Я чувствовала себя глубокой невеждой и пыталась оправдаться перед самой собой, внушая себе, что наши сиюминутные повседневные дела насущно нужны современности.

За что был выслан Мандельштам, мы не знали. Встречались нечасто.

Областное начальство отнеслось к Мандельштаму гостеприимно. Был организован отдых в санатории, поездки по районам.

В одном из совхозов вместе с Осипом Эмильевичем

был молодой поэт Аметистов и еще кто-то из литературного актива.

Возвратился Аметистов, полный творческих замыслов и восхищенный радушием местного руководства. К слову рассказал об огорчившем его случае.

Бригадир совхоза отвел писателям для ночлега самое благодатное, по мнению каждого сельчанина, место — на сеновале. Михаил и два его сотоварища блаженно бросились в душистое сено, зарылись в нем, спали богатырским сном. Каково же было их изумление, когда наутро они увидели сжавшегося в комок Мандельштама, сидящего на единственном чудом оказавшемся здесь стуле. Оказывается, Осип Эмильевич так и просидел всю ночь напролет, поджимая ноги, прислушиваясь к шорохам, боясь полевков, сверчков, кузнечиков, летучих мышей, всего чуждого ему, незнакомого, непривычного его уху.

— Урбанист он, не примет нашего деревенского, нет, не примет, — сокрушался Михаил.

А этот урбанист Мандельштам, прикоснувшись к земле, создал вдохновенные строки о черноречивом воронежском черноземе, о наших среднерусских синеглазых первоцветах; о кленах и дубках.

Ничего этого мы не знали.

Пишу не в хронологическом порядке, а как вспоминается. Годы сместились, забегают вперед, возвращаются вспять.

В октябре тридцать четвертого я ездила в кратковременную командировку на стройку магистрали Москва — Донбасс. Каждое утро меня мчали на дрезине по еще свежей насыпи в бригаду землекопов. На участке тяжелый ручной труд. Люди надрывались, таща непосильно нагруженные грабарки. Решилась вникнуть в быт, но и тут было не лучше. В столовой расхожие поговорки: «Лопай что дают», «Все полезно, что в пузо пролезло». Повадился шнырять меж столов беспризорный татарчонок Минтен Валькаев, искать оброненный кусок каши, корочку хлеба. Заведующая решила «трудоустроить» бродяжку. Была ему определена обязанность — сидеть у дверей, проверять, не забыл ли кто из едоков сдать обеденную ложку. Ну чем не воспитательная мера!

Пошла в землянку. Умилилась. Пожилой грабарь

заскоружными руками нянчит полугодовалого малыша, чмокает его, подкидывает, качает на колене.

Вот с таким багажом и возвратилась я в Воронеж. На этой основе сочинила очерк во славу ударной стройки.

Прочтала одному из наших мэтров. В основном одобрил.

Неожиданно осенила мысль: а что если показать Мандельштаму? Осип Эмильевич читал, не присев. И, конечно, бормотал что-то про себя. А прочитав, разгневался. Много сердито говорил. Возмущался эпизодом в столовой.

— Что это: из нормального мальчика хотят сделать соглядатая, учат его в каждом рабочем подозревать вора, может, обыскивать, вытаскивать засунутую за голенище сапога ложку? Нравственный же из него вырастет человек!

В общем, разгромил мое рукоделье дотла. Буквально уничтожил.

Я беспомощно лепетала:

— Что же делать? Что же мне теперь делать?

Осип Эмильевич остыл и совсем спокойно советует:

— А вы его опубликуйте.

— Никудышный же, вы сами только что сказали.

— Мало ли что я сказал. Опубликуйте.

Вконец растерянная, смалодушничала. Не решилась забрать уже сданные в газету и в сборник экземпляры.

Однодневная газета железнодорожников была выпущена в связи с каким-то их праздником. Очерк с рисунками занял в ней целую полосу. Газету раздавали бесплатно участникам собрания в клубе имени Коминтерна. Люди читали. Я сидела в зале и... сгорала со стыда.

Из сборника мой вымученный опус сняла цензура. Углядела-таки в нем криминал. Не сыщицкое воспитание ребенка, нет. Усмотрела негативное описание доблестного труда грабателей. А ведь их каторжный труд и был единственной правдой, за которую амнистировал очерк опальный Мандельштам. Так мне это теперь представляется.

В тридцать пятом я в Воронеже была мало. Училась в Москве на литературных курсах при Институте Красной профессуры. Ждала ребенка. 8 октября родил-

ся сын. Я была несказанно счастлива. Так счастлива, что все время, даже идя по улице, улыбалась. Когда ребенок подрос, таскала его за собой повсюду, и в редакцию, и в издательство, и в Союз писателей.

...С тридцать шестого Мандельштаму стало очень худо. Не давали работать для радио, для театра, в печати. Самое тяжелое началось с весны тридцать седьмого.

Состоялось позорное собрание, где мы, «братья-писатели», отлучали, отторгали Мандельштама от литературы, отмежевывались от него и иже с ним, подвергали остракизму. Одни делали это убежденно, со всею страстью своего темперамента, другие — через горечь и боль.

Мандельштам осунулся, стал сплошным комком нервов, страдал одышкой.

Жена, Надежда Яковлевна, приходила с заявлениями о материальной помощи. Я, заместитель секретаря Союза писателей, накладывала резолюции: «Отказать», «Воздержаться». Документы эти хранятся в областном архиве. Рубцы — на сердце.

Мне до сих пор мучительно стыдно и за свою статью, опубликованную в местной газете «Коммуна» (от 23 апреля 1937 года), где я клеймила «троцкистов и других классово-враждебных людей», среди них и О. Мандельштама. Я вынуждена была ее написать под давлением обстоятельств.

Теперь известно, что Мандельштам просил защиты у Ставского.

Непредсказуемы метаморфозы людей в те окаянные годы. Мандельштама Ставский не защитил. Исключение из Союза писателей Галины Серебряковой он безапелляционно санкционировал. А вот меня, жену «врага народа», в конце тридцать седьмого Владимир Ставский спас. Подсказал воронежским литераторам соломоново решение: «не были зарегистрированы, жили в разных городах (Сергей работал в Курске), носили разные фамилии — будем считать, что он не муж ей, а отец ее ребенка». Измытарили меня морально... и обошлось... Но это я опять забежала вперед и отступила от темы.

...С Натальей Евгеньевной Штемпель я познакомилась лет через двадцать после смерти Мандельштама. В 1979 г. она предложила «Подъему» свой список стихов из «Воронежских тетрадей». Надо было получить

согласие вдовы на публикацию. Меня послали в Москву.

Один из сентябрьских вечеров. Большая Черемуш-кинская улица, дом 14, корп. 1, квартира 4, этаж первый. Звоню. Открывает молодой цветущий мужчина — Юрий Иванович Рассамахин.

В комнатке, в постели, в снежно-белых простынях, исхудавшая до предела возможного, до бестелесности — та, кто была женой, беззаветным другом, житейской и моральной опорой Осипа Мандельштама — Надежда Яковлевна.

Услышав, кто я (узнать бы, конечно, не смогла), оживилась.

Ну покажите, покажите ей...

Рассамахин бросился к книжной полке. Раскрыл американское издание; там на русском языке не та ли самая статья, что жжет душу мне и посейчас?

Вот оно, чего я боялась...

Но Надежда Яковлевна не дает читать, протестует: — Не это... Там, где стихи о ее ребенке.

Юрий поспешно раскрывает другой том, страница 234. «Рождение улыбки». Даты: 9—11 декабря 1936 г., 11 января 1937 г.

Несказанно удивленная, читаю. Начальная строка: «Когда заулыбается дитя...» Конечная: «И в оба глаза бьет атлантов миг».

Надежда Яковлевна радостно вспоминает:

— Ося пришел тогда от вас восхищенный. «Какой у нее сын! Какой сын!»

Теперь уже протестую я:

— Не был он у меня дома, Надежда Яковлевна. Ни разу не был. Уж этого я не могла бы забыть.

Она непреклонна:

— А ребенка видел. Это о нем написано.

Бог мой, ну как я могу оспаривать то, что она утверждает!

Спустя некоторое время Рассамахин начинает прощаться с Надеждой Яковлевной.

...Потом девушка Ира приносит что-то в судке.

— Сколько порций?

— Одна.

— Разделите пополам.

Надежда Яковлевна угощает меня своим скудным столовским обедом.

Она теплѣ ко мне, дружелюбна. Ни тени неприязни, напротив — самое искреннее великодушие.

Перед моим отъездом из Воронежа Наталья Евгеньевна предупредила меня, что Мандельштам совсем не читает ничего современного. И все же я захватила две свои книжки. Робко кладу их на край кровати.

Уходя, я забыла надеть плащ-болонью, это дало повод позвонить и прийти на следующий вечер.

Надежда Яковлевна встретила меня словами:

— Я прочитала «Хозяйку» и половину о «дяде Ване». Где можно приобрести эти книги?

— Они уже ваши.

— Тогда подпишите, но совсем лаконично. Чтобы вам не повредило...

Мы долго беседуем наедине. О давних, давних годах. Надежда Яковлевна просит:

— Спойте «Слети к нам, тихий вечер».

Это песня из моего детства. Но ведь целая вечность прошла. Смогу ли?

— Ну, пожалуйста.

И я вспоминаю мелодию, пою совсем тихо, в четверть голоса. В углу, перед иконой, теплится лампадка.

Переписываю «Рождение улыбки», спрашиваю:

— А вы надпишете?

— Я не даю автографов. Но мне очень хочется вам что-нибудь подарить. Вот снимите там, на гвоздике. Нет, не стекляшки, а деревянные.

Держу в руках точеные деревянные бусы. Неужели это мое? Ведь это, должно быть, памятная вещь...

Годы спустя прилетевшая из Душанбе журналистка Лия Бережных сказала: «Это работа Максимилиана Волошина, он точил, шлифовал и дарил женщинам-друзьям: Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, Анастасии Цветаевой, жене Мандельштама. Называл их бродячими музами. У вас — реликвия. Обратите внимание на фотографии Ахматовой, на ней точно такое ожерелье».

Надежда Яковлевна разрешила опубликовать стихи из «Воронежских тетрадей». Они были анонсированы (в 1982 г.). Цензура сняла их в верстке. Табу снова действовало.

2 апреля 1989 г.

Статьи

УТРО АКМЕИЗМА

I

При огромном эмоциональном волнении, связанном с произведениями искусства, желательно, чтобы разговоры об искусстве отличались величайшей сдержанностью. Для огромного большинства произведение искусства соблазнительно, лишь поскольку в нем просвечивает мироощущение художника. Между тем мироощущение для художника орудие и средство, как молоток в руках каменщика, и единственно реальное — это само произведение.

Существовать — высшее самолюбие художника. Он не хочет другого рая, кроме бытия, и когда ему говорят о действительности, он только горько усмехается, потому что знает бесконечно более убедительную действительность искусства. Зрелище математика, не задумываясь возводящего в квадрат какое-нибудь десятизначное число, наполняет нас некоторым удивлением. Но слишком часто мы упускаем из виду, что поэт возводит явление в десятизначную степень, и скромная внешность произведения искусства нередко обманывает нас относительно чудовищно-уплотненной реальности, которой оно обладает.

Эта реальность в поэзии — слово как таковое. Сейчас, например, излагая свою мысль по возможности в точной, но отнюдь не поэтической форме, я говорю, в

сущности, сознанием, а не словом. Глухонемые отлично понимают друг друга, и железнодорожные семафоры выполняют весьма сложное назначение, не прибегая к помощи слова. Таким образом, если смысл считать содержанием, все остальное, что есть в слове, приходится считать простым механическим привеском, только затрудняющим быструю передачу мысли. Медленно рождалось «слово как таковое». Постепенно, один за другим, все элементы слова втягивались в понятие формы, только сознательный смысл, Логос, до сих пор ошибочно и произвольно почитается содержанием. От этого ненужного почета Логос только проигрывает. Логос требует только равноправия с другими элементами слова. Футурист, не справившись с сознательным смыслом как с материалом творчества, легкомысленно выбросил его за борт и по существу повторил грубую ошибку своих предшественников.

Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов.

И, если у футуристов слово как таковое еще ползает на четвереньках, в акмеизме оно впервые принимает более достойное вертикальное положение и вступает в каменный век своего существования.

II

Острые акмеизма — не стилет и не жало декадентства. Акмеизм — для тех, кто, обуянный духом строительства, не отказывается малодушно от своей тяжести, а радостно принимает ее, чтобы разбудить и использовать архитектурно спящие в ней силы. Зодчий говорит: я строю — значит, я прав. Сознание своей правоты нам дороже всего в поэзии и, с презрением отбрасывая бирюльки футуристов, для которых нет высшего наслаждения, как зацепить вязальной спицей трудное слово, мы вводим готику в отношения слов, подобно тому, как Себастьян Бах утвердил ее в музыке.

Какой безумец согласится строить, если он не верит в реальность материала, сопротивление которого он должен победить. Булыжник под руками зодчего превращается в субстанцию, и тот не рожден строить, для кого звук долота, разбивающего камень,

не есть метафизическое доказательство. Владимир Соловьев испытывал особый пророческий ужас перед седыми финскими валунами. Немое красноречие гранитной глыбы волновало его, как злое колдовство. Но камень Тютчева, что с «горы скатившись, лег в долине, сорвавшись сам собой иль был низвергнут мыслящей рукой», — есть слово. Голос материи в этом неожиданном падении звучит как членораздельная речь. На этот вызов можно ответить только архитектурой. Акмеисты с благоговением поднимают таинственный тютчевский камень и кладут его в основу своего здания.

Камень как бы возжаждал иного бытия. Он сам обнаружил скрытую в нем потенциально способность динамики — как бы попросился в «крестовый свод» — участвовать в радостном взаимодействии себе подобных.

III

Символисты были плохими домоседами, они любили путешествия, но им было плохо, не по себе в клетки своего организма и в той мировой клетки, которую с помощью своих категорий построил Кант. Для того, чтобы успешно строить, первое условие — искренний пиетет к трем измерениям пространства — смотреть на них не как на обузу и на несчастную случайность, а как на богом данный дворец. В самом деле: что вы скажете о неблагодарном госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в душе презирает его и только и думает о том, как бы его перехитрить. Строить можно только во имя «трех измерений», так как они есть условие всякого зодчества. Вот почему архитектор должен быть хорошим домоседом, а символисты были плохими зодчими. Строить — значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство. Хорошая стрела готической колокольни — злая, потому что весь ее смысл — уколоть небо, попрекнуть его тем, что оно пусто.

IV

Своеобразие человека, то, что делает его особью, подразумевается нами и входит в гораздо более значительное понятие организма. Любовь к организму и ор-

ганизации акмеисты разделяют с физиологически-гениальным средневековьем. В погоне за утонченностью XIX век потерял секрет настоящей сложности. То, что в XIII веке казалось логическим развитием понятия организма — готический собор, — ныне эстетически действует как чудовищное. Notre Dame есть праздник физиологии, ее дионисийский разгул. Мы не хотим развлекать себя прогулкой в «лесу символов», потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес — божественная физиология, бесконечная сложность нашего темного организма.

Средневековье, определяя по-своему удельный вес человека, чувствовало и признавало его за каждым, совершенно независимо от его заслуг. Титул мэтра применялся охотно и без колебаний. Самый скромный ремесленник, самый последний клерк владел тайной солидной важности, благочестивого достоинства, столь характерного для этой эпохи. Да, Европа прошла сквозь лабиринт ажурно-тонкой культуры, когда абстрактное бытие, ничем не прикрашенное личное существование ценилось как подвиг. Отсюда аристократическая интимность, связующая всех людей, столь чуждая по духу «равенству и братству» Великой Революции. Нет равенства, нет соперничества, есть сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия.

Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя — вот высшая заповедь акмеизма.

V

A=A: какая прекрасная поэтическая тема. Символизм томился, скучал законом тождества, акмеизм делает его своим лозунгом и предлагает его вместо сомнительного *a realibus ad realiora*¹. Способность удивляться — главная добродетель поэта. Но как же не удивиться тогда плодотворнейшему из законов — закону тождества? Кто проникся благоговейным удивлением перед этим законом — тот несомненный поэт. Таким образом, признав суверенитет закона тождества, поэзия

¹ «От реального к реальнейшему» — лозунг, выдвинутый Вяч. Ивановым в его книге «По звездам. Опыты философские, эстетические и критические». СПб., 1909, с. 305.

получает в пожизненное ленное обладание все сущее без условий и ограничений. Логика есть царство неожиданности. Мыслить логически значит непрерывно удивляться. Мы полюбили музыку доказательства. Логическая связь — для нас не песенка о чижики, а симфония с органом и пением, такая трудная и вдохновенная, что дирижеру приходится напрягать все свои способности, чтобы сдержать исполнителей в повиновении.

Как убедительна музыка Баха! Какая мощь доказательства! Доказывать и доказывать без конца: принимать в искусстве что-нибудь на веру недостойно художника, легко и скучно...

Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить.

VI

Средневековье дорого нам потому, что обладало в высокой степени чувством граней и перегородок. Оно никогда не смешивало различных планов и к потустороннему относилось с огромной сдержанностью. Богородная смесь рассудочности и мистики и ощущение мира как живого равновесия роднит нас с этой эпохой и побуждает черпать силы в произведениях, возникших на романской почве около 1200 года. Будем же доказывать свою правоту так, чтобы в ответ нам содрогалась вся цепь причин и следствий от альфы до омеги, научимся носить «легче и вольнее подвижные оковы бытия».

«Сирена» (Воронеж), 1919, № 4—5.

ВЫПАД

1

«В поэзии нужен классицизм, в поэзии нужен конструктивизм, в поэзии нужно повышенное чувство образности, машинный ритм, городской коллективизм...» Бедная поэзия шарахается под множеством наведенных на нее револьверных дул, неукоснительных требований. Какой должна быть поэзия? Да, может, она совсем ничего не должна. Никому она не должна, кредиторы у

нее все фальшивые! Нет ничего легче, как говорить о том, что нужно, необходимо в искусстве: во-первых, это всегда произвольно и ни к чему не обязывает; во-вторых, это неиссякаемая тема для философствования; в-третьих, это избавляет от очень неприятной вещи, на которую далеко не все способны, а именно — благодарности к тому, что есть, самой обыкновенной благодарности к тому, что в данное время является поэзией.

О, чудовищная неблагодарность: Маяковскому, Хлебникову, Асееву, Вячеславу Иванову, Сологубу, Ахматовой, Пастернаку, Гумилеву, Ходасевичу, уж на что они не похожи друг на друга, из разной глины. Ведь они все русские поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда. Такими нас «обидел бог». Народ не выбирает своих поэтов, точно так же, как никто не выбирает своих родителей. Народ, который не умеет чтить своих поэтов, заслуживает... Да ничего он не заслуживает — пожалуй, просто ему не до них. Но какая разница между чистым незнанием народа и полужнанием невежественного щеголя! Готтентоты, испытывая своих стариков, заставляют их карабкаться на дерево и потом трясут дерево: если старик настолько одряхлел, что свалится, значит, нужно его убить. Сноб копирует готтентота, его излюбленный критический прием напоминает только что описанный. Я думаю, что на это занятие нужно ответить презрением. Кому — поэзия, кому — готтентотская забава.

Ничто так не способствует укреплению снобизма, как частая смена поэтических поколений — при одном и том же поколении читателей. Читатель приучается чувствовать себя зрителем в партере: перед ним дефилируют сменяющиеся школы. Он морщится, гримасничает. Наконец у него появляется совсем уже необоснованное сознание превосходства — постоянного перед переменным, неподвижного перед движущимся. Бурная смена поэтических школ в России, от символистов до наших дней, свалилась на голову одного и того же читателя.

Читательское поколение девяностых годов выпадает, как несостоятельное, совершенно некомпетентное в поэзии. Поэтому символисты долго ждали своего читателя и, силою вещей, по уму, образованию и зрелости, оказались гораздо старше той зеленой молодежи, к которой они обращались. Девятисотые годы, по упадочно-

сти общественного вкуса, были не многим выше девяностых, и наряду с «Весами» — боевой цитаделью новой школы — существовала безграмотная традиция «Шиповников», чудовищная по аляповатости и невежественной претенциозности альманашная литература.

Когда из широкого лона символизма вышли индивидуально-законченные поэтические явления, когда род распался и наступило царство личности, поэтической особи, читатель, воспитанный на родовой поэзии, — каковой был символизм, лоно всей новой русской поэзии, — читатель растерялся в мире цветущего разнообразия, где все уже не было покрыто шапкой рода, а каждая особь стояла отдельно с обнаженной головой. После родовой эпохи, влившей новую кровь, провозгласившей канон необычайной емкости, наступило время особи, личности, но вся современная русская поэзия вышла из родового символического лоно. У читателя короткая память — он этого не хочет знать. О желуды, желуды, зачем дуб, когда есть желуды!

2

Однажды удалось сфотографировать глаз рыбы. Снимок запечатлел железнодорожный мост и некоторые детали пейзажа, но оптический закон рыбьего зрения показал все это в невероятно искаженном виде. Если бы удалось сфотографировать поэтический глаз профессора N или одного из ценителей поэта NN, как они видят, например, «своего» Пушкина, получилась бы картина не менее неожиданная, нежели зрительный мир рыбы.

Искажение поэтического произведения в восприятии читателя — совершенно необходимое социальное явление, бороться с ним трудно и бесполезно: легче провести в СССР электрификацию, чем научить всех грамотных читать Пушкина, как он написан, а не так, как того требуют их душевные потребности и позволяют их умственные способности.

Шутка сказать — прочесть стихи! Выходите, охотники: кто умеет?

Ведь в отличие от грамоты музыкальной, от нотного письма, например, поэтическое письмо зияет отсутст-

вием множества знаков, значков, указателей, подразумеваемых, делающих текст понятным и закономерным. Но все эти пропущенные знаки не менее точны, нежели нотные или иероглифы танца; поэтически грамотный читатель расставляет их от себя, как бы извлекая их из самого текста.

Поэтическая грамотность ни в коем случае не совпадает ни с грамотностью обычной, то есть умением читать буквы, ни даже с литературной начитанностью. Если литературная неграмотность в России велика, то поэтическая неграмотность чудовищна, и тем хуже, что ее смешивают с общей, и всякий, умеющий читать, считается поэтически грамотным. Сказанное сугубо относится к полуобразованной интеллигентской массе, зараженной снобизмом, потерявшей коренное чувство языка, щекочущей давно притупившиеся языковые нервы легкими и дешевыми возбудителями, сомнительными лиризмами и неологизмами, нередко чуждыми и враждебными русской речевой стихии.

Вот потребности этой деклассированной в языковом отношении среды должна удовлетворять текущая русская поэзия.

Слово, рожденное в глубочайших недрах речевого сознания, обслуживает глухонемых и косноязычных, кретин и дегенератов слова.

Великая заслуга символизма, его правильная позиция в отношении к русскому читательскому обществу была в его учительстве, в его врожденной авторитетности, в патриархальной вескости и законодательной тяжести, которой он воспитывал читателя.

Читателя нужно поставить на место, а вместе с ним и вскормленного им критика. Критики, как произвольного истолкования поэзии, не должно существовать, она должна уступить объективному научному исследованию — науке о поэзии.

Быть может, самое утешительное во всем положении русской поэзии — это глубокое и чистое невежество, незнание народа о своей поэзии.

Массы, сохранившие здоровое языковое чутье, — те слои, где произрастает, крепнет и развивается морфология языка, еще не вошли в соприкосновение с русской лирикой. Она еще не дошла до своих читателей и, может быть, дойдет до них только тогда, когда по-

гаснут поэтические светила, пославшие свои лучи к этой отдаленной и пока недостижимой цели.

1924

ЧААДАЕВ

I

Чаадаев не был профессиональным писателем или трибуном. По всему своему складу он был «частный» человек, что называется «privatier». Но, как бы сознавая, что его личность не принадлежит ему, а должна перейти в потомство, он относился к ней с некоторым смирением: что бы он ни делал, — казалось, что он служил, «священнодействовал».

Все те свойства, которых была лишена русская жизнь, о которых она даже не подозревала, как нарочно соединялись в личности Чаадаева: огромная внутренняя дисциплина, высокий интеллектуализм, нравственная архитектоника и холод маски, медали, которым окружает себя человек, сознавая, что в веках он — только форма, и заранее подготавливая слепок для своего бессмертия.

Еще более необычным для России был дуализм Чаадаева, ясное им различие материи и духа. Россия, в глазах Чаадаева, принадлежала еще вся целиком к неорганизованному миру. Он сам был плоть от плоти этой России и посмотрел на себя, как на сырой материал. Результаты получились удивительные. Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру.

Глубокая гармония, почти слияние нравственного и умственного элемента придают личности Чаадаева особую устойчивость. Трудно сказать — где кончается умственная и где начинается нравственная личность Чаадаева, до такой степени они близятся к полному слиянию. Сильнейшая потребность ума была для него в то же время и величайшей нравственной необходимостью.

Я говорю о потребности единства, определяющей строй избранных умов.

«О чем же мы станем беседовать?» — спрашивал он

Пушкина в одном из своих писем. — У меня, вы знаете, всего одна идея, и если бы ненароком в моем мозгу оказались еще какие-нибудь идеи, они, конечно, тотчас прилепились бы к той одной: удобно ли это для вас?»

Что же такое прославленный «ум» Чаадаева, этот «гордый» ум, почтительно воспетый Пушкиным, освидетельствованный зазорным Языковым, как не слияние нравственного и умственного начала — слияние, которое столь характерно для Чаадаева и в направлении которого совершался рост его личности.

С этой глубокой, неискоренимой потребностью единства, высшего исторического синтеза родился Чаадаев в России. Уроженец равнины захотел дышать воздухом альпийских вершин и, как мы увидим, нашел его в своей груди.

II

На Западе есть единство! С тех пор, как эти слова вспыхнули в сознании Чаадаева, он уже не принадлежал себе и навеки оторвался от «домашних» людей и интересов.

Дело в том, что понимание Чаадаевым истории включает возможность всякого вступления на исторический путь. В духе этого понимания, на историческом пути можно находиться только ранее всякого начала. История — это лестница Иакова. Поэтому Чаадаев и словом не обмолвился о «Москве — третьем Риме». В этой идее он мог увидеть только чахлую выдумку киевских монахов. Мало одной готовности, мало доброго желания, чтобы «начать» историю. Ее вообще немислимо начать. Не хватает преемственности, единства. Единства не создать, не выдумать, ему не научиться. Где нет его, там в лучшем случае — «прогресс», а не история, механическое движение часовой стрелки, а не священная связь и смена событий.

Как очарованный, смотрел Чаадаев в одну точку, — туда, где это единство стало плотью, бережно хранимой, завещаемой из поколения в поколение. «Но папа! папа! Ну, что же? Разве и он — не просто идея, не чистая абстракция? Взгляните на этого старца, несомого в своем паланкине под балдахином, в своей тройной

короне, теперь так же, как тысячу лет назад, точно ничего в мире не изменилось: поистине, где здесь человек? Не всемогущий ли это символ времени, — не того, которое идет, а того, которое неподвижно, через которое все проходит, но которое само стоит невозмутимо и в котором и посредством которого совершается?»

Таков был католицизм замоскворецкого сноба.

III

И вот, в августе 1825 года, в приморской деревушке близ Брайтона появился иностранец, соединявший в своей осанке торжественность епископа с корректностью светской куклы.

Это был Чаадаев, бежавший из России на случайном корабле, с такой поспешностью, как если бы ему грозила опасность, без внешнего принуждения, но с твердым намерением — никогда больше не возвращаться.

Больной, мнительный, причудливый пациент иностранных докторов, никогда не знавший другого общения с людьми, кроме чисто интеллектуального, скрывая даже от близких страшное смятение духа, он пришел увидеть свой Запад, царство истории и величия, родину духа, воплощенного в архитектуре.

Это странное путешествие, занявшее два года жизни Чаадаева, о которых мы знаем очень мало, больше похоже на томление в пустыне, чем на паломничество, а потом Москва, деревянный флигель-особняк, «Апология сумасшедшего» и долгие размеренные годы проповеди в «аглицком» клубе.

Или Чаадаев устал? Или его готическая мысль смирилась и перестала возносить к небу свои стрельчатые башни? Нет, Чаадаев не смирился, хотя время своим тупым напильником коснулось и его мысли.

О, наследство мыслителя! Драгоценные клочки! Фрагменты, которые обрываются как раз там, где всего больше хочется продолжения, грандиозные вступления, о которых не знаешь, — что это: начертанный план или уже само его осуществление? Напрасно добросовестный исследователь вздыхает об утраченном, о недостающих звеньях: их и не было, они никогда не выпадали. Фрагментарная форма «Философических писем»

внутренно обоснована, так же как и присущий им характер обширного введения.

Чтобы понять форму и дух «Философических писем», нужно представить себе, что Россия служит для них огромным и страшным грунтом. Зияние пустоты между написанными известными отрывками — это отсутствующая мысль о России.

И, как безнадежная плоская равнина, развивается последний, незаконченный период «Апологии», это унылое, широковещательное и, вместе, ничего не обещающее начало, после того, как уже столько было сказано: «Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, который красной нитью проходит чрез всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю её философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер... Это — факт географический...»

Из «Философических писем» можно только узнать, что Россия была причиной мысли Чаадаева. Что он думал о России, — остается тайной. Но разве не удивительное зрелище эта «истина», которая со всех сторон как неким хаосом окружена чуждой и странной «родной»?

IV

Есть давнишняя традиционно-русская мечта о прекращении истории в западном значении слова, как ее понимал Чаадаев. Это — мечта о всеобщем духовном разоружении, после которого наступит некоторое состояние, именуемое «миром». Мечта о духовном разоружении так завладела нашим домашним кругозором, что рядовой русский интеллигент иначе не представляет себе конечной цели прогресса, как в виде этого неисторического «мира». Еще недавно сам Толстой обращался к человечеству с призывом прекратить лживую и ненужную комедию истории и начать «просто» жить. В «простоте» — искушение идеи «мира»:

Жалкий человек...
Чего он хочет?.. Небо ясно,
Под небом места много всем.

Навеки упраздняются, за ненадобностью, земные и небесные иерархии. Церковь, государство, право исче-

зают из сознания, как нелепые химеры, которыми человек от нечего делать, по глупости, населил «простой», «божий» мир, и, наконец, остаются наедине, без докучных посредников, двое — человек и вселенная:

Против неба, на земле,
Жил старик в одном селе...

Мысль Чаадаева — строгий отвес к традиционному русскому мышлению. Он бежал, как чумы, этого бесформенного рая.

Некоторые историки увидели в колонизации, в стремлении расселиться возможно вольготнее на возможно больших пространствах — господствующую тенденцию русской истории.

В могучем стремлении населить внешний мир идеями, ценностями и образами, в стремлении, которое уже столько веков составляет мучение и счастье Запада и ввергнуло его народы в лабиринт истории, где они блуждают до сих пор, — можно усмотреть параллель этой внешней колонизации.

Там, в лесу готической хвои, укрывалась и созревала главная мысль Чаадаева, его немая мысль о России.

Запад Чаадаева нисколько не похож на расчищенные дорожки цивилизации. Он в полном смысле слова открыл свой Запад. Поистине, в эти дебри культуры не ступала нога человека.

1915

ГУМАНИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Бывают эпохи, которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, а не для него. Социальная архитектура измеряется масштабом человека. Иногда она становится враждебной человеку и питает свое величие его унижением и ничтожеством.

Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя, воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне и египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любом количестве.

Но есть другая социальная архитектура, ее масштаб, ее мерой тоже является человек, но она строит не из человека, а для человека, не на ничтожестве личности строит она свое величие, а на высшей целесообразности в соответствии с ее потребностями.

Все чувствуют монументальность форм надвигающейся социальной архитектуры. Еще не видно горы, но она уже отбрасывает на нас свою тень, и, отвыкшие от монументальных форм общественной жизни, приученные к государственно-правовой плоскости девятнадцатого века, мы движемся в этой тени со страхом и недоумением, не зная, что это — крыло надвигающейся ночи или тень родного города, куда мы должны вступить.

Простая механическая громадность и голое количество враждебны человеку, и не новая социальная пирамида соблазняет нас, а социальная готика: свободная игра тяжестей и сил, человеческое общество, задуманное как сложный и дремучий архитектурный лес, где все целесообразно, индивидуально и каждая часть аукается с громадой.

Инстинкт социальной архитектуры, то есть устройство жизни в величественных монументальных формах, казалось бы, далеко превосходящих прямые потребности человека, глубоко присущ человеческим обществам, и не пустая прихоть диктует его. Откажитесь от социальной архитектуры, и рухнет самая простая, для всех несомненная и нужная постройка, рухнет дом человека, человеческое жилье.

В странах, угрожаемых землетрясениями, люди строят плоские жилища, и стремление к плоскости, отказ от архитектуры, начиная с французской революции, проходит через всю правовую жизнь девятнадцатого века, который весь прошел в напряженном ожидании подземного толчка, социального удара.

Но землетрясение не пощадило и плоские жилища. Хаотический мир ворвался — и в английский home¹, и в немецкий Gemüt²; хаос поет в наших русских печках, стучит нашими вьюшками и заслонками.

Как оградить человеческое жилье от грозных потрясений, где застраховать его стены от подземных

¹ Дом (англ.).

² Здесь: уклад (нем.).

толчков истории, кто осмелится сказать, что человеческое жилище, свободный дом человека не должен стоять на земле, как лучшее ее украшение и самое прочное из всего, что существует?

Правовое творчество последних поколений оказалось бессильным оградить то, ради чего оно возникло, над чем билось и бесплодно мудрствовало.

Никакие законы о правах человека, никакие принципы собственности и неприкосновенности больше не страхуют человеческого жилья, дома больше не спасают от катастрофы, не дают ни уверенности, ни обеспечения.

Англичанин больше других лицемерно заботится о правовых гарантиях личности, — но он забыл, что понятие *home*'а возникло много веков назад в его же стране как понятие революционное, как естественное оправдание первой социальной революции в Европе, по типу своему более глубокой и родственной нашему времени, чем французская.

Монументальность надвигающейся социальной архитектуры обусловлена ее призванием организовать мировое хозяйство на принципе всемирной домашности на потребу человеку, расширяя круг его домашней свободы до пределов всемирных, раздувая пламя его индивидуального очага до размеров пламени вселенского.

Грядущее холодно и страшно для тех, кто этого не понимает, но внутреннее тепло грядущего, тепло целесообразности, хозяйственности и теологии, так же ясно для современного гуманиста, как жар накаленной печки сегодняшнего дня.

Если подлинное гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры, она раздавит человека, как Ассирия и Вавилон.

То, что ценности гуманизма ныне стали редки, как бы изъяты из употребления и подспудны, вовсе не есть дурной знак. Гуманистические ценности только ушли, спрятались, как золотая валюта, но, как золотой запас, они обеспечивают все идейное обращение современной Европы и подспудно управляют им тем более властно.

Переход на золотую валюту — дело будущего, и в области культуры предстоит замена временных идей — бумажных выпусков — золотым чеками европейского

гуманистического наследства, и не под заступом археолога звякнут прекрасные флорины гуманизма, а увидят свой день и, как ходячая звонкая монета, пойдут по рукам, когда настанет срок.

1922

ЯХОНТОВ

Яхонтов — молодой актер. Он учился у Мейерхольда, Станиславского и Вахтангова и нигде не привился. Это — «гадкий утенок». Он сам по себе.

Работает Яхонтов почти как фокусник: театр одного актера, человек-театр.

Всех аксессуаров у него так немного, что их можно увезти на извозчике: вешалка, какие-то два зонтика, старый клетчатый плед, замысловатые портновские ножницы, цилиндр, одинаково пригодный для Онегина и для еврейского факельщика.

Но есть еще один предмет, с которым Яхонтов ни за что не расстанется, — это пространство, необходимое актеру, пространство, которое он носит с собой, словно увязанным в носовой платок портного Петровича, или вынимает его, как фокусник яйцо из цилиндра.

Не случайно Яхонтов и его режиссер Владимирский облюбовали Гоголя и Достоевского, то есть таких писателей, у которых больше всего вкуса к событию, происшествию.

Игра Яхонтова, доведенная Владимирским до высокого графического совершенства, вся проникнута тревогой и ожиданием катастрофы, предчувствием события и грозы.

Наши классики — это пороховой погреб, который еще не взорвался. Чудак Евгений недаром воскрес в Яхонтове; он по-новому заблудился, очнулся и обезумел в наши дни.

На примере Яхонтова видим редкое зрелище: актер, отказавшись от декламации и отчаявшись получить нужную ему пьесу, учится у всенародно признанных словесных образцов, у великих мастеров организованной речи, чтобы дать массам графически точный и сухой рисунок, рисунок движения и узор слова.

Ничего лишнего. Только самое необходимое. По напряжению и чистоте работы Яхонтов напоминает цир-

кача на трапеции. Это работа без «сетки». Упасть и совраться некуда.

Чудаковатый портной Петрович кроит ножницами воздух так, что видишь обрезки материи, чиновничек в ветхой шинелишке семенит по тротуару так, что слышишь шелканье мороза, кучера у костров хлопают в рукавицы, а вдруг на тебя медведем навалится николаевский будочник с алебардой или промаячит с зонтиком ситцевая Машенька из «Белых ночей» у гранитного парапета Фонтанки.

И все это могло быть показано одним человеком, все это течет непрерывно и органически, без мелькания кино, потому что спаяно словом и держится на нем. Слово для Яхонтова — это второе пространство.

В поисках словесной основы для своих постановок Яхонтов и Владимирский вынуждены были прибегнуть к литературному монтажу, то есть искусственному соединению разнородного материала. В некоторых случаях это был монтаж эпохи (Ленин), где впечатление грандиозности достигается соединением политических речей, отрывков из Коммунистического манифеста, газетной хроники и так далее. В других случаях монтаж Яхонтова — это стройное литературное целое, точно воспроизводящее внутренний мир читателя, где рядом существуют, набегаая друг на друга, различные литературные произведения. Таков «Петербург» — лучшая работа Яхонтова, сплетенная из обрывков «Шинели» Гоголя, «Белых ночей» Достоевского и «Медного всадника».

Основная тема «Петербурга» — это страх «маленьких людей» перед великим и враждебным городом. В движениях актера все время чувствуется страх пространства, стремление заслониться от набегающей пустоты.

На большой площадке Яхонтов играет в простом пиджаке, пользуясь уже указанными аксессуарами (плед, вешалка и проч.).

Показывая, как портной Петрович облачает Акакия Акакиевича в новую шинель, Яхонтов читает балльные стихи Пушкина — «Я черным соболем одел ее блистающие плечи», подчеркивая этим убожество лирической минуты. В тексте еще рукоплещет раек, но Яхонтов уже показывает гайдуков с шубами или мерзнущих кучеров, раздвигая картину до цельного театра, с площадью

и морозной ночью. В каждую данную минуту он дает широко раздвинутый перспективный образ. Редкому актерскому ансамблю удается так наполнить и населить пустую сцену.

Яхонтов при своем необыкновенном чутье к рисунку прозаической фразы ведет совершенно самостоятельно партию чтеца в то время, как режиссер Владимирский зорко следит за игрой вещами, подсказывая Яхонтову рисунок игры — до такой степени четкий и математически строгий, словно он сделан углем.

Яхонтов — единственный из современных русских актеров — движется в слове, как в пространстве. Он играет «читателя».

Но Яхонтов — не чтец, не истолкователь текста. Он — живой читатель, равноправный с автором, спорящий с ним, несогласный, борющийся.

В работе Яхонтова и Владимирского есть нечто обязательное для всего русского театра. Это возвращение к слову, воскрешение его самобытной силы и гибкости.

Нужна была революция, чтобы раскрепостить слово в театре. И все же ее оказалось мало... Яхонтов — один из актеров будущего, и работа его должна быть показана широким массам.

1927

ДАГЕСТАНСКАЯ АНТОЛОГИЯ: аварцы, даргинцы, кумыки, лаки, лезгины, турки, таты, ногайцы.

Составил и комментировал Эффенди Капиев,
М., ГИХЛ, 1934, 256 стр.

Книга составлена в историческом разрезе: безымянное народное творчество, знаменитые певцы прошлого века, гремевшие далеко за пределами родного аула, но доверявшие свою поэзию только памяти односельчан, потому что родная речь не имела грамоты, — дальше поэты и литераторы буржуазно-просветительской эпохи, выбившиеся «в люди», живавшие и учившиеся в столицах, дальше — изумительное по революционной жизненности и верности родному народу поколение моло-

дых писателей-революционеров, с незабываемым Гарун Саидовым во главе; наконец, сегодняшняя советская литература Дагестана, создаваемая участниками и организаторами стройки, усвоившими большевистскую теорию, людьми, совмещающими, как, например, лакский поэт Черинов, интерес к мировой литературе, работу над Пушкиным и Шекспиром с сельскохозяйственной научной подготовкой.

Восемь глав сборника: аварцы, даргинцы, кумыки, лаки и т. д. — это ущелья, по которым обособленно развивалось творчество народов Дагестана.

Для составителей книги, знающих главные языки Дагестана и чувствующих форму каждого поэта, такое деление кажется закономерным, но в сглаживающем русском переводе читатель, восемь раз окунаемый в прошлое и восемь раз переживающий революционный перелом, невольно путается и устает.

Если в старом Дагестане были замечательные поэты: например — аварец Махмуд и даргинец Бажирай (предисловие Эф. Капиева), то надобно было бы их выделить, поручив перевод мастерам русского стиха, чтоб сохранился размер, напев и словесный узор. Того же Махмуда Дзахо Гатуев излагает частью свободным стихом, частью зарифмованной прозой. Получается как бы длинная выписка изречений в арабско-персидском вкусе. Между тем дагестанскому народному творчеству свойственна энергия и узорность, сближающая поэтов с златокузнецами — оружейниками.

Каждой насечке узора соответствуют удар, искра. Слово в горской песне берется в тиски для выпрямления, скребком очищается от окалины, куется на подвижной наковальне, чеканится не только снаружи, но и изнутри, как сосуд.

Большинство стихов дагестанского сборника в русской передаче лишено материальности, словесной активности. Даже неловко выписывать такие строчки, как «соловей поет зарею, беззаботно и игриво» (перевод Бугаевского из Етим Эмина — крупнейшего лезгинского поэта, о котором готовит монографию Дагестанский научно-исследовательский институт).

В самом начале книги радуют прекрасные переводы Андрея Глобы «Тюрьма царская проклятая» и «Салтинский мост».

Если б цепь порвать,
Если б дверь сломать,
Если б аргамак мой
Подо мной опять.

Составители не сочли нужным сообщить, связаны ли переводчики наказом приближаться к точной форме подлинника или работают по вдохновению, натягивая текст подстрочника на более удобную для них русскую колодку. Поэтому о пьесах Глобы можно лишь сказать, что в них удачно скрестилась новая советская лирика с народной дагестанской темой.

Гей, почему все черешни в цвету
И скворцы поют?
Гей, почему на Салтинском мосту
Барабаны бьют?

Глубоко впечатляющую песнь хунзахских партизан «Смерть большевика Муссы Кундахавы» перевел Александр Шпирт. Вот доказательство, как много может сделать даже лишенный особых лирических данных переводчик, если он уважает свой материал.

В селенье Цацан-Юрт приехал ты
И на субботник шел, наш друг
Мусса,
И на дороге встретили тебя
Отравленные местью кулаки.
Большевика хотели обмануть,
Пожатьем рук хотели обмануть,
Чтоб руки вывернуть, чтоб повалить —
Уловкой взять хотели хабреца.

Хунзахская песня — высокий образец революционного чувства; нежность к погибшему товарищу, горе, просветленное уверенностью в победе, наивная сила крестьянской речи — так кстати, так по-агитационному умно подчеркивающей конкретное в биографии Муссы — открывают этой пьесе дорогу в широкий массовый репертуар, несмотря на большие стилистические срывы.

Однако я сейчас же оговорюсь, что в дагестанском сборнике очень немного стихов, достойных войти в русский литературный обиход, и это тем более досадно, что большинство дагестанских лириков распевает свои сочинения, владеет голосом, как поэтическим оружием, и органически не может создавать мертвых вещей.

Политические лозунги дагестанская лирика всегда

поворачивает к родной стране, национально окрашивает, бережно доводя их содержание до вчера еще неграмотного, жадного слушателя. Никакой риторики в строении образа у дагестанских поэтов нет, а в переводах она есть.

Когда поэт Шамсудин говорит: «Светлая свобода с мудрыми порядками, мощная и стройная, как в русле река», — нужно иметь в виду, что мощная и плавная река для горца — новый образ, уводящий его из домашнего кругозора. Горная речка узкая и стеснена скалами. Вот почему, говоря о партии, которая принесла в тесный аул мировую революцию, дагестанский лирик начинает свежим для него образом равнинной реки.

В переводе, очевидно, все сдвинуто, смещено: у реки завелись порядки, ей приписан невозможный строй, а величавое ее течение техническими средствами стиха не передается.

Сытое великодержавное невежество мешало дагестанцев в одну кучу с кавказцами вообще. В громадном и нищенском ауле Кубачи работали чеканщики в бараньих шапках. В городах европейской России ютились кустари-отходники — выходцы из маленькой дагестанской народности — лаки — лудильщики по профессии. В губернском городе они продолжали трагедию домашнего существования: неуменье помочь друг другу, так прекрасно характеризованное в песне Гаджи Ахтинского:

Мы слова, нужного двоим,
Вдвоем не сложим, Дагестан.

Бедняки-лудильщики становились хозяйчиками по неволе и били по голове учеников-подростков, выжимая из них «прибавочную стоимость», чтобы спасти саклю от продажи с публичных торгов, и кинжал с узорной насечкой находил свое место в трагедии. Обезумевшие, забитые подмастерья обкрадывали хозяев. Дело шло к развязке, деньги оборачивались кровью: «Эй... Голова моя в огне... Это не я, не я убил. Держите. Шестьсот тысяч рублей... Держите! Люди, где вы, люди?.. Смилуйтесь. Эй, мальчик. Иди. Иди, укажи мне дорогу в Багдад...»

Об этом рассказывает лакский драматург Гарун Саидов — студент Коммерческого института, вернувшийся в Дагестан делать революцию и зарубленный контр-

революционными бандитами в 1919 году в расцвете замечательных творческих сил.

В пьесе Гарун Саидова роль трагического вестника исполняет почтальон с телеграммой, которую никто не может прочесть, потому что все неграмотны.

Надо ли удивляться, что в дагестанской фольклорной, только на днях сложенной песне о культштурме говорится:

О желанной, как солнце красное,
Грамоте будем петь...

Переводчик Зайцев правильно понял свадебную запевку этого стихотворения.

Не следует подходить к поэзии современного Дагестана с укороченной, облегченной меркой. У дагестанских авторов за плечами большая словесная культура родного народа. У них взыскательные и творчески одаренные слушатели.

«Писатели переключаются на отображение величественных процессов, меняющих лик страны. Наиболее значительным произведением, рисующим развернутый образ горца, пришедшего на завод, является поэма лезгинского писателя А. Фатахова «Ударник Гассан» (цитирую предисловие Капиева). В этой поэме пейзаж дан набором готовых линияло-акварельных красок: «В голубой, небесной чаше звезд сияющая россыпь», речь по газетному очерку: «план четвертого квартала выполнен наполовину». Сюжет строится по способу благополучного развития: премированный колхозник-ударник на заводе. Лирическая поэма превращается в какой-то разжевывающий аппарат. Читательский интерес убывает по мере развития темы.

Поэма Фатахова — быть может, почетная для молодого лезгинского писателя неудача, но все же срыв. Если даже ее обесцветил переводчик, — остается мертвенность сюжетной композиции.

Дагестанской прозы составители сборника как будто стесняются и называют ее схематичной. В этом они глубоко неправы. В дагестанской прозе большое скованное, оригинальное и недоразвитое мастерство. Молодые авторы, о которых идет речь, правильно угадали, что прозаическое искусство состоит в извлечении максимального общего эффекта из подробностей, из

частностей. Их внешне бессюжетные вещи без натяжки детальны, без дробности подробны, что редко случается с нашими молодыми прозаиками.

«По густо-синему небу с коротким клетотом, чертя зигзаги, вился стервятник. Он парил от одного хребта к другому, словно штопал невидимыми нитями зияющую между горами пропасть» (Шахабудны Михайлов).

«На засаленной жирной странице журнала крестики посещаемости напоминают жирную баранту...»

«Мертвые каменные переулки...» «...Пышные воротники шуб...»

Надо поблагодарить тов. Эффенди Капиева и Дзахо Гатуева за прекрасно задуманный сборник и глубоко проработанный материал. Несомненно, они сделали все от них зависящее для прочного знакомства нашего читателя с дагестанской поэзией. Но следовало бы ответить наиболее равнодушных и слишком ловких переводчиков, сообщить в предисловии принципы перевода, вкратце сказать о ладе и музыкальном сопровождении дагестанской народной песни (не упомянуты даже инструменты) и, наконец, кроме ценнейших сведений, вкрапленных в биографические справки, дать общую характеристику советской дагестанской литературы, как содружества и как организации.

«Подъем» (Воронеж), 1935, № 1.

СТИХИ О МЕТРО.

Сборник литкружковцев Метростроя.

М., ГИХЛ, 1935, 87 стр.

В одной из шахт Метростроя на Смоленской площади работали люди 34 профессий (резинщики, химики, токари, формовщики, мебельщики и др.) — так велика была тяга к работе на Метрострое.

В другом участке работы пом. директора кинофабрики обучал пришедших с ним на Метрострой киноработников тоннельному мастерству: так бесконечно много давала квалификация на Метрострое, общение с этим университетом социалистического труда.

Один из строителей — бывший чернорабочий, четырнадцатилетним мальчиком спустившийся в шахты Донбасса, — пройдя метростроевский стаж, заговорил в печати о «стиле работы».

Почти каждый выступающий на страницах прессы участник Метростроя считает нужным сближать социалистический труд с художественным творчеством, и нередко о труде говорят в терминах искусства.

В шахте под Свердловской площадью комсомолка Паня напевает, работая, арию: «не счесть алмазов в каменных пещерах», и, быть может, в двух шагах в Большом театре звучит та же ария — поразительное было бы совпадение.

«Кто первым дорвется до юрских глин?» — интересный лозунг соревнования. Вдумайтесь в него: строители метро научно разбираются в геологических пластах и эпохах. В толщу времени эти люди, озабоченные тем, чтобы построенные их руками тоннели выдержали давление грядущих веков, вторгаются, как полновластные хозяева: изучить строение породы, победить ее сопротивление, вырвать у нее свободное пространство, залить его светом, наполнить движением, социалистической радостью.

«Большое дело, громадное дело соорудил. Вынуть сто тысяч кубометров одного грунта и уложить двадцать тысяч кубов одного бетона, не считая облицовки и других работ. И вот получается роскошная станция — Крымская площадь. Мрамор. Свет. Колонны. Рельсы, сверкая, уходят вдаль... А ведь подумать, каждый из нас стоял на своем маленьком участке, борясь с водой, с плывунами, — каждый в отдельности кажется таким беспомощным! Метро — это победа коллектива».

К лирическому сборнику «Стихи о метро» нельзя подобрать лучшего эпитафия, чем эти слова. В них дан ключ к пониманию лирики метростроевцев.

Первая встреча бригады с «непонятной, тяжелой землей», «тихий, но строгий бетон» (его нужно укладывать по два куба в день) и — через три года — подземные дворцы, в описании которых созидавшие их поэты теряются, проявляют беспомощность, потому что старые слова для описания роскоши и великолепия здесь неприменимы, потому что в само созерцание здесь

входит новый момент, момент новой эстетики: эти предметы созданы нами.

Стихи о метро подобраны любовно, внутренние спаяны и стоят примерно на одном уровне выполнения. Отдельные строки и стихотворения выделяются особо над этим уровнем, но у читателя все же преобладает впечатление, что сборник написан одним автором, но в разных манерах. (Наиболее четкая поэтическая индивидуальность у тов. Кострова.) Тематика книги — организаторский энтузиазм, размах работы, связь с партией, ценность законченного труда, углубление товарищеской солидарности, трудность работы, ответственность перед будущим («тоннелям надо выдержать века»), ощущение работы как памятника, который коллектив воздвигает себе в эпохе.

Поэты-метростроевцы ни на минуту не забывают, что им помогала строить вся страна, что вне первой и продолжающей ее второй пятилетки Метрострой был бы невысказанным, превратился бы в утопию. И эта живая связь со всей страной, с пятьюстами сорока заводов, которые осваивали и выполняли для Метростроя важнейшие задания, воплотилась в личном руководстве тов. Кагановича.

Звонил, находясь на Урале,
Молнировал из Сибири
И в шахту спускался прямо,
Окончив дела в цека.

Здесь в четырех отлично выверенных строчках передан размах огромной политической работы, даны связанные между собой географические дистанции, показана техника рабочего дня члена Политбюро, работника ЦК и выражен стиль этой работы.

И вот я обращаю внимание на то, как хороши, как уместны в этом маленьком отрывке глаголы — т. е. носители действия: звонил, молнировал, спускался.

Поэт, забывший о глаголе, все равно что летчик или шофер, заснувший у руля.

Сложные технические процессы, то и дело упоминаемые поэтами, слиты с душевными переживаниями — будь то сознание исторической ответственности величия работы, радость напряжения творческих сил, будь то личное чувство — к девушке — товарищу по бригаде.

Не сказал я, что, когда с тобою
Мы носили гравий на замесы,
Брался я за ручки так, что вдвое
Для тебя был ящик легковесней.

(Бахтюков)

Лирической вершиной этой маленькой книжки «Стихи о метро» я считаю одно стихотворение Кострова.

Да здравствуют
Товарищи мои,
Ведущие подземные бои,
Идущие сквозь пльвуны
И камень,
Сквозь толщи глин,
Прессованных веками,
Сквозь черный сумрак
Неживых ночей.
Товарищи, несущие в ночах
Большое дело
На своих плечах.

.....
Работники
Простого благородства,
Художники труда
И производства,
Ведущие великие бои,
Да здравствуют
Товарищи мои.
Товарищи,
Чьих дел глубокий след
Останется в земле
На сотни лет.

Много в русской поэзии прекрасных заздравных стихов, начиная с пушкинского «да здравствуют музы, да здравствует разум» и хмельных языковских здравниц, но этот изумительный трезвый тост, этот дифирамб живым и здравствующим товарищам, этот бокал с черной землей из шахты Метростроя, поднятый над советской Москвой, радуют даже самый взыскательный слух. Поздравляем товарища Кострова с отдельной удачей и тут же оговоримся, что он наделал в сборнике «Метро» множество поэтических ошибок.

Потери такой
Нам нисколько не жаль,
Ты был работником средним.

Напрасно Костров думает, что о средних рабочих нужно писать плохо и вяло. Этот вид соответствия формы и содержания поэзию не устраивает.

Следует отметить, что книга метростроевцев содержит ряд свежих стихов о Москве. И это естественно, потому что метростроевцы, выходя «на-гора» и сменив спецовки на обычный костюм, напряженнее, чем когда-либо, вслушивались в биение жизни города, вглядывались в толпы, в улицы, и после грохота кессонных работ старый знакомец — «трамвайский язык», как говорил Маяковский, был им люб и дорог. «Ползет вода — змеистая, кривая, сверкучая от желтого луча» (Смирнов); у него же: «осеннее чувиньканье синиц».

Бахтюков держит поэтическую связь с Метростроем даже тогда, когда говорит откуда-то с черноземов.

Как широко распахнуты просторы,
Какое море смелой тишины!

Лирическим героем стихов о метро является, в сущности, бригада, а не отдельный человек. Вера Лихтерман говорит именно о бригаде с той детальной зоркостью и внимательностью, которую старая поэзия применяла только к отдельным людям:

Переливается, звенит
Просеиваемый гранит.
На ресницах иней пыли,
Глянь — бригада вся седая.

Побольше внимания к деталям словесной работы литкружковцев. Лирика тоже требует, чтобы «нигде не капало» (технический лозунг т. Кагановича для метро). Не замечая этих маленьких удач, не называя по имени их авторов, мы обескуражим поэтов. Поэты хиреют от суммарных оценок, они становятся беспризорны от невнимательно-рассеянной критической ласки.

Если бы лирики «Метро» в стихах своих работали по большому и дальнозоркому плану, как у себя на производстве, если б работа их ощущалась ими самими как литературный цех Метростроя, они достигли бы больших результатов. Как на формальные недостатки их работы следует указать на недостаточную емкость строфы, а также на однообразие и автоматичность ритмов. В словарном отношении книжка богаче, чем большинство аналогичных сборников, и это признак культурного роста.

Можно также пожелать поэтам большей свободы в построении образа и в развитии лирической темы. Ведь

для советского поэта работа над лирическим стихотворением также является ударной стройкой, и материал для этой стройки, как бы обслуживая ее, доставляет вся страна, вся социалистическая действительность, понятая как целое.

«Подъем» (Воронеж), 1935, № 5.

Г. САННИКОВ. ВОСТОК

Стихи и поэмы 1925—34 г.

М., ГИХЛ, 1935

В посвящении книга определяется самим автором как пока еще неполное собрание сочинений.

Санников, бывший участник поэтической группы «Кузница», с первых шагов прекрасно овладел техникой культурного традиционного стиха, обновленного и омоложенного усилиями лучших символистов.

При этом у Санникова наблюдается учет достижений футуристической поэзии. Новое звучит у него приглушенно, под сурдинку, в мягкой оболочке старого. Первый раздел книги Санникова хронологически совпадает с романтическими выпадами Н. Тихонова и Багрицкого. Уже значительно позднее, в одном из лирических отступлений, в поэме «Египтяне», Санников говорит, характеризуя этот свой период:

Я вместе с Байроном угрюмым,
На бурю променяв покой,
Запоем пил из звездных рюмок
Ночей тропический настой.

По земному шару, который Маяковский обошел почти весь и всерьез, Санников начал весьма рискованное путешествие с Чайльд-Гарольдовой командировкой, давно утратившей всякий конкретный исторический смысл.

В этих стихах 26—27 года стучат машины океанских пароходов, волчьей шкурой сереет вздыбленная вода. Радио трубит в ответ стонущим путешественникам фокстроты, шимми и чарльстоны. Океаны бессмысленны и дики — они не наши — чужие. Следующий отдел — «Пески и Розы». Язвы Востока прикрыты классической

поэзией, мозаикой мечетей. Жалкая, постыдная жизнь и певучие сказочные узорные ковры:

Я тебе расскажу, красавица,
Только ты не хитри, не клянись,
Красота твоя очень славится,
Но ни к чорту не годна жизнь.

В подражаниях персидскому Санников удачно воспроизводит скупую лирику классиков пустыни, певцов небытия.

«Подыметесь ветер,
Заметет следы,
И будто я не был,
Не будешь и ты».

А в совсем недавнем (34 г.) обращении к Фирдоуси говорит:

Мы в твой народный славы гул
Поэзии вплетаем ветви,
И при твоём тысячелетьи
Несем почетный караул.

«Песнь о городе Тавризе» посвящена тегеранскому восстанию 1908 года: тегеранские базары, море барашковых папах...

Когда поэт показывает свою лабораторию, это может быть и ценно и интересно: мысль борется с новым материалом. Но я решительно отказываюсь назвать «поэтической лабораторией» большую часть опытов Санникова, посвященных росту народного хозяйства и технологии; скорее это кухня, не умеющая обращаться с продуктами.

Я имею в виду самые интересные по замыслу, деловые главы «Каучука» и «Египтян».

...Должны быть созданы нормы —
Научно обоснованная монополия...
.....
Вопрос о длине волокна
Для пролетарского государства
не безразличен.

Санников злоупотребляет свойством всякой разумной речи распадаться на смысловые единицы: обыкновенные части фразы он выдает за стихи... «Комиссия... в акте, на месте происшествия написанном, установила объективно...»

Хочется лишь выправить расстановку слов в таких

стихах, как это сделал бы любой газетный корректор.

Это тем более досадно, что Санников стремится расширить область поэзии и чувствует огромную ответственность перед нашей современностью.

Он прощается с самодовлеющими, условными формами лирики, в которых мог спокойно преуспевать на радость эстетам. Но такая тематика, как наука, революционная практика, борьба и жизнь масс, требует творчества, а не списывания хотя бы из блестящей газетной статьи или из учебника химии.

В лучших отрывках своих поэм Санников достигает «сложной простоты» — редкое умение, которое всегда радует в лирике.

Ничто не нарушает сна,
Повсюду шерстяные тени.
И кажет голые колени
Над городом луна.

В «Каучуке» Санников говорит о горном каучуконосном растении тау-сагызе, словно о романтическом кавказском герое эпохи Марлинского:

При шапке крупного размера
Листвы игольчатой, с лица
Он выглядел довольно дико...

Блеском романтического костра озарено случайное открытие каучуконосного растения.

Здесь не что иное, как черпанье новизны при помощи старого ковша или искусное омоложение дряхлеющего литературного канона; иногда стихи Санникова звучат как дурная копия с «Эдды» Боратынского, переложенного на хлопок.

Между тем автора горячо интересует стык между наукой и классовой борьбой. Каждая поэма изображает цикл классовых боев, протекающих в трудной и своеобразной обстановке среднеазиатских республик, и надо признать, что с расширением тематики лирическое дыхание автора заметно окрепло: «Песня комсомолки» в «Египтянах», баллада о коврикё Пенде Гюль, который пламенеет в клубе рика с портретом В. И. Ленина, замечательные ткацкие баллады, фрагмент «в невеселом городе Тавризе, где сады, сады, полюбил я лирику Гафиза и простую мудрость Саади», — все это обязано своим рождением перевороту, перелому, наступившему

в творчестве Санникова. Дело теперь для поэта уже не в узорности, не в орнаментике как таковой, не в изощренности так называемого восточного искусства, которое в «Египтянах» иронически названо супрематистским. Шерсть, из которой ткуются ковры, прополоскана в коровьей моче. В цветных нитях бегут труды и дни дехканства.

Но читатель вправе спросить: удалась ли Санникову его основная задача?

Небходимо указать, что в «Каучуке», несмотря на его перегруженность научными формулами, несмотря на песню шелестящих шин, настойчиво требующих труда, изобретательства, социального творчества, основное действие, т. е. борьба за советский каучук в обстановке классовых боев, дано сквозь дымку условной романтической поэмы. Байская дочь Рейхан, у которой отца раскулачили и отправили в Караганду, — «казачка, похожая на Офелию». И в этом последнем обстоятельстве, конечно, никакой беды нет, но плохо то, что функционально, в силу нагрузки образа, эта кулацкая Офелия, поднимающая Алаш-Арду против Кызыл-аскеров с феодальным знаменем, на котором начертан старый закон — Адат, — оказывается героиней второй поэмы, просвечивающей сквозь первую.

Крепнущие кадры всевозможных специальностей, которые так дороги Санникову, не могут быть поэтически характеризованы с помощью переключки сегодняшнего героя и, например, Алеко из пушкинских «Цыган». Для того, чтобы связать диалектическую часть «Египтян» с романтической подосновой, Санников охотно прибегает к пародии, к едкой лирической иронии. Так, сравнивает он растерявшегося от личных и общественных неудач Кречетова с тенью Петрарки, вздыхающего по Лауре в долине реки Сарги, и говорит о «кречетовской луне». Подобными нитками, однако, не заштопаешь разрыва.

В «Египтянах» не существует второй просвечивающей поэмы. Восстание басмачей здесь не опоэтизировано по Марлинскому, как авантюра Рейхан в «Каучуке». Разрыв идет по другой линии: между изобразительной и деловой частью поэмы — «куполообразная, беспмятная, старая, окаменелая мечеть Тимура». Тут же рядом бешеное и сложное движение:

Шумная тачанка,
Гражданская подруга,
Ухарство и лихость
Махновских ночей.
Тронулся навстречу
Город полукругом...

Санников великолепно понимает огромное историческое значение советской химии. Он сознает всю глубокую связь между творческими поисками этой революционной отрасли нашего научного мышления и методами поэзии. Однако он только учится химии на глазах у читателя, сдает свои зачеты: «углерод четырехвалентен; одновалентен всегда водород». «Полимеризация даст переворот — диметилдивинил элементов. Диметилдивинил, или $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$. Все это правильно и к поэзии (здесь мы расходимся с любителями «изящного» как такового) имеет самое близкое отношение; но здесь ровно ничего не сделано для взаимного сближения поэтической и химической мысли. Научный термин — только словесный знак, насыщенный понятиями. Водород — самый подвижный элемент в органической химии. Перемещаясь, вступая в соединения, он работает с удивительной дерзостью, как гимнаст на трапеции. Санников же работает на узорчатом персидском коврике. Высоту Тимуровой мечети он изображает хорошо, а дерзость органической химии передает экзаменационным лепетом.

Иногда с поэтом случаются курьезы, потому что для социально ценного содержания он не умеет найти естественной поэтической формы.

...Для промышленного применения
Через колбы, реторты и сетки, —
Достиженье советского гения,
Не предусмотренное пятилеткой.

Настоящий балаганный раешник, речь ярмарочного зазывалы с бойкой и нелепой рифмовкой отвлеченных слов.

Традиционно прозрачные «бахчисарайские» строфы перемежаются с многоярусными формулами социологии и химии, грубо уложенными в стихи. Автор на одной странице бывает красноречив и многоязычен, традиционен, как старообразный школьник, и лихорадочно

современен, как мастер революционного репортажа. Зрелость, косность, подражательность и новизна удивительно совмещаются в одном поэте.

Поэмы «Каучук» и «Египтяне» похожи на ранние географические карты с неосвоенными пространствами. Санников, например, берет в типографскую рамку интересные цифровые сводки, нумеруя их как строфы. Цифры сами по себе замечательно выпуклы. Но какое здесь неуважение к числу, непонимание образной творческой природы числового мышления. Чтобы цифры советской статистической науки заговорили поэтическим языком, надо и над ними проделать такую же положительную работу, как и над словом. Голое цитирование даже самого замечательного факта — только типографский прием. Никакой дерзости и новизны в этом приеме нет. Гораздо важнее то, что происходит внутри поэтического хозяйства Санникова, т. е. внутренняя сдача позиций белому пятну поэтически не освоенного факта. При этом всегда условно сохраняется видимость, и только видимость, оживленного лиро-эпического рассказа, и больше того: манера автора всякий раз в таких случаях приобретает невероятную бойкость. Образное оживление таких мест идет за счет воспоминаний из древней истории: «по Геродоту, солдаты Ксеркса были в хлопковых одеждах, Искандер, прободая Персию, видел муслины нежные»...

Но как только дело доходит до прозаического мяса, до упорствующего сырья, — Санников решительно перестает изобретать, но стучит на пишущей машинке:

А дело в том, что добровольно
Никто не вызвался поехать
На саранчовый фронт возглавить
Борьбу за хлопок многопольный.

Метрически однозначные девятисложные строчки являются здесь обыкновенными единицами прозаической речи, притом очень дурно построенной, т. к. естественная живая проза не терпит однообразия; абсолютно однородные части не соединяются в ткань.

Сотрудничество советского поэта с широчайшими кадрами строителей социализма, с работниками науки, с колхозниками, с красноармейцами должно быть поэтически образующей силой, должно найти свое прямое отражение в самой структуре произведения, в каж-

дой клетке поэтической ткани. Когда Санников заканчивает: «Египтянин победил», т. е. высокосортный, культурный хлопок засеял сотни тысяч колхозных гектаров — с исторической необходимостью, несмотря на все происки врага, то хозяйственная победа является здесь последним звеном поэтической композиции.

Однако нельзя передоверять своей поэтической работе даже рожденному в коллективных усилиях жизненному факту, нельзя украшаться этим фактом, только регистрируя его.

Научная формула должна претвориться в дышащее слово, сложнейшие элементы строительства — в поэтическую химию — в единый и целеустремленный стиль. Партийная мысль должна быть не изложена, а продолжена в поэтическом порыве.

«Подъем» (Воронеж), 1935, № 5.

А. АДАЛИС. — ВЛАСТЬ

Стихи

М., Сов. писатель, 1934

Пишет Адалис так легко и лихорадочно, как будто карандашом на открытках, начав с одной и продолжая на другой. Кажется, она стоит в зале телеграфа, дожидаясь, пока освободится расщепленное перо на веревочке, или же из междугородной будки, задыхаясь, передает лирическую телефонограмму:

— Достать стихи. Узнать, отчего происходят стихи. Подойти как можно ближе к тем людям и делам, ради которых и благодаря которым пишутся стихи.

Прежде всего, необходимо дышать не для себя, не для своей грудной клетки, а для других, для многих, в пределе — для всех. Воздух, который мы в себя вобрали, нам уже не принадлежит, и меньше всего тогда, когда он находится в наших легких.

Второе, и это второе, очевидно, переее первого, это то, что я назвал бы убежденностью поэтического дыхания или выбором того воздуха, которым хочешь дышать.

И вот мы получили книжечку стихов — сестрински-

нежных и матерински-гордых, товарищески-открытых и в то же время деловитых, служебных, озабоченных, командировочно-спешных стихов, которые требуют помощи и сами хотят помочь.

Мы должны быть благодарны Адалис за то, что у нее нет собственнического отношения к теме.

Лирическое себялюбие мертво, даже в лучших своих проявлениях. Оно всегда обедняет поэта.

Когда я читал книжку Адалис, у меня было ощущение, будто я одновременно нахожусь и в степи, где по жесткой смете, «на базе бурого угля» строится новый город, и в Армении на голубых рудниках Арагаца, и на улице Архангельска, где «рабочая ночь» пахнет озоном и северолесом, и в совхозе «Бурное», где сидят в полумраке на соломенных тюфячках за удивительной беседой о социализме и скрипке Гварнери. Адалис говорит:

«Так дико я близок с чужими людьми и делами,
Что часто мне кажется, мир есть мое продолженье».

Прелесть стихов Адалис — почти осязаемая, почти зрительная — в том, что на них видно, как действительность, только проектируемая, только задуманная, только начертанная, только начерченная, набегает, наплывает на действительность уже материальную.

В литературе и в кино это соответствует сквозному плану, когда через контур сюжета или картины уже просвечивает то, что должно наступить.

В лирике это соответствует состоянию человека, который набрел на правильную мысль, уверен, что ее выскажет, именно поэтому боится ее потерять и всех окружающих убедил и заразил своим волнением.

Море приобретает глубокий цвет синей кальки чертежника.

Граница, отделяющая страну от хищных соседей, отмечена и характеризуется мирными новостройками.

Сады, гитары и моря Италии идут на описание шахтерского городка, который возникает чуть южнее завода.

Сон, виданный в раннем детстве, запах бузины, жары и орехов, красные шары на спинах выгнутых мостов — вытряхивается из памяти через десятки лет и продолжается, как свежая работа: населяется каменщи-

ками из Тамбова и Торжка, получает прививку мичуринского винограда, оглашается «безбрежным влажным пением» во время обеда и отдыха трудящихся.

Дитя не вернется в утробу,
И хлеб не вместится в зерно,
Как слива не втянется в завязь, —
И в этом их тайная честь! —
Мы больше не можем обратно
В звериные норы пролезть!

Даже мысль о том, что лирическая работа совершается только поэтами, дика и чужда для Адалис. Это — тоже звериная нора, куда нельзя залезать обратно.

И вот Адалис всеми силами старается доказать, что за нее лирически думают и чувствуют все те, кого она называет товарищами, друзьями. Как заводы для обогащения руды — руды социального переживания, поставлены у Адалис встречи и в еще более глубоком ряду стоят рассказы встреченных, о тех других, с кем сталкивались они. Трое товарищей, которых кто-то приволок к себе в комнату читать бюллетени о взятии южанами Шанхая, и мимоза, бросавшая в этой комнате тени на крутящийся потолок, — потолок, крутящийся потому, что на улице в это время пробегали фары первых автомобилей «Амо», и купленный на радостях для четверых литр столового, чей вкус запомнился вместе с мимозой и Шанхаем, — все эти элементы не составляют никакой цепи, никакого искусственного сцепления и могут рассыпаться в любую минуту, потому что сейчас же соберутся в другом месте, в другом сгустке, в других сочетаниях, потому что ничто социально пережитое не пропадет.

И это качество новой лирики, избавляющее ее от необходимости дрожать за то, что порвется хрупкая нить ассоциаций, что выпадет петелька из кружева, что в развитие темы проникнет что-нибудь чужеродное, нарушающее строй, — это качество выступает у Адалис как доверие к жизни во всей ее перекатной полноте.

Цель поэта — не только создать и поставить перед читателем образ, но также соединить впечатления, кровно принадлежащие читателю, но о связи которых он, читатель, живой носитель этой связи, еще не догадывается, хотя чувствует ее...

Дорога в Балаклаву на автобусе, столы, накрытые в саду (быть может, на курорте, а быть может, и в совхозе), стеклянные шары нагретого степного воздуха, радость волейбола, радость футбола и радость яблока — получают у Адалис эмоциональную округлость, единство, — внутреннюю форму, социальную спайку.

Адалис рассказывает о неумении своих современников бросать начатую работу — единственном из неумений, которое составляет наше богатство и наше счастье.

Книжка ее одновременно и гордая, и робкая — одна из первых ласточек социалистической лирики, избавляющей поэта, т. е. лирически работающего конкретного человека, от хищнической эксплуатации собственных чувств, снимающей с него ревнивую заботу о поддержании своей исключительности.

Стихи заняты, стихи озабочены. Им некогда любоваться собой...

А мастерство?

Послушайте, что говорит Адалис о Багрицком.

Нам голос умершего друга
В глубокую полночь звучал...
По радио передавалась
Былая повадка сполна.
Едва выносимая жалость
Шатала меня, как волна...
Сердитый, смешной и знакомый,
Он громко дышал и хрипел,

Он громко о жизни зеленой,
О воинской свежести пел...

Это и есть мастерство.

«Подъем» (Воронеж), 1935, № 6.

М. ТАРЛОВСКИЙ. «РОЖДЕНИЕ РОДИНЫ».

Стихи

М., ГИХЛ, 1935

Для характеристики поэта очень важен его инвентарь: круг предметов, привлекающих его внимание. Не менее важно и то, «что» говорит поэт об этих вещах. Но самый простой и сухой перечень явлений, остано-

вивших на себе внимание художника, определяет профиль его творчества.

Вообразим невероятный случай: поэт пишет только о саксонском старом фарфоре, окружает его размышлениями глубоко идейного порядка, делает исторические выводы и перебрасывает от кофейного сервиза тематический мостик к современности. Но без блюдечка с цветочками и ободочками он шагу ступить не может. Все у него начинается от бабушкиного кофейника. Как бы «идеологически» ни пыжился этот воображаемый уродливый поэт, ясно, что у него получится чепуха, что он перелицованный пассаеист, что он насквозь фальшив.

Случай Тарловского гораздо сложнее. Книжка его называется «Рождение родины». Тема — преодоление архаики во имя будущего. Посмотрим, чем же интересуется Тарловский, куда тяготеют его живые вкусы, что он видит в современности.

В Москве роют землю для метро. Тарловскому уже становится интересно. Почему? Вырыли кость мамонта, нашли кусок кладбищенской парчи, докопались до петровской шпаги, а в конечном счете добрались до помойной ямы Ивана Калиты. «Конечно, мы были бы рады, разрезав Москву пополам (?), найти в ее профиле клады, зарытые некогда там — алмазы, червонцы, лампы»...

Дальше для нейтрализации лампадной рухляди — метро само по себе объявляется кладом и зарокотом (?).

Настоящей исторической наукой, геологическими или палеонтологическими интересами в этих стихах даже не пахнет: поэтический мир Тарловского — это паноптикум: т. е. ненаучное собрание курьезов и т. п. редкостей, грубо и бессмысленно щекочущих естественный интерес к прошлому, раздражающих дешевой пряностью и лишенных всякой познавательной ценности.

Протест против музейной чехарды и чертовщины, в которой упражняется Тарловский, следовало бы заявить от имени исторической науки. Поэт говорит: «старина ни в чем не допустима; Русь — татары? — мимо, мимо, мимо: останавливаться, как в кино, строго-настрого запрещено». Эти возмутительные ухарские строчки, призывающие к невежеству, написаны в то время, когда

углубленное преподавание истории становится одной из основных задач советской школы.

Тарловскому нужен между прочим «гиньоль» — театр ужасов. О Пугачеве он обмолвился: «где, катом подъятый с размаху, деленый (?) мигнул Пугачев». Извращенно-гурманский намек на четвертование. Безвкусное смакование техники этого акта. Петр женил стрельцов на тугой пеньковой девке, они влезли в эту даму головами и дергались в ней до утра. Не знаешь, что отвратительнее — сама петровская казнь или развязность, с которой о ней повествует Тарловский. Но поэт, с головой, залез в свой собственный словарь. Абсолютно чуждым нашей культуре языком перестраивающегося сноба-гробокопателя и смакователя старины он пробует передать свое отношение к современности, и получаются такие перлы, как, например: «рослый советский детина».

Тарловский на речном трамвае плывет по Москве-реке. Вот его поэтический маршрут: удельная Рязань, удельный Суздаль, пепел — тишайший царь, «самозванный» стяг, кремль, струги. Все это упоминается для того, чтобы сейчас уже отплеваться, и сейчас же переход к действительности: девочка-подросток Маша, грамотная только первый год, читает по складам вывеску: «Машин, но строительный завод». Мало того, что здесь нелепое сюсюканье: в Москве в 31 году очень трудно было найти подростка, грамотного только первый год. Тарловский бессознательно искажает факты.

Если он расскажет про обсерваторию, то противоречием к ней или дополнением обязательно является старая мечеть. Для Тарловского это две половинки одного ореха. Механистический стих Тарловского — продукт разложения и распада акмеистических приемов. Поэт настолько лишен чутья и вкуса, что способен зарифмовать «парикмахер» и «пахарь».

Тарловский обладает поэтическим темпераментом, упрямством, изобретательностью, — но ему необходимо стать в простые, ясные, свободные от бутафории отношения к жизненной правде.

Только тогда он освободится от эстетического хлама и перестанет любоваться историческим мусором.

В этом смысле наиболее типичные вещи «Бог войны» и «Вопрос о родине». В первой пьесе «бог войны» —

с «бердышом» (?) и с сигарой забрался на ресторанный поплавок и заказывает «человеку» шашлык из человеческого мяса. Во второй боги японского олимпа лишают загробного олимпа белогвардейского прохвоста за то, что он вредил своей родине. Стремление к хлесткости, к дешевому версификаторскому блеску — мешает Тарловскому серьезно развить большую тему. Даже наиболее заостренные вещи страдают ломкостью, хрупкостью или перегружены эстрадностью и пряной анекдотичностью.

«Подъем» (Воронеж), 1936, № 6.

[О ЧЕХОВЕ]

[Набросок]

Чехов. Действующие лица «Дяди Вани»: Серебряков, Александр Владимирович, отставной профессор. Елена Андреевна, его жена, 27 лет. Софья Александровна (Соня), его дочь от первого брака. Войницкая, Марья Васильевна, вдова тайного советника, мать первой жены профессора. Войницкий, Иван Петрович, ее сын. Астров, Михаил Львович, врач. Телегин, Илья Ильич, обедневший помещик. Марина, старая няня. Работник.

Чтобы понять внутренние отношения этих действующих лиц, как системы, нужно чеховский список наизусть выучить, зазубрить. Какая невыразительная и тусклая головоломка. Почему они все вместе? Кто кому тайный советник? Определите-ка свойство или родство Войницкого, сына вдовы тайного советника, матери первой жены профессора, с Софьей Александровной — дочкой профессора от первого брака? Для того, чтобы установить, что кто-то кому-то приходится дядей, надо выучить целую табличку. Мне, например, легче понять воронкообразный чертеж дантовской Комедии, с ее кругами, маршрутами и сферической астрономией, чем эту мелкопаспортную галиматью.

Биолог назвал бы чеховский принцип — экологическим. Сожительство для Чехова решающее начало. Никакого действия в его драмах нет, а есть только соседство с вытекающими из него неприятностями.

Чехов забирает сачком пробу из человеческой «ти-

ны», которой никогда не бывало. Люди живут вместе и никак не могут разъехаться. Вот и все. Выдать им билеты — например, «трем сестрам», — и пьеса кончится.

Возьмите список действующих лиц хотя бы у Гольдони. Это виноградная гроздь с ягодами и листьями, это нечто живое и целое, что можно с удовольствием взять в руки: personaggi: Фабрицио — старик, горожанин; Евгения — племянница Фабриция; Фламиния, племянница Фабриция — вдова; Фульгенцио — горожанин, влюбленный в Евгению; Клоринда, двоюродная сестра Фульгенция; Роберт — дворянин и т. д. [Тут ясно, что люди соединились для.] Тут мы имеем дело с цветущим соединением, с гибким и свободным сочетанием действующих сил на одной упругой ветке.

Но Чехов и упругость — понятия несовместимые.

[Чехов калечит людей]

В античном мифе владыка афинский Эак, когда весь народ его вымер от заразы, от порчи воздуха — из муравьев людей понаделал. А и хорош же у нас Чехов: люди у него муравьями оборачиваются.

На днях я пришел в «Воронежский Городской Театр» к третьему действию «Вишневого сада». Актеры гримировались и отдыхали в уборной. Ко мне подошла старая театральная девочка в черном платье с белой косыночкой. То была Варя. Кулак-Лопухин, только что купивший вишневый сад, еще усиливался сдерживать в чертах лица выражение хитрой, но чувствительной коммерческой шуки. На клетчатых своих коленках он тихонько укачивал [старого] серебро-лунного думного боярина из пьесы Алексея Толстого, из той самой, которую написал полицейский пристав в сотрудничестве с Аполлоном Бельведерским, — на этот раз мой Мстиславский был в долгополом «рассейском» сюртуке: помещик по фамилии Пищик.

В общем, развалины пьесы, ее, так сказать, тыл, были неплохи. [Чувствовалось лето, хотя и помятое] [Чувствовалась погода, хотя и помятая] Поиграв Чехова, актеры вышли как бы простуженные и немного виноватые.

Между театром и так называемой жизнью у Чехова соотношение простуды к здоровью.

[За несколько дней <до этого> театру был большой

влет: его изругала областная газета за то, что «Вишневый сад» был сыгран без настроения и обращен в удалую комедию.

Я испугался львицы, игравшей в пьесе главную барыню, и поболтал о том о сем с актером, исполнявшим роль конторщика Епиходова. В нем нельзя было не узнать философа, ищущего места по объявлению в «Петербургском Листке». [В то время, как другие актеры всей юсанкой своей говорили: «не мне, а имени моему», — [в то время, как все они двигались, как недостойные иереи,] словно ожидая, что кто-нибудь назовет их «ваше правдоподобие» и чмокнет в ручку, — один Епиходов знал свое место.]

Шумно вошла львица, игравшая в пьесе главную барыню. Номер ее обуви был слишком велик и в точности передавался голосом. У Епиходова дрожали усики.

[Выходец из суворинского Малого Театра, этот комический актер двадцать лет не видел родного города: «Петербургский Листок». Место по объявлению. Кружка пива. Бутерброд с бужениной. Райские птицы галстуков в галантерейной лавке.]

МОЛОДОСТЬ ГЕТЕ

Радиокомпозиция

Эпизод первый

Право охоты на оленей принадлежало сенату. Раз в год на торжественном публичном обеде сенаторам подавали жареного оленя. Но всех оленей в окрестности перестреляли дворяне, нарушая охотничье право сената. Пришлось развести стадо оленей. Олений выгон был в черте города. Каждый год сенаторам подавали жареного оленя.

Однажды выгон упразднили.

На месте выгона построили дом.

В этом доме родился Гете.

При доме не было места для сада. Вместо сада — цветы на окошках второго этажа — в комнате, которая называлась садовой.

Садовая комната — детская.

Из окна — вид на чужие сады.

На территории Конного рынка бюргеры-домовладельцы разбили сады. В садах играли в кегли. С громом катились шары, сбивая кегли.

— Чьи это сады?

— Чужие.

— Можно туда пойти?

— Нельзя. Можно только смотреть из окна. Сады — чужие.

Зато ярмарка открыта всем и каждому.

Мимо городской ратуши, называемой Рёмер, с огромными сводчатыми залами, куда можно проникнуть,

если очень попросить сторожа, и увидеть фрески, и скамью судей, и скамью почтенных бюргеров, и скамью ремесленников, и стол протоколиста, мимо средневековой Нюрнбергской гостиницы, обнесенной крепостной стеной, мимо фабрики, мимо красильни, мимо белильни — на ярмарку.

Внутри города возник новый город — город лавок, деревянных барачков.

Толкаются, суетятся, распаковывают, выгружают товары.

Что бы такое купить? В детском кошельке так мало денег.

Купцы жалуются: за городскими стенами — грабеж. Окрестные дворянчики пошаливают, разбойничают. Товары пришлось везти под специальным вооруженным конвоем. Под конвоем же приехали имперские чиновники.

Конвоиры желают пройти в город.

Но город ссылается на свои права и не пропускает конвоиров. У городских ворот — драка.

И вот кавалерия граждан, разделенная на многие отряды, во главе с начальниками подъезжает к разным городским воротам. Граждане и конвоиры мирятся и устраивают под стенами города пирушку.

А под вечер к подъемному мосту подъезжает почтовая нюрнбергская карета. В ярмарочный день, по обычаю, в ней должна сидеть старуха.

— Где старуха? — кричат мальчишки и с ревом бросаются вслед за каретой.

— Где старуха? — кричат бюргеры из высоких окон.

Вот три герольда в голубых мантиях с золотой каймой и с нотами, укрепленными на рукавах.

У одного свирель, у другого фагот, у третьего гобой.

Сегодня — в день Варфоломеевской ярмарки — главному судье города вручают хартию императора, который заискивает у городов, подтверждая на год вперед городские льготы.

Впереди идут герольды.

За ними — послы с дарами.

Главный предмет колониальной торговли — перец.

Посол преподносит судье деревянный резной бокал,

полный перца, хорошего перца в зернах. На бокале — пара белых перчаток и белый жезл.

Главный судья, почтенный бюргер, дедушка Гете, — принимает дары.

Вечером бабушка ссыпает перец в ящик для специй, бокал и жезл достаются детям, а перчатки дедушка, живущий отдельно, употребляет для садовых работ, чтобы защитить руки от шипов.

На ярмарке купили много посуды, и мальчику достались игрушечные горшки и блюда.

А что, если выбросить тарелку в окно: никого нет дома.

Как она славно разбилась, как зазвенели черепки! Мальчик хлопал в ладоши, кричал и смеялся.

Братья Оксенштейны, соседи, услышали звон разбитой тарелки и крикнули:

— А ну-ка еще!

Вслед за тарелкой полетел горшок.

— А ну-ка еще! — кричали соседи.

Пришлось побежать за посудой на кухню.

Тарелки, тарелки — в окно!

Из комнаты в кухню.

На полках — тарелки.

Тарелки, тарелки — в окно.

— А ну-ка еще, — кричали соседи.

И снова на кухню. И снова тарелка — в окно.

Кофейник, и чашки, и сливочник — прямо в окно.

Целая груда черепков под окнами.

Груда разбитой посуды.

Разрушитель Вольфганг Гете, трех с половиной лет, перебил всю посуду в доме.

<Эпизод второй>

< : >

Дру <гой> гол <ос> (перебивает)

Дважды в год, разлившись, Нил

Весь Египет затопил.

Учитель. Довольно.

Детск <ие> гол <оса>.

Дважды в год, разлившись, Нил

Весь Египет затопил.

Учитель. Довольно!

Голоса.

Нет реки священной Ганга,

Ганг — река большого ранга.

Учитель. Тихо!

Первый голос. А в Лиссабоне землетрясение.

Учебник географии был весь зарифмован. Латинская грамматика тоже.

Детям скучно читать Корнелия Непота, зато Овидиевы «Превращения» проглатываются с жадностью. Увлечься «Робинзоном Крузо» лежит в самой детской природе, а за два крейсера на ларях, что подле церкви Варфоломея, где спокон века отведено место для ручного торгова и всегда толпится народ, — продают картинки с раскрашенными и раззолоченными зверями и ходкие книжки франкфуртского издания на плохой серой бумаге, с печатным шрифтом. Это настоящие сокровища — здесь и «Прекрасная Мелузина», и «Прекрасная Магелона», и «Дети Аймона», и «Фортунат». Главное преимущество этих книг — дешевизна.

Но как трудно пробираться сквозь крикливую толпу! А когда проходишь мимо отвратительных ларей мясника, нужно обязательно зажмурить глаза, чтобы не затошнило.

Вчера в дом к советнику Гете заходил проезжий шарлатан-англичанин и предлагал привить детям оспу. Но он запросил несуразную цену, и его с позором выгнали.

Дет<ский> гол<ос>. А в Лиссабоне землетрясение. Все говорят.

Учитель. Да, в Лиссабоне было землетрясение.

Мальчик. Правда, что земля растрескалась?

Учит<ель>. Очень сильные толчки. Один за другим. Земля дала трещины, из них извергался огонь. Рушились и горели дома.

Мальчик. А на море что?

Учит<ель>. Страшное волнение. Волны заливали весь порт. Уцелевшие корабли спасались в открытое море.

Мальчик. А как же жители?

Учитель. Шестьдесят тысяч человек, за минуту

до того спокойных и счастливых, в один миг лишились всего своего достояния. Право, лучше тем, кто уже не может осознать всей глубины своего несчастья. Из тюрем вырвались преступники и среди общей разрухи грабили город. Природа повсюду проявляла свой неистовый произвол. Десница карающего Бога. Такая пышная столица, такой богатый порт!

У мальчика в комнате стоял отцовский музыкальный пюпитр красного дерева, в форме усеченной пирамиды со ступеньками, очень удобный для исполнения квартетной музыки. На ступеньках была разложена в прекрасном порядке минералогическая коллекция — прозрачная слюда, и хрупкий известняк, и розовый шпат, и мрамор в жилках, и кристаллический хрусталь, а рядом — образцы почвы — от чернозема до красных глин — и дары природы — колосья, засушенные ветки, шишки, семена.

«Прекрасная коллекция», — говорили люди, входя в комнату.

Мальчик молчал. Никто не знал, что это алтарь природы.

По утрам, когда солнце, всхлотившее за стенами соседских домов, наконец разливалось по крышам, он брал зажигательное стекло и наводил луч на курительную свечку, помещенную в фарфоровую чашечку на вершине пирамиды.

Пюпитр — алтарь природы.

Природа всемогуща.

Мальчик — жрец природы. Свеча — жертва. Она не горела, а тлела. На алтаре каждое утро возжигалось благовонное пламя жертвы. Никто об этом не знал.

В соседней комнате сестра учится музыке. Учитель отбивает такт:

— Мизинчиком, мизинчиком — скорей: хоп-хоп...

— Мимишку — мизинчиком, а фа крючком.

— Серединчиком соль — как в солонке — соль.

— По чернявке ударь. Легче, легче, быстрей.

Каждая клавиша имела свое имя, каждый палец — свою кличку.

При отце состоял в качестве камердинера и секретаря

ря, слуги — мастера на все руки — юноша Пфейль. Он еще немного подготовится и откроет пансион для мальчиков — ведь невозможно изучать французский язык в одиночку. Необходимы пансионеры для подростков. Молодые англичане и французы, сыновья торговцев, имеющих дела с Франкфуртом, которые пожелают изучить немецкий язык, тоже, наверное, поступят к Пфейлю в пансион.

Отец сердится:

— Опять не нарвали шелковицы! Все черви передохнут!

Отец увлекается шелководством и развел шелковичных червей, ждет больших прибылей от этого дела. Уход за червями возложен на детей. Мерзкие черви не выносят ни малейшей сырости и дохнут тысячами. По всему дому стоит вонь.

В промежутках между уроками мальчишки дразнят Гете-сына, который хочет играть главную роль в только что придуманной игре.

Мальчишки. Ворона в павлиньих перьях! Загордился, потому что дед судья. Забыл, что второй дед — трактирщик и дамский портной.

Гете. В нашем городе все граждане равны. Мой дед был честным бюргером. Почет воздается каждому по заслугам. Я горжусь своим дедом.

Мальчик <и>. Ищи своего деда по белому свету! Твой отец незаконный сын одного важного дворянина, а бюргер его только усыновил.

Это явная ложь. Но мальчик огорчен. Интересно, конечно, что дед не бюргер, как у всех, а дворянин, но все-таки неприятно, однако нужно быть стойким и уметь скрывать огорчения.

Гете. Жизнь так прекрасна, что не стоит задумываться, кто тебе ее подарил.

Мальчишки. А стихи твои не так уж хороши, Ганс пишет лучше.

Гете. Он вовсе не сам пишет. За него Пфейль написал.

Ганс. Неправда, я сам написал.
Гете. Плохие стихи.
Ганс. Лучше твоих.
Гете. Неужели лучше?

Эпизод третий

Не браните кукольный театр, вспомните, сколько он вам доставил радости. Гете на всю жизнь запомнил прыжки и жесты всех этих мавров и мавританок, пастухов и пастушек, карликов и карлиц и тяжелую поступь доктора Фауста — который продал душу Дьяволу.

Как-то вечером он прочитал матери наизусть один из своих любимых монологов из кукольной комедии «Давид», и она, чтобы прихвастнуть неожиданным талантом сына, рассказала об этом владельцу кукольной труппы.

— С тех пор я стал постоянным помощником кукловода, и он посвятил <меня> во все тайны своего искусства.

Я сам дергал кукол за ниточки и однажды во время спектакля, дававшегося для приглашенных соседских детей, нечаянно уронил своего великана, но тотчас высунулся и под громкий хохот зрителей, разрушив всю иллюзию, поставил его на ноги.

Но вскоре мне надоели затверженные пьесы. Я решил обновить репертуар и сам упражнял свою фантазию, сочиняя всякие драматические отрывки, вырезывая из картона и раскрашивая новые декорации.

Однажды я соблазнил товарищей поставить настоящий спектакль. На костюм героя, сурового и великодушного рыцаря, взял серую бумагу. Для врагов его — золотую и серебряную. Но в суете приготовлений я совершенно упустил, что каждый актер должен знать, когда и что говорить. Уже собрались зрители и ждали представления, а мои актеры в растерянности спрашивали друг у друга, что же им, собственно, делать. Переодетый и чувствующий себя Танкредом, я вышел на сцену и прочел несколько напыщенных стихов.

Никто из актеров не вышел. Никто мне не ответил. Зрители хохотали.

Тогда, позабыв о рыцарских страстях и поединках, я

перешел к библейской сказке про <тще>душного царя Давида и силача Голиафа, который вызвал его на бой.

Дети обрадовались знакомой пьесе и выбежали играть со мной.

Спектакль был спасен.

Эпизод четвертый

Отчего толпится народ на площади? Отблески костра в окнах соседних домов.

...За оскорбление религии и добрых нравов суд постановил предать сожжению все издание легкомысленного французского романа.

Грудю горящей бумаги ворошат железными вилами. Вдруг подул ветер, и сотни горящих листов — бумажные бабочки с красными хрустящими крыльями — взлетели на воздух.

Толпа кинулась их ловить.

А Гете воспользовался переполохом и стащил с костра еще не тронутый огнем экземпляр запрещенной книги.

На всякую птицу есть своя приманка.

Большая темная комната в чьем-то неизвестном доме. Бюргерский сын Вольфганг Гете в компании веселых и общительных молодых людей. У окна за прялкой тоненькая девушка с большими глазами и маленьким ртом — Гретхен, Маргарита.

<Голос.> Маргарита, сходи в лавку, принеси еще вина.

Гете. Как можно посылать беспомощную девушку одну без провожатого в такую темную ночь?

Смех.

Первый юноша. Не беспокойся. Она привыкла. Погребок — напротив. Она сейчас вернется.

Второй юноша. Вы знаете, этот богач Леерман — с чего он начал? — торговал спичками, а сейчас один из первых людей во Франкфурте.

Первый юноша. Ловкий человек никогда не пропадет.

Второй юноша. Ты что сегодня делал?

Первый юноша. Бегал по поручениям суконщика — он так разленился, что готов делить прибыль с маклером.

Второй юноша. Гете, мы достали для тебя новый заказ на свадебные стихи. Те, что ты писал — похоронные, помнишь, уже пропиты. Займись-ка стихами, мы через часок вернемся.

Большая грифельная доска на столе. Гете записывает мелком стихотворные строчки, стирает их губкой, снова пишет.

Маргарита. Зачем вам это нужно? Бросьте это дело. Уходите отсюда, пока вы не нажили себе неприятностей. Послушайтесь меня, уходите.

Гете. Гретхен, если б человек, который вас любит, почитает, ценит...

Маргарита¹. Только не целуйте... Мы ведь друзья.

Компания молодежи, дурачившая полицию, морочившая честных граждан, изошрившаяся в озорных проделках и головоломных плутнях, обнаружена ищейками городской ратуши. Советник Шнейдер с поклонами и сладенькими улыбочками производит допрос на дому у Гете-отца.

— Где познакомились?

— На гуляньи.

— Где встречались? Кто там бывал? Назовите улицу.

Вольфганг слег в постель. Нервная горячка.

Между франкфуртской Гретхен и Гретхен из «Фауста» трудно найти что-нибудь общее.

Что с ней случилось, с этой первой Гретхен?

Гете никогда об этом не узнал.

Скорей бы вырваться из Франкфурта, скорей бы уехать!

Отец покупает сукно кусками — это обходится дешевле. В доме всегда запас добротных тканей. Порт-

¹ В машинописи: Гретхен.

ных отец не жаловал — лишний расход. В доме есть слуга, он плохо кроит, но хорошо шьет. Целыми днями он строчит сюртучки и камзолчики для Гете-сына.

<.....>

...лезное — но помни, не трать на мимолетные радости.

Краткая пауза.

Кем стал бы Гете, если бы послушался отца?

Фон Рейнеке обижен на своего зятя и уже много лет преследует его судебным процессом. Но так как суд никак не мог решить дела в его пользу, старик подал жалобу на самих судей и ведет теперь уже две тяжбы. Он всегда озабочен, никогда не улыбается и на лысой голове носит белый колпак, подвязанный тесемками.

Когда проходишь по широким чистым улицам, застроенным великолепными домами, то никогда не догадываешься, какая страшная жизнь скрывается за этими стенами, еще более мрачная по контрасту со светлой окраской фасада.

Фон Рейнеке был страстным любителем гвоздики.

Фон Маляпорт развел в своем саду великолепную коллекцию этих цветов.

Однажды во время цветения гвоздики удалось свети обоим любителям-садоводам. Рейнеке пожаловал к Маляпорту. Старики обменялись лаконическим, вернее, пантомимным приветствием и шагом дипломатов начали обход грядок.

Молодежь подметила в беседке накрытый стол, вазы с фруктами и графины с искрящимся мозельвейном.

К несчастью, Рейнеке увидел прелестную гвоздику с опущенной головкой и тронул ее рукой.

Маляпорт. Вы, кажется, забыли золотое правило любителя-садовода — цветок для зрения и обоняния, но не для осязания.

Рейнеке. Позвольте, ваше замечание... Истинный любитель имеет право осторожно дотронуться до цветка.

Маляпорт. С моей точки зрения — только взглядом, только взглядом.

Рейнеке. А по-моему... Прелестный цветок...

И Рейнеке снова коснулся гвоздики.
Мозельвейн унесли обратно в погреб.
Пусть старики трясутся над гвоздикой.

Краткая пауза.

Рожок почтальона.

Мы сидим в мчащейся почтовой карете. Горе тому, кто закажет <...> на станции, оставшейся позади.

Шуберт. «Мельник».

Рожок почтальона.

Эпизод пятый

Я здесь живу, ну как? Ну как сказать? — я сам не знаю, как!

Ну вот так приблизительно:

Живу как птица — гость прекрасных рощ
Свободой леса дышит в лад ветвям.
Качаясь вверх и вниз, туда-сюда,
И с певчей радостью на крылышках упругих —
Порхаю в чашах, исчезаю в кущах...

Довольно, представьте себе ликующего птенца на самой зеленой ветке: это я.

А теперь перейдем к программе университетских лекций.

«Прагматическая история протестантской церкви как введение в теологические и телеологические предпосылки для чтения и изучения Библии в морально-философском аспекте». Профессор «от четырех до пяти», по средам и пятницам. Фамилия — безразлична.

Курс красноречия:

Он Цицерона на перине
Читает, отходя ко сну:
Так птицы на своей латыни
Молились Богу в старину.

Право. Имущественные отношения римских квири-тов и размышления по поводу пандектов, — под углом определения понятий обладания, владения, овладевания, завладевания и... обалдения.

Пауза.

Сапожник забивает гвозди в подошву.

Сапожник. Жена!

Жена. Чего тебе, Фриц?

Сапожник. Что ты скажешь о студентах?

Жена. О студентах ничего не скажу. Но насчет твоей дурачности...

Сапожник. Жена, не возражай мужу...

Жена. Ты сам спрашиваешь. Зачем выдал башмаки этому белобрысому шалопаю?

Сапожник. Что же я мог сделать? Без башмаков нельзя ходить на лекции.

Жена. А тебе не все равно, ходит он или не ходит?

Сапожник. Ведь если он не кончит университета, он никогда не будет доктором и не вернет за башмаки.

Жена. Лучше готовые башмаки в мастерской, чем еще один должник в университете.

Сапожник. Жена, ты рассуждаешь как женщина.

Стук в дверь.

Жена. Вот еще заказчик: в долг сапоги заказывать.

Вошел Гете в темно-зеленом дорожном плаще, запыленный, усталый.

Гете. Я к вам с приветом от вашего племянника — студента богословских наук Гауфа. Он просит меня приютить на несколько дней.

Сапожник. Очень рад. Пожалуйста. Ну как Гауф? Он победил уныние или уныние победило его?

По воцеленным полам в торжественной тишине картинной галереи бродил юноша с покатым лбом, туго стянутыми к затылку и заплетенными в косичку волосами, острым, как будто ищущим носом и коричневы-

ми, жадно вопрошающими глазами. По пятам его семенил музейный проводник, присяжный объяснитель картин.

Молодой человек, соблюдая вежливость, всемерно старался отделаться от проводника, который видел в нем свою законную добычу и сыпал, как горохом, названиями живописных школ, именами художников; юношу явно раздражали хвалебные возгласы: божественно, очаровательно, неизъяснимо, непередаваемо, воздушно, бесподобно!

Избавившись наконец от спутника, он твердым шагом прошел через комнаты итальянской живописи, где на фоне ярко-синего неба среди остроконечных скал и тонкоствольных деревьев изображались пастухи с ягнятами, женщины с удлинненными <лицами>, держащими цветок в вытянутой руке или же склоненные <к> колыбели пухлого мальчика.

Все это прекрасно, но не сейчас, после! Скорей к голландцам, к бессмертным северным мастерам: яблоки, рыбы, бочонки, крестьяне, пляшущие под дубом и кажущиеся под огромным деревом взрослыми карликами с развевающимися полами кафтанов. Женщины в тяжелых бархатных платьях и большеголовые дети, цепляющиеся за их подол. Лудильщики и бочары, косматые, всецело поглощенные работой, и, наконец, семья сапожника: спальня, жилая комната, она же и мастерская — коричневый полумрак, кусок хлеба с воткнутым ножом на столе, молоток, ударяющий по башмаку, надетому на колодку, деревянная ладья колыбели — с парусом полога, раскрытый шкаф с мерцающей посудой и причудливо вырезанные куски кожи, разбросанные на полу.

Да ведь это мастерская шутника-сапожника Фрица! Искусство и жизнь встретились.

Перед отъездом сапожник подарил Гете пару прочных, но некрасивых сапог.

Эпизод шестой

Писатель Готшед женился. Ей девятнадцать лет, ему шестьдесят пять.

Готшед жил очень прилично — в первом этаже гос-

тиницы «Золотой медведь». Квартиру ему предоставил благодарный издатель.

Гостей провели в большую комнату. Вышел сам Готшед — толстый, огромный, в зеленом шелковом халате, подбитом красной тафтой. На лысой голове — ни одного волоска. Вслед за ним выбежал слуга с громадным париком в руках, локоны которого спускались до самых локтей. Он боязливо вручил своему господину этот пышный головной убор. Готшед спокойно отвесил слуге полновесную пощечину, затем надел парик на голову, опустился в кресло и заговорил с молодыми студентами о высоких материях.

Пауза.

Бериш — оригинал и острослов — длинноносый, с резкими чертами лица, с шляпой под мышкой и с шпагой на боку, балагур-бездельник, похожий на старого француза, чей костюм, всегда серый, но в сложнейшей гамме серых оттенков, вызывал общие насмешки, — тридцатилетний Бериш — гувернер, выгнанный из графского дома за дружбу со студентом Гете и за пристрастие к литературным трактатам, — был мастером словесной карикатуры.

Бериш. Свежие пирожные нашего доброго булочника Генделя — заметьте, что его вывеска ласкает слух, напоминая о широкой, спокойной и прекрасной музыке одноименного композитора, — я предпочитаю черствым изделиям почтеннейшего профессора Готшеда, выпеченным из тухлой исторической муки и приправленным иностранными словами.

Старика Клопштока называют божественным поэтом. Согласен. Он хорош уже тем, что не проглотил целиком древнегреческой колонны. Но поэма его — знаменитая «Мессиада», пересказывающая Евангелие, так длинна, что понадобилось бы нанять носильщика, чтобы таскать ее с собой на прогулку. Речи святых персонажей усыпляют, как воскресные проповеди, но вдруг автор оживляется и обретает силу, огонь, краску, звучность. Бедняга Клопшток! Он уже угадывает язык страстей, язык живой природы, — но слушать органныю музыку и выжимать из себя слезы сорок восемь часов подряд! — Нет, спасибо.

Пауза.

Он сидит за маленьким рабочим столиком у высокого окна без занавески. Резной стул с очень высокой спинкой немного откачнулся назад. Комната учащегося и молодого художника. Стоит мольберт с начатой живописью. Мятущееся дерево в голландском вкусе. Рядом — пузатая фляга с каким-то питьем и стакан, накрытый блюдцем. Гете — в короткой рабочей куртке. Лицо — напряженное, злое. Он не причесан, косичка болтается. У него тяжелый подбородок упрямого школьника. Почерк его исполнен самого дикого движения и в то же время гармонии. Буквы похожи на рыболовные крючки и наклоняются по диагонали. Как будто целая стая ласточек плавно и мощно несется наискось листа.

В городе только что отстроили новый театр. Студенты гурьбой навещали декоратора на чердаке. Там, на полу, был распластан свеженамалеванный занавес. Музы уже не витали в небесах, но стояли на земле. К портику шел человек. Всех радовало, что он не в греческом хитоне, а в обыкновенном платье. Это Шекспир. Мысль художника ясна: он один пробил себе дорогу к Пантеону искусств. Шекспиром зачитываются. Шекспиром захлебываются. В нем ценят дерзость ума, глубину душевного чувства, чудесные переходы от ярости к нежности, размах в изображении человеческих характеров и — больше всего — горечь и стыд за современность, которую узнаешь в Шекспире под любыми масками.

С высоких колосников студенты смотрели на сцену, и она казалась им слишком маленькой для шекспировского действия.

Всем хотелось, чтобы «Гец фон Берлихинген» — юношеская трагедия Гете — была достойна Шекспира.

Эпизод седьмой

Вдаль убегают туманные цепи Вогезских гор, простирающиеся на юг. Внизу долина реки Саар. Позади остались башни Страсбургского собора. На больших речных дорогах, торговых узлах, в ярмарочных центрах высились стреловидные громады готических соборов.

Издали они были похожи на каменные леса, увенчанные башнями, вблизи они удивляли глаз обилием растительных завитков, фантастической скульптурой, в которой повторялись морды животных, листья и цветы. Из главной точки каждого свода расходились мощные ребра.

Старик проводник обут в одну туфлю и в один башмак. Он поминутно поправляет сползающие чулки. Его сын рабочий-литейщик.

Что за речонка? Когда попадаешь в новую местность, проследи, по какому направлению текут реки и даже ручейки, — через это познаешь рельеф, геологическое строение местности.

Какие здесь цены на хлеб? Неисчерпаемые природные богатства — уголь, железо, квасцы, сера, а страна — под угрозой голода. Лавочник в <П> фальцбург отказался вчера продать нам хлеб.

Отчего этот запах серы и гари и дым из трещин земли?

Подземный пожар, охвативший отработанные штольни. Он длится уже десять лет.

Двухэтажный домик с белыми занавесками на окнах. Здесь, на горе, в рудничном районе живет «угольный философ» химик Штауф. Гете, путешествуя по Сарару, пришел поговорить с ним о хозяйстве страны и об использовании природных богатств.

Зато меня порадовала выработка проволоки. Это зрелище способно привести в восторг любого человека: тяжелый ручной труд заменен машиной. Она работает как разумное существо.

И Моцарт на воде, и Шуберт в птичьей гамме,
И Гете, свищущий на выющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.

<Эпизод восьмой>

<.....>

И еще один человек с таким мягким выражением лица, с таким пухлым ртом, с такими плавными дугами бровей, как будто он сочинитель музыки, с отпечатком

болезненности и силы в каждой черте своей: собиратель народных песен — поэт и мыслитель Гердер. Гете от него узнал: поэзия никогда не является частным личным делом. Поэзия — серьезная работа. Гердер слабо улыбается и говорит: «Мысль и слово, чувство и выражение неотделимы друг от друга при расторжении, как два близнеца».

Чтобы понять, как разворачивалась жизнь и деятельность Гете, нужно также помнить, что его дружба с женщинами, при всей глубине и страстности чувства, была твердыми мостами, по которым он переходил из одного периода жизни в другой.

Фридерика Брион в крестьянском платье с короткими рукавами, с длинными косами. Она поворачивает голову, прикрытую косынкой, как ягненок на звук колокольчика. Пасторская дочка. Шумная деревенская семья.

Лотта, чужая невеста, всегда хлопочущая и со всеми приветливая, та самая старшая сестра из повести «Вертер», за подол которой цепляются младшие братья и сестры: ограниченное и довольное среднее бюргерство.

Лили Шёнeman, или просто Лили, — смеющийся и задорный профиль, но отчеканьте его на монете, и те же тонкие губы, та же греческая прическа будут выглядеть властно: дочь банкира, играющая на клавесине, твердая в своих причудах.

И вот хочется спросить: почему же Гете, общительный, любимый, любящий, глубже всех поэтов своего времени выразил тему одиночества?

Кто хочет миру чуждым быть,
Тот скоро будет чужд!
Ах, людям есть кого любить,
Что им до наших нужд?

Так что вам до меня?
Что вам беда моя?
Она лишь про меня.
С ней не расстанусь я.

Ответ на этот вопрос мы найдем в «Вертере» — этой книге отчаяния молодого Гете. Книга эта посеяла сразу самоубийств в обеспеченной бюргерской среде.

Чувствительная молодежь поняла ее как руководство к самоубийству. Хотя автор писал с обратной установкой — как выздоравливающий рассказывает о своей болезни. Голубой фрак, в который одевался Вертер, послужил символом победоносного ухода от действительности: на самом же деле, несмотря на гибель нескольких десятков злополучных подражателей Вертера, этот литературный образ, образ чувствительного молодого буржуа, стоящего выше своей среды, послужил лишь к укреплению жизненности своего класса, и недаром Наполеон брал его с собой в поход и перечитывал его семь раз.

Эпизод девятый

Тра-та-та-та! Тра-та-та-та!
Труби, почтальон на высоких козлах!
Пламенейте, вершины красных кленов!
Прощай, неуклюжая, но все-таки милая Германия.
Шоссе не совсем гладкое, но это не беда.
Хочется со всеми говорить, как с добрыми

знакомыми.

Хочется каждому нищему сказать что-нибудь
ободряющее.
Хриплая бродячая шарманка лучше концертной
музыки.

Мычание упитанных тирольских стад кажется полным смысла и жизни, как будто сама земля обрела голос и рассказывает о том, как ее хорошо напоили осенние ливни.

Гендель. «Времена года».

Карета замедляет бег. Две фигуры стоят посреди дороги. Девочка лет одиннадцати отчаянно машет краешком красного плаща. Рядом с ней стоит чернобородый мужчина. За плечами у него большой треугольный футляр.

Маленькая дикарка с арфой — Миньона. Южанка, потерявшая свою родину. Воплощение тоски по цветущему югу, но не итальянка. Старик из-под нахмуренных бровей глядел и гордо и униженно.

— Девочка устала. Господин путешественник, не откажите ее подвезти.

Гете в мчащейся карете шутит с пугливым зверьком, самолюбивой маленькой арфисткой. Он ее дразнит, экзаменует. Она не умеет отличить клена от вяза. Но и девочка не остается в долгу. Между прочим, она объясняет, что арфа — прекрасный барометр. Когда дискантная струна настраивается выше, это всегда к хорошей погоде.

За Бреннером в начале альпийского перевала он увидел первую лиственницу, за Шенбургом первый сибирский кедр. Верно, и здесь маленькая арфистка стала бы расспрашивать.

< >

Дома в Германии он избегал углубляться в античность, в древний классический мир, потому что понять для него значило увидеть, проверить осязанием. Первая встреча с памятником классической древности: живой древности, не менее живой, чем природа.

Веронский амфитеатр: один из цирков, построенных римским императором для массовых зрелищ.

— Я обошел цирк по ярусу верхних скамеек, и он произвел на меня странное впечатление: на амфитеатр надо смотреть не тогда, когда он пуст, а когда он наполнен людьми. Увидев себя собранным, народ должен изумиться самому себе — многоглазый, многошумный, волнующийся — он вдруг видит себя соединенным в одно благородное целое, слитым в одну массу, как бы в одно тело. Каждая голова зрителя служит мериллом для громадности целого здания.

Ветер, веющий с могил древних, пронсясь над холмами, <по>крытыми розами, проникается их благоуханием. Памятники выразительны, трогательны и всегда воспроизводят жизнь. Так э<тот> муж, который из ниши, как из окна, глядит на свою жену. <А> там стоят отец и мать, а между ними сын, и смотрят друг на друга с невыразимой естественностью.

А через несколько недель в маленьком венецианском театре шла довольно нелепая пьеса: актеры, по ходу действия, чуть ли не все закололись кинжалами. Неистовая венецианская публ<ика>, вызывая актеров, вопила: «Bravo, i morti!» — bravo, мертвецы!

Чему так непрерывно, так щедро, так искрометно радовался Гете в Италии?

Популярности и заразительности искусства, близости художников к толпе, живости ее откликов, ее одаренности, восприимчивости. Больше всего ему претила отгороженность искусства от жизни.

Прислушайтесь к шагам иностранца по нагретому камню уже опустевшей набережной Большого Венецианского канала. Он не похож на человека, который вышел на свидание: слишком велик размах его прогулки, слишком круто и решительно он поворачивает, отмерив двести или триста шагов.

В упругом воздухе ночи — попеременно — сзади и спереди звучат мужские голоса. Они передают друг другу мелодию, они продолжают и никак не могут закончить какой-то трепещущий рассказ в стихах.

Каждый раз, наталкиваясь на свежую волну напева, Гете сворачивает обратно к другому, только что умолкшему певцу и, провожаемый мелодией, удаляется от нее — навстречу новой ожидаемой волне ее продолжения.

Перекликающиеся лодочники поют стихи старинного поэта Торквато Тассо. Тассо знает вся Италия. Безумный Тасс, семь лет просидевший на цепи в темнице герцога в Ферраре, тот самый Тасс, которого хотели увенчать лаврами в римском Капитолии. Но не успели — он умер, не дожив. Певец средиземных просторов — он рассказывал, как рубили дерево в заколдованных рощах и строили башню на колесах для осады мусульманских городов.

Великодушный поэт смешал в одну кучу турок, арабов и европейских крестоносцев; волшебников и чертей он поставил чуть ли не выше христианского Бога и помешался от страха, что церковь и власть объявят его еретиком.

К Гете подошел старый лодочник:

— Удивительно, как трогает душу это пение, особенно когда поют умеючи и по-настоящему.

Четырнадцатого октября 1786 года Гете выехал из Венеции в Рим.

Восемнадцатого июня 1788 года он вернулся в Веймар.

О. МАНДЕЛЬШТАМ

**< НАБРОСКИ К ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ КНИГЕ
О ДЕРЕВНЕ >**

<1>

Я предлагаю дать документальную книгу о деревне (село Никольское Воробьевского района). Выбор мой остановился на этом селе по следующим соображениям:

Никольское (в прошлом государственные крестьяне) трудными путями шло к коллективизации. Отдаленное от железной дороги и от районного центра, оно жило трепещущей и напряженной жизнью, где ясно различались два процесса — один, увлекавший население в прошлое (село переболело настоящим психозом — здесь имело место, например, летунство и др.), и другой — к новым формам жизни и к социалистическому землепользованию. Население — нервное и талантливое, все время выдвигало значительных и интересных людей, боровшихся за коллективизацию. Переломным моментом, окончательно решившим судьбу села, явился — с запозданием против других районов — именно 35 год. Впервые до сознания масс в несокрушимой ясности дошли преимущества коллективного хозяйства, впервые все вышли в поле и все стали на работу, осознав ее как свое личное дело. Этот момент становления — исторический переломный момент — с необычайной яркостью представленный в Никольском — должен быть зафиксирован на живых примерах — без прикрас, с колкой правдивостью, с показом прошлого: с историографической, скажем, установкой: из чего росло, с чем боролось, куда растет. Талантливость борю-

щихся сторон — делает эту яростную схватку старого и нового в Никольском — особенно выпуклой и значительной.

В селе Никольском 5 слобод — и 6—7 колхозов. Наиболее индивидуально очерчены два — колхоз имени Молотова и «Пламя революции», — оба борются за районное первенство.

В основу книги должны лечь рассказы колхозников о созидательной работе в колхозах, причем цель этих записей — не только показ хозяйственного роста, но и роста каждого участника этого процесса.

[К примеру: председатель «Пламя революции» Дорохов — бывший партизан — биография в форме рассказов об отдельных событиях гражданской войны. Дорохов — о колхозе (запись).]

Форма работы — обработанные записи, с сохранением и упором на особенности речи современной деревни — так как язык деревни — не константа — он изменяется, обогащается, меняет свой характер в зависимости от глубинных процессов, и даже в любой момент есть резкое различие в языке пассивного и активного колхозника, в языке единоличника и в языке сельского партийца. Фиксация языковых сдвигов представляет собой не только узко научный отвлеченный интерес, но и социальный. Мы привыкли называть фольклором — установившееся и отстоявшееся и до сих пор почти не фиксировали тех подвижных форм изустного рассказа о современности...

<2>

Цель книги — дать читателю ощущение близкого непосредственного знакомства с людьми и делами [отдельного колхозного массива] колхозов села Никольского Воробьевского района. Это село, образующее целую систему слободок, еще недавно было гнездом старого быта. [Классовая борьба принимала здесь напряженнейшие формы. Торгаши и кулаки <?>], было известно низким уровнем земледельческой техники, бескультурьем [и массовыми побоищами в церковные праздники], засильем торгашей, организацией кулацкой деятельности <?> и т. д.

В настоящее время колхозное строительство в этих

местах носит бурный творческий характер. Конкретный, с полной наглядностью, показ перелома должен явиться содержанием книги.

В числе колхозных строителей здесь имеются люди, с оружием в руках гнавшие белогвардейцев, строившие <2 нрзб.> <в> этих самых местах советскую власть, прошедшие на месте весь реконструктивный период. Это подлинные организаторы — как, например, предколхоза «Пламя революции» товарищ Дорохов, вместе с горсточкой батраков основавший в Никольском первую сельскохозяйственную артель.

Передовые колхозники Никольского — сами ощущают пережитое десятилетие как историю и сохранили в своей памяти все драматические эпизоды классовых боев на теперешней колхозной земле. Среди них имеются яркие и талантливые рассказчики.

<3>

I. Синтаксис.

1) Расположение обиходных речевых конструкций в порядке возрастания синтаксической сложности.

2) Вытеснение пассивно-эмоциональной связи между элементами речи связью логической.

3) Обогащение живой речи ассоциативными ходами и влияние этого процесса на речевую структуру.

II. Энергетика речи.

1) Речевые темпы, ритм, модуляции голоса. Напевность, протяжность, повторы, характеризующие «говор», и ликвидация их в речи колхозника.

2) Переход от «говора» — пассивной организации речи к речи активной.

III. Обороты.

IV. Лексика: совпадение словаря с инвентарным кругом, степень насыщенности речи отвлеченными понятиями, пережиточно-обрядовые слова, газетная лексика, географическая номенклатура, медицинская номенклатура, эмоциональный словарь, лирические элементы речи, ругань, имена, специфика словаря в разговорах взрослых с детьми, детский словарь, коммерческий словарь, торговая номенклатура, словарь трудового земледельческого цикла [(лексика машинной и немашинной обработки земли, механической...)].

Зрение, слух, осязание и вкус и их словарные выра-
зители в обиходной речи в связи с культурным и мате-
риально-бытовым уровнем района.

1) Деловая речь.

2) Речь, сопутствующая процессам труда (эмоци-
ональный регулятор).

3) Речь, аморфная по отношению к труду (межтру-
довая):

а) Слово как бытовой жест;

б) Сообщительно связная речь.

Процесс, происходящий в деревенской речи, — от-
мирание орнаментики, бытовой статики и обогащение
динамической и сообщающей речи.

<Запись на полях:> А куда амплификацию?

<4>

24/VII

Выехали в 6 утра. Грузовик. Везет столы и стулья
и подстилки (холсты) для зерна. Богатство земли. Шап-
ки соломенного меха на хатах. Разнообразие красок:
музыка желтого, зеленого. Такое сочетание: волейболь-
ная сетка, ток, гигантские шаги, маленькая трибуна.
Дети — городок — стрижка — комната девочек и маль-
чиков. Содержание стенгазеты. История с больным и с
пайком. По дороге — малярные дети. Почему врач
гастролер? Очень дорого. Всего три месяца. Секретарь
парткома соглашается, что театр без продолжающей
культработы — культурстрата.

Четвертое отделение. Дзюба — начальник отделения.
Спокойствие управляющего — очень бывалого. Общая
тенденция не огорчать начальника (политотдела) и
держаться бодро. Успокаивать и заверять во что бы то
ни стало. Не рассказывать ничего неприятного, кроме...

<5>

28/VII

Я заметил, что уборочная кампания в зерносовхозе
подготавливалась как будто гигантский прыжок с пара-
шютом: раскроется или не раскроется.

Представьте себе этот парашют, на котором повис-
ли десятки комбайнов, тысячи га земли и тысячи лю-
дей.

Все время, когда я сопоставляю хозяйство зерносовхоза с колхозными полями, мне приходит в голову еще другое сравнение: не только площадь, но и глубина механизированного зернового хозяйства, глубина эта еще не освоена людьми. (Нельзя же допустить, чтобы ремонтная мастерская оказалась более стихийной, чем производящая земля, чем погода.)

День начальника политотдела и директора совхоза разворачивается в богатейшую кинофильму: обозрение зернового океана, машин и людей. Две машины мчатся друг за другом по бархату грейдерных дорог. С комбайнов снято шесть магнето. Сам директор везет их на починку. Он бы и целый участок свез бы для <1 нрзб.> на центральную усадьбу [— на просмотр и опробование], если б это оказалось возможно.

Выражение его лица давало весь переход от удивительной доброты и ласки к угрозе — через насмешку, через стрелковый прищур: от зоркости это лицо с удивительной быстротой несло к подозрительности.

Серые глаза сельсоветки, красноармейца, летчика то мрачнели, то смеялись, подбородок тяжелел, осаживался. Лагерная худоба щек держалась на самой границе между здоровьем и не думающей о себе усталостью.

<6>

Желто-зеленые горы собранного хлеба. Иногда они похожи формой своей на глыбу из-под Медного Всадника, иногда <?> на северный финский валун.

Соломенные бури на току. Кто сказал, что машинная обр<аботка> земли бездушна? Тот, кому выгодно было лгать.

Ток. Место молотбы: поле в действии. Здесь — театр зерна. Без зрителей, без лишней публики: одни участники — да еще синяя харьковская молотилка размерами с ярмарочную фуру, да еще веялка, попугайнопестрая, размалеванная как обклеенный лубками органчик.

На почетной подстилке — само зерно...

<7>

Мы стояли ночью на улице вор<обьевского> зерносовхоза и говорили о том, что у нас называют культурой,

т. е. о глубине деятельной социалистической жизни. Начполит дал этому ночному разговору неожиданный оборот: «Вот и мы ведем борьбу, даже объявляем кампанию: «За культурную тряпку для тракториста»: она вся промаслена, пыль на нее садится».

Звезды, культура и эта тряпка.

Мне кажется, такого умения, такой потребности обобщать детали мир еще не знал. Этой тряпкой будет стерто всякое общее место, всякая фраза: т. е. все гиблое, проваливающееся, притворяющееся, пустое.

Звездам чуточку стыдно: достаточно ли они конкретны?

<8>

Культура не есть мертвый инвентарь. Ее нельзя выписать из склада. Нельзя развезти на автомобиле, как думает рабочком совхоза <5 нрзб.>, мечтая об авт<омобиле> для эст<етики> обл<асти>.

Пропадают прекр<асные> женск<ие> голоса — потому что нет хора.

Пропадают инженерск<ие> знания — ...

<9>

Лицо сельсовета. Мужичанский сельсовет. Крыльцо высокое. Комнаты голые, пустые: присутственные, канцелярские; барьеры с колонками.

А ведь есть уютные сельсоветы — не удивляйтесь: с большим вкусом, любовно, изящно обставленные.

Например, Березовский. «Не сорить, не курить». Здесь хозяйка женщина. Удобные низкие скамейки вдоль стен. Портреты развешаны толково. Сукно пылет, как домашняя скатерть, на столе. Бумаги хранятся в черном стеклянном шкапчике, не канцелярского, но хозяйственного вида. Знамя в углу — развернуто стремительно. Дедовская чернота мебели гармонирует с красным, и зелень бьет в окна.

А в загсе — совсем роскошь — венская мебель. Это — крестьянская гостиная.

Смеются:

— Кто сюда войдет — тому наверное захочется жениться или развестись.

Там <же> уместается <?> почта <?>.

В полуприбранную комнату Дома крестьянина забежал секретарь райкома Долгушевский.

На полу стоит чугунок с кроличьим мясом.

Среди разговора ткнул в чугунок. — Там что такое? Любопытен. [Инерция организатора.] Хочет и чугунок понять.

Да разве нелюбопытный человек может быть хорошим хозяином? Где, скажите, проходит граница между тем, что нужно и чего не нужно знать?

Искусство весело работать — да ему цены нет. [Вчера я слышал к...]

<10>

[Телеграфные столбы.] Дуговые фонари в чистом поле. Гигантские шаги и ораторская трибуна; сетка волейбола и деревянные качели в виде загнутых санок. Жирные гуси, ковыляющие к пруду. Мощный фронт грузовиков на зеленой площади.

Где же все это? Быть может, на плакате?

Воробьевский район. Зерносовхоз.]

Пыль в этой полосе СССР — голубая, а дороги черные. Земля утратила свою неподвижность, бежит к далекому Азову, торопится вниз к Черноморью. Степь — бескостная и плавная — то и дело вздувается в легкий шатер или вытягивается в длинную седловину. Как жаль, что все эти неровности не имеют названия, что в большинстве они безымянны. Мы еще недостаточно любим свою землю, мало любимся ее живым рельефом. Стремительные трещины высохших балок, лагерная белизна меловых оврагов, овечий помет на бесцветных холмах и купоросная зелень заболоченных камышей...

<11>

...т. е. начало разрушения землянки с не выведенными из нее детьми, с корректностью разговора и юридическими советами тут же на месте. Отсутствие испуга у выселяемых.

[3 отделение.] Старый колхозник заявляет денежную претензию. Разыгрыванье простачка, нательный крестик. Начальник крайне внимателен. Гарантии разбора

на месте. Суть дела: сезонникам не платят 3 года, сезонники хотят получать «непрерывную зарплату», включая дождливые дни и выходные, как штатные рабочие.

Психологический отдых без комбайна на так называемой «перевалке», т. е. месте просушки зерна, не сданного на сушильную элеватора, вопреки директиве ЦК: отдыхают на простоте этого процесса.

Хороший комбайнер не может воспитываться только на комбайне, вроде как мужик на сохе. Работа требует огромного кругозора. Нужен тип рабочего земледельческой индустрии, а не починщик сложного прируса. Никаких следов какой бы то ни было культуры, кроме засушенных гирлянд в некоторых столовых, при объезде гигантской территории совхоза не обнаружено. Воробьевский театр не обслуживает даже совхозной периферии: не на чем доставлять зрителей. Вздох партсекретаря о пятерке актеров для полевых бригад.

Необходимо:

1) Выписывать из Воронежа лекторов на двухнедельные циклы по вопросам: литературе, партистории, интернациональному воспитанию, технике и т. д.

2) Наладить библиотечки, читальни, ассигновать деньги на выписку литературы. Поручить в Воронеже вполне ответственному лицу постоянное пополнение книжного фонда.

3) Войти в контакт с областным отделением В.С.С.П. с целью:

а) организации писательских выездов, б) организации читательских кружков.

4) Наладить музыкальную самодеятельность (имеется лишь несколько одиночек-баянистов). Выписать на короткое время инструктора по хоровому пению хотя бы через радиокомитет.

<12>

Опробыванье затягивалось. Директор совхоза — Бондарь объехал стоящие комбайны, снял с них семь магнето и в легковой машине привез их на починку в совхозный центр.

Бондарь тяжел, как кузнец. Брови — командирские, плечи широкие; глядит как улыбающаяся туча. [Партизан, Дантон, да редко его слышно...] Его спокойствие

могло быть чудесной базой для работы совхоза, если б к нему прибавить тревогу.

<13>

Комбайн самая сложная и в то же время наименее механистическая из всех машин, употребляемых в полевой работе. Это значит вот что: комбайн не терпит автоматического обслуживания, он требует настройщика, механика-музыканта, рабочего-инженера. Иначе он превратится в карикатуру, в полевой примус, который нельзя проткнуть иглой.

Мы объезжали отделения совхоза — эти подчиненные центры, маленькие вокзалы без железной дороги. Это был день горячего молока из кухонных шалашей, не утолявшего жажду, и туго выздоравливающих, учившихся ползать мертвых, полумертвых, медленно оживающих комбайнов.

<14>

Вот он какой, день: тоненькая корочка черноты — еще тоньше корочка сна, а внутри большой неделимый шар из голубого, хрустящего от скорости, необычно материального воздуха, шар, наполненный движущимися плоскостями посоломленного кивающего шелка и недоломленными армиями доспевающего колоса, [шар, начиненный полуукраинскими ласковыми голосами с] колючей стернью, прокосами, [омытый морями молочной] с отсверкивающим зеркальцем автомобиля перед глазами и галлюцинациями кефира, кумыса и холодной колодезной воды.

[Через год иль два эти люди перед обедом примут душ и переоденутся в чистый костюм.]

А я и не знал, что день такой большой, что в нем так много может поместиться. Например, свеженькие шершавые столы и скамейки, подпрыгивающие на грузовике. — Куда? На четвертое отделение к Дзюбе, о котором все отзываются с уважением и почему-то напирая только на толковость, только на хозяйственность, только на бывалость: дескать, опытный, неогорчительный, положительный человек управляющий, — чтобы на этих столах люди, живущие в таборе под высоким, как ку-

пол цирка, соломенным конусом и спящие на аккуратных жестких досках, [едва прикрытых цветными подстилками,] ели и пили по-людски в обеденный час.

А я и не знал, что день настолько емок, что из него можно вытряхнуть дегтярную черноту матерьяльных баз, где воздух пропитан заведыванием и учетом на бочках с протравой для тары.

Были мы и в пионерском лагерьке. На вопрос, чего бы не хватало, дети дружно выкрикнули: денег нет! Вот так штука! Приносят вишни, не на что покупать.

Через час в очередном летучем штабе начальник политотдела вместе с распоряжением о походных флягах для рабочих открывает и соответствующую ребячью асигновку. [Хотелось бы подразнить этим воплем пауперизованных детей какого-нибудь мистера Робинзона.]

[А когда же я видел сезонника, который, указывая на соседний [Сталинградской] области колхоз, простецки в<ы>говаривал все тому же начальнику политотдела: «Мы тамочка не бываем, мы тутошние... А вот за 33 год семьдесят рублей — мы сено убирали — нам задерживают...»

И вдруг вдохновился сезонник и говорит: «В совхозе не все в порядке: нам — сезонникам за выходные и дождливые дни платить не хотят».]

В совхозе работают и сезонники из окрестных колхозов. Им хотелось бы получать и за дождливые, и за выходные дни. Совхоз, соединяя свои разбросанные участки, невольно помог колхозникам в строительстве дорог, слегка выручал машинами, сам постоянно нуждается в рабочих руках и тягловой силе, но от него — глубоко дышащего, широкопланного — колхозники вправе ждать и требовать большей помощи. Одним соседством да добрым знакомством здесь не отделаться.

<15>

...ческим порывом. В значительной степени благодаря ему колхоз идет открыто на всех пшеничных и свекольных парусах, чувствует будущее, имеет, что называется, «курс».

Отягощенный мыслью о сорока семи выгнанных им хозяйств<ах> и раскаявшийся в командирских заскоках, Дорохов меньше всего хотел показаться мне гроз-

ным. Репутация страшилища, видимо, его тяготила. Живет он в полугородской обстановке. Одинаково сердится, когда воруют газеты и...

С утра в поле, дома лег отдохнуть и вышел в подтяжках, растирая полотенцем открытую грудь. Сел, наклонил плодovitую, озабоченную голову, художественно совпадающую — да простят мне это сравнение — с головой председателя пивных собраний, мудреца из бир-галья на Васильевском острове, старого шорника или каретника — одним словом, не командир, а папаша. Речь Дорохова, распаханная под научную экономику, под газетную передовицу, — была все-таки крестьянская. Он сколачивал ее годами как политический стиль, как орудие, как богатство и умело ею пользовался.

— Перелом у нас в 33 году. Смена была председателей у нас. По некоторой неприятности: меня призвали в районном...

<18>

Время от времени, расталкивая беседующих и «однокорытников», девушка опрокидывала в телегу свежее ведро — и зерно от этого делалось как будто горячее.

<19>

— Я все-таки считал, надо. Неплохо движается. Стучит-стучит (за окном движутся телеги с хлебом).

Расчет движения потоков хлеба. Непрерывность: хорошо, что не все сразу.

<20>

[Лучше бы механики носились по грейдеру на мотоциклах. Хотя бы — для легкого ремонта, на месте, для совета комбайнеру, для настройки сложного механизма. Ведь...] Эта поездка...

<21>

Здесь люди знают друг друга на корню [по работе, жара]. Каждый талант на учете.

Июль — август 1935.

О. и Н. МАНДЕЛЬШТАМЫ

ПИСЬМА ВОРОНЕЖСКОГО ПЕРИОДА

Э. Я. ХАЗИНУ, 16 июня 1934 г. [телеграмма]

Едем Казань пароходом местожительство Воронеж
состояние хорошее

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ,
<не позднее 18 апреля 1935 г.>

Родная Надинька

Вот доверенность. Скучаю. Жду. Скорей скорей скорей приезжай. Ну я работаю Мопассана очень сильно¹. Как ты, мой дружок. Когда я работаю, ты как будто здесь.

Приезжайте же скорее.

Вот радость большая!

Здоров. Целую.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, <май 1935 г.>

Родная Надинька,

Сегодня я здоров. Только слабость осталась. Я был у Стоичева и сказал ему все, что я думаю о своем по-

¹ Имеется в виду перевод повести Мопассана «Иветта» для Гослитиздата.

ложении. Он вызвался написать Марченко как председ<атель> союза и впервые проявил подлинное участие и интерес.

Посылаю справку д-ра Глаубермана (крупнейший здесь ларинголог). Он сказал: «Если у вас не пройдет через 3—4 дня — вы ляжете у меня, если ничего не имеете против, и я вас поскоблю». Только тогда я попросил справку. Никто не может сказать, когда понадобится операция. И насколько срочно. Во всяком случае, последний припадок был самый сильный.

Целую тебя, мой дружок. Приезжай скорей. Все будет хорошо.

Ося.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, <25—26 мая 1935 г.>

Надик мой родненький!

Только что говорил с тобой. 8^{1/2} вечера. Вот тебе 4 чистовика вещей, сделанных без тебя. Как это грустно. «Стрижка детей» вчера. Нынче купался. Клопы завелась. И третьего дня в ванну ходил. Вот. Все у меня окладно. Вчера по телефону зывал к Стоичеву. Все не знаю, брать ли службу. Неудобно бросать. И занят сочинением. И мало дадут. Ай радио запущено! Помогите. Дай материалы: к *Шервинскому* (молодость Гете).

Сейчас иду в кино.

Но совершенно жеребенок.

Надик, поиздевайся над Ахматовой по телефону. Так еще не ехал никто. Или: митрополит — он же и еврей, боящийся *судьбы*.

Целую тебя, родная.

Твой Ося.

<К письму приложены автографы ст-ний: «Мне кажется, мы говорить должны...», «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» (ранняя редакция), «Идут года железными полками...», «Еще мы жизнью полны в высшей мере...»; на отдельном листе записано ст-ние «Мир должно в черном теле брать...» и приписано:>

Надик! Я уже очень, очень скучаю. Так хочу, чтоб приехала — не сказать.

Ося.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, <конец мая 1935 г.>

Надинька, дитя мое

Посылаю исправленные стихи в начало цикла (2, 3, 4). «Каменноугольный — добровольный» — сохранить. Готовую рукопись (без добавочного) кончил Черноземом, сдал Плоткину. Это было естественно и нужно. Скучаю по тебе, мой друг, но живу спокойно. Еще на *несколько* дней терпенья моего хватит.

Целую тебя, мой милый хороший дружок Надик.

А под дружком написано почему-то «верный», верно?

О. М.

Хорошо ли: «железясь»?

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, <конец мая 1935 г.>

Надюшок! Прости за тревогу. Телефонистка — буйная дрянь — сказала «по инструкции», что *ошибок не бывает*. Я, дурак, поверил. Вот фефела! Ей досталось от товаров. Ночью не ложился. Черт знает что. Ты прости, Надинька.

В Подъем сдал то, что на машинке. Тут есть тенденция благожелательно снижать мою работу. Сказал: ни буквы больше не изменю. Все или ничего. Денег пока не беру. Поступать ли на службу в библиотеку?

К «подборке» прибавь «Стансы» плюс «Железо». Выясни печатание. Для Москвы условие: **все** или ничего. Широкий показ цикла. Хорошо бы в Литгазете. Все варианты окончательные. Только в начале Стансов могут быть изменения, но давай так.

Мне сейчас необходима прямая литературная связь с Москвой. Передай стихи, между прочим, Левину. Скажи ему: нельзя честно писать прозу в моем теперешнем воронежском положении. Абсурдно!

Вот что: предлагаю принять командировку от Союза или Издательства на Урал *по старому маршруту*. Напишу замечательную книгу (по старому договору). Это чудесная мысль.

Детка моя, будь совершенно спокойна. Я живу хорошо. **Правду о твоём здорoвьи.**

Целую тебя, родная моя.

Ося

Подумай о структуре цикла. Скажи по телефону.

С. Б. РУДАКОВУ, <7 июня 1935 г.>

Я в клинике рядом с Первомайским садом или в Поликлинике ул. Энгельса (по Комиссаржевской и направо).

У горловиков. Зайдите туда. Надо срочно показать снимки.

Э. В. МАНДЕЛЬШТАМУ, <середина июля 1935 г.>

Дорогой папочка

Скучаю по тебе. Хочу как можно скорей тебя видеть. Ты не смотри, что я не пишу: думаю о тебе каждый день. Хочешь верь — хочешь нет... Да что толку от такого беспутного сына? Лучше не думай об отце да пиши ему...

Приезжай в середине января. Надя тогда в Москву собирается. Комната у меня большая, хорошая. Вообще тебе понравится мой воронежский образ жизни.

Все очень ладно — и быт, и содержание жизни.

Я занимаюсь литературной консультацией. Веду работу с здешней молодежью. Участвую в разных совещаниях, вижу много людей и стараюсь им помочь.

На днях вместе с группой делегатов и редактором областной газеты я ездил за 12 часов в совхоз на открытие деревенского театра.

Предстоит еще поездка в большой колхоз и знакомство с одним из воронежских заводов.

Никаких лишений нет и в помине. Мы ходим обедать в отличную столовую газеты Коммуна. Надя делает перевод для Москвы, а я готовлюсь писать прозу на новом материале.

Впервые за много лет я не чувствую себя отщепенцем, *живу социально*, и мне по-настоящему хорошо.

Надя сейчас не хворает, но очень худа. Ей нужен глубокий отдых, а она много работает. Необходимо ее разгрузить — у меня же заработок, пока, всего 300 р.

Временем располагаю свободно. Пользуюсь им пока *нерационально*. Еще не организовался. Хочу массу вещей видеть и теоретически работать, учиться... Совсем как и ты... Мы с тобой молодые. Нам бы в Вуз поступить...

Пиши. Целую детей, Таню, Наташу, Мар<ию> Ник-<олаевну>.

Твой Ося.

Скоро начну посылать тебе деньги. Как только расширю работу.

<Приписка Н. Я. Мандельштам:>

Милый деда! Приезжайте к Осе в январе. Мы с вами увидимся, когда вы будете проезжать через Москву. Я буду радоваться, что вы с Осей. Целую вас, милый деда. Ждем вас.

Надя.

По дороге поживите в Москве — повидаетесь со мной и младшими сыновьями. Что у вас?

Как Таня, Юрка?

Привет всем.

Поцелуйте от меня Марью Николаевну. И детей. И Таню с Наташей.

С. Б. Рудакову, <конец ноября 1935 г.>

Дорогой Сергей Борисович,

как-то вы расскажете о своем больничном житии? Вы там с ребятами? Да? А я в театр хожу на репетиции. Горького ставим. Дома книжки читаем да чай кипятим. Ой, скучно. Передайте — чем бы вас утешить.

Привет сердечный
Ваш О. М.

С. Б. РУДАКОВУ, <около 1 декабря 1935 г.>

Дорогой Сергей Борисович.

Без вас ничего делать не хочется, вся жизнь переменялась.

Пришел к нам Троша.

Привет от всех нас.

Вы самый большой молодец на свете.

О. Мандельштам.

<Прписка Н. Я. Мандельштам:>

Милый Сергей Борисович!

Все идет хорошо, а потому я думаю написать, а дня через 2—3 позвонить Лине Самойловне. Вы ей тоже дня через два сможете написать. Передайте через врачей, как вы себя чувствуете, чего вам можно прислать из еды (икру? вино? масло? печенье?), чего вам хочется.

Сестрам тоже напишу дня через два. Будьте молодцом иправляйтесь. Н. Манд<ельштам>.

С. Б. РУДАКОВУ, <не позднее 4 декабря 1935 г.>

Дорогой Сергей Борисович.

Разговор с Линой Самойловной вчера не состоялся из-за порчи линии. Перенесли на сегодня. Вчера предупреждение *не было* дано. Сегодня добьемся обязательно хоть срочным — лишь бы линия работала. Колли принес замечательные фотографии. Вы здорово вышли в двух видах.

Скучаю! Сердечно приветствую

Ваш О. М.

Что нужно? Чего хочется?

Сообщайте желания!

<Прписка Н. Я. Мандельштам:>

Сегодня попробуем дозвониться, если исправят линию. Письма — подробные — успокоительные — я написала и Лине Самойловне и Алле Борисовне. Завтра опять напишу, чтобы они не волновались. Колли принес фотографии — чудные. Что вам прислать из еды? Скажите Стефе и Богомолу. Я с ними по утрам разговариваю. Есть ли еще одеколон или вышел?

Н. М.

С. Б. РУДАКОВУ, 9 декабря 1935 г.

Милый Сергей Борисович!

Нынче Ося собирался написать вам большое письмо, и я не хочу перебивать его сообщением вразброд

всех наших планов, дел и пр. Впрочем, ничего нового у нас нет, кроме того, что скучаем по вам.

Ося собирается в санаторий под Липецк. Я связываю свой отъезд с ним. Что еще? Все.

Наташа уговаривает нас переехать в какую-нибудь дешевую и хорошую комнату. Боюсь, что это скоро случится.

Еще? Кажется, ничего.

Приедет ли Лина Сам. или вы поедете к ней, чего вам желаю?

Получаете ли вы от нее письма? Нам она ничего не ответила — очевидно, пишет вам.

Слушайте, Трошину сестру надо устроить «по медицине» (санитаркой). Я хочу это сделать через Стефу. Уговорите его к нам зайти. Скажите ему, что я его очень прошу к нам зайти. Еще? Как будто ничего. Ося возится в театре и из чувства долга затягивает санаторий, хотя он очень устал и ни на кого не похож. Читайте детские сказочки Сумарокова и скорей выходите.

Н. М.

С. Б. РУДАКОВУ, 10 декабря 1935 г.

Милый Сергей Борисович!

Второй день Ося не может вам написать, как хотел, большого письма. Нынче получили ваше письмо (Оси нет дома, и я решила предварительно «за Осю» хоть немножко вам написать и оправдать моего старика (хотя он, конечно, свинья). Дело в том, что в театре сейчас горячка, выпускают две постановки, и Ося помогает (прыжий, помогай!). Он сидит на репетициях, пишет брошюры и т. д. Это курьезно, но ему, видно, нравится внутри театра. Сегодня его поймал Вольф и спросил, почему он так худеет. Выглядит он действительно очень плохо, очень слаб и т. д. Но по своему стахановскому темпераменту не едет в санаторий, а продолжает прыгать. Вчера: с 11 до 3 — репетиции, с 4—6 — писание брошюры, с 6—8 — обсуждение брошюры в театре, с 8—11 — «Аристократы» (смотрел спектакль, чтобы сделать монтаж), с 11—12 — баня! Нынче репетиция, сейчас, съев манную кашу, пошел к Елозе. В свя-

зи с его канителью задерживается мой отъезд в Москву. Меня это очень нервирует. Но бросать его сейчас, когда уже чужие замечают, какой он облезлый, я не хочу. Мне ужасно неприятно, что мы вам последние дни ничего не передаем (кушательного). Я знаю, как плохо в больнице. Но мы сейчас в большом болоте: до 14 числа остались на одном театре, запутались и т. д. К 14 опять будем жизнеспособны.

Я очень обрадовалась вашему письму и поездке Л. С. Я очень в нее верю. Почти уверена. Да, нынче, вместе с вашим, получила очень милое письмо от Аллы Борисовны. Сейчас Троша за собственный счет отправит ей ответ с известием о вашем состоянии. Писали ли вы ей? Мне Б<огомол> говорил, что он отправил от вас письмо в Саратов, и я успокоилась. Но она как будто не получала. Во всяком случае, подтверждение со стороны о вашем состоянии — только хорошо.

Осяка много о вас говорит, скучает. К вашей обиде: он вас назвал (по поводу болезни) бедным мальчиком. Я сама слышала.

В смысле работы — не томитесь: Ося будет работать, а я вам из Москвы привезу массу.

Впрочем, надеюсь, что вы сами пороетесь в сундуке и сами выберете все, что вам нужно.

Троша — очень милый и хороший человек. Его отношение к вам прямо чудесное. Сейчас он спасет нас: отправит письмо вашей сестре (у меня нет на марку!).

Всего вам хорошего.

Ося вернулся, сидел просто в библиотеке «Коммуны» с материалами по театру, но сейчас — не стоит ему писать: одна чепуха будет — очень устал.

[Без подписи
— Н. Мандельштам]

С. Б. РУДАКОВУ, 17 декабря 1935 г.

Дорогой Сергей Борисович.

Что сказать о себе? Устал очень. Настроение твердое, хорошее.

Сдружился с Театром. Кое-что там делаю (не канцелярия).

Затеял ехать на месяц в санаторий (областной). Денежно театр все оборудовал, будто я старый работник. Поеду, кажется, 20-го. В нервный в Тамбове не хочу. Выбрал Липецк общий. Лишь бы отдельную комнату дали. С Союзом писателей и через Союз (начиная с Воронежа) начал большой разговор. Сказал свое слово. Они отвечают. Это очень важно и весело, хорошо. Завтра получаю 3-х-годичный паспорт. Получил письмецо от Эйхенбаума, который остановился в Москве у нас.

Надя везет в Москву все воронежские стихи.

Концерт был хороший. Виолончель — Цомык. Играл на Страдивариусе. Скажите врачам, чтобы наушники радио у вас устроили. Это для выздоравливающих полезно. А я похлопочу в Радио-К<омите>те.

Если у вас другого отдыха не предвидится — не хотите ли «ко мне», в санаторий. Это вам можно. Окрепнуть надо. Пишите Л<ине> Сам<ойловне>. Там вместе 2 недели — поработаем.

Ид<е>я?

Привет сердечный
Ваш О. М.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [26 декабря 1935 г.]

Родная Надинька! Прости за грубый отвратительный разговор по телефону. Я чего-то требовал от тебя. Петушился. Вот причина: одно мне важно — когда тебя увижу? Ты сразу говори: надеюсь приехать тогда-то. Если этого не услышу, то сам не свой становлюсь.

Надюша: никого ни о чем не проси. *Никого*. Но постарайся узнать, как отвечает Союз, т. е. Ц. К. партии, на мои стихи, на письмо. Для этого достаточно разговора с Щербаковым.

Больше ничего не надо. Я не хочу, чтобы ты сделалась искательницей работы. Не морочит ли тебя Детгиз? Куда девалось предложение Эфроса? В крайнем случае встретимся в Воронеже к 20-му январю. За Воронеж мы ведь спокойны. А жаль! Здесь вдвоем —

зимний рай, красота неописанная. Слушай, как я сюда ехал: ты на вокзал, я — в театр. Сказал дельную «режиссерскую речь». Актёры ко мне начали тяготеть. Режиссеры всерьез у меня спрашивали. 2—3 дня держался на посту. Потом расклеился. Произошел обычный старинный «столбняк» на улице. Меня подхватил заслуженный комик и доставил в театр. Вольф при мне звонит Генкину: «У нас работает такой-то; его здоровье внушает мне лично серьезные опасения... мы должны» и т. д. Это Вольф-то... Дальше я бродил тенью, но вполне благополучно. Дал консультацию в Радиоком<итете>. Получил 100 р. у Горячева, а 50 — прибавил Вольф. За полчаса до поезда ко мне приехала машина с заместителем директора и управляющим. Машину они взяли в Н. К. В. Д., и шофер был военный. Усадили в вагон. Несли чемодан. Трогательная забота. В вагоне было скверно, т. е. гадко. Без плацкарт. Проводник взял в свое купе. В Мичуринске телеграмма тебе и сразу пересадка. Тамбов в 2 часа ночи. Трескучий мороз. Сказочно спокойный, с виду губернский город. Меня везут куда-то бесконечно на дровнях (это здесь извозчики) — и привозят в палатку, напоминающее особняк Ксешинской, увеличенный в 10 раз и охраняемый стариком с ружьем и в тулупе. По мраморным лестницам ведут в подвал и сажают в теплую (холодную) ванну. Тут же нянюшка забирает белье в стирку, поят чаем и укладывают в огромном кабинете. Здесь живут бригадиры и трактористы, испортившие сердце, 2—3 летчика, учителя. В общем — неплохо. Ежедневно сосновая ванна и 2 вида электризации через день: «франклин» и электр<изация> позвоночника. Директор позволяет мне привередничать (с помещением). Пока — вдвоем в пустой палате на 10 чел<овек>. Это счастье временное. Комплекты — ужасны. 5 чел<овек> — это привилегия (без вентиляции, но с зеркальными окнами). (В моей палате окно растворяется.) Наутро я снял в двух шагах, полминуты ходу, чудесную комнату — с коровой, диваном, чехлами, граммофонной трубой и кактусами. Живем на высоком берегу реки Цны. Она широка или кажется широкой, как Волга. Переходит в чернильные синие леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляют глубокое наслаждение. Очень настоящие места. До центра — 10 м ав-

тобусиком. Каланчи, одичавшие монастыри, толстые женщины с усами.

У меня было письмо от Горячева к директору музтехникума Реентовичу. Сегодня после завтрака поехал в город. Два старика (скрипка и рояль) сыграли мне ужасную сонату местного композитора, назначенную к исполнению в Воронеже. Они плакали. Жаловались. Реентович — заслуж<енный> артист. Явился и Сметанин — живой композитор области. Знает меня. Сговорились на вечер. Сейчас еду к ним. Письмо пишу из *своей комнаты*, куда еще не переехал.

Надик, скучаю по тебе безумно. Сделай какую-нибудь глупость и приезжай ко мне. Надик, я так тебя люблю, что нельзя сказать. У меня нет твоей карточки. Где ты, родная? Скорей ко мне. Ау, детка?

Надик, люблю тебя. Отвечай.

Няня твоя

Скажи, можно ли тебе звонить утром в 8.30?

Адр<ес>: Тамбов, Набережная, 9, Нервный Санаторий. Тел<ефон>: 1-55.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [27 декабря 1935 г.]

Родная Надинька!

Вчера я чуть было не решил возвращаться в Воронеж. Кормят хуже, чем в маленькой дешевой столовой. Скучно. — И все-таки за 4 дня я прибавил кило и хорошо отдохнул. Надо терпеть. Главное — это остановка невероятного движения, в котором я находился. Переход к «статике». Консультация состоялась. Директор (не врач) и два доктора. Тема: «как вам сделать лучше» и «как бы вам не сделать хуже», — приняв во внимание, что «мы очень мало можем, но все-таки» и т. д. Сделают рентген сердца и легких. Хотят вызвать консультанта из города. А насчет «справки» жмутся*. Старая история! Думаю, что надо уехать отсюда к 5-му январю, когда начинается официальный срок моей путевки, сговорившись о получении обратно денег с вычетом прожитого. Если у тебя к 5-му что-нибудь выяснится, хорошо бы бросить это неуклюжее место. По-

* Понаблюдаем... дней через десять... сразу неудобно...

лучил второе письмецо. Спасибо! Пиши каждый день. Если будут новости — телеграфируй! Имей в виду — тамб<овский> санаторий — лишь полумера. Лучше Воронежца (без тебя) — и только.

Температура у меня по-прежнему немного подпрыгивает. Мерил вчера вечером: 37,2. Возбудимость сердца велика. Пульс иногда ускоряется. При этом я вполне бодр, хочется гулять. Но встречи с людьми волнуют. Разговоры утомляют. Чтение — тоже. Надо ставить вопрос серьезно, — вплоть до особого заявления в Н. К. В. Д. о необходимости лечения в полноценной обстановке. Воронеж больше *не может* возиться со мной. Они сделали *все — от силы...*

Я думаю, после свидания с Щербаковым не затягивай пребывания в Москве. Положение слишком простое. «Да» и «нет» обнажены. Если будет «нет», продержимся в домашней обстановке. Я вернусь в театр (очень дружеский, берегущий, неутомляющий) и на мое *родное* радио (чуть-чуть), а ты возьмишь работку. Главное — быть нам вместе. Твое возвращение для меня огромное, ничем не измеримое счастье.

А пока, моя деточка — до свидания!

Я отпросился с мертвого часа в красный уголок. Написал письмецо и снесу его на почту.

До свидания, дружок. Целую Шуру и Шурика и В<еру> Я<ковлевну>!

Няня.

Р. С. Невзирая на все нытье — я здесь лучше, чем в Воронеже.

Наш тел<ефон>: Тамбов, 1-55.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [28 декабря 1935 г.]

№ 3

Родная Надинька!

Получил твое письмо № 3. Скажи, тебе не холодно в шубке? У вас тоже мороз? Выходи в маминой: обе одинаково уродливы, т. е. мамина шуба и твоя (маме не показывай).

Если Щербаков тебя не примет? Может это быть? А?

Дни идут хорошо. Привыкаю. Сегодня был голубой мороз. Я достал Пушкина. Это у меня редкость. За него, знаешь, никогда почти не хватаюсь.

Рентген вчера состоялся. Сердце — возрастная норма. Никаких, говорят, аномалий. В легких — уплотнение желез. Спрашивали: не перенес ли *недавнего* гриппа или воспаления?

Внимательны очень. Самое серьезное наблюдение. Слушают, стучают каждый день. Диету дали особую. Ванны ежедневно. Электричество тоже. Скучно мне, дружок, без тебя — слов не найду. Ты обо мне брось тревожиться. Я капризник. И все. А ты-то как живешь? Ты себя, радость моя, береги. И пищи мне каждый, каждый день. И позвони разок.

Надик, до свиданья.

Твой Няня.

Можно ли мне написать Лупполу 20 строк «о Мопассане и франц<узской> метафоре и дураке-редакторе»? Теоретически? А?

Вишневному привет.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, [29 декабря 1935 г.]

№ 4

Родная моя

! Сегодня от тебя письма не было. 40 р. телеграфом получил. Всего у меня 50 р. Между прочим: договорился с директором, если захочу уехать до 5 янв<аря> — он «покупает» у меня путевку (месячную), удерживает за прожитые дни и выплачивает разницу. Эта воображаемая сделка сразу меня освободила. Ох и нудно же здесь! Спать не дают. Деликатные молодые люди, на цыпочках, в русских сапогах с 3 часов ночи ходят через палату.

А вчера слегка отморозил уши и синим светом, кварцевой лампой был исцелен. Вот и все новости. В нанятую комнату не решаюсь переехать: холод там. Дал десятку задатку и отбираю молоком. Хожу туда, когда невтерпеж. Все-таки что-то свое — на час-другой.

Надик, не кажется ли тебе, что я должен обратиться к Щербакову или Горькому с письмом или телеграм-

мой, т. е. просьбой ответить на мое далеко не шуточное обращение? Это не исключит твоего прихода, мой друг. Но дело, как бы его ни обернули, слишком известно, чтобы разговаривать по-домашнему. Если это мое предложение не запоздало, немедленно телеграфируй, как ты смотришь на него. Я имею в виду *только вопрос*.

Хочется тебе сказать еще раз, какое для нас счастье быть вместе. Неужели после пятого мы встретимся? Похоже, что *да*.

Надик бесконечно мой родной, слышишь меня?

Няня

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 1 января 1936 г.

№ 5

Деточка моя родная

С Новым годом, ангел мой! За наше несчастное счастье, за что-то новое, что будет, за вечно старое, что моложе нас! Да здравствует моя Надинька, жена моя, мой вечный друг! С Новым годом, дитя!

А я, дурной, два дня тебе не писал: третьего дня на радостях от телефона, а вчера от бестолочи.

У нас вчера ночью гремел военный оркестр и были разные игры: Чехов в больничном халате, удочки с кольцами.

Я тут брожу с одним пареньком. Он тракторист. Способный, открытый, но думает, что во Франции Советы и что Францию переименовали в Париж. Я его крою, а он ко мне привязался, большевиком меня зовет. <...>¹

Здесь так плохо, что очень многие уезжают до срока. Неизбалованные работники районов. Все за счет организаций. Чай без сахара. Шум. Врачи — вроде почтовых чиновников. Главный мне вчера сказал: вам нужно заведение закрытого типа, где лечат средние формы легких психопатий (там-де комнаты на одного и двух). Честное слово, он так сказал! — послушав меня две минуты. За 10 первых дней я прибавил 600 гр <аммов> веса (для младенца недурно). За месяц здесь многие теряют в весе. Похоже на школу-пансион из Диккенса.

¹ Нижняя половина листа оторвана.

Другой врач говорит: «Вес для невротиков неважен». Да, еще: гл<авный> врач меня спросил: в каких клиниках я был до Тамбова. Завтра я должен оформить с директором продажу путевки. Выезжаю 5-го или даже раньше. С блаженством! Эти дни вроде дурного сна. Какой-то штрафной батальон... Денег мне в В<оронеже> до 20-го хватит. 15-го жалованье в Театре. 15-го же вернусь на работу.

Физически я здоров (думаю, что *не только* физически). Надо лишь окрепнуть. Я лишь *могу* заболеть, если *придавленность* не будет устранена.

Д<...> у меня нет <...>¹

Стоичев мне сказал, что письмо переслано 20-го дек<абря>. Подобедов утверждал, что — с какой-то припиской об отношении Обл<астного> отд<еления> Союза к моей деятельности («уж плохого мы не напишем»).

Где письмо? Кем получено? Выясни точнейшим образом: Если оно затерто — передай копию: 1) Марченко, 2) в Секцию Поэтов и 3) в Ц.К. партии. Вообще это *хорошо* сделать. О стихах: что такое «принципиально»? Надо конкретно об *этих* стихах. Почему давала без отбора? Я *против* Наушников. Марченко прав. Вспомни и скажи ему. Я требую ответа на стихи *действенные*. Они — целое. Качество же иным снится, иным — делается. <В> Тамбов — пиши и *телеграфируй*. Обо всем кратко. Поговорим из Воронежа. Друг, до свидания.

Твоя Няня.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, <2 января 1936 г.>

Родная Надинька

Все письма твои получил. Посылаю спешным два заявления, справку. Врачи меня отказываются здесь держать. Говорят: вас по ошибке к нам формально загнали. Со мной *ничего худого* нет, но мне *не лучше*. Буду объективен. *То же самое*, а обстановка здесь просто вредна (мнение врачей).

Если будет билет, уезжаю завтра (3-го). Деньги воз-

¹ Нижняя половина листа оторвана.

вращают. Попутчики есть до Воронежа. Я очень доволен. Радуюсь Воронежу, как родному.

Так или иначе — ты скоро приедешь. Это — все. Будь весела. Спешу с почтой. Пишу завтра.

Твой Няня.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 3 января <1936 г.>

№ 7

Родная Надюша!

Спасибо за звоночек. Д<...>¹ проще простого успоко<ить>². Что со мной? Что бо<лит>? Ничего не болит. Кишечник здоров, как никогда. Катар горла прошел. Как настроенье? Неровное. Санаторий вызвал депрессию. Ожиданье обострено. Обстановка не переваривается. Ассоциации протекают болезненно (как и обычно без тебя). Физическое самочувствие? От ходьбы сердцебиение (не сразу; иногда приступ ускорения пульса, с которым справляюсь, сознательно борюсь и побеждаю). Вчера съездил на вокзал с письмом — освежился, купил Кр<асную> Новь с дрянными стихами доброго Зенкевича и Талмудом Зоценки. Температуру мерил 2 раза наугад: 37,2 как вылитые. Очевидно — это норма. Сон — хороший, когда не мешают. Ночью самовольно перебрался в пустую комнату на пятерых. Закрепил ее за собой. Гораздо лучше. Днем подрываю. Могу уехать в *любой* день и *после 5-го* с возвратом денег (заверение главврача, сегодня).

Я все же думаю выехать пятого. В Воронеже как-то ближе к тебе. И перемена будет полезна. Дальше. Вес — 66 кило, и ни с места. Слабостью я называю «комнатную легкость в теле» — и только. Внешний вид — довольно дрянной. Вот, Надик мой, *вся, вся* правда.

Надик, надо все время помнить, что письмо мое в воронежский Союз бесконечно обязывает, что это не литература. После этого письма разрыва с партией большевиков у меня быть не может при любом ответе, при

¹ В подлиннике дефект: не поддаются восстановлению приблизительно два слова.

² Далее, возможно, было еще одно слово.

молчании даже, даже при ухудшении ситуации. Никакой обиды. Никакого брюзжания. Партия не нянька и не доктор. Для автора *такого* письма всякое ее решение обязательно. Мне кажется, ты еще не сделала достаточных выводов из данного моего шага и не научилась продолжать его в будущее. Сейчас, что бы ни было, я *уже* свободен. Воронежа мне очень жалко, но я боюсь, что мое дальнейшее там пребывание окажется вредным **не только** для меня. Пятого утром я тебе позвоню. Еще о Старом Крыме: чтоб не было уходом, бегством, «цинцинатством». Я не Плиний Младший и не Волошин. Объясни это кому нужно. Еще вопрос на первый взгляд мелкий: свобода передвижений *по тому району в целом*. Без нее — будет ужасно. Выясни обязательно.

Ну вот, Надик, целую тебя несчетно и радуюсь и горжусь своей женой. Надик мой, до свиданья.

Твой Няня.

Е. А. ХАЗИНУ, <начало апреля 1936 г.>

Простите, Евгений Яковлевич, что вас тревожу: положение таково, что я должен вас известить.

Во-первых, Надя уже 2 недели болеет печенью. Она не выходит. Боли не унимаются.

Во-вторых, наше денежное положение очень плохое, а в основе этого вообще и реально очень плохое положение. В театре я <не> получаю почти ничего. У меня удерживают 100 р. и еще касса взаимопомощи хочет 50 в месяц, а вся зарплата 225 р. в месяц. Потом я болен, все время волнуюсь, делаю очень много лишних шагов. Но в буквальном смысле я ходить без провожатого не могу. Так напряжены мы оба, что больше не можем.

Мы совсем одни. Союз Писателей говорит, что дал мне работу в театре, а я там не работаю. Все время страх и тревога и страшная мертвая точка. На днях с трибуны облплена писателей было здесь произнесено, что я «пустое место и пишу будуарные (будуарные) стишки и что возиться со мной довольно». Наде дали в газете письма писать, но перестали платить, пока не

отработает 200 р. за мою болезнь. Надя написала две статьи и один очерк (ходила в школу) — все не подошло. Она написала уже 150 писем, и у нее кружится голова. Это такой ад, что нельзя больше выдержать и не с кем сказать слова. Помогите, потому что нам будет очень худо. Дайте независимый домашний заработок<к>. Просите. Мы больше не можем.

О. М.

Отвечайте что угодно, телеграммой дайте любой ответ.

Адрес<ес>: ул. Энгельса, д. 136, кв. 5.

У Нади нет обуви.

У меня тоже.

Б. Л. ПАСТЕРНАКУ, 28 апреля 1936 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Спасибо, что обо мне вспомнили и подали голос. Это для меня ценнее всякой реальной помощи, то есть — *реальнее*. Я действительно очень болен, и вряд ли что-либо может мне помочь: примерно с декабря неуклонно слабею, и сейчас уже трудно выходить из комнаты.

Тем, что моя «вторая жизнь» еще длится, я всецело обязан моему единственному и неоценимому другу — моей жене.

Как бы ни развивалась дальше моя физическая болезнь — я хотел бы сохранить сознание. Должен вам сказать, что временами оно тускнеет, и меня это пугает. Вынужденное пребывание в Воронеже, в силу болезни превратившемся для меня в *мертвую точку*, может оказаться в этом смысле роковым. Одной из наиболее для меня тягостных мыслей является то, что я не увижу вас никогда. Не приходит ли вам в голову, что вы могли бы ко мне приехать? Мне кажется, это самое большое и единственное важное, что вы могли бы для меня сделать.

Привет Зинаиде Николаевне.

Ваш О. Мандельштам

28/IV/36. Воронеж.

Е. Е. ПОПОВОЙ, <3 мая 1936 г.>

<...> Лиля, если Вы способны на неожиданность, Вы приедете <...>

С. Б. РУДАКОВУ, <конец августа 1936 г.>

Дорогой Сергей Борисович.

Спасибо за весточку. Я сейчас не болен, но очень тяжелое самочувствие. Не знаешь, что делать с собой. С Над<еждой> Як<овленной> гораздо хуже: она очень слаба, резко изменилась. В городе нам жить не придется: во-первых, нечего делать, а во-вторых, нам недоступны городские комнаты. Может, в Сосновку переедем. Пишите о себе как можно чаще. Присылайте нам книги.

Хочу читать испанских поэтов. Достаньте, если можно: 1) *словарь*, 2) *хрестоматию*, 3) *лучших авторов — лириков или эпиков и грамматику*. Нас допекают мелкие заботы: обувь для обоих нас, зимн<ее> пальто для Нади. Вряд ли справимся с этой проблемой. Она же затрудняет передвижение.

Пишите теперь до востребования: где будем жить и как, мы не знаем. Только пишите.

Ваш О. М.

Э. В. МАНДЕЛЬШТАМУ, 12 декабря 1936 г.

Дорогой папочка!

Давно я так не радовался, как получив твою записочку, радовался твоему почерку, твоим словам. Кому другому — а тебе я не хочу жаловаться: мы с тобой старики и понимаем оба, как мало человеку нужно и в чем вообще суть. Больше всего на свете хочу тебя видеть. Зову к себе. Но зимой дорога трудная. Боюсь, ты простудишься. Весной — другое дело. Благодарю Таню за ее посылку. Все вещи подошли. Я знаю, что они были подобраны с хорошим чувством, — как привет. Как твои глаза? Бережешь ли их? Нам с тобой без глаз худо. Я всегда люблю тебе хвастать (старая привычка). И сейчас не могу себя сдержать: во-первых, я пишу стихи. Очень упорно. Сильно и здорово.

Знаю им цену, никого не спрашивая; во-вторых, научился читать по-испански (книги взял здесь в университете). Но довольно хвастовства.

Положение наше — просто дрянь. Здоровье такое, что в 45 лет я узнал прелести 85-летнего возраста. Я очень бодрый старик. Недалеко от дома с палочкой и женой могу еще ходить. Так хочу очутиться в твоей комнате с зеленым диваном и нашим шкапчиком.

Но скорее ты приедешь ко мне, чем я к тебе. Целую тебя, мой дорогой отец. Обещаю часто писать. Жду твоего письма.

Милой Тане, Наташе, племяннице моей — очень гордой и хорошей девушке, труженику Юрке и М<арии> Н<иколаевне> сердечный привет.

Твой Ося.

<Приписка Н. Я. Мандельштам:>

Милый дедушка! Целую вас, родной. Скучаю. Хочу видеть. Поблагодарите за меня Таню. Это очень мило с ее стороны.

Надя.

Ул. 27 февраля, № 50, кв. 1.

**В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА»,
19 декабря 1936 г.**

В редакцию «Звезды».

Разрешите сообщить вам две поправки к присланным мною на этих днях стихам, а именно:

1) в стихотворении «Сосновой рощицы» стих *седьмой* должен читаться:

...«И бросил, о корнях жалея,»...

2) в стих<отворении> «Детский рот жует» стих *шестой* должен читаться:

...«Ниже клюва красным шит»...

Не откажите мне в любезности *нанести эти поправки на рукопись*, находящуюся в вашем распоряжении.

О. Мандельштам.
В<оронеж>, 19/ХII/36.

Н. С. ТИХОНОВУ, 31 декабря 1936 г.

С Новым годом!

Уважаемый Николай Семенович!

Посылаю Вам еще две новых пьесы. Одна из них «Кашеев кот». В этой вещи я очень скромными средствами, при помощи буквы «ща» и еще кое-чего, сделал материально кусок золота. Язык русский на чудеса способен: лишь бы стих ему повиновался, учился у него и смело с ним боролся.

Как любой язык чтит борьбу с ним поэта, и каким холодом платит он за равнодушие и ничтожное ему подчинение! Стишок мой в числе других когда-нибудь напечатают, и он будет принадлежать народу советской страны, перед которым я в бесконечном долгу. Вам, делегату VIII-го съезда (я слышал по радио Ваше прекрасное мужественное приветствие съезду), я сообщаю: я тяжело болен, заброшен всеми и нищ. На днях я еще раз сообщу об этом в наше НКВД и сообщу, если понадобится, правительству. Здесь, в Воронеже, я живу как в лесу. Что люди, что деревья — толк один. Я буквально физически погибаю. Чего я жду от Вас? Добейтесь до разрешения общего вопроса, что может затянуться, — немедленной конкретной помощи — не частной — ну ее к черту — но скромной организованной советской поддержки. Имейте в виду, что служить я не могу, потому что стал не в шутку инвалидом. Не могу также переводить, потому что очень ослабел, и даже работа над своим стихом, которую я не могу отложить, стоит мне многих припадков.

Избавьте меня от бродяжничества (я еле держусь на ногах), избавьте от неприкрытого нищенства. Телеграфируйте мне о получении этого письма, примите самые решительные меры, потому что нет имени тому, что происходит со мной в Воронеже. Дальше так продолжаться не может.

Ваш О. Мандельштам

Адрес: Воронеж, ул. 27 февраля, д. 50, кв. 1.

<К письму приложены ст-ния: «Как подарок запоздалый...» и «Оттого все неудачи...», записанные рукой Н. Я. Мандельштам.>

Б. Л. ПАСТЕРНАКУ, 2 января 1937 г.

С Новым годом!

Дорогой Борис Леонидович.

Когда вспоминаешь весь великий объем вашей жизненной работы, весь ее несравненный жизненный охват — для благодарности не найдешь слов.

Я хочу, чтобы ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены, — рвалась дальше к миру, к народу, к детям...

Хоть раз в жизни позвольте сказать вам: спасибо за все и за то, что это «все» — еще «не все».

Простите, что я пишу вам, как будто юбилей. Я сам знаю, что совсем не юбилей: просто вы нянчите жизнь и в ней меня, недостойного вас, бесконечно вас любящего.

О. Мандельштам.

Е. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ, 4 января 1937 г.

Здравствуй, брат!

Впрочем, — кажется, уже не брат.

Это — уже не брат.

Это — что-то другое.

Ося.

Воронеж.

4/1/37.

Е. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ, 8 января 1937 г.

Евгений Эмильевич!

Ты мою жизнь давно оценил, и для тебя она предмет далеко не первой необходимости.

Но у тебя есть дети. Когда-нибудь они поймут, что ты делаешь. Им придется краснеть за отца.

Узнай следующее: в конечном счете мне предложено жить на средства родных (?) или обратиться в любую больницу, откуда меня вышвырнут в дом инвалидов (к бродягам и паралитикам).

Чтобы остаться на свободе, я последнее время просил милостыню. Ты понимаешь, что ты делаешь?

Ося.

Денег я у тебя не прошу, но запрещаю тебе где бы то ни было называть себя моим братом.

Е. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ, <январь 1937 г.>

Слушай, Женя: дело не в том, пришлешь ты эти деньги или нет. Такой вид помощи, такое безбрежное равнодушие становится чудовищным. Ты скажи: тебе просто плевать на меня? Так, что ли? Далеко он, не видно брата... «Наглядности» нет. Поставишь свечечку за 60 р. на три месяца и еще умиляешься своему благородству.

На меня — нет у тебя. Значит, я для тебя лишний. Давай скажем просто: моя жизнь для тебя *не стоит* того, чтобы систематически урезывать свой бюджет, бюджет всей своей семьи на 10%, а то и меньше. Против фактов не пойдешь. Разные бывают братья. Но очень редко любовь к своей семье (понимая под ней *только* жену и детей и себя самого) выражается в форме такой малодушной и *постыдной* судороги, такого зажмуриванья глаз. Пока я скажу тебе: ты ведешь себя как скверный мальчишка, надеющийся избежать ответственности. Вряд ли я заставлю тебя спасти меня от голода и болезней*, (ты ведь сам болен и тяжело работаешь: жалею тебя), но знай, что ты перешел границу **простой** небрежности.

Я рад, что ты не испытал и не испытываешь и со- той доли того, что суждено мне. (А как бы я тебе помогал! Здорово! Сам знаешь. Я бы *бредил* такой помощью.) Но ты человек трезвый. И найдешь себе оправдание. Тяжко иметь брата-врача.

Прощай, доктор.

Ося.

Р. S. Не посоветуешь ли ты мне разумное *нищенство*? Этот месяц мы «живем» на 100 р. на двоих.

* По мнению врачей я могу еще немного «протянуть» при условии «полного покоя». Мы дошли до черной нищеты.

**В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА»,
13 января 1937 г.**

В редакцию «Звезды»

Сообщаю вам продолжение моей работы над новой книгой стихов, которую я пишу в Воронеже.

Прилагаю «контрольный список» стихотворений за декабрь — январь. Предшествующая работа (воронежская), хотя и войдет в книгу, — в данную минуту меня не интересует. Начатки ее имеются в «Кр<асной> нови». Остальное — у меня.

Стих<отворение> «Рождение улыбки» — только сейчас доработано. Старый текст прошу считать вариантом.

О. Мандельштам

13 янв<аря 19>37 г. В<оронеж>.

<К письму приложен список из 19 ст-ний (рукой Н. Я. Мандельштам)>.

Ю. Н. ТЫНЯНОВУ, 21 января 1937 г.

Дорогой Юрий Николаевич!

Хочу Вас видеть. Что делать? Желание законное.

Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе.

Не ответить мне — легко.

Обосновать воздержание от письма или записки — невозможно.

Вы поступите как захотите.

21/1—37 г.

г. Воронеж.

В НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ АДРЕС, <начало 1937 г.>

<1>

<...>

Я тяжело и неизлечимо болен и лишен всякой возможности лечиться. Мне нечего есть. Я живу в нищете. Все общественные организации, в том числе <Союз Писателей,> держат меня под абсолютным бойкотом.

Вся эта картина сложилась за последние несколько месяцев, причем вся моя воронежская деятельность не дает к этому ни малейшего повода. Все, что мне открыто, — это возможность после многомесячной волокиты получать рублей двадцать ежемесячной собесной пенсии как бродяге без всякого трудового стажа. С<оюз> Пис<ателей> заявляет (в лице проф. литерат<уры> Стоичева): «Пусть Манд<ельштам> осуществляет свои труд<овые> права где угодно и как угодно помимо Союза Писателей». Обл<астной> же Н.К.В.Д. советует обращаться в Союз Писателей.

<...>

<2>

<...> заявил моей жене:

«Пусть М<андельштам> осуществляет свои трудовые права и право на лечение где ему угодно и как ему угодно. Ставский нам запретил вмешиваться в дела не членов Союза и, в частности, начинающих...» Как ссыльный я, конечно, членом Союза Сов<етских> <Пис<ателей> быть не могу. [Правление Союза Пис<ателей> (Москва) ни на какие письма и заявления не отвечает.] Н.К.В.Д. в течение целого года не отвечает ни на одно мое заявление.

Все мною описанное представляется мне какой-то чепухой или дурным сном, до такой степени это не похоже на закон Советского Союза и лишено здравого смысла. Я не понимаю, почему <у моя>¹ адмвысылка в конце третьего, и последнего, <года> перерастает в осуждение на голод и <бездом>ность. Не понимаю, почему моя [новая] <работа> не создает мне искупительного стажа, но только бьет по мне.

¹ Здесь и в следующих двух строках в угловых скобках дается предположительное чтение утраченного текста (край листа оборван).

Но система невмешательства в мое положение превратила уже меня в полунищего и в полубродягу, и мне стыдно ходить по улицам с провожатой (один я ходить не могу), т. к. меня узнают прохожие. И я прошу вас прекратить этот позор.

<...>

<3>

<...> литературный стаж, мне было отказано Обл<астным> С.С.П. по соглашению с Правлением С.С.П. в какой бы то ни было материальной поддержке и было предложено лечиться в общем порядке, что явилось невыполнимым, поскольку общий порядок осуществляется через посредство того или иного частного модуса, а такого никто не мог и не может мне указать.

Я продолжал работать и в первую половину <19>36 г., падая от слабости на улице и подбираемый прохожими. Сотрудники различных культурных учреждений гор. Воронежа были свидетелями целого ряда со мной припадков, полубморочных состояний, остановок сердечной деятельности и т. д. Ни одна организация ничем мне не помогла. Медицинская помощь выразилась лишь во впрыскивании камфары в самые острые минуты. Городская амбулатория в обычном порядке направила меня как признанного инвалида на освидетельствование, а по месту моей службы — Вор<онежский> гор<одской> Театр снял меня 1 августа с работы ввиду того, что я практически уже несколько месяцев не мог работать.

С осени <19>36 г. мое положение в Воронеже резко изменилось в худшую сторону. Вот точная характеристика этого положения: независимо от того, здоров я или болен, *никакой, абсолютно никакой работы* в Воронеже получить я не могу. В равной мере *никакой, абсолютно никакой работы* в Воронеже не может получить и моя жена, проживающая вместе со мной.

<...>

<4>

<...> Нормальным состоянием для меня является тяжелая одышка, мучительно затрудненное дыхание и

неустойчивость пульса при всяком напряжении или усилии, начиная от просто ходьбы.

В благоустроенном советском городе — в Воронеже, на глазах у множества пассивных свидетелей я выпадаю из всяких социальных рамок и фактически являюсь уже не адм. высланным гражданином, хотя бы потерявшим работоспособность, но человеком-призраком, гибель которого санкционирована всеобщей пассивностью.

Я должен вас предупредить, что в случае моего пассивного отношения к этой ситуации она разрешится опять-таки механической перевозкой меня в больницу, но уже в состоянии, близком к агонии. Нужно называть вещи своими именами.

<...>

К. И. ЧУКОВСКОМУ, <около 9 февраля 1937 г.>

Дорогой Корней Иванович!

Я обращаюсь к вам с весьма серьезной для меня просьбой: *не могли бы прислать мне сколько-нибудь денег.*

Я больше ничего не могу сделать, кроме как обратиться за помощью к людям, которые не хотят, чтобы я физически погиб.

Вы знаете, что я совсем болен, что жена напрасно искала работы. *Не только не могу лечиться, но жить не могу: не на что. Я прошу вас, хотя мы с вами совсем не близки.* Что же делать? Брат Ев<гений> Эм<ильевич> не дает ни гроша. Здесь на месте нельзя предпринять *абсолютно ничего.* Это — только место, чтоб жить, и *ничего* больше.

Вы понимаете, что со мной делается?

Только одно еще: если не можете помочь — телеграфируйте отказ. Ждать и надеяться слишком мучительно.

О. Мандельштам

Воронеж областной,
ул. 27 февр<аля>, д. 50, кв. 1.

<К письму, вероятно, были приложены ст-ния: «Вооруженный зрением узких ос...» и «Были очи острее точимой косы...», записанные рукой Н. Я. Мандельштам.>

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЗНАМЯ», 11 марта 1937 г.

В редакцию «Знамя».

Посылаю стихотворение «Неизвестный солдат» в доработанном и развернутом виде.

Прилагаемым текстом *отменяется ранее мною при- сланный*.

Прошу редакцию учесть эти изменения при обсуждении моих стихов.

О. Мандельштам

11 марта 37.

<К письму приложена машинопись ст-ния «Неизвестный солдат»>.

Н. С. ТИХОНОВУ, <середина марта 1937 г.>

Николай Семенович!

Скрывать от Вас мое положение было бы нехорошо и неестественно. Все попытки мои и моей жены наладить способ жизни без частной поддержки ни к чему не привели. Никакой работы *ни я, ни моя жена* получить не можем. Кроме того: я по-прежнему болен и к работе, службе не способен. Когда я писал Вам о крайней нежелательности частной поддержки, я надеялся на постановку вопроса в другой плоскости. Не перестаю надеяться до сих пор.

Жить не на что. Даже простых знакомых в Воронеже у меня почти нет. Абсолютная нужда толкает на обращение к незнакомым, что совершенно недопустимо и бесполезно. Все местные учреждения для меня закрыты, кроме больницы, — но лишь с того момента, когда я окончательно свалюсь. Этот момент еще не наступил: я держусь на ногах, временами пишу стихи и живу на случайную помощь людей, которая каждый раз является неожиданностью и добывается путем судорожного усилия. Сейчас я оглядываюсь кругом: помощи ждать неоткуда. Это — за два месяца до истечения моего трехлетнего срока, когда в буквальном, не переносном смысле решится вопрос о моей жизни.

На этот раз я прошу Вас лично помочь мне день-

гами. С огромной радостью я верну Вам этот долг, если когда-нибудь будет принята к печати моя новая книга стихов.

Пока что мое физическое «я» оказывается ненужным и неудобным приложением к моей работе. Между тем без него обойтись нельзя.

На днях я отослал Ставскому несколько стихотворений с просьбой об отклике и оценке их Союзом Советских Писателей.

В эту посылку вошли совершенно новые неизвестные Вам стихи.

В напряженном ожидании Вашего ответа — жму Вашу руку.

О. Мандельштам

Воронеж, ул. 27 февраля, д. 50, кв. 1.

К. И. ЧУКОВСКОМУ, 20 марта 1937 г.

Сердечный привет
Корнею Ивановичу!

О. Мандельштам

20/III/37

В<оронеж>

<К письму, вероятно, было приложено ст-ние «Заблудился я в небе — что делать?...», записанное рукой Н. Я. Мандельштам>.

В. Я. ХАЗИНОЙ, <начало апреля 1937 г.>

Дорогая Вера Яковлевна!

Обращаюсь к вам с большой просьбой: приезжайте, поживите со мной. Дайте возможность Наденьке спокойно съездить по неотложным делам. Ехать ей придется на этот раз надолго. Почему я вас об этом прошу? Сейчас объясню.

Как только уезжает Надя, у меня начинается мучительное *нервно-физическое* заболевание. Оно сводится к следующему: за последние годы у меня развилось астматическое состояние. **Дыхание всегда затруднено.**

Но при Наде это протекает мирно. Стоит ей уехать — я начинаю буквально задыхаться. Субъективно это невыносимо: ощущение конца. Каждая минута тянется вечностью. Один не могу сделать шага. Привыкнуть нельзя. В прошлый отъезд (7 дней) со дня на день делалось хуже. Остаться со мной некому. Успокаивают меня только *свои* люди. А у нас и чужих знакомых почти нет. В прошлый раз я перенес это как острую болезнь. Дошел накануне Надиного приезда до того, что хотел явиться в любую больницу. Цеплялся за людей. Сидел часами в чужих местах (в учреждении, среди рабочего дня) — лишь бы быть около кого-нибудь.

Я тогда закаялся, что больше этого не перенесу. Потом остается глубокий след.

Это заболевание имеет много глубоких причин. Что делать? Вся надежда на ваш приезд. В остальном — я совершенно нормальный человек. Поверьте, что я не буду вам в тягость, и вы даже не догадаетесь, не поверите мне, какую услугу вы оказываете мне и Наде.

Побывать со мной придется минимум две недели. Бытовые условия будут хорошие. Уютнейшая комната. Славная хозяйка. Лестницы нет. Все близко. Телефон рядом. Центр. Весна в Воронеже чудесная. Мы даже за город с вами поедem.

А без вас — болезнь и невыносимое по остроте и физическое, и психическое состояние.

Я прошу вас не замалчивать моего письма. Прошу ответить на него немедленно телеграммой. Письмо покажите Евг<ению> Як<овлевичу> и Шуре. Они вам помогут выехать.

Крепко верю в ваше желание нам помочь.

Ваш Ося.

Е. Я. ХАЗИНУ, 10 апреля 1937 г.

Дорогой Евгений Яковлевич!

Еще раз вам сообщаю, что Надя больна. Ежедневная температура 37,6—9, очень резкое исхудание. Кроме того, ежедневно по несколько часов резкие боли в области печени, принуждающие лежать.

Как это ни странно, врачу Надя не показывалась.

Чуть ей лучше — забывает. А большей частью нет 20 рублей на профессора, а в амбулаторию ходить не стоит: мы знаем, как там внимательны.

До последнего дня Надя температуру от меня скрывала или неправильно объясняла.

Денег у нас на 2—3 дня еще есть. Т. е. попросту 25 рублей. Какое же тут лечение? 10 р. в день на двоих — это минимум, *исключающий* всякую диету, режим, платного врача и т. д. Что же делать?

Завтра я думаю свести Надю к профессору. Что же касается до Москвы — страшно ее отпускать. Боюсь, как бы не расхворалась, не слегла и мы бы не очутились отрезаны друг от друга. Прежде всего я выясню, что с Надей и что ей *объективно* требуется, и срочно вам сообщу — без всяких «скидок» на наше положение. А пока что сообщаю одно: больничная клиническая помощь в Воронеже *неприемлема* (кроме хирургической). Больницы (терапевтические) переполнены. Как мне говорил пр<офессор> Герке — иногда дают в день до 12 отказов острейшим больным (восп<аление> легких и т. д.) и *ни одного приема*. Лежат в коридорах. Индивид<уальный> уход — минимальный. Значит — или дома, в воронежск<ой> комнате, — или отправить куда-нибудь на серьезное настоящее лечение. Я прошу вас немедленно поговорить с кем-нибудь из Надиных подруг, нельзя ли *ради нее*, забыв обо мне, серьезно ей помочь. Сделайте это не дожидаясь диагноза. Состояние так или иначе очень плохое. Образ жизни исключает всякие шансы на поправку. Виды на будущее — скорее *отрицательные*. Не лишнее вам сообщить, что на днях получил письмо от «Знамени», письмо вполне товарищеское, но с отклонением стихов. Это весьма отраднo. Потому что явилось просветом в беспредельной покинутости. *Может, это хоть немного подымет ваше настроение и поможет вам что-нибудь предпринять для Нади*. Поговорить *только* о ней.

В Воронеже мы начисто изолированы. С 13 числа средства на жизнь, т. е. чай, хлеб, кашу, яичницу, — иссякают. Занять не у кого. Надо думать только о Наде. Я готов, как вам уже говорил по телефону, расстаться с ней на какой угодно срок ради подлинного ее лечения, но не ради деловой поездки, *которая ей не под силу и может кончиться нашим с ней разобщени-*

ем. Т. к. Надя похожа сейчас на свою тень. И я не преувеличиваю. Прошу вас поговорить с кем-нибудь из авторитетных людей. И дать мне телеграмму, получив это письмо. Я знаю, вы и в Москве беспомощны. Но все-таки это Москва. И этим все сказано.

На Надю же сейчас нельзя возлагать никакого бремени. Ее активность сама собою прекращается.

Жду вашего ответа: предварительной ориентировочной телеграммы.

Ваш О. Мандельштам

Р. С.

Еще сегодня я просил Шуру ускорить Надин отъезд и выезд В<еры> Як<овлевны>. Но после этого узнал о *постоянном* повышении температуры — и в связи с общей слабостью Нади понял, что ехать ей *нельзя*.

Эта *непоследовательность* не должна снижать в ваших глазах серьезности моих сообщений. Здоровье Нади, вернее, ее болезнь весьма и весьма запущена, потому что все кажется: ничего нельзя сделать (она же *все* и делает?!). Но сейчас надо сделать для нее буквально невозможное.

К. И. ЧУКОВСКОМУ, <около 17 апреля 1937 г.>

Дорогой Корней Иванович!

То, что со мной делается, — дольше продолжаться не может. Ни у меня, ни у жены моей нет больше сил длить этот ужас. Больше того: созрело твердое решение все это *любыми* средствами прекратить. Это не является «временным проживанием в Воронеже», «адм<инистративной> высылкой» и т. д.

Это вот что: человек, прошедший через тягчайший психоз (точнее, изнурительное и острое сумасшествие), — сразу же после этой болезни, после покушений на самоубийство, физически искалеченный, — стал на работу. Я сказал — правы меня осудившие. Нашел во всем исторический смысл. Хорошо. Я работал очертя голову. Меня за это били. Отталкивали. Создали нравственную пытку. Я все-таки работал. Отказался от самолюбия. Считал чудом, что меня допускают работать. Считал чудом всю нашу жизнь. Через 1½ года я стал

инвалидом. К тому времени у меня безо всякой новой вины отняли все: право на жизнь, на труд, на лечение. Я поставлен в положение собаки, пса...

Я — тень. Меня нет. У меня есть одно только право — умереть. Меня и жену толкают на самоубийство. В Союз писателей — не обращайтесь, бесполезно. Они умоют руки. Есть один только человек в мире, к которому по этому делу можно и должно обратиться. Ему пишут только тогда, когда считают своим долгом это сделать. Я — за себя не поручитель, себе не оценщик. Не о моем письме речь. Если вы хотите спасти меня от неотвратимой гибели — спасти двух человек — пишите. Уговорите других написать. Смешно думать, что это может «ударить» по тем, кто это сделает. Другого выхода нет. Это единственный *исторический* выход. Но поймите: мы отказываемся растягивать свою агонию. Каждый раз, отпуская жену, я «нервно» заболеваю. И страшно глядеть на нее — смотреть, как она больна. Подумайте: *зачем* она ездит? На чем держится жизнь? Нового приговора к ссылке я не выполню. Не могу.

О. Мандельштам.

Болезнь. Я не могу минуты остаться «один». Сейчас ко мне приехала мать жены — старушка. Если меня бросят одного — то поместят в сумасшедший дом.

Н. С. ТИХОНОВУ, <около 17 апреля 1937 г.>

Дорогой Николай Семенович!

Повторяю: никто из вас не знает, что делается со мной.

Сейчас дело пахнет катастрофой.

Вмешайтесь, пока не поздно.

Верьте каждому слову моей жены.

Спешите. Иначе все кончится непоправимо.

О. Мандельштам.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 19 апреля <1937 г.>

Надюшенька!

Утром получили твое вокзальное письмо. Почтальон невероятно громко постучал в окно. Потом кошка прогнала Тому. Утром мама говорила о врожденности характеров детей. Вчера историю семьи Корнгольдов. Вчера мы оба, понадеявшись друг на друга, вышли в лавку без денег: дошли и вернулись. Бабушка погасила свет выключателем. Я нечаянно исправил.

Вчера мы с мамой пошли в Дом Красной Армии. Я омолодился там в роскошной парикмахерской за 2 р. 50 к. Концерт оказался бесплатным, по особым пропускам. Я взял два: себе и маме. Но пришла Наташа — и ей не дали пропуска. И мама ушла домой (уступив свой Наташе) очень неохотно: так ей понравился Дом Красной Армии. Себастьян плясал как сириец, нубиец и фригиец плюс еврей. А играли очень хорошо.

Сейчас заказал с утра срочный телефон Жени на 12 ночи с предупредением. И то не наверное. Надик, ты живи у нас дома, а то устанешь по гостям. Я буду стараться звонить по утрам от 8½ до 9. Если это невозможно — телеграфируй. Дедушке скажи, что я хочу его видеть. Пусть он мне напишет. Болезнь быть без тебя протекает довольно мирно (благодаря маме), но все-таки болезнь. Считаю дни и минуты до возвращения твоего. Если обстоятельства на это укажут, зайди в «Знамя». А то и нет? Буду писать каждое утро. А ты телеграфируй, если звонок не удастся. Зайди к врачу. *Обязательно.* Целую тебя, моя родная.

Ося. Няня. Твой.

Родной мой, люблю тебя и так хочу быть с тобой. Ау? Надинька! Дай лобик, солнышко мое!

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 22 апреля 1937 г.

Родная Надинька!

Это второе мое письмо. Я, конечно, дурак — не так ли? — но я не понимаю, чего ты ждешь в Москве. Ну

и пусть не понимаю. А если ты сидишь в Москве, значит, нужно. Этот раз твой отъезд переносу трудно, но спокойнее. Мама твоя очень помогает — всем своим существом, вплоть до раздражающих моментов. Все это отрезвляет и прикрепляет к жизни. Мы не ссоримся. Я очень молчалив и ничего не могу поделывать, хотя знаю, что ей это неприятно. Много времени на воздухе. Хожу один возле дома. Стихи мои, наверное, гораздо хуже прежних. Ты не скрывай. Беда не велика. Перескочим через них. Будем жить — так и стихи будут. Здоровье мое хорошо, если бы не одышка. Но это настолько серьезно, что я могу *только* с тобой и при тебе. Вторая поездка меня очень смущает. А при тебе и одышка гораздо легче. Впрочем, от воздуха облегчение несомненное. Читать почти не могу. Всякая книга неприятна. И читать могу только при тебе. Вопрос ясен: можем ли мы быть вместе? Остальное, по-моему, неважно. Никто не заходит. И Наташа была всего 2 раза.

Снова я равнодушен ко всему, кроме твоего приезда. Выясни свою болезнь. Как можно тщательнее. Неделя кажется мне огромным сроком. Писем твоих нет. Голос твой звучит так, будто из недели выйдут две и т. д.

Не считай моего письма упадочным. Просто ты уехала, и я притих. Все, что мы с тобой говорили, правильно. Мы совсем не слабые люди. И в очень трудную минуту сумеем поступить так, как нужно. Не рассчитывай на телефон. Москвы почти не дают. Каждый звонок — случайность. В случае заминки — телеграфируй несколько слов. Шуре скажи: то, что он **не** ответил на мое письмо — непоправимо — может больше не тревожиться. Обязательно точно передай.

Ну до свиданья, мой родной друг. Жду тебя и только тебя.

Твой Ося. Няня.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 26 апреля <1937 г.>

Надик, здравствуй!

Мои новости: утром купаться ходил. От петуха раму вставили. Мама уступила мне заварку чая и обещала не трогать электр<ическую> машинку, которая

в великой опасности: трещит и пахнет разноцветным жареным. Подметку мне армянин гвоздиками подбил. Держится. Не верь, когда хвалят гладкие стишки. Хвалитель у них мелкий. Сады у нас зеленеют. Очень хорош — через задворки — соседний. Я там много брожу. Вообще стал сильный ходок. Небольшие маршруты гуляю один. Внешность — послекурортная. С деньгами: осталось 40 р. Долгов нет. Пел<агее> Гер<асимовне> дал вперед 30 р. Девочка Рая пришла с жалобной запиской. Ей — 5 р. Из 4 телефонов — 3 — срочные. Утром — всегда срочно. Вот почему мало денег. Да еще прачке 5 р. Да сапожнику 4 р. Да, признаюсь, у Эмминой мамы взял вначале 15 р. — так и не отдал. Вот это плохо.

Надик, ты кроме дел в Москве живи. Смотри картины. Все, что я хочу видеть, — ты смотри. Даже в театр для курьеза пойди. Не скучай. Так или иначе, чтоб приехала освеженная. Ты что написала: «здесь» и зачеркнула? Кто, что — здесь, т. е. в Москве?

Вчера снова водил маму в концерт. Она сидела в ложе бенуара и была горда. Удивлялась, что дали легко контрамарку. Последние дни она совсем спокойна и уютна.

Извел бутылку одеколону (с мамой вместе). Ячмень в сухом виде остался. Глаза здоровые (если без очков). Теперь нет пыли. А то висели над степью космические тучи. Мама сегодня чинила брюки. Интересно и безобразно. Прошу тебя ничем не обольщаться. За подарки спасибо. Целую мою родненькую. И жду ее.

Ося.

Няня.

Мама кричит: «Вы мне надоели!» и рвется одна опускать письмо. Я стремлюсь за ней.

Шурика целую. Ему подарок чтоб — от меня. Спроси его наедине. Он скажет — что.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 28 апреля <1937 г.>

Надик, дитенок мой!

Что письмо это тебе скажет? Его утром принесут или вечером найдешь? Так доброго утра, ангел мой, и

покойной ночи, и целую тебя сонную, уставшую или вымытую, свеженькую, деловитую, вдохновенно убегающую по таким хитрым, умным, хорошим делам. Я завидую всем, кто тебя видит. Ты моя Москва и Рим и маленький Давид. Я тебя наизусть знаю, и ты всегда новая, и всегда слышу тебя, радость. Ау? Надинька!

А у нас тишь да гладь. И только я тихо киплю. Мне весело. Я жду тебя. Я ничего не хочу, кроме тебя.

Я тебе петуха-красавца покажу, который восклицает 300 раз от 4 — до 6 утра. И котенок Пушок всюду бегаёт. И вербочки зеленые.

Подметка чуть отстаёт уже на гвоздиках. Но дня 3 прохожу. Долгов у нас нет. Мы не растратчики. Только телефон много съел. Продержимся до 2-го мая. Вчера я гулял с Наташей в парке. Очень далеко забрался, дальше того павильона. Оттого подметка отвалилась.

Я видел на улице «дядю Леню», который воскрес и задыхаясь бегаёт. Я ему давал медицинские советы, как товарищ по болезни.

На самом же деле я сейчас на редкость здоров и готов к жизни. Мы её начнём, куда бы и где бы ни бросила судьба. Сейчас я буду сильнее стихов. Довольно им помыкать нами. Давай-ка взбунтуемся! Тогда-то стихи запляшут по нашей дудке, и пусть их никто не смеет хвалить. Целую твои умные ясные глаза, твой старенький молоденький лобик. Мама временами остроумна. Ей начинает нравиться наша жизнь. Какой ужас! Надик, приезжай к нам и не отпустим маму. Целую детку мою и жду.

Няня.

Ты не обидишься, что лобик стареньким назвал?

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, <30 апреля 1937 г.>

Родная моя Надинька!

Посылаю выписку и заявление для передачи Ставскому.

Я здоров и спокоен. Ты приедешь, как только сделаешь все необходимое. Думаю, что дольше 5-го оста-

ваться не надо. В крайнем случае приедешь без денег. Не все ли равно? Лишь бы маму отправить.

Заявление свое в Союз Сов<етских> Пис<ателей> я считаю крайне важным.

Но если Ставский найдет, что не стоит подымать вопроса по вздорному поводу — я соглашусь. Я — не склочник. Во всяком случае — покажи ему.

Важно то, что *после* этого в Воронеже оставаться *физически* невозможно. Это — объясни.

Целую тебя, мой родненький. Спешу отправить.

Твой Ося.

В СЕКРЕТАРИАТ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, <около 30 апреля 1937 г.>

В Секретариат Союза Советских Писателей

Уважаемый тов. Ставский!

Прошу Союз Советских Писателей расследовать и проверить позорящие меня высказывания воронежского областного отделения Союза.

Вопреки утверждениям Обл<астного> Отд<еления> Союза, моя воронежская деятельность *никогда* не была разоблачена Обл<астным> Отд<елением>, но лишь голословно опорочена **задним числом**. При первом же контакте с Союзом я со всей беспощадностью охарактеризовал свое политическое *преступление*, а не «ошибку», приведшее меня к адмвысылке.

За весь короткий период моего контакта с Союзом (с октября 34 г. — по август 35 г.) и до последних дней я настойчиво добивался в Союзе и через Союз советского партийного руководства своей работой, но получал его лишь урывками, при постоянной уклончивости руководителей обл<астного> отделения.

Последние 1½ года Союз *вообще* отказывается рассматривать мою работу и входить со мной в переговоры.

Если как художник (поэт) я могу оказать «влияние» на окружающих — то в этом нет моей вины, а между тем это **единственное**, что мне ставится обл<астным>

отд<елением> в вину и кладется в основу убийственных политических обвинений, выводимых из моей воро-
нежской деятельности поэта и литработника.

Располагая моим заявлением к минскому пленуму, содержащим ряд серьезных политических высказываний, — Союз, который это заявление принял и переслал в Москву, до сих пор не объявил его двурушническим, что является признаком непоследовательности.

Принципиальное устранение меня от общения с Союзом никогда не имело места. Летом 35 года мне было заявлено: «Мы вас не считаем врагом, ни в чем не упрекаем, но не знаем, как относится к вам писательский центр, а потому воздерживаемся от дальнейшего сотрудничества». После этого Союз рекомендовал меня (протоколом правления) на работу в городской театр.

Считаю нужным прибавить, что моя работа по другим линиям (театр, радиокомитет) не вызвала никаких общественных осуждений и была неоднократно и серьезно использована после соотв<етствующей> политической проверки. Пресеклась она моей болезнью.

Называя три фамилии (Стефан, Айч, Мандельштам), автор статьи от имени Союза представляет читателю и заинтересованным организациям самим разбираться: кто из трех троцкист. Три человека не дифференцированы, но названы: «троцкисты и другие классово-враждебные элементы».

Я считаю такой метод разоблачения недопустимым.

В результате меня позорят не за мою прошлую вину, а за то положительное, что я пытался сделать после, чтобы искупить ее и возродить себя к новой работе.

Фактически мне инкриминируется то, что я хотел себя поставить под контроль советской писательской организации.

О. Мандельштам

Выписка из статьи О. Кретовой в газете «Коммуна» от 23 апреля 37 года (отчет о пленуме Областного отделения Союза Советских Писателей и статья о задачах литературы):

«...За последние годы в организацию (воронежское обл<астное> отд<еление> союза сов<етских> писателей) пытались проникнуть и оказать свое влияние троцкисты и другие классово-враждебные люди (Сте-

фан, Айч, О. Мандельштам), но были разоблачены*.
Совсем другим было отношение Союза к людям, имевшим ошибки в прошлом, но исправляющим эти ошибки честной работой (воронежские писатели Завадовский и Песков)...»

О. Мандельштам.
Воронеж. 30 апр<еля> 37 г.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, <30 апреля 1937 г.>

Родная доченька Надик,

Сейчас пришли твои 100 р. А у нас еще было все на 1 мая и уже куплено. **Новость:** курица клюнула маму в щеку и поцарапала. Чуть-чуть. Сегодня я сам стоял в бакалейной очереди, а маму усадил на улице на скамейку.

Утром отправил тебе выписку из статьи О. Кретовой в Коммуне от 23 апреля и заявление мое Ставскому в Союз Пис<ателей> по поводу воронежцев.

На всякий случай посылаю в адрес Евг<ения> Як<овлевича> вторую выписку и сокращенное заявление в Союз Сов<етских> Пис<ателей>.

Не знаю, как быть с обувью? Спрошу тебя. Будущее меня не смущает.

Приезжай не позже 6-го. Можно и без денег. *Совершенно все равно.* Бесконечно тебя жду.

Твой Ося.

В. П. СТАВСКОМУ, 30 апреля 1937 г.

Тов. Ставскому.

Прошу вас обратить внимание руководства Союза Сов<етских> Писат<елей> на безответственное обращение с моим именем Воронежского обл<астного> Отд<еления> Союза.

Союз напрасно приписывает себе мое разоблачение. Этого разоблачения *никогда* не бывало.

Союз отказался от сотрудничества со мной 1½ го-

* Второй абзац привожу суммарно, первый — буквально.

да тому назад, мотивируя это «отсутствием директив».

Одновременно он выдал мне *общественную рекомендацию* (пост<ановление> правл<ения>: протокол) для получения мной работы. Выпады (второй печатный) — происходят задним числом.

Вор<онежское> Обл<астное> Отд<еление> Союза инкриминирует мне фактически то, что я искал в Союзе и через Союз советского партийного мнения и руководства.

Включение же трех имен в одни скобки — с тем, чтобы читатель *произвольно* в них разобрался, — абсолютно недопустимо.

О. Мандельштам
30 апр<еля>
37 г.

Выписка из статьи О. Кретовой в газете «Коммуна» (Воронеж) от 23 апр<еля> 37 г. (Отчет о Пленуме Обл<астного> Отд<еления> и статья о задачах литературы)

«...За последние годы в организацию (воронежск<ое> обл<астное> отд<еление> союза сов<етских> писат<елей>) пытались проникнуть и оказать свое влияние троцкисты и другие классово-враждебные люди (Стефан, Айч, О. Мандельштам), но были разоблачены...

*1 Совершенно иным было отношение Союза к людям, совершившим ошибки в прошлом, но старающимся честной работой их исправить (воронежские писатели Песков и Завадовский)».

О. Э. Мандельштам

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 2 мая <1937 г.>

Родная Надинька!

Прости, что пишу на обороте твоих списков. Сохрани листки и привези. Для общезначимости пришлось приписать Наташе старшего брата и сестру, а также постулировать характер будущего мужа. Но то, что я ее уговариваю выйти замуж — это вполне реально.

¹ Так в подлиннике.

Как видишь, я занимаюсь вздором и далек от мрачных мыслей. Впрочем, день на день не похож. Сегодня утром мы с мамой пошли искать туфли на улице Сити (Syty Street)? Так? Я купил страшные синие — 25 р. К ним я хотел купить зеленые носки (при коричневых брюках), но мама не позволила. При этом старик-приказчик поговорил со мной о музыке (концертный знакомец).

Неужели нашлись любители на «Солдата»? Я хочу поблагодарить лично этих добряков. У нас испортился штепсель от машинки, и Адр<иан> Фед<орович> приделал к ней сложную висюльку, которая тоже портится. Но свет вообще отсыхает, и я пишу при лампе и свече.

Родненькая, прости, что я болтаю, когда ты накануне напряженья и т. д. Мне кажется, что мы должны перестать *ждать*. Эта способность у нас иссякла. Все что угодно, кроме ожидания. Нам с тобой ничего не страшно. (Свет зажегся.) Мы вместе бесконечно, и это до такой степени растет, так грозно растет и так явно, что не боится *ничего*. Целую тебя, мой вечный и ясный друг. Услышу тебя скоро, увижу и обниму.

Твой муж. Няня.

<К письму был приложен автограф ст-ния «Клейкой клятвой липнут почки...», датированный 2 мая 1937 г., с пометкой на полях против строфы 6: Хорошо!>

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 4 мая <1937 г.>

Надик родной!

Приезжай поскорей. Дышать без тебя трудно. Весна не в радость. Приезжай скорей. Сегодня пришли два твоих письма от 29 и 30. У тебя сразу трое гостей. Почти как дома. Казалось, что я тоже? Да? И что я ругаю Эмму? Ты меня дураком не ругай: я все понимаю — только очень глупый. Детка моя, ты минуты лишней не останешься, в крайнем случае еще поедешь (?). Нет, *не* поедешь! **Неопределенно** ты сидеть не будешь. Если переговоры примут бесформенный характер. Мне кажется: то, что можно и хотят — сделают *сразу*.

Вчера ночью я сбежал от мамы, как испанка от ста-

рой дуэньи. В 12 ч. в окно постучали Наташа и ее Борис. Мама спала. Я тайно выкрался, и пошли в Бристоль. Борис поставил на троих одну свиную котлету, три апельсина и бутылку Бордо. Я принес маме апельсин и положил под подушку. Она проснулась и сказала: я не маленькая. Она *не заметила*, что я уходил. Только что пришло письмо от Рудакова. Разобрал его с колоссальным трудом. Он пишет (кажется?), что стихи неровные и что передать это можно только в разговоре. Большое новое идет от стихов о русской поэзии? Да?

Сейчас был в книжном магазине — большом. Там изумительные «Металлы Сассанидов» Эрмитажа. 50 р. Добрая продавщица мне отложила. Как видишь, я сумасшедший дурак. А эти блюдечки персов мы все-таки купим. Такие уж мы уроды. Деточка, приезжай скорей — Няня без тебя задохнется. Он больше не может мотаться и ждать. Ау? Надик? Ау? Скорей.

Няня.

Надик, не смей отнимать у себя денег. Нам нужны гроши. Сейчас я перешел на другую сторону улицы и увидел мамину фигурку — она трогательная. Она — вся твоя. Она крошечный Дант-старушка.

<Приписка В. Я. Хазиной:>

Привези Эммочке книжечку, она еще безграмотная, она заботится о нас.

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 4 мая <1937 г.>

4 мая./второе письмо.

Надик солнышко!

Только пришел домой и сочинил безделицу. Ее прилагаю. Горько и пусто мне сочинять без тебя. Мама — равнодушна к «Квакушам», «Наташу» хвалит, и «Черемуху» промолчала.

Дней 10 назад я поссорился с нашей хозяйкой из-за петуха [я кричал о петухе в пространство: она приняла пафос на свой счет] (очень деликатно, но все же она говорила кислые слова). Все это забыто. Деликатность удивительная. Денег не брала. Терпенье сверх меры.

По поводу же нападения курицы на маму. Никакой

царапины серьезной нет. Шрам заживает. Черт знает какой вздор пишу. Гоголь такого не выдумает.

Солнышко мое, если тебя неудача постигнет, умоляю тебя, приезжай веселая. Помни, что нам с тобой отчаиваться стыдно. Кто его знает, что будет? Что-нибудь... Переживем... Вот как, дитя мое.

И еще умоляю, если удержишься: не отказывай себе. Не балуй нас. Целую тебя, мой родной.

Няня твоя...

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ, 7 мая <1937 г.>

Надик, дитя мое родненькое!

Вчера пришло твое письмо от 4-го, сегодня от 2-го. Детка, да тебе там делать нечего. У тебя Москва пустая? Куда ты тычешься? Как время тянешь?

А я совсем скис. И стихи побросал. И места себе не нахожу. Телефон взяли сегодня вечером под радио, а то бы услышал голос твой. Не хочу новостей. Хочу Надин голос. Последние дни я почти свободно выхожу один, изумляя воронежцев своей одинокой фигурой. Вчера раскачался даже к Наташе. Только в трамвае № 3 чуть-чуть испугался. На сватовские стихи Наташа говорит, что они «что-то знакомое — вроде Лермонтова», т. е. вторичны, литература. Маленький парк ценит. А «Железо» — это и есть железо. Она работает сейчас по 10 часов и почти не заходит. Мы с мамой абсолютно одни. Мы да кошка с сыном. Мама разучилась со мной ссориться. Царапина от куриной лапы почти исчезла. Мама постирала мне синюю рубашку и твое бельишко. На персов я только облизываюсь. Ничему хорошему не верю. Так лучше. А твоя звездочка — чу-чу — очень как хороша. Все больше. Надик, привези мою прозу. Если будем жить — выучи меня англичанам. 75 р. пришли сегодня. Прошлый раз телеграфист пил у нас чай. Надик, от письма легче: начинаю болтать и улыбаться.

Я жду тебя, моя жена, моя дочка, мой друг. Скорей, скорей.

Твоя Няня.

Сейчас пойду *сам* опущу письмо около «Коммуны».

Е. Я. ХАЗИНУ, 15 мая 1937 г. [телеграмма]

Возвращаемся домой Надя Ося мама дошлите денег

А. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ и Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ¹

[30 ноября 1938 г.]

Дорогой Шура!

Я нахожусь — Владивосток, СВИТЛ², 11-й барак. Получил 5 лет за К. р. д.³ по решению ОСО⁴. Из Москвы, из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощен до крайности. Исхудал, неузнаваем почти. Но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Надинька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.

Родные мои, целую вас.

Ося.

Шурочка, пишу еще. Последние дни я ходил на работу, и это подняло настроение.

Из лагеря нашего как транзитного отправляют в постоянные. Я, очевидно, попал в «отсев», и надо готовиться к зимовке.

И я прошу: пошлите мне радиogramму и деньги телеграфом.

¹ Последнее письмо О. Мандельштама, пришедшее в Москву из лагеря во Владивостоке.

² СВИТЛ — Северо-восточные исправительно-трудовые лагеря.

³ К. р. д. — контрреволюционная деятельность.

⁴ ОСО — Особое совещание.

О. МАНДЕЛЬШТАМ

**ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
ДРУГИХ ЛЕТ**

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...

1906

Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки;
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.

О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!

1908

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Всё большое далёко развеять.
Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.

1908

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло,

Запечатлевается на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пушкой мгновения стекает муть —
Узора милого не зачеркнуть!

1909

В самом себе, как змей, таясь,
Вокруг себя, как плющ, висясь, —
Я поднимаюсь над собою:

Себя хочу, к себе лечу;
Крылами темными плещу,
Расширенными над водою;

И, как испуганный орел,
Вернувшись, больше не нашел
Гнезда, сорвавшегося в бездну, —

Омоюсь молнии огнем
И, заклиная тяжкий гром,
В холодном облаке исчезну!

1910

SILENTIUM*

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В черно-лазоревом сосуде.

Да обретут мои уста
Первоначальную нембту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

1910

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:
«Который час?» — его спросили здесь,
А он ответил любопытным: «вечность».

1912

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Георгию Иванову

Поедем в Царское Село!
Там улыбаются мещанки,
Когда гусары после пьянки
Садятся в крепкое седло...
Поедем в Царское Село!

* Silentium (лат.) — молчание, безмолвие.

Казармы, парки и дворцы,
А на деревьях — клочья ваты,
И грянут «здравия» раскаты
На крик «здорово, молодцы!»
Казармы, парки и дворцы...

Одноэтажные дома,
Где однодумы-генералы
Свой коротают век усталый,
Читая «Ниву» и Дюма...
Особняки — а не дома!

Свист паровоза... Едет князь.
В стеклянном павильоне свита!..
И, саблю волоча сердито,
Выходит офицер, кичась, —
Не сомневаюсь — это князь...

И возвращается домой —
Конечно, в царство этикета.
Внушая тайный страх, карета
С мощами фрейлины седой —
Что возвращается домой...

1912

АЙЯ-СОФИЯ

Айя-София — здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!,
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи, подвешен к небесам.

И всем векам — пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.

Но что же думал твой строитель щедрый,
Когда, душой и помыслом высок,
Расположил апсиды и экседры,
Им указав на запад и восток?

Прекрасен храм, купающийся в мире,
И сорок окон — света торжество;
На парусах, под куполом, четыре
Архангела — прекраснее всего.

И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот.

1912

NOTRE DAME

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, — и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб и всюду царь — отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

1912

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОФЫ

Н. Гумилеву

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна — как броненосец в доке —
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади Сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка.

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

1913

От легкой жизни мы сошли с ума;
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?

В пожатьи рук мучительный обряд,
На улицах ночные поцелуи —
Когда речные тяжелеют струи
И фонари, как факелы, горят.

Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.

1913

АВТОПОРТРЕТ

В поднятьи головы крылатый
Намек — но мешковат сюртук;
В закрытьи глаз, в покое рук —
Тайник движенья непочатый;

Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость, —
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!

1914

АХМАТОВА

Вполоборота — о, печаль! —
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.

Зловещий голос — горький хмель —
Души расковысывает недра:
Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

1914

О временах простых и грубых
Копыта конские твердят,
И дворники в тяжелых шубах
На деревянных лавках спят.

На стук в железные ворота
Привратник, царственно-ленив,
Встал, и звериная зевота
Напомнила твой образ, скиф,

Когда с дряхлеющей любовью,
Мешая в песнях Рим и снег,
Овидий пел арбу воловью
В походе варварских телег.

1914

Природа — тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде роши.

Природа — тот же Рим! И, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить —
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!

1914

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью брэнной:
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной.

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны;
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари!

1914

Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?

И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине;
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!

Я получил блаженное наследство —
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.

И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет;
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

1914

ЕВРОПА

Как средиземный краб или звезда морская,
Был выброшен водой последний материк;
К широкой Азии, к Америке привык,
Слабеет океан, Европу омывая.

Изрезаны ее живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья;
Немного женственны заливы очертанья:
Бискайи, Генуи ленивая дуга.

Завоевателей исконная земля,
Европа в рубище Священного союза;
Пята Испании, Италии медуза,
И Польша нежная, где нету короля;

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, —
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

1914

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи —
На головах царей божественная пена —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот, Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

1915

Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:

— Как эти покрывала мне постылы...

Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира:
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит:
Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданьем крепнет голос,
И достигает скорбного закала
Негодованьем раскаленный слог...

Я опоздал на празднество Расина...

Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсиновой коркой,
И словно из столетней летаргии
Очнувшийся сосед мне говорит:
— Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!

Когда бы грек увидел наши игры...

1915

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.

Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, —
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

1916

Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы,
И ошетинился убийца-броневик,
И пулеметчик низколобый —

Керенского распять потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала, —
Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
Чтоб сердце биться перестало!

И укоризненно мелькает эта тень,
Где зданий красная подкова;
Как будто слышу я в октябрьский тусклый день:
Вязать его, щенка Петрова!

Среди гражданских бурь и яростных личин
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея.

И если для других восторженный народ
Венки свивает золотые —
Благословить тебя в глубокий ад сойдет
Стопою легкою Россия!

Ноябрь 1917

Кто знает, может быть, не хватит мне свечи,
И среди бела дня останусь я в ночи,
И, зернами дыша рассыпанного мака,
На голову надену митру мрака,

Как поздний патриарх в разрушенной Москве.
Неосвященный мир неся на голове,
Чреватый слепотой и муками раздора,
Как Тихон — ставленник последнего собора!

Ноябрь 1917

ДЕКАБРИСТ

— Тому свидетельство языческий сенат —
Сии дела не умирают!
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.

Шумели в первый раз германские дубы.
Европа плакала в тенетах.
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит.
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.

— Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.

Всё перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Всё перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

1917

КАССАНДРЕ

Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре — торжественное бденье —
Воспомянье мучит нас!

И в декабре семнадцатого года
Всё потеряли мы, любя:
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...

Когда-нибудь в столице шалой,
На скифском празднике, на берегу Невы,
При звуке омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы...

Но если эта жизнь — необходимость бреда
И корабельный лес — высокие дома, —
Лети, безрукая победа,
Гиперборейская чума!

На площади с броневиками
Я вижу человека: он
Волков горящими пугает головнями —
Свобода, равенство, закон!

1917

Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенёт.
Восходишь ты в глухие годы —
О солнце, судия, народ!

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть — тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые
Связали ласточек — и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети — сумерки густые —
Не видно солнца и земля плывет.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи
Как плугом океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам строила земля.

1918

TRISTIA

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье,
Последний час вигилий городских.
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели вдаль заплаканные очи
И женский плач мешался с пеньем муз.

Кто может знать при слове — расставанье,
Какая нам разлука предстоит?
Что нам сулит петушьё восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит?
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сенях лениво вол жуёт,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьёт?

И я люблю обыкновенье пряжи:
Снуёт челнок, веретено жужжит.
Смотри: навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Делия летит!
О, нашей жизни скудная основа!
Куда как беден радости язык!
Всё было встарь. Всё повторится снова.
И сладок нам лишь узнаванья миг.

Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск — что для мужчины медь,
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано гадая умереть.

1918

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать —
Как я ненавижу пахучие, древние срубы!

Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко.
Никак не уляжется крови сухая возня,
И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.

Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел?
Зачем преждевременно я от тебя оторвался?
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.

Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные ребра,
Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла,
И трижды приснился мужам соблазнительный образ.

Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.

Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серую ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,
На стогах, шершавых от долгого сна, шевелится.

1920

Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.

Я больше не ревную,
Но я тебя хочу,
И сам себя несу я,
Как жертву палачу.
Тебя не назову я
Ни радость, ни любовь,
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.

Еще одно мгновенье,
И я скажу тебе:
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный в смятении
Вишневый нежный рот.

Вернись ко мне скорее,
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя,
И всё, чего хочу я,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову.

1920

ВЕК

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка
Век младенческий земли.
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать.
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну колышет
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей
И горящей рыбой мечет
В берег теплый хрящ морей.

И с высокой сетки птичьей,
От лазурных влажных глыб
Льется, льется безразличье
На смертельный твой ушиб.

1922

Нет, никогда, ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О, как противен мне какой-то соименник —
То был не я, то был другой.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.

Я с веком поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших,
И мне гремучие рассказывали реки
Ход воспаленных тяжб людских.

Сто лет тому назад подушками белела
Складная легкая постель,
И странно вытянулось глиняное тело —
Кончался века первый хмель.

Среди скрипучего похода мирового
Какая легкая кровать!
Ну что ж, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.

И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
Век умирает, а потом —
Два сонных яблока на роговой облатке
Сияют перистым огнем!

1924

Сегодня ночью, не солгу,
По пояс в тающем снегу
Я шел с чужого полустанка.
Гляжу — изба, вошел в сенцы:
Чай с солью пили чернецы,
И с ними балует цыганка...

У изголовья вновь и вновь
Цыганка вскидывает бровь,
И разговор ее был жалок;
Она сидела до зари
И говорила: «Подари
Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок».

Того, что было, не вернешь,
Дубовый стол, в солонке нож,
И вместо хлеба — еж брюхатый;
Хотели петь — и не смогли,
Хотели встать — дугой пошли
Через окно на двор горбатый.

И вот проходит полчаса,
И гарницы черного овса
Жуют, похрустывая, кони;
Скрипят ворота на заре
И запрягают на дворе;
Теплеют медленно ладони.

Холщовый сумрак поредел,
С водою разведенный мел,
Хоть даром, скука разливает,
И сквозь прозрачное рядно
Молочный день глядит в окно
И золотушный грач мелькает.

1925

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда — так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин.

Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери —
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

Январь 1931

Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь — за твою рабу...
В Петербурге жить — словно спать в гробу.

Январь 1931

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья —
И ни крупницей души я ему не обязан,
Как я ни мучал себя по чужому подобию.

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к nereидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европейнок нежных,
Сколько я принял смущенья, насады и горя!

Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее,
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.

Не потому ль, что я видел на детской картинке
Леди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива...

1931

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Всё лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.

Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.

Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну а мне — соленой пеной
По губам.

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.

Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли,
Всё равно.
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино!

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Всё лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.

1931

Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наворачивал,
Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,
Затверженную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть...

Что, Александр Герцович,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там! Всё равно!

Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит —

Нам с музыкой-голубою
Не страшно умереть,
Там хоть вороньей шубою
На вешалке висеть...

Всё, Александр Герцович,
Заверчено давно,
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там! Всё равно!

27 марта 1931

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей —
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей —
Запихай меня лучше, как шапку в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе, —

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

17—28 марта 1931

Ночь на дворе. Барская лжа:
После меня хоть потоп.
Что же потом? Хрип горожан
И толкотня в гардероб.

Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж назубок:
Шапку в рукав, шапкой в рукав —
И да хранит тебя Бог!

Март 1931

Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину Москвы.
Я — трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.

Мы с тобою поедem на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет,
А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог.

И едва успеваешь, грозит из угла —
«Ты как хочешь, а я не рискну!» —
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объехать всю курву-Москву.

Апрель 1931

НЕПРАВДА

Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
— Дай-ка я на тебя погляжу —
Ведь лежать мне в сосновом гробу.

А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.

— Захочу, — говорит, — дам еще...
Ну а я не дышу, сам не рад...
Шасть к порогу — куда там... В плечо
Уцепилась и тащит назад.

Вошь да глушь у нее, тишь да мша,
Полуспаленка, полутюрьма.
— Ничего, хороша, хороша...
Я и сам ведь такой же, кума.

4 апреля 1931

Сохрани мою речь навсегда за привкус
несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный
деготь труда.
Как вода в новгородских колодцах должна быть
черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью
плавниками звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой
грубый,

Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье —
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи —
Как, прицелясь насмёрть, городки зашибают

в саду, —
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной

рубaxe
И для казни петровской в лесах топориче найду.

3 мая 1931

ЛАМАРК

Был старик, застенчивый, как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх...
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну конечно, пламенный Ламарк.

Если всё живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольцецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех...

1932

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Еще обиду тянет с блюда
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях.

Линяет зверь, играет рыба
В глубоком обмороке вод —
И не глядеть бы на изгибы
Людских страстей, людских забот.

1932

ИМПРЕССИОНИЗМ

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.

Он понял масла густоту;
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.

А тень-то, тень — все лиловей!
Свисток иль хлыст как спичка тухнет.
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.

Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом сумрачном развале
Уже хозяйничает шмель.

1932

БАТЮШКОВ

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.

Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
Ни у кого — этих звуков изгибы...
И никогда — этот говор валов...

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:
Я к величаньям еще не привык;
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык...

Что ж! Поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан...

1932

Дайте Тютчеву стрекозу —
Догадайтесь, почему.
Веневитинову — розу,
Ну а перстень — никому.

Баратынского подошвы
Раздражают прах веков.
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.

А еще над нами волен
Лермонтов — мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.

1932

К НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ

Б. С. Кузину

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Поедимся ж серьезности и чести
На Западе у чуждого семейства.

Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера:
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера.

Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гёте не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи?

И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб — ступеньками, без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.

Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык — он мне не нужен.

Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился. Слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

1932

Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым,
Как был при Врангеле — такой же виноватый.
Комочки на земле. На рубищах заплаты.
Все тот же кисленький, кусающийся дым.

Все так же хороша рассеянная даль.
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят как пришлые, и вызывает жалость
Пасхальной глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украйны и Кубани...
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.

Лето 1933

Москва. После Крыма.

Квартира тиха, как бумага,
Пустая, без всяких затей,
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.

Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Выдавшие виды манатки
На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.

Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни бойчей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Колхозному баю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель,
Такую ухлопает моль.

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать —
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

1933

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому
в глаз.

Что ни казнь у него — то малина,
И широкая грудь осетина.

Ноябрь 1933

ИЗ «ВОСЬМИСТИШИЙ»

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то — четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.

И так хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг,
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.

1933

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.

Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружились листья,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

1933

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч,
Усмирен мужской опасный норев,
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры. На, возьми,
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми!

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестриносский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный...
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ...

Не серчай, турчанка дорогая,
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь;

Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария, — гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить, уснуть,
Я стою у твердого порога.
Уходи. Уйди. Еще побудь.

1934

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.

Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да веревки вязать.

Твоим нежным ногам по стеклу босиком,
По стеклу босиком да кровавым песком...

Ну а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

1934

ЧАРЛИ ЧАПЛИН

Чарли Чаплин
вышел из кино,
Две подметки,
заячья губа,
Две гляделки,
полные чернил
И прекрасных
удивленных сил.
Чарли Чаплин —
заячья губа.
Две подметки —
жалкая судьба.
Как-то мы живем неладно все —
чужие, чужие...

Оловянный
 ужас на лице,
Голова
 не держится совсем.
Ходит сажа,
 вакса семенит,
И тихонько
 Чаплин говорит:
«Для чего я славен и любим
 и даже знаменит...»
И ведет его шоссе большое
 к чужим, к чужим...

Чарли Чаплин,
 нажимай педаль,
Чаплин, кролик,
 пробивайся в роль,
Чисти корольки,
 ролики надень,
А твоя жена —
 слепая тень, —
И чудит, чудит чужая даль...
Отчего
 у Чаплина тюльпан?
Почему
 так ласкова толпа?

Потому —
 что это ведь Москва!
Чарли, Чарли,
 надо рисковать,
Ты совсем
 не вовремя раскис,
Котелок твой —
 тот же океан,
А Москва
 так близко, хоть влюбись
В дорогую дорогу...

1937

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Сравнительно недавно, после многих лет запретов и молчания, публикация в местной газете стихов О. Э. Мандельштама и статьи о нем выглядела событием. Когда в 1988 г. в воронежской газете «Молодой коммунар» (№ 34, 19 марта) такая публикация появилась, этим хотелось гордиться, но, конечно, это было лишь каплей в море — слишком незначительной долей в накопившемся долге перед памятью о поэте.

Сейчас выходит этот том, где впервые собраны как стихи, написанные Мандельштамом в Воронеже, так и многочисленные материалы, или объясняющие их появление и смысл, или сопутствующие им, — статьи, письма, воспоминания, выступления прессы тех лет. Удивительное явление «Воронежских тетрадей» тем яснее обнаруживает свою значительность, если увидеть его в сложной панораме эпохи середины 30-х годов, в разногласии мнений поэта, его друзей и единомышленников, его оппонентов и врагов.

Хотя «Воронежские тетради» уже печатались отдельным изданием (из известных мне — книга, подготовленная В. Швейцер и выпущенная в Анн-Арборе (США), и перевод «Тетрадей» на голландский язык, вышедший в Амстердаме (Нидерланды), подобного сборника не было. Это — первый опыт, проба. Книга не носит научного характера и, может быть, не совсем полна. Она адресована широкой аудитории — любителям поэзии и читателям, интересующимся историей и культурой родного края.

До сих пор как следует не обосновано художественное единство «Воронежских тетрадей», не выяснены все реалии, не объяснен смысл отдельных стихотворений.

Догадок и гипотез больше, чем проверенного, взвешенного знания. Но хочется верить, что недалеко то время, когда «Воронежские тетради» будут опубликованы в безупречной текстологии и с исчерпывающими комментариями, когда разъяснятся все реалии периода, проведенного поэтом в нашем городе. Сейчас же — первая попытка, с почти неизбежными пропусками, а может быть, и неточностями. Но хотелось бы думать, что и этот пробный сборник достаточно интересен, что панорама эпохи 30-х годов с воронежской привязкой впечатляюща, а на фоне трагической истории страны и воронежского края лучше различимы и творческий подвиг поэта, и замечательная, непреходящая ценность его последней стихотворной книги.

Издание посвящается памяти наших замечательных, уже ушедших земляков — Натальи Евгеньевны **Штемпель**, дружившей с Мандельштамом во время его подневольного пребывания в Воронеже, воспетой им, сохранившей его стихи и другие тексты, и Виктора Леонидовича **Гордина**, преждевременно закончившего свою жизнь уже в другой стране, но много сделавшего для возобновления памяти о поэте у нас в Воронеже.

Эта книга не могла бы появиться без тех накоплений, которые сделала наша наука в последние десятилетия. За советы и ценную информацию, за интерес к этому изданию в процессе работы над ним и поддержку хотелось бы поблагодарить О. Г. Ласунского и Л. Е. Кройчика, А. Б. Ботникову и З. Я. Анчиполовского, А. С. Крюкова и Б. А. Фирсова, В. М. Акаткина и А. Н. Акиншина.

Более подробные сведения о творчестве О. Э. Мандельштама и его жизненном пути можно найти в следующих изданиях:

Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. [Репринт. американского издания 1967—1981 гг.] Под ред. Г. Струве и Б. Филиппова. М.: Terra, 1991.

Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. [Издание, подготов. Мандельштамовским обществом.] Сост. и авторы комментариев П. Нерлер, А. Никитаев, Ю. Фрейдин, С. Василенко. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993—1997.

Мандельштам Осип. Соч.: В 2 т. Сост. С. С. Аверин-

цева и П. М. Нерлера. Подг. текста и коммент. А. Д. Михайлова и П. М. Нерлера. М.: Худ. лит., 1990.

Мандельштам Осип. Камень. Изд. подготовили Л. Я. Гинзбург, А. Г. Мец, С. В. Василенко, Ю. Л. Фрейдин. Л.: Наука, 1990. [Серия «Лит. памятники»].

Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1990.

Слово и судьба. Осип Мандельштам. Исследования и материалы. М.: Наука, 1991.

«Отдай меня, Воронеж...» Третьи международные Мандельштамовские чтения. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1995.

К 100-летию со дня рождения О. Э. Мандельштама: журнал «Лит. обозрение», 1991, № 1.

Штемпель Н. Е. Мандельштам в Воронеже. Воспоминания. М., 1992.

Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб.: Инапресс, 1998.

Воспоминания о серебряном веке. Сост., автор предисл. и коммент. Вадим Крейд. М.: Республика, 1993.

Шенталинский Виталий. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М.: Парус, 1995. Об О. Мандельштаме — стр. 222—255.

Филологические записки. Вып. 2. Воронеж, 1994.

Струве Никита. Осип Мандельштам. London, 1990. Книга переиздана в Томске (Водолей, 1992).

Сарнов Бенедикт. Заложник вечности. Случай Мандельштама. М.: Книжная палата, 1990.

Черашняя Д. Этюды о Мандельштаме. Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та, 1992.

Нерлер П. «С гурьбой и гуртом...»: Хроника последнего года жизни О. Э. Мандельштама. М.: Радикс, 1994 (Записки Мандельштам. общ-ва, т. 3).

Рассадин Станислав. Очень простой Мандельштам. М.: Книжный сад, 1994.

Лекманов О. А. Опыты о Мандельштаме // Ученые записки Московского культурологического лицея № 1310. Серия: филология. Вып. 1. М., 1997.

Карпов А. С. Осип Мандельштам. Жизнь и судьба. М., 1998.

Гордин В. Л. Мандельштамовский Воронеж // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1990.

Штемпель Н. Е. Воронежские адреса Мандельшта-

ма // Лит. учеба, 1991. Кн. первая: январь — февраль.
Гыдов Василий. О. Мандельштам и воронежские писатели. (По воспоминаниям М. Я. Булавина.) // «Сохрани мою речь...» Записки Мандельштам. общ-ва, т. 4, № 2. М., 1993.

«Воронежские тетради» О. Мандельштама, за исключением стихотворения «Эта область в темноводье...», печатаются по изданию: Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений. Вступ. ст. М. Л. Гаспарова и А. Г. Меца. Сост., подгот. текста и примеч. А. Г. Меца. СПб.: Академический проект, 1997 (Новая библиотека поэта).

«Листки из дневника» А. Ахматовой — по изданию: Ахматова Анна. Requiem. М.: Изд-во МГПИ, 1989.

Отрывки из двух книг Н. Мандельштам (с незначительными сокращениями) — по изд.: Мандельштам Надежда. Воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970; Она же. Вторая книга. Париж: УМСА-PRESS, 1972. Отрывки из комментария Н. Мандельштам к воронежским стихам — по сб. Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1990.

Воспоминания Н. Е. Штемпель — по публикации в журнале «Новый мир» (1987, № 10) — с исправлениями автора, сделанными после выхода журнала.

Отрывки из писем С. Б. Рудакова — по публикациям: Герштейн Эмма. Мандельштам в Воронеже // Подъем, 1988, № 6—10; О. Э. Мандельштам в письмах С. Б. Рудакова к жене 1935—1936. Вступ. статья Е. А. Тоддеса и А. Г. Меца. Публикация и подгот. текста Л. Н. Ивановой и А. Г. Меца. Комментарии А. Г. Меца, Е. А. Тоддеса, О. А. Лекманова // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1993 год. Материалы об О. Э. Мандельштаме. СПб.: Академический проект, 1997.

Отрывки из писем П. И. Калецкого — по статье: Нерлер П. М. Павел Калецкий и Осип Мандельштам // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1990.

Воспоминания Я. Я. Рогинского — по публикации С. М. Марголиной в том же сборнике.

Письма и документы в разделе «Из начальственной переписки...» — по статье: Нерлер П. Он ничему не на-

учился... О. Э. Мандельштам в Воронеже: новые материалы // Литерат. обозрение, 1991, № 1.

Воспоминания О. Кретовой — по сб. Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама.

Статьи, радиокомпозиция, наброски О. Мандельштама — по изданию: Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1994.

Письма О. Мандельштама — по изданию: Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1997.

Избранные стихотворения О. Мандельштама — по кн.: Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений. СПб., 1997.

КАК ЧИТАТЬ СТИХИ О. МАНДЕЛЬШТАМА?

(Напутствие неискушенному читателю)

Однажды, исполненный решимости, сделав закладки в томике О. Мандельштама, я пошел к Н. Е. Штемпель, чтобы наконец узнать точный смысл некоторых непонятных мне стихотворений поэта. Наталья Евгеньевна, узнав о цели моего прихода, рассмеялась и сказала, что до сих пор тоже не понимает иных стихотворений, строф, образов. Такие же признания есть и у великого знатока творчества Мандельштама Надежды Яковлевны, на глазах которой рождалось большинство его стихотворных произведений.

Проблема понятности отдельных поэтических сочинений Мандельштама, конечно, встает перед читателем. Есть не поддающиеся логической расшифровке стихи и в «Воронежских тетрадах». С. Б. Рудаков, историк русской поэзии, специалист-текстолог, которому опальный поэт доверил, казалось бы, ключ к своему поэтическому миру, позднее, однако, недоумевал: причем здесь Лермонтов в первой части «Стихов о неизвестном солдате»?.. Проблема ставит в тупик после утверждения Мандельштама: «Мы — смысловики»...

Бьются над этой проблемой и ученые. Э. Г. Герштейн объясняет: многие образы и стихотворные обозначения поэта имеют «даже не двойной смысл, а несут нагрузку нескольких смыслов, как бы вмурованных в одну строку». Сам Мандельштам сформулировал: «я мыслю опущенными звеньями...» Существуют разные определения его образного языка: «бормотание», «высокое косноязычие» (Н. Гумилев), «поэтика ассоциа-

ций» (Л. Я. Гинзбург), «поэтика недоговоренности» (М. Л. Гаспаров). Есть стремление увидеть во всех загадочных и «темных» местах мандельштамовской поэзии «эзопов язык» — сознательное утаивание смысла, зашифровку его в иносказании (по этому пути пошла финская исследовательница И. Месс-Бейер, слишком расширившая границы этого «языка»).

Вынужденное утаивание смысла было, Мандельштам, как и многие наши поэты в XIX и XX вв., умел работать с иносказанием и намеками, аллюзиями. К этому принуждало общественное давление, прямое вмешательство политической системы в творчество, которое немислимо без свободы. Н. Я. Мандельштам в «Воспоминаниях» свидетельствует: «В стихах тридцатых годов есть и совершенно прямые, в лоб, высказывания и сознательная зашифровка смысла. В Воронеже к нам однажды пришел «любитель стихов» полувоенного типа, то, что мы теперь называем «искусствовед в штатском», только погрубее, и долго любопытствовал, что скрывается под «бежит волна волной, волне хребет ломая»... Уж не про пятилетки ли?» О. М. расхаживал по комнате и удивленно спрашивал: «Разве?..» «Как быть, — спросила я потом О. М., — если они во всем будут искать скрытый смысл?». «Удивляться», — ответил О. М. <...> искреннее удивление могло если не спасти, то во всяком случае облегчить участь. Идиотизм и полное непонимание вещей у нас ценилось и служило отличной ширмой»... И тем не менее поэзию замечательного поэта не свести лишь к скрытым политическим оценкам, она и больше, глубже этого.

Думается, читатель, в первый раз открывший томик стихов Мандельштама, прежде всего должен сознавать, что его поэзия в поздний период (а это в значительной мере относится к воронежским годам) принадлежит к той стихотворной традиции, которая в первую очередь основана на звучании, на музыке слова и звука, на ритмико-интонационном богатстве. Даже логически непонятные стихи завораживают: отключается их рациональное постижение, но вступает в силу то восприятие, которое помогает нам привязываться к той или иной мелодии, различать их. Когда мы в первый раз слышим песню или романс — порой на иностранном языке, мы миримся с тем, что многое нам непонятно в логическом

отношении. В такой же манере писали В. Хлебников и М. Цветаева, несмотря на то, что каждый не похож друг на друга.

Встречается мнение (у Э. Г. Герштейн, например), что Мандельштам иногда и сам не понимал, что хотел сказать своими стихами и откуда появился тот или иной образ. Может быть, порой так и бывало. Но есть ли в этом отступление от правил деятельности поэта? Вспоминается Платон: «был я у поэтов, не знают они, что творят...» Поэт — совершенно особый духовный организм, через которого говорит Бог, природа, язык с его законами. И если бы все в его вдохновенной деятельности поддавалось рациональному вычислению, не было бы возможно чудо стихотворений «Я вас любил...» или «Превратила все в шутку сначала...» Тому, кто тянется к поэзии в наш прозаичный век, кому открылась ее властная сила, надо знать ее законы. А еще у каждого настоящего поэта есть свои индивидуальные, особенные правила. Объясняя образы другого поэта, Мандельштам убеждающе говорит: «поэт так хотел сказать»!.. И для него это серьезнейшее основание. Как бы ведомый силами, высказывающимися через него, поэт не всегда властен в своей песне. Но складывая ее, он выражает общезначимое, нужное людям.

Загадки создателя «Воронежских тетрадей» все-таки объяснимы. «Короткий стих, в несколько десятков слов, оказывается воронкой, втягивающей в себя бесконечные слои смысла» (Б. Гаспаров). И одни смыслы обращены к разуму читателя. Мандельштам вполне владел даром понятной, членораздельной речи, в его статьях она приобретает часто афористический характер. Стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны» или «Жил Александр Герцович...» вполне логичны и понятны. Но есть и другие, обращенные в первую очередь к подсознанию читателя и его эстетическому чувству. Иногда они действительно загадочны по своему содержанию. В «Воронежских тетрадях» это «Внутри горы бездействует кумир», «Где связанный и пригвожденный стон?» и др. Но в лирическом дневнике, каким являются тетради, уместны тексты неясные, передающие предощущение, летучее настроение, начало рождающейся мысли. Иногда поэт еще не уловил в логической форме то, что просится к воплощению в слове, а порой

он перешагивает через логику, чтобы схватить новое впечатление или передать сильное переживание.

При этом Мандельштам далеко не всегда отказывается от мощи своего аналитического, проникающего ума:

Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам...

В этом стихотворении («Вооруженный зреньем узких ос...») он обыгрывает словесный ряд, связанный по звучанию с его именем: Осип — осы — ось... Но игра слов создает новый смысл, естественно, по правилам музыки и звукозаписи возникающий из языковых связей. Очень часто этот смысл рождается на грани логики и самых глубинных, неожиданных, подобных открытию впечатлений и ощущений:

Люблю морозное дыханье
И пара зимнего признание:
Я — это я; явь — это явь...

Нельзя не согласиться: перед нами по преимуществу «не ребус, не тайнопись — а музыка» (С. Аверинцев). Если же «ребус», то невольный, а «тайнопись» — та, которая присуща поэзии изначально. В последний период творчества у Мандельштама продолжает действовать правило «говорить словом», но в 30-е годы и особенно в «Воронежских тетрадах» слово уже живет по каким-то другим, более сложным законам, чем в поэзии акмеистов, открывает свои неведомые раньше качества, показывая удивительное богатство нашего языка.

К поэтической классике, по-видимому, относится известнейшее стихотворение «Может быть, это точка безумия...» Мандельштам сказал: «Это моя архитектура»... Раздумье о загадке жизни, о тайне соединения людей и земного воплощения человека — разве можно его исчерпывающе пересказать на логическом языке? И «архитектура» его сложнейшая... Угадывается лишь внешнее подобие традиционному построению с начальным тезисом, дальнейшим развитием мысли в виде образного доказательства и конечным выводом-итогом. На самом деле в первой строфе скорее задан вековечный вопрос — бытийный, соединяющий философию с психологией, определяющий и судьбу личности, и отношения двух людей. Разгадка возникновения жизни отдель-

ного человека и переплетений людских судеб дается через развитие зрительно-архитектурного образа, который сегодня можно увидеть в компьютерной графике и который поэт вряд ли в то время мог наблюдать даже в какой-нибудь научной лаборатории. И скорее нам предложена не разгадка, а предположение о разгадке, как ее зрительно и словесно представил автор. Последняя же краткая строфа говорит о застенчиво сокровенном, задушевном отношении поэта к тайнам бытия. Каждая строфа пронизана своей интонацией-мелодией, но все они вместе в необходимом порядке составляют поэтическое целое.

Другой пример — казалось бы, пейзажное стихотворение. Н. Е. Штемпель рассказывает: «Как-то ранней весной <...> когда везде еще лежал снег (в том году его было очень много), Осип Эмильевич зашел к нам и мы пошли гулять. Были уже сумерки. Мы дошли до конца улицы Каляева, на которой я жила, и остановились на крутой горе; улица спускалась вниз, на Степана Разина, а напротив поднималась тоже крутая и высокая гора, так начиналась Логовая. В синих сумерках на горе и внизу загорались огоньки окон <...> Так запечатлел Осип Эмильевич кусочек моего города в стихотворении, которое он прочитал на следующий день». Речь идет о стихотворении «На доске малиновой, червонной...» Мы можем повторить этот маршрут — только желательно проделать эту прогулку в снежную зиму, в час морозного заката и сумерек.

С одной стороны, в тексте угадывается ландшафт этого места — встреча-переключка воронежских холмов, спуск к Чернавскому мосту... В этой точке город до сих пор не похож на город — «полугород, полуберег». Тогда же города на левом берегу вообще не было, деревянный Чернавский мост был выездом с окраины. Передана расцветка вечернего часа, дымки из печных труб составляли неременную деталь зимнего пейзажа... Но, с другой стороны, прикосновение, взгляд и слово поэта, конечно, знакомую картину преобразуют. Сам подбор определений, весь склад стихотворной речи создают впечатление округлости, покатоности, снежности и мороза: восемь эпитетов нанизаны на одну рифму, и потом она откликается еще и во второй половине стихотворения. Сложнейший и изысканнейший, туго переплетенный ритмико-интонационный рисунок. В свою очередь каждая

фраза несет свой пластический образ. Громадна роль цвета: для закатной палитры найдены самые непривычные определения, взятые из различных жизненных сфер. Эти определения нагнетаются, поставлены в неожиданный ряд. Изображение усилено отрицательным сравнением с фламандским (вариант — голландским) живописным пейзажем. Немедленно вспоминается знаменитая картина П. Брейгеля, действительно пропитанная «маслами рая». Дымки из печных труб домиков, усеявших склоны, преобразились в стихотворении в иной дым — скорее от костра... Напоминание же о «дороге крепкой» придает всему изображению перспективу выхода, преодоления, адресует все стихотворение страннику-путешественнику, открывателю и ценителю прекрасных уголков родной земли — ему — в отличие от ссыльного поэта — не надо помнить об «упоре насильственной земли»...

Так соединяются в стихах Мандельштама реальность и воображение, действительно существующее и привнесенное поэтическим взглядом. Читатель где-нибудь в Амстердаме или Токио, открыв стихотворение «Это какая улица?..», подумает о символичности его. Перед воронежцами открываются более широкие возможности: мы можем сопоставить реальную топографию и поэтическую мысль текста, привязанного к конкретному месту... Чтобы лучше узнать поэта, надо побывать в местах, где он жил. Мы ходим по следам создателя «Воронежских тетрадей». Стихи Мандельштама понятнее, чем они могут показаться на первый взгляд. Нас не может оставить равнодушными «трагическая фигура редкостного поэта, который и в годы воронежской ссылки продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи» (А. Ахматова).

В. Свительский

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881—1925) — писатель.
Адалис Аделина Ефимовна (1900—1969) — поэтесса, переводчица.

Адамович Георгий Викторович (1892—1972) — поэт, критик.
Айч Натан — литератор, работник цирка, отбывал в Воронежской ссылке.

Алигьери — см. Данте Алигьери.

Альтман Натан Исаевич (1889—1970) — художник.

Аметистов Михаил Евгеньевич — воронежский поэт.

Арбенина Ольга Николаевна (1897-98—1980) — актриса Александринского театра, художница.

Андерсон Мариан (1902—1993) — американская певица, гастролерова в СССР в 1934-35 гг.

Андроников Иракий Луарсабович (1908—1990) — литературовед.

Андроникова Саломея Николаевна (в замужестве Гальперн) — княжна, в ее салоне собирались поэты и художники серебряного века.

Аннинский Иннокентий Федорович (1856—1909) — поэт.

Арагон Луи (1897—1982) — французский писатель.

Ардов Виктор Ефимович (1900—1976) — писатель.

Ариосто Лудовико — итальянский поэт XVI в.

Асеев Николай Николаевич (1889—1963) — поэт.

Бабель Исаак Эммануилович (1894—1940) — писатель.

Багрицкий Эдуард Георгиевич (1895—1934) — поэт.

Бакунц Аксель (1899—1938) — армянский писатель.

Балакирев Милий Александрович (1836-37—1910) — композитор.

Балтрушайтис Юргис (1873—1941) — поэт.

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт.

Барина Галина Всеволодовна — скрипачка, в 1935 г. гастролерова в Воронеже. Ей и ее игре посвящено стихотворение «За Паганини длиннопалым...»

Батюшков Константин Николаевич (1787—1855) — поэт.

Бедный Демьян (1883—1945) — поэт.

Указатель составлен Н. М. Митраковой.

Белый Андрей (1880—1934) — поэт, прозаик.
Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — философ.
Бернштейн Сергей Игнатьевич (1892—1970) — лингвист.
Богомолов Леонид Иванович — врач, ленинградец, в середине 30-х гг. работал в Воронеже.

Бодуэн де Куртене Иван Александрович (1845—1929) — языковед.

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955) — гос.-парт. деятель, литератор, в 30-е гг. директор Государственного литературного музея.

Борисов Леонид Ильич (1897—1972) — писатель.

Брамс Иоганнес (1833—1897) — немецкий композитор.

Брик Лиля Юрьевна (1891—1978) — жена О. М. Брика, возлюбленная В. В. Маяковского.

Брик Осип Максимович (1888—1945) — писатель, теоретик литературы.

Бродский Иосиф Александрович (1940—1996) — поэт.

Бруни Николай Александрович (1891—1938) — поэт, священник.

Бруни Надя — жена Н. А. Бруни.

Булавин Михаил Яковлевич (1900—1991) — воронежский писатель.

Булгакова Елена Сергеевна (1893—1970) — жена писателя М. Булгакова.

Буонарроти — см. Микельанджело Буонарроти.

Бурлюк Николай Давидович (1890—1920) — писатель, брат поэта и художника Давида Бурлюка.

Бухарин Николай Иванович (1888—1938) — парт.-госуд. деятель, в середине 30-х гг. — редактор «Известий».

Бухштаб Борис Яковлевич (1904—1985) — литературовед, библиограф.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) — поэт.

Вагинов Константин Константинович (1899—1934) — поэт, прозаик.

Вагнер Рихард (1813—1883) — немецкий композитор.

Ваксель Ольга Александровна (1903—1932) — в нее О. Мандельштам был влюблен зимой 1924—1925 гг. Известием о ее гибели в Норвегии (она покончила жизнь самоубийством) навеяны стихотворения «Возможна ли женщине мертвой хвала...» и «На мертвых ресницах Исаакий замерз...»

Васильев Павел Николаевич (1910—1937) — поэт.

Вахтангов Евгений Багратионович (1883—1922) — театральный режиссер, актер.

Вдовин Евгений Петрович — агроном, хозяин квартиры Мандельштамов на ул. Линейной.

Венявский Генрик (1835—1880) — польский композитор.

Вельфлин Генрих (1864—1945) — швейцарский историк и теоретик искусства.

Вергилий Марон Публий (70—19 гг. до н. э.) — римский поэт.

Вийон [Виллон] Франсуа (1431—1463) — французский поэт.

Вишневский Всеволод Витальевич (1900—1951) — драматург, сценарист.

Владимирский — режиссер театра Яхонтова.

Волохов Федор Сергеевич (1912—1990) — редактор журнала «Подъем» с 1959 по 1973 гг.

Волошин Максимиллиан Александрович (1877—1932) — поэт.

Вольф Сергей Оскарович (1890—1951) — директор Большого советского театра в Воронеже.

Воронский Александр Константинович (1884—1943) — критик, редактор журнала «Красная новь».

Гаук Александр Васильевич (1893—1963) — дирижер, композитор.

Генкин Максим Исаевич (1886—1938) — зав. отделом культуры и пропаганды обкома ВКП(б) Центрально-Черноземной, а затем Воронежской области в середине 30-х гг.

Герцык Аделаида Казимировна (1874—1925) — поэтесса.

Герштейн Эмма Григорьевна — литературовед.

Гинзбург Григорий Романович — пианист.

Гинзбург Лео Морицович (1901—1979) — дирижер.

Гинзбург Лидия Яковлевна (1902—1990) — литературовед, писатель.

Гиппиус Владимир Васильевич (1876—1941) — поэт, критик, педагог, учитель О. Мандельштама в Тенишевском училище.

Гладков Александр Константинович (1912—1976) — драматург.

Гладков Федор Васильевич (1883—1958) — писатель.

Голлербах Эрих Федорович (1895—1942) — литературовед, критик, искусствовед, библиофил.

Гольдони Карло (1707—1793) — итальянский драматург.

Горбачев Георгий Ефимович (1897—1937) — критик, литературовед.

Гордин Виктор Леонидович (1940—1992) — химик, доцент Воронежского университета, вместе с Н. Е. Штемпель создал фотоальбом «Мандельштам в Воронеже».

Горелов Анатолий Ефимович — критик, в 34—37 гг. — ответственный секретарь Ленинградского отделения Союза советских писателей.

Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867—1941) — критик, переводчик.

Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967) — поэт.

Горячев Николай Михайлович (1905—1941) — председатель Воронежского областного радиокомитета в 34—36 гг.

Грин Александр Степанович (1880—1932) — писатель.

Грин Нина Николаевна — жена А. С. Грина.

Гуковский Григорий Александрович (1902—1950) — литературовед.

Гумилев Лев Николаевич (1919—1992) — историк-востоковед, географ, сын Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой.

Гумилев Николай Степанович (1886—1921) — поэт.

Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт.

Данько Наталья Яковлевна (1892—1942) — скульптор.

Дарвин Чарльз Роберт (1809—1882) — английский естествоиспытатель.

Джамбул Джабаев (1846—1945) — казахский поэт.

Джойс Джеймс (1882—1941) — ирландский писатель.

Добролюбов Александр Михайлович (1876—1945) — поэт.

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — критик, публицист.

Дынная Валентина Александровна — переводчица, литературовед.

Елозо Сергей Васильевич (1899—1938) — редактор воронежской газеты «Коммуна» с весны 1935 г., член редколлегии журнала «Подъем». Репрессирован, расстрелян.

Енукидзе Абель Софронович (1877—1937) — парт.-гос. деятель.

Ефрон Наталья Григорьевна (1896—1973) — актриса Камерного театра.

Жданов Андрей Александрович (1896—1948) — парт.-гос. деятель.

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903—1959) — поэт.

Завадовский Леонид Николаевич (1888—1937-38) — воронежский писатель.

Загоровский Павел Леонидович (1892—1952) — психолог, профессор, проректор Воронежского пединститута в 30-е гг.

Задонский Николай Алексеевич (1900—1974) — воронежский писатель.

Залка Матэ (1896—1937) — венгерский писатель.

Зельманова-Чудовская Анна Михайловна — художница.

Зенкевич Михаил Александрович (1891—1973) — поэт, переводчик.

Зошенко Михаил Михайлович (1895—1958) — писатель.

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт, философ, переводчик.

Иванов Георгий Владимирович (1894—1958) — поэт.

Ивич Александр (1900—1978) — писатель, литературовед.

Ильф Илья Арнольдович (1897—1937) — писатель.

Каблуков Сергей Платонович (1881—1919) — муз. критик.

Каганович Лазарь Моисеевич (1893—1991) — парт.-гос. деятель.

Казарновский Юрий А. — поэт, соллагерник О. Мандельштама.

Казин Василий Васильевич (1898—1981) — поэт.

Калецкий Павел Исаакович (1906—1942) — филолог, литератор, с весны 1933 по ноябрь 1935 гг. — в ссылке в Воронеже.

Катаев Валентин Петрович (1897—1986) — писатель.

- Катанян Рубен Павлович — прокурор.
Катенин Павел Александрович (1792—1853) — поэт, переводчик.
- Кириллов Владимир Тимофеевич (1890—1943) — поэт.
Киров Сергей Миронович (1886—1934) — парт.-гос. деятель.
Кирсанов Семен Исаакович (1906—1972) — поэт.
Клычков Сергей Антонович (1889—1937) — поэт, прозаик.
Клычкова Варвара — жена С. А. Клычкова.
Клюев Николай Алексеевич (1884—1937) — поэт.
Козьмин Борис Павлович (1883—1958) — историк, литератор.
- Колли Николай Григорьевич — фотокорреспондент ТАСС.
Колычев Осип Яковлевич (1904—1973) — поэт.
Кольцов Михаил Ефимович (1898—1942) — журналист, писатель, общественный деятель, организатор печати.
Комаровский Василий Алексеевич (1881—1914) — поэт.
Коневской Иван Иванович (1877—1901) — поэт.
Кораблинов Владимир Александрович (1906—1989) — воронежский писатель.
Корбюзье Шарль Эдуард (1887—1965) — архитектор.
Косырев Александр Васильевич (1904—1939) — секретарь ЦК ВЛКСМ (29—36 гг.).
Кретьева Ольга Капитоновна (1903—1994) — воронежская писательница, в 30-е годы зам. председателя воронежского отделения Союза советских писателей.
Кузин Борис Сергеевич (1903—1973) — биолог, друг О. Мандельштама.
Кузмин Михаил Алексеевич (1872—1936) — поэт.
Кузьмин-Караваев Дмитрий Владимирович (1886—1959) — юрист, один из трех синдикатов Цеха поэтов.
Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна [Мать Мария] (1891—1945) — поэтесса, общественная деятельница.
Ксешинская (Кшесинская М. Ф.) — балерина.
Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797—1846) — поэт, декабрист.
- Ламарк Жан Батист (1744—1829) — французский естествоиспытатель, создатель учения об эволюции живой природы.
Ландсбер Леонид Эммануилович (1899—1957) — юрист.
Лалин Борис Матвеевич (1905—1941) — писатель.
Ласунский Олег Григорьевич — воронежский краевед, библиофил, литературовед.
Лахути Абулкосим (1887—1957) — иранский поэт, революционер, таджикский госуд. деятель.
Левин Федор Маркович (1901—1972) — критик, писатель.
Леокумович Григорий Моисеевич — друг и адресат С. Б. Рудакова.
Леонов Дмитрий Николаевич (1857—1943) — тюремный врач.
Лившиц Бенедикт Константинович (1887—1939) — поэт, переводчик.
Липкин Семен Израилевич — поэт, переводчик.

Лозинский Михаил Леонидович (1886—1955) — поэт, переводчик.

Ломинадзе Бэссо (1897—1934) — парт. деятель.

Лукницкий Павел Николаевич (1900—1943) — литературовед.

Луппол Иван Капитонович (1896—1943) — литературовед, директор Гослитиздата в 30-е гг.

Лурье Артур Сергеевич (1892—1957) — композитор.

Мазнин Дмитрий Михайлович (1902—1938) — поэт, критик.

Майзель М. — критик.

Макаренко Антон Семенович (1888—1939) — педагог, писатель.

Макарьев Иван Сергеевич (1902—1958) — критик, литературовед.

Маллармэ Стефан (1842—1898) — франц. поэт.

Маковский Сергей Константинович (1877—1962) — поэт.

Мандельштам Александр Эмильевич (1891—1942) — брат О. Мандельштама.

Мандельштам Евгений Эмильевич (1898—1972) — младший брат О. Мандельштама.

Мандельштам Эмилий Вениаминович (1856—1938) — отец поэта.

Маранц Федор Яковлевич (1887—1942 ?) — воронежский агроном, репрессирован.

Маранц Елена Яковлевна — жена Ф. Я. Маранца.

Маркиш Перец Давидович (1895—1952) — поэт.

Марченко Д. А. — секретарь парторганизации Союза советских писателей в середине 30-х гг.

Маршак Самуил Яковлевич (1887—1964) — поэт, переводчик.

Медведев Павел Николаевич (1891—1938) — критик, литературовед.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940) — режиссер, актер.

Мигаи Сергей Иванович (1888—1959) — певец.

Микельанджело Буонарроти (1475—1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт.

Миндлин Эмилий Львович (1900—1981) — писатель.

Михоэлс Соломон Михайлович (1890—1948) — актер, режиссер.

Надсон Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт.

Наппельбаум Моисей Соломонович (1869—1958) — фотограф-портретист.

Наппельбаум Лев — сын М. С. Наппельбаума.

Нарбут Владимир Иванович (1888—1938) — поэт, редактор выходившего в Воронеже в 1918—19 гг. журнала «Сирена».

Нарбут Сима — жена В. И. Нарбута.

Недоброво Николай Владимирович (1882—1919) — критик, поэт.

Немировский Александр Иосифович — историк, писатель.

Неруда Пабло (1904—1973) — чилийский поэт.

Новиков-Прибой Алексей Силыч (1877—1944) — писатель.

Обломиевский Дмитрий Дмитриевич (1907—1971) — литературовед.

Овидий Публий Назон (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — римский поэт.

Озеров Владислав Александрович (1769—1816) — драматург.

Ойстрах Давид Федорович (1908—1974) — скрипач.

Оксман Юлиан Григорьевич (1894—95—1970) — литературовед, зам. директора Пушкинского Дома (ИРЛИ) в 1933—36 гг.

Ольшевская Нина Антоновна — жена В. Е. Ардова, актриса.

Орлов Владимир Николаевич (1908—1985) — литературовед.

Осмеркина Елена Константиновна — жена художника А. А. Осмеркина.

Островский Николай Алексеевич (1904—1938) — писатель.

Павленко Петр Андреевич (1899—1951) — писатель.

Панферов Федор Иванович (1896—1960) — писатель.

Песков Борис Глебович (1909—1944) — воронежский писатель, отв. секретарь журнала «Подъем» в 30-е гг.

Петров Евгений Петрович (1902—1942) — писатель.

Петров Сергей Владимирович (1911—1988) — лингвист, переводчик.

Петровский Дмитрий Васильевич (1892—1955) — поэт.

Петровых Мария Сергеевна (1908—1979) — поэтесса, переводчица.

Пильняк Борис Андреевич (1894—1938) — писатель.

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — критик.

Плоткин Лев Абрамович (1906—1978) — критик, литературовед, член редколлегии журнала «Подъем», преподаватель Воронежского пединститута в 30-е гг.

Подобедов Максим Михайлович (1897—1993) — воронежский писатель, отв. редактор журнала «Подъем» в 30-е гг.

Покровский Вадим Александрович (1909—1987) — воронежский писатель.

Попова Еликонида Ефимовна (Лиля) (1903—1964) — жена В. Яхонтова и его режиссер. Побывала в Воронеже, ей посвящены стихотворения Мандельштама.

Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954) — писатель.

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891—1953) — композитор.

Прудковский Петр Николаевич (1900—1988) — воронежский писатель.

Пунин Николай Николаевич (1888—1953) — искусствовед, муж А. А. Ахматовой.

Пяст Владимир Николаевич (1886—1940) — поэт.

Радек Карл (1885—1939) — парт.-государственный деятель, журналист.

Радимов Павел Александрович (1887—1967) — поэт.

Радлова Анна Дмитриевна (1891—1951) — поэтесса.

Раковский Христиан Георгиевич (1873—1941) — парт. деятель.

Рассамахин Юрий — москвич, один из друзей Н. Я. Мандельштам в последний период ее жизни.

Реентович Марк Наумович (1886—1953) — директор Тамбовского муз. училища.

Рейзах Пауль — дирижер, гастролировал в Воронеже в апреле 1935 г.

Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957) — писатель.

Римский-Корсаков Андрей Николаевич (1870—1940) — музыковед, сын композитора Н. А. Римского-Корсакова.

Рогинский Яков Яковлевич (1895—1986) — антрополог, профессор МГУ, был командирован в ВГУ для чтения лекций.

Рождественский Всеволод Александрович (1895—1977) — поэт.

Рождественский Роберт Иванович (1932—1994) — поэт.

Роллан Майя (Кудашева Мария Павловна) — жена франц. писателя Ромена Роллана, знакомая О. Мандельштама.

Романовский Николай Владимирович (1909—1944) — воронежский литератор, преподаватель пединститута.

Рукавишников Иван Сергеевич (1877—1930) — писатель.

Рыжманов Григорий Никандрович (1907—1985) — воронежский поэт.

Рюисдаль — Рейсдаль Яков ван (1628 или 1629—1682) — голландский художник, мастер пейзажа.

Санников Григорий Александрович (1899—1969) — поэт.

Саргиджан Амир (псевдоним) — Бородин Сергей Петрович (1902—1974) — писатель.

Сафо (VII—VI в. до н. э.) — древнегреческая поэтесса.

Северянин Игорь (1887—1941) — поэт.

Селивановский Алексей Павлович (1900—1938) — критик.

Сергеенко Михаил Михайлович (1905—1964) — воронежский писатель

Серебрякова Галина Иосифовна (1905—1980) — писательница.

Слезкин Юрий Львович (1885—1947) — писатель.

Слуцкий Борис Абрамович (1919—1986) — поэт.

Сметанин Григорий Александрович (1894—1952) — композитор (Тамбов).

Сологуб Федор Кузмич (1863—1927) — поэт, прозаик.

Ставский Владимир Петрович (1900—1943) — писатель, генеральный секретарь Союза писателей СССР во второй половине 30-х гг.

Станиславский Константин Сергеевич (1863—1938) — режиссер, актер.

Степанов Николай Леонидович (1902—1972) — литературовед.

Стефан Александр Иванович (1882—1942?) — писатель, дипломат, отбывал ссылку в Воронеже, работал экономистом, был директором кукольного театра, сотрудничал в журнале «Подъем», арестован в июле 1936 г.

Стецкий Александр Иванович (1896—1938) — зав. отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) в середине 30-х гг.

Стойчев Степан Антонович (1881—1938) — с весны 1935 г. председатель правления воронежского отделения Союза писателей, секретарь партгруппы, в середине 30-х гг. — директор Воронежского педагогического института. Репрессирован.

Столетов Андрей Александрович (1907?—1980?) — ленин-

градец, отбывал ссылку в Воронеже, преподавал в Воронежском педагогическом институте.

Стравинский Игорь Федорович (1882—1971) — композитор.

Струве Глеб Петрович (1898—1985) — литературовед, критик. Под его редакцией в США вышло первое собр. сочинений О. Мандельштама.

Струве Никита Алексеевич — литературовед, издатель, руководитель издательства YMCA-PRESS (Франция).

Судейкин Сергей Юрьевич (1884—1946) — художник.

Сулейман Стальский (1869—1937) — лезгинский поэт.

Сумароков Александр Петрович (1717—1777) — поэт, драматург.

Суриков Иван Захарович (1841—1880) — поэт.

Тагер Евгения Михайловна (1895—1964) — писательница.

Тарасенков Анатолий Кузьмич (1909—1956) — критик, литературовед.

Тарасов-Роднонов Александр Игнатьевич (1885—1938) — писатель.

Тарковский Арсений Александрович (1907—1989) — поэт.

Тарловский Марк Ариевич (1902—1952) — поэт, переводчик.

Тихонов Николай Семенович (1896—1979) — поэт, общ. деятель.

Толлер Эрнст (1893—1939) — немецкий писатель.

Толстая Софья Андреевна (1900—1957) — жена С. Е. Есенина, внучка Л. Н. Толстого.

Томашевский Борис Викторович (1909—1974) — литературовед.

«Триолешка» — Триоле Эльза (1896—1970) — французская писательница, жена Л. Арагона.

Троша — сосед С. Б. Рудакова по квартире, рабочий.

Трощенко Екатерина Дмитриевна (1902—1944) — критик.

Тынянов Юрий Николаевич (1894—1943) — литературовед, писатель.

Усиевич Евгения Феликсовна (1893—1968) — критик.

Фаворский Владимир Андреевич (1886—1964) — график, живописец.

Фадеев Александр Александрович (1901—1956) — писатель, с 1926 по 1932 г. один из руководителей РАПП, затем входил в руководство Союза писателей СССР.

Федин Константин Александрович (1892—1977) — писатель. С 1959 г. руководитель Союза писателей СССР.

Ферреро Вилли (1906—1952) — итальянский дирижер, гастролировал в Воронеже в октябре 1935 г.

Финкельштейн Полина Самойловна (?—1977) — жена С. Б. Рудакова.

Фирдоуси Абулькасим — персидский поэт X—XI вв.

Фрадкина Елена Михайловна (1902—1981) — жена брата Н. Я. Мандельштам Е. Я. Хазина.

Фридлянд — см. Кольцов М. Е.
Фурманов Дмитрий Андреевич (1891—1926) — писатель.

Харджиев Николай Иванович (1903—1993) — искусствовед, литературовед.

Хазин Евгений Яковлевич (1893—1974) — литератор, брат Н. Я. Мандельштам.

Хазина Вера Яковлевна (?—1943) — мать Н. Я. Мандельштам.

Хафиз Шамседдин (XIV в.) — персидский поэт.

Хлебников Велимир (1885—1922) — поэт.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939) — поэт.

Цветаев М. — композитор театра В. Яхонтова.

Цомык Герц Давидович (1914—1981) — виолончелист.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — мыслитель, публицист.

Чапаев Василий Иванович (1887—1919) — красный командир, участник гражданской войны. Особую известность ему придал кинофильм братьев Васильевых «Чапаев» (1934 г.).

Чаплин Чарльз Спенсер (Чарли) (1889—1977) — актер, кинорежиссер, сценарист.

Чаренц Егише (1897—1937) — армянский поэт.

Черейский И. — воронежский журналист, критик.

Чуковский Корней Иванович (1882—1969) — писатель, литературовед.

Чуковский Николай Корнеевич (1905—1965) — писатель, сын К. Чуковского.

Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — писатель.

Шагинян Мариэтта (1889—1982) — писательница.

Шадрин Алексей Матвеевич (1911—1983) — переводчик.

Шваб Карл Карлович (1873—1939) — флейтист Воронежского симфонического оркестра, арестован 29 октября 1936 г. по ложному обвинению, погиб в пересыльном лагере на Второй речке у Владивостока через 10 дней после смерти О. Мандельштама.

Швер Александр Владимирович — редактор воронежской газеты «Коммуна» (1929—1934), председатель Воронежского отделения Союза советских писателей в 1934—1935 гг.

Шевченко Тарас Григорьевич (1914—1861) — украинский поэт.

Шенье Андре Мари (1762—1794) — французский поэт и публицист.

Шервинский Сергей Васильевич (1892—1991) — переводчик, писатель.

Шенгели Георгий Аркадьевич (1894—1956) — поэт, переводчик.

Шилейко Владимир Казимирович (1891—1930) — поэт, переводчик, второй муж А. А. Ахматовой.

Шкловский Виктор Борисович (1893—1984) — писатель, литературовед.

Шкловская Василиса Георгиевна (1896—1977) — жена В. Б. Шкловского.

Шкловская Варя — дочь В. Б. Шкловского.

Шпет Густав Густавович (1879—1940) — философ.

Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — историк, литературовед.

Щербаков Александр Сергеевич (1901—1945) — парт.-гос. деятель, секретарь Союза писателей СССР в 1934—1936 гг.

Щербина Николай Федорович (1821—1869) — поэт.

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1959) — литературовед.

Элюар Поль (1896—1952) — французский поэт.

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — писатель, общ. деятель.

Эфрон Ариадна Сергеевна (1912—1975) — переводчица, дочь М. И. Цветаевой.

Эфрос Абрам Маркович (1888—1954) — критик, переводчик, искусствовед.

Юдин Павел Федорович (1888—1968) — философ, парт. деятель, зам. зав. отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) в 1934 г.

Юдина Мария Вениаминовна (1899—1970) — пианистка.

Ягода Генрих Григорьевич (1891—1938) — преемник Дзержинского и Менжинского, глава ОГПУ, в 1934 г. переименованного в НКВД. Его сменил Ежов.

Языков Николай Михайлович (1803—1847) — поэт.

Ярыгин И. Г. (1893—1938) — второй секретарь Воронежского обкома ВКП(б) в середине 30-х гг.

Яхонтов Владимир Николаевич (1899—1945) — актер, создатель так называемого «Театра одного актера».

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИИ

Автопортрет	520
Айя-София	617
«А мастер пушечного цеха...»	30
Ахматова	520
Батюшков	540
«Бежит волна — волной волне хребет ломая...»	26
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»	522
«Были очи острее точимой косы...»	45
Век	530
«Веги дальние обоза...»	33
«Влез бесенок в мокрой шерстке...»	37
«В лицо морозу я гляжу один...»	38
«Внутри горы бездействует кумир...»	29
«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»	24
«Вооруженный зреньем узких ос...»	44
Восьмистишия	544
«В Петрополе прозрачном мы умрем...»	524
«В самом себе, как змей, таясь...»	515
«Где связанный и пригвожденный стон?...»	43
«Гончарами велик остров синий...»	57
«Дайте Тютчеву стрекóзу...»	541
«Дано мне тело — что мне делать с ним..»	515
«Да, я лежу в земле, губами шевеля...»	49
Декабрист	525
«День стоял о пяти головах...»	22
«Длинной жажды должник виноватый...»	58
«Дрожжи мира дорогие...»	37
Европа	522
«Есть женщины, сырой земле родные...»	62
«Еще мы жизнью полны в высшей мере...»	23
«Еще не умер ты. Еще ты не один...»	38
«Еще он помнит башмаков износ...»	45
«Жил Александр Герцович...»	535

«Заблудился я в небе — что делать?..»	53
«За гремучую доблесть грядущих веков...»	536
«За Паганини длиннопалым...»	25
«За то, что я руки твои не сумел удержать...»	528
«Звук осторожный и глухой...»	514
«Из-за домов, из-за лесов...»	27
Импессионизм	539
«Исполню дымчатый обряд...»	26
«И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме...»	545
«Как дерево и медь Фаворского полет...»	46
«Как женственное серебро горит...»	39
«Как землю где-нибудь небесный камень будит...»	40
«Как на Каме-реке глазу темно, когда...»	20
«Как подарок запоздалый...»	34
«Как по улицам Киева-Вия...»	59
«Как светотени мученик Рембрандт...»	43
Кассандре	526
«Квартира тиха, как бумага...»	543
«Клейкой клятвой липнут почки...»	60
К немецкой речи	541
«Когда в ветвях понурых...»	36
«Когда октябрьский нам готовил временщик...»	524
«Когда щегол в воздушной сдобе...»	34
«К пустой земле невольню припадая...»	62
«Кто знает, может быть, не хватит мне свечи...»	525
«Куда мне деться в этом январе...»	41
Ламарк	538
«Лишив меня морей, разбега и разлета...»	19
«Люблю морозное дыханье...»	41
«Люблю появление ткани...»	544
«Мастерица виноватых взоров...»	545
«Может быть, это точка безумия...»	54
«Мой щегол, я голову закину...»	28
«Мы живем, под собою не чуя страны...»	544
«Мы с тобой на кухне посидим...»	533
«На доске малиновой, червонной...»	52
«На меня нацелилась груша да черемуха...»	61
«На мертвых ресницах Исаакий замерз...»	25
«Наушнички, наушники мои...»	17
«Небо вечера в стену влюбилось...»	52
«Не мучнистой бабочкою белой...»	26
Неправда	537
«Неревды мои, неревды...»	58
«Не сравнивай: живущий несравним...»	55
«Нет, не луна, а светлый циферблат...»	516
«Нет, не спрятаться мне от великой муры...»	536
«Нет, никогда, ничей я не был современник...»	531

«Не у меня, не у тебя...»	29
«Ночь. Дорога. Сон первичный...»	32
«Ночь на дворе. Барская лжа...»	536
«Нынче день какой-то желторотый...»	29
«О временах простых и грубых...»	520
«О, как мы любим лицемерить...»	539
«О, как же я хочу...»	58
«О, этот медленный, одышливый простор!...»	39
«Обороняет сон мою донскую сонь...»	46
«От легкой жизни мы сошли с ума...»	519
«От сырой простыни говорящая...»	23
«Оттого все неудачи...»	35
Петербургские строфы	519
«Пластинкой тоненькой жиллета...»	31
«Подивлюсь на свет еще немного...»	28
«Помоги, господь, эту ночь прожить...»	533
«Пою, когда гортань сыра, душа — суха...»	44
«Природа — тот же Рим и отразилась в нем...»	521
«Прославим, братья, сумерки свободы...»	526
«Пусти меня, отдай меня, Воронеж...»	18
«Пусть имена цветущих городов...»	521
Рим	55
«Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева...»	44
«Римских ночей полновесные слитки...»	24
Рождение улыбки	28
«Сегодня ночью, не солгу...»	532
«Слышу, слышу ранний лед...»	40
«С миром державным я был лишь ребячески связан...»	533
«Сосновой рощицы закон...»	30
«Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...»	537
«Средь народного шума и спеха...»	42
Стансы («Я не хочу средь юношей тепличных...»)	20
Стихи о неизвестном солдате	47
«Сусальным золотом горят...»	514
«Твоим узким плечам под бичами краснеть...»	546
«Твой зрачок в небесной корке...»	35
«Только детские книги читать...»	514
«Улыбнись, ягненок гневный с Рафаэлева холста...»	36
«Флейты греческой тэта и йота...»	59
«Холодная весна. Беспхлебный робкий Крым...»	542
Царское село	516
Чарли Чаплин	546
Чернозем	18

«Чтоб, приятель и ветра и капель...»	56
«Что делать нам с убитостью равнин...»	39
«Шло цепочкой в темноводье...»	33
«Эта область в темноводье...»	31
«Это какая улица?...»	18
«Я видел озеро, стоявшее отвесно...»	51
«Я в львиный ров и крепость погружен...»	47
«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»	532
Я в сердце века. Путь неясен...»	30
«Я должен жить, хотя я дважды умер...»	18
«Я живу на важных огородах...»	17
«Я к губам подношу эту зелень...»	60
«Я молю, как жалости и милости...»	50
«Я наравне с другими...»	529
«Я не слышал рассказов Оссиана...»	521
«Я не увижу знаменитой Федры...»	523
«Я нынче в паутине световой...»	40
«Я около Кольцова...»	36
«Я скажу тебе с последней прямокой...»	534
«Я скажу это начерно, шепотом...»	52
Silentium	516
Notre Dame	518
Tristia	527

СОДЕРЖАНИЕ

В. Свительский. Поэт и время	5
О. МАНДЕЛЬШТАМ. ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ	17
А. Ахматова. Стихи	63
А. Ахматова. Листки из дневника	65
Н. Мандельштам. Из воспоминаний и комментариев	88
Н. Штемпель. Мандельштам в Воронеже	221
С. Рудаков. Из писем 1935—1936 годов	276
П. Калецкий. Из писем	357
Я. Регинский. Встречи в Воронеже	359
Из начальственной переписки и официальных документов	362
Из местной печати	368
Р. Рождественский. Еще раз о трагедии Осипа Мандельштама	386
О. Кротова. Горькие страницы памяти	389
О. МАНДЕЛЬШТАМ. Статьи. Радиокomпозиция. Наброски	396
О. и Н. МАНДЕЛЬШТАМЫ. Письма воронежского периода	469
О. МАНДЕЛЬШТАМ. ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ДРУ- ГИХ ЛЕТ	614
От составителя	648
Как читать стихи О. Мандельштама	553
Именной указатель	559
Алфавитный указатель стихотворений	570

Осип Мандельштам
ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ

ЛР № 010061

Подписано в печать 15.06.99. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага
газетная. Печать высокая. Усл. печ. л. 30,3. Уч.-изд. л.
31,6. Тираж 3000 экз. Заказ 4232.

Отпечатано в Воронежской Областной типографии —
издательство им. Е. А. Болховитинова
394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73а

**Воронежская областная типография
и издательство
им. Е. А. Болховитинова**

изготавливают:

**печати и штампы;
книги, буклеты, брошюры;
афиши в одну и несколько
красок;
цветные этикетки;
бланки с нумерацией;
адресные папки, поздравления;
удостоверения, свидетельства;
дипломы;
альбомы;
а также производит размотку
и резку бумаги.**

**НАШ АДРЕС: 394071, г. ВОРОНЕЖ, ул. 20 ЛЕТ
ОКТЯБРЯ, 73а.**

Тел.: (0732) 71-51-59, 71-54-17.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
76	5 снизу	В 1993 г.	В 1933 г.
135	18 снизу	шутку	штуку
276	17—18 сверху	не сохранились	сохранились
531	7 снизу	Ну что ж	Ну что же
		ПРОПУЩЕНА СТРОКА	
10	8 сверху	братом, отщепенцем в народной семье», накапливалось.	
		Пронзи-	

